ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 9—10

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"

МОСКВА—1928

Главлит № А—24788.

Тип. газеты „Правда". Москва, Тверская, 48.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Ц. Фридлянд.—Воинствующий историк-марксист (К 60-летию со дня рождения М. Н. Покровского) 5

Ник. Карев.—Л. Аксельрод на пути от материализма к позитивизму 16

В. Асмус.—Л. И. Аксельрод и философия 36

М. Фурщик.—Каутский и диалектический материализм 64

И. Морков.—Марксова теория кредита в „обработке" Гильфердинга 101

И. Бутоев.—Математика в диалектическом анализе в „Капитале" Маркса 132

Я. Эзхер.—Социальные взгляды „бешеных" 151

А. Зонин.—К вопросу о социальных мотивах творчества Л. Н. Толстого 164

Д. Квитко.—Толстовство как мировоззрение 187

Р. Черановский.—Рефлексология или психология? 198

А. Серебровский.—Опыт качественной характеристики процесса органической эволюции 215

С. Молотавый.—Диалектика в педологии 229

Критика и библиография.

В. Боровский.—Сидни Гук. Философия диалектического материализма 240

М. Лурье.—Der Kampf Sozialdemokratische Monatsschrift. Вена. Январь—июнь 1928 г. 247

З. Атлас.—Проф. Н. Д. Силин. Кредитная политика эмиссионного банка и устойчивая валюта 259

А. Рецэль.—Проф. С. И. Солнцев. Введение в политическую экономию. Предмет и метод 265

А. Нодеждин.—A. Amonn. Grundzüge der Volkswohlstandlehre. Jena 1926. S. 339. 269

Воинствующий историк-марксист.

(1868—К шестидесятилетию со дня рождения М. Н. Покровского—1928).

Ц. Фридлянд.

Празднование шестидесятилетия со дня рождения М. Н. Покровского приняло в Союзе столь значительные размеры, что мы с полным основанием можем говорить об этом юбилее, как о празднике марксистской исторической науки. В лице М. Н. широкие массы пролетарского студенчества и преподавателей - марксистов, научные учреждения и ученые исследователи приветствовали человека науки и революционера. Больше половины своей жизни юбиляр посвятил исследовательской работе историка, около четверти века в рядах авангарда революционного пролетариата он не только объяснял мир, но и неуклонно выполнял выпавшую на его долю ответственную работу по борьбе со старым режимом и по строительству нового общества.

М. Н. Покровский.

Не наступило еще время подводить итоги научной деятельности М. Н. Шестидесятилетие со дня рождения не является подходящей датой для подобных итогов, тем более, что наш юбиляр живет настоящим и активно участвует в созидании будущего. Он дает и

даст нам еще не мало, что обогатит его творчество и нашу науку. Но одно должно быть здесь отмечено,—связь истории «по Покровскому» с бурным ходом классовой борьбы последних десятилетий. Его работы могут быть поняты и правильно оценены лишь в свете пролетарского движения нашего времени, они являются зрелым плодом марксистской мысли, той мысли, которой жили и которую творили не только теоретики, но и практики революционеры с конца прошлого столетия.

Для М. Н. Покровского «*история—это политика, опрокинутая в прошлое*». В этом положении вся философия его истории. В отличие от так называемых «об'ективных историков», он, как подлинно об'ективный историк - марксист, прекрасно понимает, что так называемые «вечные истины» принадлежат к категории иллюзий, порожденных данными общественными отношениями. Для него историческая наука—«сгусток классовой идеологии». Факты, которые мы находим у него, как и у всякого историка, «по крайней мере на 75% суть комбинация некоторого сырого материала». *Практический интерес* определяет, что и как будет ученым взято из этой груды фактов для построения исторической схемы. «Этот практический интерес,—утверждает М. Н. Покровский,—и является в истории в конечном счете решающим». Речь идет здесь, конечно, о *классовой практике*, а не об индивидуальном опыте. «Только классовый подход поможет нам расшифровать бесчисленные исторические контроверзы, найти ключ к бесконечным, тянувшимся иногда веками историческим спорам,—показав нам эти споры как *столкновения различных классовых точек зрения*». Как остроумно замечает М. Н.: спор о том, кто были первые русские князья, продолжался до тех пор, «пока исчезновение последних князей не лишило вопрос всякого практического интереса».

Это ярко выраженный и четкий *методологический* подход к изучению прошлого делает работы историка-марксиста М. Н. Покровского научными исследованиями в лучшем смысле этого слова. Они много выигрывают еще и потому, что его работы всегда и при всех условиях основаны на анализе богатого *конкретного материала*. Наш историк прекрасно понял и разработал на конкретном материале соответствующие положения «Анти-Дюринга», где речь идет о «логической природе» исторической науки, «изучающей связи и следствия известных, существующих лишь в данное время и у данных народов и по своей природе преходящих, социальных и политических форм»...

Для М. Н. характерно то, что он конкретную историю не сливает с социологией. В одном из своих блестящих и остроумных докладов он как-то заметил: «Выбросьте из истории роль отдельных личностей и история станет скучной и не интересным повествованием». Это не значит, конечно, что «критически мыслящие личности» делают историю, а только то, что познать прошлое «по Покровскому», значит, вскрыть «социальные псевдонимы», *раскрыть классовую*

сущность конкретных действий отдельных лиц и групп,— участников исторического процесса. И все это сочетается у М. Н. с глубоким интересом к сложным перипетиям основных хозяйственных процессов, которые и порождают в конечном счете весь драматизм человеческой истории. В лице М. Н. Покровского мы имеем специалиста по экономической истории России, знатока истории ее внешней политики, истории нашего революционного прошлого, социолога и яркого публициста. То, что выгодно отличает его от историков «академического склада», то, что делает его научную деятельность фактором пролетарской борьбы—это ясная целевая установка его работ, это единый метод исследования,—марксизм, как средство, и интересы пролетариата, как цель его научной деятельности.

М. Н. Покровский обучался в школе П. Виноградова и В. Ключевского. В социально - экономической истории эта школа видела дополнительную, прикладную задачу исследования, но она отнюдь не считала ее своей основной историко - методологической установкой в научной работе. В своем курсе В. О. Ключевский выразил эту мысль ясно и отчетливо: «Я хочу сказать, что факты политические и экономические полагаю в основу курса по их значению не в историческом процессе, а только в историческом изучении... Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями человеческого развития»...' Здесь «экономика и политика» служит только выражением того практического интереса, который направлял работой корифея русской исторической науки. Прогресс должен постепенно устранить кровавый опыт революций XIX века и привести Россию в тихую гавань европейского конституционализма,— в этом для либералов,—а к ним принадлежали указанные выше «об'ективные историки»—была основная идея, которая, по словам В. Ключевского, не является личным интересом, а «становится историческим фактом, овладевает какой-либо практической силой, властью, народной массой или капиталом,—силой, которая перерабатывает ее в закон, в учреждение, в промышленное или иное предприятие, в обычай, наконец, в поголовное массовое увлечение или художественное всеми ощутительное сооружение, когда, например, набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора». Здесь пред нами больше чем методология истории и даже больше чем политическая программа, пред нами классовое мировоззрение, которое по своему образу и подобию творит мир от юридической нормы до небесной выси. В этом была сила Ключевского, если он и не знал и даже отбрасывал всякое, в том числе и косвенное, напоминание о своей связи с «экономическим материализмом»; в этом был основной методологический мотив его научного творчества. И понятно, поэтому, почему его «Курс русской истории», курс, в котором мы находим общую схему русского

нсторнческого процесса,—является бессмертиым вкладом в науку. Это докумеит, на котором лежит нркай печать его классового происхождения, это труд идеолога нашей *буржуазии*.

В прошлом историческої науки действуют те же законы диалектики, что и во всех разнообразных процессах общественного развития. Исторнческая иаука снльна ие только своим *анализом* и кропотливым собнранием миллиоиов фактов, но прежде всего *снитетической* мыслью, обобщающей зтн факты. И еслн «оргаиические эпохи» способствуют первому тнпу исследоваиий, то буриые эпохн революцнн н глубоких социальиых переворотов люди ищут синтеза, мысли, обобщающнй факты прошлого. Восемнадцатый век, век буржуазии, дал иам опыты Коидорсе, Рейналя, Барнава, Гердера...—То была вершниа ситетической мысли, своего времеии, потому что носнтель этой мыслн, буржуазня, был на вершине своего могущества и славы. Но и XX в. знает мучительиые поиски обобщеннй. Буржуазиая историческая наука иаших дней снова мечтает о всеоб'емлющем сннтезе. Однако, в понсках иовой «фнлософнн нсторнн», она заиимается нлн перепевом старых ндей, нлн метафнзнческнми конструкциямн. В лнце своих лучшнх представителей (М. Вебер) она обнаружила свою беспомощность, замеиив «Картину прогресса» бесплотиыми и бескровиымн «ндеальиымн типами», нлн, на «реках вавнлоиских» декламируя о «закате Европы»,—дала теоретнческое обоснование фашнстскому походу против творцов будущего.

Попытка обозреть *весь нсторнческий процесс в целом*, попытка дать свою «схему»—такова глубоко коренящаяся потребиость *каждого класса*, оиа реализуется в момент выступлеиня нового класса, н она служит также подведением итогов нсторического путн данного класса.

Русская нсториографня шла по тому же пути. В каждую данную эпоху ее лучшне представнтелн давалн свою схему исторнческого прошлого, иередко основанную иа самостоятельном нзучеинн огромной массы фактнческого матернала, а чаще иа обобщении с новой точки зрення старого материала, формулнруя таким образом свою классовую теорню русского нсторнческого процесса. Карамзин, Костомаров, позже Соловьев, Ключевскнй тем и велнки (каждый по-своему), что далн нам не только одиу или две монографин, то нли другое частное нсследоваине, а попытались обозреть всю русскую нсторню под новым углом зрення. Один зто сделалн с высоты Кремля н «*увидели только Замоскворечье*», а другие постарались поиять ее под углом зрення фабричиой трубы и расшнреиня внутреннего рынка и увидели путн возвышения Петербурга и «этапы русской колоннзацни». Да, даже Карамзнн стремнлся выразить свою, обобщающую прошлое, фнлософскую мысль, когда пнсал: «Читатель заметнт, что опнсываю я деяиня не врозь, по годам и дням, но совокупляю их для удобиейшего впечатлення в памятн. Историк—ие летопнсец: *последиий смотрит единственно на время*,

а первый — на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место...» (История государства российского, т. I). Это же стремление, еще более убедительно и политически более ясно выраженное, мы находим у Ключевского, этого блестящего продолжателя и последователя европейской исторической мысли XIX в.: «В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения»... Выяснить пути возвышения русского государства—такова была политическая установка его работ.

Два пути предстояли М. Н. Покровскому, когда он к 1905 году, окончательно очистившись от шлаков буржуазного либерализма и радикализма, выступил на широкую дорогу марксизма и пролетарской борьбы. Он мог дать науке интересную монографию по тому или другому частному вопросу; он мог дополнить свой «Земский собор» еще одним не менее блестящим исследованием, но он мог поставить себе и другую цель, — обобщить материал прошлых исследований, осветить его новой марксистской мыслью, чтобы старой схеме или старым классовым схемам русского исторического процесса противопоставить новую марксистскую схему. Он выбрал последний путь и выполнил в данном случае задачу, которую российский пролетариат, идущий к победе, должен был поставить перед наукой, так как в этом логика исторического процесса роста и возвышения всякого класса. Это была служебная задача, блеск выполнения которой и служит мерилом научных сил историка-революционера.

Вот почему велико историческое значение «Русской истории, с древнейших времен». — «Мы не стремимся, — писал М. Н. в предисловии к I тому,—ни к каким историческим открытиям, ни в области фактов, ни в деле освещения отдельных, специальных научных проблем. Мы будем исходить от того, что ранее нас добыто историками-специалистами по тому или иному вопросу... Если мы, однако, собираемся брать целиком у других исследователей первоисточников их материал и отказываемся заранее от всяких претензий на оригинальность в этом случае—это не значит, что мы осуждаем себя на роль простых компиляторов. Мы не можем быть ими: нам нечего компилировать. Существующие в нашем научном обороте исторические обобщения почти целиком принадлежат той научной формации, которая сама готова стать предметом истории. Трудность нашего положения в том и состоит, что материал, собранный историками-идеалистами, нам приходится обрабатывать с материалистической точки зрения»...

Новая идея, которая должна была вскоре стать «политической силой», таким образом, слишком скромно манифестовала свое появление на исторической арене. Сама книга М. Н. Покровского не могла бы появиться, если бы ей не предшествовали долгие годы пред-

варительной кропотливой работы автора над отдельными конкретными вопросами русской истории. Кроме того, новая схема исторического процесса, марксистская синтетическая мысль, лежащая в основе его книги, по-новому осветила факты прошлого и увидела в них то, чего не видели предшественники М. Н. Покровского. Основной труд М. Н. сыграл, таким образом, историческую роль не только своей методологической установкой, но и тем, что он дал для конкретного анализа нашего прошлого. Книга М. Н. была попыткой анализа русской истории под углом зрения истории капитализма; это была попытка представить русское прошлое, как историю классовой борьбы, чтобы показать, как восходящая к власти буржуазия этой страны неизбежно уступает свое место трудовой демократии,—пролетариату и крестьянству. Это была попытка в развернутом виде не только социологически, но и конкретно исторически нарисовать весь путь нашей социально-экономической и политической эволюции. Книга М. Н. Покровского была поэтому началом новой эпохи в исторической науке, выгодно отличающей ее от работ других марксистов или почти-марксистов (их были единицы), которые так или иначе занимались русской историей. Сам Покровский, как историк, являлся учеником Маркса и Ленина, учеником основоположников русского марксизма конца XIX и начала XX вв.

Показать русское прошлое, как процесс развития капиталистического хозяйства, это значило вплести его в общую схему европейского развития; это значило само национальное своеобразие русского прошлого об'яснить, как «частный случай» общих законов исторического развития. Только так можно было понять кровавый путь нашей революционной борьбы, то «возвышение четвертого сословия» в России, чьим историком выступает М. Н. Покровский.

И если в ходе своих дальнейших научных работ автор «Русской истории» вынужден был отбросить некоторые части своей схемы, то это не уничтожало и не колебало ее в целом, прежде всего потому, что она является зрелым плодом исторического развития нашей науки. М. Н. Покровскому для дальнейшего углубления своей концепции приходилось делать «исторические открытия и в области фактов, и в области освещения отдельных специальных научных дисциплин», ему приходилось упорно преодолевать остатки «экономического материализма», этой философской и социологической мешанины, которые долго мешали отчетливости его синтетической марксистской мысли. После революции 1917 г. он продолжил, углубил и дополнил то дело, которое он начал еще в годы первой революции. М. Н., как воинствующий историк-марксист, был теоретически оформлен пролетарской революцией. В этой борьбе, как активный работник большевистской печати, как первый председатель Московского Совета, как руководитель нашей вузовской политики, он не только

практически действовал, но и теоретически мыслил.

Революция открыла не только сейфы, но и архивы. Она дала возможность М. Н. Покровскому подкрепить свою схему, ее обновить, исправить и развить на основании огромной массы первоисточников. Октябрьская революция способствовала, таким образом, расцвету марксистской исторической науки в области русской истории, начало которой М. Н. Покровский положил еще задолго до революции 1917 г.

В исторической схеме М. Н. Покровского много места занимает анализ роли и значения торгового капитализма в русском историческом процессе. Некоторые готовы его обвинить даже в том, что торговый капитализм стал для него своеобразным «идеальным типом». Но это совершенно не основательно. Для М. Н. характерна историческая постановка проблемы; он вскрывает и рисует нам тот процесс вовлечения деревни в товарный оборот, который создал предпосылки для исторической роли торгового капитализма в России в XVI веке; он показал и вскрыл те условия, которые задержали его дальнейшее развитие со второй половины этого столетия; он исследовал вопрос о причинах, которые замедлили переход России на путь промышленного капитализма на протяжении XVIII—XIX вв., и об'яснил нам условия промышленного под'ема страны в конце XIX в. М. Н. Покровский вскрыл, наконец, и те специфические формы, которые характерны для русского торгового капитализма. То значение, которое он придает «хлебу» в нашей истории, приносит нам не меньшую пользу для выяснения особенностей русского исторического процесса, чем «шерсть» при об'яснении английской истории.

Однако не только в этом методологическое значение указанной выше хозяйственной формации для об'яснения нашей истории. Схема Бюхера долго господствовала в исторической литературе; она принесла в свое время исследователям огромную пользу, она была для буржуазной историографии той центральной социологической мыслью, которая вывела их из царства вульгарного эмпиризма и послужила им прикрытием при атаке на исторический материализм. Но за последние десятилетия буржуазная историография вынуждена была отказаться от этой схемы; схема Бюхера была отброшена благодаря открытию огромной массы новых фактов, стоящих в полном противоречии с нею. И тогда «об'ективные историки» ударились в противоположную крайность. Там, где раньше было царство натурального хозяйства, они обнаружили одновременно «капитализм». Они абстрагировали его от конкретно-исторического содержания, вытравили его социальные признаки и «вне времени и пространства» начали оперировать им как обобщающей, синтетической мыслью, необходимой как воздух буржуазной науке эпохи заката. Но и в том, и в другом случае буржуазная историография не могла понять диалектики исторического процесса; она не поняла его революционности, его катаклизмов и одновременно медленного темпа их подготовки. Они готовы были даже 24 главу тома I «Капитала» истолковать как попытку марксизма ана-

лиз молекулярных процессов экономического развития и разложения натурального хозяйства заменить «фактором насилия». Для них в этом, и только в этом, содержание торгового капитализма «по Марксу». Но они не поняли, что в 24-й главе первое служит предпосылкой для второго, кровавое насилие возвышается над мучительным процессом «мирного» разложения докапиталистических форм хозяйства. Словом, они факты экономического развития попытались понять вне социальных отношений, ими порожденных и их определивших. Анализ понятия «торговый капитализм», его изучение, как известной фазы исторического развития капиталистического общества, чему посвятил много внимания М. Н. Покровский, служит нам противоядием в борьбе с юридической школой, все сводящей к некоторым правовым нормам даже тогда, когда последние являются только пережитком, и по ним определяющей общественную структуру, как и в борьбе с теми, кто готов модернизировать прошлое только потому, что они не видят и не могут понять борьбы противоречивых начал в каждой данной общественной формации. Стоит только вспомнить споры об экономическом развитии средних веков, о том, являлась ли Франция XVIII столетия страной капиталистической промышленности или «натурального хозяйства», чтобы оценить методологическое значение понятия «торговый капитализм», которым М. Н. Покровский широко пользуется в своей схеме русского исторического процесса. Его концепция дает нам возможность понять те силы, которые разлагали докапиталистические отношения в России, и те исторические условия, которые препятствовали нашему быстрому переходу к промышленно-капиталистической эпохе.

М. Н. поэтому совершенно прав, решительно отметая обвинение в том, что его «торговый капитализм» противоречит диалектике. «Диалектика и быстрота развития—это совсем не одно и то же... Вовсе не обязательна кинематографическая быстрота для того, чтобы было диалектическое развитие». До появления машины «неизменное сохранение старого способа производства было первым условием существования всех прежних (докапиталистических) промышленных классов» (Комм. Маниф.). При этом надо помнить, что капитализм не является «одноцветным сукном». «В XVI веке,—утверждает М. Н.,—у нас существовал не только торговый капитализм и патриархальное крестьянское хозяйство в неизмеримо более распространенном виде, нежели оно существует сейчас, но и мелкое торговое, мелко-товарное хозяйство точно так же, как существует сейчас. В XIX в., к концу, картина становится еще пестрее, потому что тут начинает действовать диалектика развития капитализма вообще, и торговый капитал рождает своего антагониста—промышленный капитал. Значит к торговому капиталу и ко всем патриархальным и прочим видам хозяйства прибавляется еще промышленный капитализм»... Картина становится пестрее, но она не ползет в разные стороны, потому что каждая эпоха имеет свой стержень: для одной этот стержень в торговом, для другой в промышленном капитализме; в XX в. русская история органи-

ческая часть «эпохи империализма». Таким образом, М. Н. Покровский пытается наше историческое прошлое представить как сложный процесс борьбы противоречивых сил, т.-е., в конечном счете, марксистский анализ прошлого, а не вульгарную схему «экономического материализма».

Две области русской истории после революции стали предметом особого внимания М. Н. Покровского—история внешней политики царской России и наше революционное прошлое. И в той и в другой области он оперирует огромным архивным материалом, разработка которого начата им и продолжается под его руководством. В области истории внешней политики М. Н. Покровский дал нам не только анализ того или другого эпизода дипломатической истории. Он и здесь в тесной связи со всеми своими исследованиями по внутренней истории показал нам внешнюю политику русского царизма XIX—XX вв. как политику ее имущих классов в интересах русского капиталистического развития. И здесь ярко обнаружилась одна особенность его работ—теснейшая связь его исследований о прошлом России с изучением истории европейских государств. Его «Ламартин, Кавеньяк и Николай I» представляет в этом смысле наилучший образчик истории «по Покровскому».

Особое значение имеют работы М. Н. по истории войны 1914 года. Эта тема, как мы знаем, стоит в центре внимания «беспартийной, об'ективной науки» современной Европы. До сих пор вопрос о «виновниках войны» поглощает все внимание буржуазных историков, этих стыдливых политиков, экспериментирующих в прошлом. Последний всемирный конгресс в Осло служит этому наилучшей иллюстрацией. Конгресс с восторгом выслушал заявление М. Н. о том, что в СССР приступают к публикации материалов по истории войны 1914 г., конгресс приветствовал проф. Покровского, как человека, который своими публикациями документов не мало помог мировой науке. Ученые историки в Осло, однако, забыли одну деталь—возможность плодотворной работы М. Н. Покровского создана была русской революцией. «История — наставница жизни, жизнь учит нас понимать историю»...

М. Н. Покровский по праву заслужил название главы марксистской школы по изучению нашего революционного прошлого. Вот область, где история сливается с политикой, где М. Н. Покровский не только повествует и об'ясняет прошлое, но и поясняет волю партии, членом которой он состоит около четверти века. Практический интерес является здесь мудрым путеводителем по архивным хранилищам, но и в этом случае истина остается об'ективной потому, что она обслуживает интересы пролетариата, по об'ективным, «железным законам» истории, творящего новый мир, более «истинный», чем все то, что ему предшествовало. Его работа о декабри-

стах вызвала бурю возмущения у либеральных историков, так как она показала эпигонов в их натуральном виде; он в своих исследованиях о народничестве сумел отделить подлинно революционное наследство от того, что принадлежит «либералу с бомбой»; в своих работах о первой революции он отбросил меньшевистскую историческую схему и вместе со своими учениками попытался дать подлинно большевистскую историю 1905 года; он, наконец, приступил к разработке материалов по истории Октября.

Все эти работы М. Н. только начаты; он не претендует на то, что его работы являются «последним словом» научной мысли; он же опасается противоречить себе, отказываясь иногда от того, что утверждал раньше по тому или другому частному историческому вопросу, чтобы установить прочные вехи для дальнейшего исторического исследования...

Мы, конечно, не исчерпали темы, мы не подвели итогов работы М. Н.; нам в краткой статье не представляется также возможным остановиться на оценке М. Н. Покровского, как популяризатора, блестящего стилиста и остроумного оратора. Но мы не можем обойти молчанием его роли, как борца с буржуазной идеологией на нашем историческом фронте, как воинствующего историка-марксиста, всегда готового обрушиться с разящей иронией на сторонников компромисса, «академического приличия» по существу наиболее опасных врагов нашей молодой марксистской науки.

М. Н. Покровский представитель той малочисленной интеллигенции, которая всю свою жизнь отдала пролетарской борьбе; он вошел в ряды бойцов пролетарской армии и занял там достойное место. Более четверти века он ведет борьбу с академической наукой, искренне ненавидящей М. Н. за его марксизм, за его «якобинизм»,.. «Профессора» боятся его иронии («ирония—радость мудрости»—А. Франс), потому что они чувствуют за ней острый меч классовой критики. Да и, в самом деле, может ли быть примирение между ученым революционером и теми, кто еще в 1915 году превозгласил Николая II шефом исторической науки и теперь в эмиграции продолжает свои «славные» традиции?.. Не может быть примирения между ним и теми, кто у нас в СССР «молчит лукаво», время от времени об'являя о неизучности марксистского метода, о его непригодности как метода исторического исследования. М. Н. Покровский ведет давно с ними борьбу, но он не менее решительно разоблачает и тех, кто под флагом марксизма протаскивает давно залежалый товар.

М. Н.—один из учителей новой интеллигенции, призванной к жизни пролетариатом. Она должна сменить и сменит тех «академиков», которые служили и служат богам капитала. Не об этой ли интеллигенции мы читаем у Лукиана: «Появился на земле особый вид людей, который сравнительно недавно приобрел большое влияние на человеческое общество, людей праздных, сварливых, тщеславных,

вспыльчивых, лакомых, глуповатых, надутых спесью, полных наглости, словом людей, представляющих, по выражению Гомера,

...земли бесполезное бремя.

Эти господа распределились из общества, придумали самые разнообразные лабиринты рассуждений и называют себя стойками, академиками, эпикурейцами, перипатетиками и другими, еще более забавными, именами. Прикрываясь славным именем добродетели, приподнимая брови, длиннобородые, они гуляют по свету, скрывая свой гнусный образ жизни под прикрашенною внешностью. В этом они как нельзя более напоминают актеров в трагедиях: снимите с них маску и шитые золотом одеяния—и перед вами остается жалкий человек, который за семь драхм готов играть на сцене...

...Но возмутительнее всего то, что, совершенно не заботясь о пользе государства или частных лиц, оказываясь безусловно лишними и бесполезными как на войне среди воинов, так и в собрании народном, они осмеливаются осуждать поведение других, направляют против них горькие речи, заботясь лишь о том, чтобы подбирать ругательства, порицают и бранят всех, кто приходит в соприкосновение с ними... А между тем, спросите одного из этих многоречивых крикунов и порицателей: А сам-то ты... Что ты делаешь, какую пользу ты приносишь в жизни? И если ответ последует правильный и искренний, то вот что вы услышите: «Мореплавание, земледелие, военная служба, всякое другое ремесло—кажутся мне бесцельными; я кричу, валяясь в грязи, моюсь холодною водою, зимою хожу босиком и, как Мом, доношу обо всем, что бы ни случилось. М. Н. Покровский ненавидит эту интеллигенцию, которая не исчезла еще и в наши дни: он ненавидит ее со всей страстью революционера. Интеллигенция имущих классов претендует на привилегии, она требует прав без обязанностей. Об этом говорит Кодекс Юстиниана—«Грамматики, ораторы и учителя философии так же, как и врачи, должны быть освобождены от общественных повинностей и пользоваться привилегиями, дарованными им в силу ранее изданных санкций... Всякий, уличенный в непристойном и наглом присвоении себе внешности философа (платье, борода, прическа), за исключением признанных сведущими авторитетными профессорами, должен быть выслан на свою родину». Подобные претензии в наши дни не менее отвратительны, чем во времена Лукиана. Эта кастовая интеллигенция порождена классовым обществом, ее дополнением служит невежество масс... Только пролетарская революция создала предпосылки для ее уничтожения. Мы добьемся этого, прежде всего укрепляя нашу марксистскую науку, наши научные позиции. М. Н. Покровский, как ученый и революционер, на боевом участке идеологического фронта выполняет и руководит выполнением этой задачи,—задачи, поставленной перед ним пролетариатом. Он строит новую науку с энергией и талантом блестящего историка и революционера-большевика.

Л. Аксельрод на пути от материализма к позитивизму.

Ник. Карев.

> Хвастовством и грубым словом
> Не сразишь, как томогавком;
> Дело лучше слов бесплодных
> И острей иасмешек стрелы.
> Лучше действовать, чем хвастать!
> Из «Песни о Гайавате»

Последиие статьи Л. И. Аксельрод, частью собраииые в недавно изданиом ею сборнике «В защиту диалектического материализма»¹), заставляют иас еще раз вериуться к спорам, ведущимся вот уже ряд лет вокруг иекоторых важиейших положеиий марксистской философии. Предполагая, что история споров читателям иашего журнала в осиовиом известиа, мы позволим себе перейти без предисловий к самой сути дела—рассмотреиию тех иовых положений, которые виосит иные Л. И. Аксельрод в аргументацию наших противников. Тем самым мы пойдем иидуктивным путем, которому современные иисповергатели «схоластики» не устают воскурять фимиам. Надеемся, что «механисты» ие заподозрят нашу критику в «нелояльиости» после того, как оиа будет развита в иаиболее приятной для их форме.

1.

Сборник статей Л. И. Аксельрод иачииаетси с предисловия, предисловие же со своеобразиой периодизации истории марксистской философии в России. Л. И. Аксельрод полагает, что в иастоящее время «в третий раз в истории русского марксизма мы стоим перед философской ревизией». Родоиачальииками философского ревизионизма в области марксистского мировоззрения были «легальные марксисты» 90-х годов, стремившиеся соедииить марксизм с каитиаиством. Однако «механическое соедииение Маркса с Каитом вскоре распалось, и великий философ, идеолог буржуазии коица XVIII столетия и начала XIX-Каит, вытесиил идеолога пролетариата—Маркса. Печальный конец этих ревизиоиистов всем известен». За иими последовали люди, стремившиеся опять-таки механически соедииить исторический материализм с эмпириокритицизмом. «Господствовавшая в ту эпоху в Западной Европе эмпирио-критическая философия сошла со сцены. Это течение рассеялось как-то (!) иезаметио (!!) и в иашей русской мысли». Накоиец, в настоящее время мы имеем, следуя Л. И. Аксельрод, новую, третью разиовидность ревизиоиизма—«по сути дела также механическое соедииеиие диалектического материализма с гегельянством». «Это соединение является тем более опасиым для марксизма, что последиий действительно связаи исторически с философией Гегеля».

¹) Л. И. Аксельрод (Ортодокс). В защиту диалектического материализма. Против схоластики. Гиз. 1928 г. Стр. 250.

Каковы причины появления такого рода ревизионизма? Они заключаются в том, что, признав необходимым для изучения Маркса предварительное изучение Гегеля, представители этого рода ревизионизма, Деборин и «деборинцы», не будучи в состоянии справиться со столь трудной задачей, попали в плен к Гегелю, удаляясь все более и более от материалистических основ диалектического материализма.

Как бороться с этого рода ревизионизмом? Следует ли изучать Гегеля? «Конечно, следует, но за Гегеля нужно приняться, лишь обладая предварительной основательной марксистской и общефилософской подготовкой». «При этом необходимом условии изучение Гегеля может сильно способствовать развитию диалектического мышления» (стр. 3—4).

Такова философия «текущего момента» в истории русского марксизма, развиваемая ныне Л. И. Аксельрод. В ней удивительно все—от начала до конца. Вдумываясь в нее, невольно кажется порой, что Л. И. Аксельрод в своих последних выступлениях решила следовать совету Океана из эсхиловского «Прикованного Прометея»:

Казаться глупым умному не страшно.
Но ведь и у Эсхила же она могла найти ответ:
Ты так умен: ужель не знаешь,
Какая мзда грозит пустым речам?

Впрочем, речи Л. Аксельрод в данном случае не только пусты. Содержание их—не столько в том, о чем они говорят, сколько в том, о чем они умалчивают.

В самом деле. Прежде всего—как преподносит Л. Аксельрод тот общеизвестный факт, что в истории русского марксизма—как, впрочем, и в истории марксизма вообще—эмпириокритическая разновидность философского ревизионизма выступает позже кантианской? Она сервирует читателю этот факт таким образом, что обеляет обе эти разновидности ревизионизма в наше время.

Во-первых, кантианская разновидность ревизионизма сводится ею к ревизионизму «легальных марксистов», очень быстро перешедших окончательно «от марксизма к идеализму», от Маркса к Канту, и далее—к различным мистическим воззрениям в духе православной ортодоксии. Но ведь попытки соединения Маркса с Кантом далеко не ограничиваются легальным марксизмом 90-х годов. Ведь в международной социал-демократии, все еще кляиущейся именем Маркса, и по сей день преобладает в области философии неокантианство. Ведь кантианец К. Форлендер в наше время является фактически официальным теоретиком германской социал-демократии, печальный конец которой, мы не сомневаемся, близок, но 12-й час которой, к сожалению, до сих пор еще не пробил. Ведь, даже если отвлечься от заграницы, и в России у нас до сих пор не перевелись защитники кантовского категорического императива, пытающиеся «механически» соединить его с марксизмом. Вы, может быть, скажите, что они находятся вне марксизма, это будет совершенно верно, но ведь и всякий ревизионизм находится вне марксизма.

Очевидно, молчание Л. Аксельрод говорит красноречивее ее слов. Л. Аксельрод не признает об'ективного существования случайности. Мы также думаем, что забывчивость Л. И. Аксельрод в данном случае во всех отношениях не случайна. Отпущение грехов современным ревизионистам — кантианцам составляет для нее необходимую предпосылку критики зловредных «диалектиков». Не даром важнейший теоретический орган нынешних героев II Интерна-

ционала «Die Gesellschaft», в статье русского меньшевика М. Вернера, выразил свою солидарность с теми, кто выступает против «гегелевской схоластики» в Советской России [1]).

Не менее странна, чем характеристика кантианской разновидности реяизионизма, и характеристика, даваемая Л. Аксельрод «марксистам»—от эмпириокритицизма. Оказывается, что и этот тип идеализма в Западной Европе уже «сошел со сцены». Л. И. Аксельрод страдает странным сужением поля зрения. Сцена современности, с ее точки зрения, целиком занята ненавистными Дебориным и «деборинцами». Сколь ни лестна «деборинцам» подобная картина, приходится, однако, констатировать, что, к сожалению, на деле имеет место нечто иное. В Западной Европе до сих пор широко распространен эмпириокритицизм от социал-демократов Отто Бауэра и Фридриха Адлера, через самые разнообразные виды услужающей буржуазии профессорской философии, вплоть до очень и очень многих естествоиспытателей. Махизм, эмпириокритицизм, различные виды позивитизма я прагматизма—не прошлое, а настоящее. Он—не только проблема истории философии, а и проблема философской борьбы наших дней. Сказать, что махизм уже сошел со сцены—это значит прикрывать, амнистироять его, отводить от него удары марксистской критякя. Сказать это может лишь человек, который хочет примирить марксязм с современными формами махизма. Что современный крязис в естествознании иепрерывио порождает махизм, Л. Аксельрод может узнать даже у иеискушенного в современной философии сяоего соратника по оружию А. К. Тимирязева. Впрочем, первая добродетель фялософа—последовательность, А. К. Тимирязева же никто не сочтет за философа, вследствие чего он может признавать и то, что не умещается в системе воззрений его единомышленицы—Л. И. Аксельрод.

Итак, в Западной Европе, согласно благой вести, возвещенной Л. И. Аксельрод, «эмпириокритическая философия сошла со сцены». Но, может быть, у нас я России дело обстоит менее благополучио? И на этот вопрос у Л. Аксельрод есть недвусмысленный ответ.—«Это течеиие рассеялось как-то незаметно и в нашей русской мысли». Это «как-то иезаметио» — бесподобно. Настоящий шедевр глубины и остроты анализа!

«Рассеялось как-то незаметно»! Легко написать. А как трудно поверить, иесмотря на то, что уяеряет мэтр!

Богдановщина, тектология, махизм естествоиспытателей, цепляющийся у иас за всякую нояую теорию в физике и биологии, отрицаиие об'ективной истины в кругу союзников самой Л. И. Аксельрод—где же «рассеяние», да еще «иезаметиое»?

Правда, беспощадная критика, которой подвергля махизм в эпоху реакции Плехаиов и Ленин, реяолюция, яыкорчевавшая многих устоев, иа которых он держался, отсутствие яозможности широкого открытого выступлеиия я условиях диктатуры пролетаряата—нанесли эмпириокритицизму ряд сокрушающих ударов. Очень и очень заметиых! В своем яеликолепиом «как-то иезаметио» Л. Аксельрод ухитрилась ие заметить... революцию! Но, иесмотря иа все эти удары, махизм, эмпириокритицизм не добит до сих пор еще и в нашей российской действительности. Конечио, с точки зреиия прогресса знаиия ои мертв, и трупиым запахом заражается ясе то, что с ним соприкасается. Но с этой точки зреиия ои иикогда и ие жил, будучи, равно как и неокаитианство, лишь проявлеиием декадаиса буржуазной фило-

[1]) «Die Gesellschaft». № 7 за 1927 г., стр. 54.

софской мысли. Как явление же социальной действительности, он не только в Западной Европе, но и у нас, к сожалению, до сих пор поднимает голову. Нет ничего вреднее, поэтому, чем признание этих основных видов идеалистической ревизии марксизма якобы несуществующими.

Прикрыть современный доподлинный ревизионизм Л. Аксельрод нужно для того, чтобы основной и единственной, в сущности говоря, опасностью в наши дни об'явить «гегельянство». Л Аксельрод провозглашает отпущение грехов современным ревизионистам-идеалистам, чтобы тем решительнее напасть на диалектику. В этом «короткий смысл всей длинной речи». Короткий—во всех отношениях.

Что же порождает в наших условиях гегельянство, эту новую и опаснейшую разновидность ревизионизма в марксизме? Каковы его корни?

И вновь перед нами «марксистский» анализ Л. Аксельрод во всем его блеске. Дело, видите ли, в том, что, признав необходимым изучение Гегеля, люди не справились с ним, и потому стали удаляться от материализма. Опасен этот «уклон», так как Маркс действительно был связан с Гегелем в развитии своего мировоззрения. Изучать же Гегеля следует, лишь обладая предварительной марксистской и общефилософской подготовкой. Тогда «изучение Гегеля может сильно способствовать развитию диалектического мышления». Для нашего времени все эти глубокомысленные рассуждения звучат как: лошади едят овес, Волга впадает в Каспийское море. Давалось ли когда-либо человеком, претендующим на глубину марксистского анализа, нечто—да простят нас, но это будет вполне адэкватное выражение—нечто более убогое?

Стоит сравнить лишь с этой безвкусной жвачкой общих мест то, как ставил проблему Ленин, которого Л. Аксельрод в свое время, в рецензии на «Материализм и эмпириокритицизм», упрекала в отсутствии «гибкости философского мышления, точности философских определений и глубокого понимания философских проблем». Нет человека, которого Л. Аксельрод не упрекала бы в отсутствии тонкости и глубины, в то время, как она сама в своем последнем произведении, на протяжении 250 страниц, не дает хотя бы сколько-нибудь обстоятельного рассмотрения ни одной проблемы, ссылаясь всякий раз, как только доходит до сути дела, на «тонкость» и «сложность» темы. Глубина и точность философского анализа не измеряются ни числом остроумных или претендующих на остроумие сравнений, ни количеством рассказанных анекдотов. Уж не потому ли, что в «Материализме и эмпириокритицизме» очень мало анекдотов—Л. Аксельрод в свое время писала, что своей книгой Ленин не внес по существу ничего нового по сравнению с теми, кто писал на философские темы до него[1]), ухитрись проглядеть хотя бы пятую главу, посвященную кризису я современной физике (не даром, ведь, сейчас Л. Аксельрод выдает себя за блюстителя прав естествознания!). И уж не потому ли, что в письме Ленина журналу «Под Знаменем Марксизма» «О значении воинствующего материализма» нет ни одного стишка, Л. Аксельрод не заметила в нем указания на причины, обязывающие в наше время изучать Гегеля, несмотря даже на неизбежные в таком деле ошибки? Ленин ставит во главу угла для современной марксистской философии разработку материали-

[1]) См. Н. Ленин Соч., изд. 3-ье, т. XIII, стр. 329

стической диалектики, без которой материализм, го словами Ленина, в наше время может быть не столько сражающи сколько сражаемым. Почему? Потому, что к этому обязыв кризис, переживаемый современным естествоз нием, потому что «современные естествоиспытатели найдут (сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистичес истолковании диалектики Гегеля ряд ответов на те философские просы, которые ставятся революцией в естествознании и на кото «сбиваются» и реакцию интеллигентские поклонники буржуа: моды» [1]). Потребности современного естествознания, о кото столь пекутся Л. Аксельрод и ее друзья, поклоняясь лишь a posteriori, застявляют нас изучать Гегеля, приводят к тому, что і нейшей опасностью для марксизма оказывается, с точки зрения Лен не изучение Гегеля, а забвение о нем.

Во-вторых, изучение Гегеля выдвигают на первый план и пот ности современного обществоведения. Мы живем в пе ходную эпоху. Всюду кипит борьба между старым и новым. О рают одни формы общественной жизни, законы, категории, на с их выступают другие, новые. Понять этот противоречив процесс можно, лишь владея логикой противоречий, диа тической логикой.

Но что до всего этого Л. Аксельрод? Ведь в своей периоі дии истории русского марксизма она умудрилась не отметить : Октябрьской революции!

И уж не потому ли, что и революция в естествознании, к р люция в общественной действительности, требуют разработки ди тики—Л. Аксельрод сосредотачивает огонь своей критики на «диа тиках»?

Диалектика в наше время неразрывно связана с материализ Выступив против диалектики, Л. Аксельрод вынуждена логикой бор амнистировать современный ревизионизм и его идеалистичес форме. Тем самым она сама вступает на путь, ведущий от ма риализма.

Куда он ведет, мы постараемся показать на разборе несколь затронутых в книге проблем. Начнем с вопроса об отношении со: жания нашего мышления к бытию.

II.

Наиболее выпукло нынешние воззрения Л. И. Аксельрод по эт вопросу выступают в ее статье «Коренные вопросы диалектичес материализма». Статья представляет доклад, читанный Л. И. Аксель 19 декабря 1927 года в театре им. Вс. Мейерхольда на диспуте аналогичным названием [2]). В своем докладе Л. Аксельрод касалась п блемы отношения материалистической диалектики к эмпиризму. этому поводу автор этой статьи в своем выступлении по докл Л. И. Аксельрод сделал следующее замечание (в виду того, что явилось исходным пунктом для всех последующих рассужде Л. Аксельрод, приводим его полностью):

«Совершенно верно, что диалектический материализм стоит на эм рической точке зрения в том смысле, что содержание нашего знания

---

[1]) «Под Знаменем Марксизма, № 3 за 1922 г., стр. 10.

[2]) Изложение основных положений этого доклада было напечатано в « Знаменем Марксизма» за 1928 г., № 1. Л. Аксельрод теперь выражает свое н дование по поводу того, что журнал позволил себе дать отчет о диспуте в кращенном виде, приложив к нему стенограмму речей товарищей, выступ

рассматривает, как имеющее своим источником опыт, но при этом нужно понимать, какое значение в постановке опыта и в обработке данных опыта играет мышление и какого рода эмпиризм признавался основоположниками марксизма, в каком отношении этот эмпиризм стоит к тому эмпиризму, на почве которого стояли идеалистические эмпирики, кончая Юмом, подготовившие кантианство, и к тому эмпиризму, который до сих пор господствует во многих областях естествознания. Энгельс говорил, что Гегель выше очень многих и даже всех индуктивных ослов вместе взятых именно потому, что он возвысился над тем эмпиризмом, который не умел перейти от частного к общему. В чем заключается отличительная черта рационального эмпиризма, на почве которого стоит диалектический материализм? Вопрос о возможности установления законов всеобщности и необходимости их разрешается не тем путем, каким, исходя из рассмотрения Юма, хотела итти докладчица. Диалектический материализм рассматривает общие понятия не как нечто лишь суб'ективное, чему ничто не соответствует в действительности, а как отражение того общего, что в ней имеется. На это стремились возразить (возражение это принадлежит Струве, по этой же линии пытался критиковать марксизм Зомбарт), что марксизм в данном случае впадает в средневековый реализм, что Маркс, признавая, что общие понятия соответствуют некой реальной действительности, таким образом, приходит к гипостазированию общих понятий и становится на почву гегелевского идеализма. На самом же деле упражнения Струве, все возражения Зомбарта и их современных подголосков не выдерживают никакой критики, так как средневековые схоластики считали, что понятия либо предшествуют вещам, либо обитают в них; мы же считаем, что общие понятия, создаваемые нашим мышлением, представляют лишь отражения того общего, что есть в самих вещах.

В «Диалектике природы» Энгельса есть замечательная статья «Естествознание в мире духов». Энгельс обращает внимание на то, что очень многие крупные естествоиспытатели, стоящие на эмпирической точке зрения, признают существование неких таинственных суб'ектов, приходят к признанию существования духов, признают спиритизм и т. д. Почему же крупные умы, которые имеют дело в своей практической работе исключительно с материальными явлениями, оказываются признающими теоретически возможным существование духов? Об'яснение этого Энгельс видит в их ограниченном, вульгарном эмпиризме. Исходя из этого вульгарного эмпиризма, многие естествоиспытатели считают, что, не сходя с научной, эмпирической точки зрения, мы можем говорить лишь об отдельном, единичном, наши общие понятия не имеют реальной значимости, и поэтому для того, чтобы преодолеть спиритизм, естествоиспытатель должен в каждом данном случае вскрыть подлог или обман. Именно в силу господства среди

в защиту диалектического материализма. Л. И. Аксельрод, очевидно, не известно, что элементарным правом всякого журнала или газеты является давать отчеты о тех или иных собраниях, по своему усмотрению уделяя большее или меньшее место тем или другим выступлениям. Л. Аксельрод, очевидно, забыла уже, что в свое время с.-д. печать также регулярно давала отчеты хотя бы о прениях в Гос. Думе, излагая полностью речи своих депутатов и вовсе не считая нарушением «простых законов права и нравственности» сокращение речей правых зубров и либеральных болтунов. С каких же пор и наши дни марксистский журнал обязывается предоставлять свои страницы ревизионистской проповеди? Претензии Л. Аксельрод были бы правильны лишь в том случае, если бы краткий отчет о ее речи исказил смысл доклада. Но в этом отношении даже у Л. Аксельрод не нашлось ни слова возражения.

естествоиспытателей ограниченной, вульгарно-эмпирической точки зрения, некоторые из них приходили к признанию сверхъестественного, сверхчувственного, сверхопытного. Эта важнейшая мысль энгельсовской «Диалектики природы» осталась вне поля зрения докладчика.

По поводу этого замечания Л. Аксельрод выступает с целым ворохом обвинений, сквозь которые довольно явственно выступает ее собственная точка зрения, дающая, как нам кажется, ключ к пониманию всей ее нынешней философской позиции.

Должен заранее оговориться, что мы считали бы для себя унизительным в теоретическом споре отвечать на те личные замечания, которые позволяет себе Л. Аксельрод. Нас, «диалектиков», интересует лишь содержание и логика того, что написано, и нам глубоко безразлично, какого мнения о наших способностях, знаниях и поведении современная философская «княгиня Мария Алексевна». Тем более, что, — скажем прямо, — о ее поведении и ее симпатиях за последние 14 лет мы мнения неважного.

Итак, с чем несогласна по существу Л. И. Аксельрод в приведенной цитате?

Во-первых, Л. Аксельрод полагает, что из приведенной цитаты следует, что «опыт (мною) берется в готовом виде, мышление также в готовом виде, опыт есть «источник содержания знания», мышление (в книге напечатано: мышления,—очевидно опечатка), по-видимому, форма. Опыт, следовательно, по Кареву, сам по себе лишен формальных свойств и т. д.» (стр. 227).

Характеризуя далее мою оценку различных видов эмпиризма, Л. Аксельрод утверждает, что, с моей точки зрения, «первый род эмпиризма (типа Юма) отвергает мышление, а второй род мышление признает». Но «разве идеалистические эмпирики Юм, Кант и кантианцы не признают роли мышления? Ведь именно Кант стремился об'единить эмпиризм с рационализмом, или, как это следует из рассуждения тов. Карева, рационализировать опыт. Ведь вся ошибка Канта заключалась в том, что он оторвал форму опыта от содержания опыта, априорные формы от чувственности [2])... Тов. Карев берет кантовский дуализм только, конечно, в самой вульгарной его форме, приписывая его диалектическому материализму».

Таково первое, как-бы предварительное, возражение Аксельрод. Неизвестно лишь,—чему более удивляться в нем: изяществу изложения взглядов противника или изяществу их критики.

Прежде всего, откуда следует, что в своем рассуждении о роли мышления в процессе научного познания я беру опыт и мышление «в готовом виде», да еще при этом рассматривая мышление как придающее форму опыту? Где это написано или из каких положений это следует? Недостаточно состоять в блоке с А. Варьяшем для того, чтобы оправдать следование его методу полемики. У меня сказано, что содержание нашего знания имеет своим источником опыт, и что, признав это положение, нельзя им ограничиться и необходимо далее выяснить, какую роль в постановке опыта и обработке его данных играет мышление. Что отсюда следует? Во-первых, что я рассматриваю знание как процесс, исходящий из опыта и опирающийся на полученные в опыте данные, на факты опыта. Т.-е., тем самым,

[1]) «Под Знаменем Марксизма» за 1928 г., № 1, стр. 214—215.

[2]) Написано неграмотно. Кант признавал существование не только априорных форм рассудка, но и существование априорных форм (пространства и времени) самой чувственности. Кант оторвал априорные формы не от чувственности вообще, а от данного в чувственном опыте многообразия содержания

как раз утверждаю, что ни опыт, ни мышление не могут браться изолированно друг от друга, в раз навсегда данном состоянии. Признав эмпирическую основу знания, примат опыта, я выдвигаю затем проблему дальнейшего взаимного опосредствования опыта и мышления. Л. Аксельрод же ухитряется из этого совершенно недвусмысленного, черным по белому написанного, положения вывести прямо обратное его смыслу—якобы имеющие у меня место, отрыв опыта от мышления и их трактовку «в готовом виде». Я говорю, что содержание знания, в смысле тех данных фактов, из которых оно исходит и об'яснять которые оно призвано, дается опытом, но что в постановке опыта и в обработке данных его играет известную роль мышление; Л. Аксельрод же без тени стеснения заявляет, что мышление с моей точки зрения «повидимому (сколь грациозно выглядит это высоко философское «повидимому»!) — форма». Не удивительно, что после такого фокуса нетрудно об'явить кого угодно кантианцем. Но фокусников-то, ведь, в конце концов разоблачают и место им во всяком случае не на арене философской деятельности.

Что Кант отрывает форму от содержания опыта– элементарная истина из истории философии. Более сложный вопрос заключается, во-первых, в том, как избежать совершенно незаконного разрыва между формами бытия и нашей познавательной способностью, имевшего место у Канта, и, во-вторых, каково действительное взаимоотношение между эмпирическим и рациональным моментом в познании. Ошибка Канта заключается не в том, что он не довольствовался чистым эмпиризмом юмовского типа, а в том, что он не сумел преодолеть этот эмпиризм, не отрываясь от почвы опыта и материальной действительности. В своем полемическом ослеплении Л. Аксельрод оказывается не в состоянии даже поставить ту действительную проблему, которая стоит перед всякой научной философией.

Как относится всеобщие и необходимые законы, формулируемые наукой и понятиях, к фактически данному нам в опыте многообразию явлений—вот та проблема, над которой бился Кант, стремясь преодолеть Юма, но которую он оказался не в состоянии разрешить, став на путь априоризма. Почему оказался не в состоянии разрешить? Потому что, критикуя Юма, Кант по существу дела не преодолел исходного положения Юма и всех сторонников «чистого опыта», гласящего, что всеобщие и необходимые определения нашего мышления не могут быть выведены из явлений, данных нам в опыте, не могут быть признаны имеющими об'ективную значимость по отношению к ним. Дело не в том, что эмпирики отвергают мышление вообще (приписывание мне такого понимания их взглядов—лишний образец теоретической и литературной нерешительности Л. Аксельрод), дело в том, что эмпирики типа Юма отрицают об'ективную значимость понятий, создаваемых мышлением.

«В то время, как односторонний сенсуалистический эмпиризм останавливается на чувственном опыте, превращая мир в совокупность ощущений и рассматривая всякое общее понятие, как выражение «метафизического реализма» (с этой точки зрения и закон, и материя, и внешний мир, как общие понятия, не имеют об'ективного значения), в то время, как, с другой стороны, рационализм считает возможным исходить только из общих логических «понятий» или «идей», и из них выводить эмпирические факты,—диалектический

материализм примиряет крайиий эмпиризм с крайним рационализмом в высшем едииство». Эти бесспориые для всякого марксиста положения тов. А. Дебориия [1]), *одобрениые Плехаиовым*, Л. Аксельрод теперь об'являет... каитиаиством! Самое понятие «рациоиальиого эмпиризма», иад которым она теперь издевается, заимствоваио иами из того же рекомеидоваиного Плехановым источника.

Л. Аксельрод не различает иные диалектического материализма от каитиаиства потому, что оиа сама сошла с почвы марксизма. Мы сейчас покажем это и на примере поиимания *ею* значеиия общих понятий и иа разборе *ее* отношения к юмовской критике понятия причиииости.

III

Итак, проблема синтеза рационального и эмпирического моментов зиаиия заключается прежде всего в том, какое зиачеиие по отношеиию к иепосредствеиио даииому в опыте имеют создаваемые нашим мышлением общие понятия.

Еще Фейербах говорил, что если чувства дают нам евангелие иашей веры, то задача мышлеиия состоит в том, чтобы иаучиться *связно читать* еваигелие чувств. Нетрудно видеть, что эта проблема есть проблема *об'ективного зиачения теоретического зиаиия*. Непоиимаиие Л. Аксельрод этой проблемы совершеиио ие случайио. Оио иаходится в полиой гармонии с ее отрицанием иеобходимости разработки теории диалектики вообще.

Проблема об'ективной зиачимости теоретического зиания есть проблема зиачимости иаших общих понятий, а эта проблема в свою очередь есть лишь часть общей проблемы отношения иашей познавательной способиости к действительиости.

Обвииив меия разобраиным выше способом в каитиаистве и дуализме, Л. Аксельрод декларирует затем, что я не удерживаюсь на этой позиции, а перехожу от Каита к Гегелю, к «полному закоиченному идеализму». Свидетельством же этого «перехода» является мое утверждеиие, что «диалектический материализм рассматривает общие понятия ие как иечто лишь суб'ективное, чему ничто не соответствует в действительиости, а как отражеиие того общего, что в ией имеется. Средиевековые схоластики считали, что понятия либо *предшествуют* вещам, либо *обитают* в них; мы же считаем, что общие поиятия, создаваемые нашим мышлением, представляют лишь *отражеиия* того общего, что есть в самих вещах».

На это Л. Аксельрод «прежде всего» заявляет, что «Кареву следовало бы доказать, что, по Марксу и по Энгельсу, общие понятия являются *отражениими* (курсив Л. Аксельрод) того общего, что есть в самих вещах». Такого-де доказательства Карев не дает, так как Маркс и Эигельс, как и все теоретики марксизма, были далеки от призиаиия поиятия, как «отражеиия того общего, что есть в самих вещах».

По Марксу,—пишет Л. Аксельрод,—«отвлеченное мышление ведь есть ие что иное, как переведеииое и переработаииое в человеческой голове материальиое. «Переведеииое и переработаииое» ие является «отражеиием того, что есть в самих вещах». А затем, как в «Святом семействе» Маркс вместе с Эигельсом, так и в «Диалектике природы» Энгельса, прямо и иепосредствеиио высмеивается взгляд иа отвлечен-

[1]) *А. Деборин.* Введение в философию диалектического материализма с предисловием Г. В. Плехаиова. Гиз, 1922 г., стр. 225.

ное понятие, как на отражение подлинной реальности. Понятие «плод» не является отражением реальности плода, как сущности, и понятие «животное» не отражает животного вообще. И первое и второе отвлеченные понятия представляют собою абстракцию, полученную на основании общих свойств плодов и общих свойств индивидов животного мира. Отвлеченному понятию соответствует, таким образом, об'ективно общее свойство, но не сущность». «Моя» же точка зрения есть возрождение схоластики, возродившей в свою очередь метафизику Аристотели. В дальнейшем Л. Аксельрод настаивает на том, что средневековые реалисты имели в виду реальность не общих понятий, а «об'ективных сущностей» и «моя» точка зрения, признающая якобы самодовлеющее познание из общих понятий, отражающих «непосредственно то общее, что есть во всех вещах» (последнее должно означать цитату из моей речи) есть средневековый реализм».

И вновь не знаешь—чего больше в этих изумительных рассуждениях, претендующих на философскую глубину (ведь именно противники Л. Аксельрод ничего не знают и не понимают!): угловатости мышления, лишенного элементарной способности различения понятий, или лукавства, им прикрывающегося.

Прежде всего Л. Аксельрод,—как бы сказать мягче,—не смогла не исказить, очевидно, для вящей убедительности аргументации точку зрения, против которой она ополчается. Она мне приписывает тот взгляд, что общие понятия отражают непосредственно то общее, что есть во всех вещах». Должен заявить, что подобная бессмыслица есть продукт свободного творчества самой Л. И. Аксельрод. Удивительно лишь, как претендующий на тонкость мысли человек мог написать подобную бессмыслицу.

Общих понятий, отражающих—да еще непосредственно—то общее, что есть во всех вещах—не существует. Есть лишь одно общее понятие, которое выражает единство и общность всех вещей природы,—это понятие материи, но непосредственно оно не создается нами. Непосредственную данность его нам, в качестве понятия субстанции, признал, отдавая дань своему рационализму, лишь Б. Спиноза.

То же, что общие понятия (во множественном числе) непосредственно отражают общее и действительно существующих вещах вообще—признает наивный реализм, точка зрения которого также отличается от марксизма. Одно из двух: либо мы имеем в данном случае пример поразительного непонимания постановки проблемы в важнейшем философском вопросе, либо еще более поразительный пример способа полемики, который,—надеемся,—не затруднится квалифицировать сама Л. И. Аксельрод.

Нетрудно понять, что, говоря о понятиях, как отражениях известных законов, сторон и явлений действительности, я имел в виду не непосредственное отражение, а отражение, опосредствованное нашей мозговой деятельностью, вследствие чего не каждое понятие или не всякая система понятий непременно верно изображает действительность, а лишь та, которая прошла испытание практикой, экспериментом. Что точка зрения непосредственного отражения не случайно приписывается марксистам Л. Аксельрод, видно из того, что двумя страницами далее после своего «открытия» она с торжеством заявляет, что наша философия ни на иоту не может опровергнуть спиритизм. Если де мышление есть отражение того общего, что есть в самих вещах, а верящий-то в спиритизм человек убежден в реальности своего понятия духов, следовательно,

«по Кареву», понятие духов соответствует реальности. Какой убийственный—и какой жалкий—силлогизм! Ведь еще И. Кант, о котором когда-то не плохо умела писать Л. Аксельрод, показал, что иметь понятие о ста талерах и иметь сто талеров в кармане—вещи разные. Но из этого вовсе не следует, что понятие талера не является созданным нашим мышлением—в результате нашей мозговой деятельности,—слепком с неких реально существующих вещей,—слепком с того общего, что характеризует реально существующие талеры, несмотря на особенности их чеканки и года выпуска. Признавать наши понятия отражением действительности вовсе не значит признавать, что всякому понятию или каждой системе понятий соответствует реальная действительность. Но не трудно показать, вместе с тем, что все фантастические образы или сочетания понятий необходимо оперируют материалом, который некогда был абстрагирован от действительности, и что во всех их попытках оторваться от земли они вынуждены обращаться к хотя бы искаженным и произвольно скомбинированным образам все того же реально существующего мира.

Возражая Кавелину, протестовавшему против теории фотографического воспроизведения в наших представлениях внешнего мира и доказавшему это ссылками на медуз, минотавра и т. д., И. Сеченов писал, что ведь сам Кавелин должен признать, что все это лишь «небывалые в мире сочетания б ы в а л ы х впечатлений». «Вот если бы человек в состоянии был творить такие сочетания, в которых был бы по крайней мере хоть один д е й с т в и т е л ь н о н е з е м н о й элемент, тогда самостоятельное творчество души было бы, конечно, доказано»[1].

Таким образом спиритуализм, в связи с которым находится и спиритизм, не только не находит себе поддержки в материалистическом понимании теории отражения, а, наоборот, именно с ее точки зрения он теряет все свое оперение из чудес.

Л. Аксельрод противопоставляет понимание понятий, как о т р а ж е н и я действительности, марксовскому определению их как «переведенного и переработанного» в голове материального. В своей удивительной теоретической слепоте она не видит, что это д в е с т о р о н ы о д н о г о и т о г о ж е о п р е д е л е н и я. Ведь речь идет не о платоновских идеях, существующих независимо от человеческого сознания, а об общих понятиях, «с о з д а в а е м ы х н а ш и м м ы ш л е н и е м», как совершенно определенно указано в приведенном Л. Аксельрод моем рассуждении.

Раз наши понятия составляют н е с а м о е д е й с т в и т е л ь н о с т ь, а являются лишь ее о т р а ж е н и е м, отражение же бывает и искривленным, как учил еще Бекон, то совершенно очевидно, что это отражение является п р о д у к т о м н е к о т о р о й д е я т е л ь н о с т и, и именно д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е ч е с к о й г о л о в ы. Мы переводим на язык сознания, на язык понятий, материальное, п е р е р а б а т ы в а е м его, так как наше познание н е т о ж д е с т в е н н о познаваемому, а представляет собой лишь о т р а ж е н и е его. Отражение это в силу наличия разного рода «идолов», бывает неверным, неточным, поэтому неправ наивный реализм, нужен эксперимент и теоретическое мышление, нужна п р а к т и ч е с к а я е г о п р о в е р к а. Видеть противоречие между идеей отражения и определением Маркса может лишь человек, в голове которого марксизм также отражается лишь искривленным образом.

---

[1]) И. С е ч е н о в. Психологические этюды, Спб 1873 г., стр. 116—117.

Л. Аксельрод противопоставляет теории отражения марксовскую критику гегелевского понятия в «Святом семействе». Но это поистине—мимо Сидора в стенку! Маркс критиковал гегелевскую идею саморазвивающегося понятия, которое как особая логическая сущность лежит в основании реальных вещей, так что, согласно ей, понятие «плода вообще» лежит в основание плодов, и своим саморазвитием порождает эти реальные плоды. Маркс указывал, что на самом деле понятие «плода вообще» является лишь абстракцией от реальных плодов—вишен, груш, яблок и т. д. Но что это значит? Это и значит, что это понятие является не самостоятельным, саморазвивающимся началом, а лишь выражает то общее, что есть в самой действительности, в реальных вещах. Это ли хотела противопоставить моим утверждениям Л. Аксельрод?

И вновь перед нами нежелание (или неумение) отличить друг от друга совершенно различные постановки вопроса — логический идеализм Гегеля от материалистической теории понятий, понимание понятия, как саморазвивающейся основы вещей, от понимания понятия, как отражения реальных связей и сходств реально и независимо от мышления существующих предметов. Как далеко от элементарных требований логики заводит автора «Философских очерков» логика отходящей от материализма позиции!..

Тем более, что буквально же рядом с решительным отрицанием теории отражения Л. Аксельрод, чувствуя себя вынужденной все же что-то сказать по существу вопроса об отношении нашего познания к действительности, в завуалированной форме делает ей уступку, признавая соответствие в действительности отвлеченному понятию — «об'ективного общего свойства, но не сущности».

Но, во-первых, почему, когда мы, «диалектики», говорим об отражении «общего», следует иметь в виду какие-то потусторонние «сущности»? Из чего это следует? Есть ли хоть намек в том, что цитировала Аксельрод, на некие «сущности»?

Во-вторых, с каких пор диалектический материализм противопоставляет сущность—свойствам? Как известно Л. И. Аксельрод из «Капитала» диалектический материализм отличает сущность от явления, но не в кантовском смысле этого различия,—это не исключающие друг друга начала, а взаимно обусловливающие друг друга и взаимно переходящие одно в другое. Соответствие «свойств», обнаруживающихся в явлении, взятых в целом их исторического развития, и означает соответствие «сущностей». Противопоставляя сущность—свойствам, Л. Аксельрод обнаруживает лишь, что ею радикально забыта вся диалектическая критика кантовской «вещи в себе».

Наконец, в-третьих, если отвлеченному понятию соответствует хотя бы об'ективное общее свойство, то как же несколькими строками выше Аксельрод пишет, что Энгельс «прямо и непосредственно высмеивает взгляд на отвлеченное понятие, как на отражение подлинной реальности»? Разве об'ективно общее свойство не есть подлинная реальность? А что останется от «подлинной реальности», если отнять от нее все об'ективно общие свойства, кроме абстракции кантовской «вещи в себе»? Не кругло выходит у Л. И. Аксельрод! Одно из двух: либо Энгельс—кантианец, либо Л. И. Аксельрод пишет явный вздор. Необходимо признать, что последнее как будто точнее отражает действительность.

Накоиец, Л. И. Аксельрод утверждает, что Маркс и Энгельс, равно как и все теоретики марксизма, были далеки от того, чтобы призиавать поиятия отражеииями того общего, что есть в самих вещах. Л. И. Аксельрод прекрасно известио, что эти «все теоретики» исчерпываются... ею одиою. Но, исключив всех остальных марксистов из своего круга, оиа и сама себя автоматически исключает из их числа.

Мы ограиичимся лишь ссылками иа Эигельса и Лeииия.

Чтобы ие повторять известиых цитат, возьмем только что впервые опубликоваииые подготовительиые работы Эигельса к «Анти-Дюрингу». На стр. 356 иового издания «Аити-Дюринга» [1]) мы читаем: «Все идеи заимствоваиы из опыта, отражеиия—вериые или искажеииые — действительиости». На стр. 357: «Метафизическое мышлеиие рассматривает вещи и их умствеииые отражеиия, поиятия, в их обособлеиности одио за другим и без другого, как постояииые, иеподвижиые, раз навсегда даииые предметы исследоваиия... Наоборот, диалектика ие удовлетворяется этим, ио рассматривает вещи и поиятия в их связи, в их взаимиом соотиошеиии, в их взаимодействии и в обусловлеииом этим взаимодействием измеиении, в их возиикиовеиии, развитии и исчезиовеиии».

На стр. 354: Заслуга Гегеля в том, что он поставил проблему развития. «Безразличио, разрешил ли Гегель эту задачу. Его задача заключалась в том, что ои поставил ее. Но ои и ие мог разрешить ее, потому что ои был идеалистом, т.-е. ие мысли казались ему отражениями вещей, а, иаоборот, вещи и их развитие представлялись ему лишь воплощеииыми отражениями «идеи», существовавшей где-то до сотворения мира» (курсив везде наш.—Н. К.). Этим дается ответ и иа вопрос о том, за что критиковали Маркс и Эигельс гегелевскую теорию поиятии. Для выясиеиия позиции Эигельса приведеиных цитат совершеиио достаточио. Очевидно, что, взявшись защищать Эигельса от «деборинцев», Л. И. Аксельрод попала ие в ту дверь, в которую шла.

Из Лeииия достаточио будет и одиого замечания. Критикуя богдановское поиимаиие исторического материализма по вопросу о роли созиаиия, Лeииии пишет: «Обществеииое бытие отражает общественное созиаиие, — вот в чем состоит учение Маркса. Отражение может быть вериой приблизительно копией, но о тождестве тут говорить иелепо. Созиаиие вообще отражает бытие—это общее положеиие всего материализма (курсив Лeииия) [2]).

Но имеино поэтому сейчас это положение отрицает Л. И. Аксельрод, делая шаг в сторону от материализма.

Итак, воззреиия классиков марксизма иа предмет нашего спора ясиы. Впрочем, что зиачат Энгельс и Лeииии, когда от имени всех теоретиков марксизма уже высказалась Л. И. Аксельрод!..

IV.

Ошибка Л. И. Аксельрод в связи с теорией отражеиия ие является ии случайиой, ии иовой. Виимательный читатель уже заметил, вероятно, что, даже говоря о соотиошеиии между «об'ективными общими свойствами» предметов и их поиятиями, Л. Аксельрод употребляет также слово «соответствие», а ие «отражение», иесмотря иа то, что,

[1]) Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Под ред. и с введением Д. Рязанова. М. 1928.

[2]) Н. Ленин, Соч., изд. 3-е, т. XIII. стр. 264.

как мы видели, Ленин считал именно идею отражения общей всему материализму. Дело в том, что еще в лучшие годы своей философской деятельности Л. Аксельрод отстаивала по разбираемому вопросу ту же ошибочную точку зрения, настаивание на которой теперь приводит ее к отходу от некоторых важнейших положений философии марксизма. Наиболее четкое выражение ее точка зрения нашла в рецензии на книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», напечатанной Л. И. Аксельрод в «Современном мире» за 1909 г., № 7 [1]).

История вопроса такова. В первом издании своих примечаний к «Л. Фейербаху» Ф. Энгельса, вышедшем в 1892 г., равно как и в относящейся к тому времени статье «Еще раз материализм», Г. В. Плеханов, вслед за известным русским физиологом И. Сеченовым, характеризуя отношение нашего познания к действительности, писал, что «формы и отношения вещей в себе не могут быть таковы, какими они нам кажутся, т.-е. какими они являются нам, будучи «переведены» в нашей голове. Наши представления о формах и отношениях вещей не более, как иероглифы; но эти иероглифы точно обозначают эти формы и отношения, и этого достаточно, чтобы мы могли изучить действия на нас вещей в себе и в свою очередь воздействовать на них» [2]).

Однако Г. В. Плеханов сам очень быстро почувствовал все неудобства такой постановки вопроса. Во втором издании своего перевода книги Энгельса, вышедшем в Женеве в 1905 г., Плеханов переделал то свое примечание, в котором развивалась «теория иероглифов», признав ее терминологической уступкой противникам материализма. Во втором письме против А. Богданова, напечатанном в № 8 — 9 «Голоса социал-демократа» за 1908 г., Г. В. Плеханов еще раз вернулся к этому вопросу, повторив свой отказ от «иероглифической» терминологии в характеристике отношения нашего сознания к вещам самим по себе. Сеченов писал, что, «каковы бы ни были предметы сами по себе, независимо от нашего сознания, пусть наши впечатления от них будут лишь условными знаками,—во всяком случае чувствуемому нами сходству и различию знаков соответствует сходство и различие действительное». Плеханов по этому поводу замечает: «Если вещь в себе имеет цвет только тогда, когда на нее смотрят, запах—только тогда, когда ее нюхают, и т. д., то, называя условными знаками наше представление о ней, мы даем повод думать, что, по нашему мнению, ее цвету, запаху и т. д., существующим в наших ощущениях, соответствуют какой-то цвет в себе, какой-то запах в себе и т. д.,—словом, какие-то ощущения в себе, не могущие стать предметом наших ощущений. Это было бы искажением разделяемого мною взгляда Сеченова, и потому я высказывался в 1905 г. против сеченовской терминологии».

Таким образом, отказываясь здесь от сеченовского понятия «соответствия» или своего понятия «иероглифов», Плеханов недостаток его видит в том, что термин «соответствие» возвращает нас к «гносеологической» схоластике кантианства, поскольку он наводит на мысль о существовании какого-то особого «вида» предметов, кроме того, каким они обладают в наших ощущениях. Этот недостаток «иероглифическая» терминология имеет на самом деле. Однако им не

---

[1]) Рецензия воспроизведена полностью в приложениях к т. XIII 2-го и 3-го изд. Сочинений Ленина. стр. 329—333.

[2]) Г. В. Плеханов, Соч., т. XI, стр. 138.

исчерпываются недостатки «иероглифического материализма». В этом отношении нам кажется, что Плеханов был неправ в примечании к сборнику «От обороны к нападению», упрекая Ленина за то, что в своем «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин счел нужным «пройтись» против иероглифов. Критика, данная Лениным теории «иероглифов», глубже и обстоятельнее той, которую, признав свою ошибку, дает сам Плеханов. «Вид» предметов есть результат действия на наши органы чувств вещей самих по себе. «Помимо этого действия они никакого «вида» не имеют»,—писал Плеханов во втором издании примечаний к «Л. Фейербаху». Поэтому противопоставлять «вид», который имеют предметы в нашем сознании, «виду» их самих по себе неправильно. Но если «вид» вещей выражает их свойства, как они находят себе выражение в представлении суб'екта, то вслед за тем возникает вопрос, как же характеризовать взаимоотношение форм и отношений самых предметов, т.-е. их строения и законов и их «вида» в нашем сознании?

Совершенно очевидно, что они с точки зрения материализма не совпадают, так как в подобном случае мы имели бы тождество сознания и действительности, но они и не могут быть признаны принципиально отличными друг от друга, так как в этом случае мы пришли бы к кантианству, противопоставлению данного нам «мира явлений» непознаваемым «вещам в себе». Остается признать наши ощущения, представления и понятия отражениями вещей. На этом и настаивает в своей критике старой терминологии Плеханова Ленин. И именно поэтому социал-демократ—кантианец Зигфрид Марк в рецензии на только что вышедший немецкий перевод «Материализма и эмпириокритицизма» встречает в штыки именно защищаемую Лениным теорию отражения [1]).

Ленин указывает, что Плеханов, комментируя в 1892 г. Энгельса, отступал от Энгельса, так как Энгельс говорит не о символах, не о иероглифах, а о копиях, изображениях, зеркальных отображениях вещей. Ленин подвергает критике близкую иероглифической теории точку зрения Гельмгольца по интересующему нас предмету и делает следующий вывод: «Если ощущения не суть образы вещей, а только знаки или символы, не имеющие «никакого сходства» с ними, то исходная материалистическая посылка Гельмгольца подрывается, подвергается некоторому сомнению существование внешних предметов, ибо знаки или символы вполне возможны по отношению к мнимым предметам, и всякий знает примеры таких знаков или символов»... Таким образом не теория отражения, как полагает Л. И. Аксельрод, может привести к спиритизму, а, как раз наоборот, ее отрицание. В теории символов или иероглифов Ленин видит стремление провести принципиальную грань между «явлением» и «вещью в себе» и поэтому вполне солидаризируется с Альбрехтом Рау, последователем Л. Фейербаха, полагавшим, что теорией символов Гельмгольц платит дань кантианству. «Бесспорно,—пишет Ленин,—что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, но одно дело изображение, другое дело символ, условный знак. Изображение необходимо и неизбежно предполагает об'ективную реальность того, что «отображается». «Условный знак», символ, поэтому, суть понятия, вносящие совершенно ненужный элемент агностицизма» [2]).

[1]) Siegfried Marck. Lenin als Erkenntnisstheoretiker, «Der Kampf» 1928, № 10, S. 484—487.

[2]) Н. Ленин, Соч., т. XII, стр 190 195, изд. 3-е.

Что же противопоставляет этим совершенно точным определениям Ленина Л. Аксельрод в рецензии на его книгу?

Во-первых, она заявляет, что рассуждения Ленина «ошибочны от начала до конца». «Теория, согласно которой ощущения суть символы вещей, также мало подвергает сомнению существование последних, как мало подвергает, например, сомнению математическая формула 2d, выражающая сумму углов в треугольнике, существование треугольника». В этом возражении Л. Аксельрод не замечает, что Ленин упрекает Плеханова и Гельмгольца не в отрицании существования «вещей в себе», а в агностицизме и уступке кантианству,—не в совершенном отрицании материализма, а в иероглифическом «полуматериализме», которые, очевидно, ни исторически, ни логически не совпадают.

Пример же с суммой углов в треугольнике совершенно не удачен. В приводимой Л. Аксельрод математической формуле условно лишь обозначение, выражаемое же ею содержание—равенство суммы углов треугольника двум прямым углам, совершенно точно отображает реальные соотношения в природе, поскольку научный опыт подтверждает Евклидовскую геометрию. Ведь математические конструкции тем произвольнее, чем более они отрываются от отображения реальных взаимозависимостей предметов природы, в выражении наиболее отвлеченных пространственно-временных соотношений которых они черпают свой источник и имеют последнее основание истинности. Поэтому гениальный Лобачевский в своих «Новых началах геометрии» писал, что «в природе мы познаем собственно только движение, без которого чувственные впечатления невозможны. Итак, все прочие понятия, например, геометрические, произведены нашим умом искусственно, т.-е. будучи взяты в свойствах движения, а потому пространство, само собою, отдельно, для нас не существует. После чего в нашем уме не может быть никакого противоречия, когда мы допускаем, что некоторые силы в природе следуют одной, другие своей особой—геометрии» [1]. Таким образом, считая чувственный опыт исходным пунктом познания, и именно данное в нём движение, Лобачевский рассматривает геометрические понятия, как построенные на основании свойств движения, и в неразрывности движения, пространства и сил природы ищет обоснования возможности реального значения для разного рода геометрий. Поэтому, если пример Л. Аксельрод с 2d должен иллюстрировать на примере математического знания несостоятельность теории отображений, то он избран исключительно неудачно.

Л. Аксельрод полагает, что, считая ощущения образами или «неточными» копиями вещей, «критик Плеханова становится на дуалистическую почву, проповедуя платонизм наизнанку, а отнюдь не материалистическую философию, исходящую из единого начала». Как видит читатель, обвинение в средневековом реализме, бросаемое нам ныне Л. И. Аксельрод, не ново. Один раз оно уже применялось против Ленина. Ново лишь то, что, продолжая критику защищаемой нами ленинской и энгельсовской позиции, Аксельрод вопит о том, что мы не согласны с классиками марксизма.

Почему же позиция Ленина есть «платонизм наизнанку»? «Если бы ощущения были образами или копиями вещей,—пишет Л. Аксельрод,—то на какого дьявола, спрашивается, понадобились бы

[1] Лобачевский, Новые начала геометрии с полной теорией параллельных, Харьков 1912 г., стр. 13.

иам вещи, которые, в таком случае, действительио оказались бы ве-щами в себе в абсолютиом смысле этого слова? Призиать ощущения сбразами или копиями предметов, значит снова создавать непроходимую дуалистическую пропасть между суб'ектом и об'ектом».

Рассуждение—поразительное по своей беспомощности. Почему, если ощущения—копии предметов, предметы ие иужны и оказываются недоступиыми иам вещами в себе «в абсолютиом смысле этого слова»? Согласио какой логике следует этот вывод? Наоборот, у Канта, у которого вещи в себе н и к а к н е о т р а ж а ю т с я в наших ощущениях, п р и н ц и п и а л ь н о о т л и ч н ы от их содержания, вырастает непроходимая пропасть между суб'ектом и об'ектом, и ведь имеиио лишь такие «вещи в себе» абсолютио бессодержательны и бесполезны для иас. Если же мы в состоянии правильно отобразить формы и соотиошения вещей в нашем созиании, и мы можем п р а к т и ч е с к и на них воздействовать, то имеиио тогда лишь и возможио взаимодействие между суб'ектом и об'ектом. На д у а л и с т и ч е с к о й позиции стоят кантианство и агиостицизм, а ие теория отображений. Непонимание этого есть поистине шедевр глубины философского мышления. «Платонизм наизнанку» тут совершенно не при чем, как и средневековый реализм в нашем нынешием споре с Л. Аксельрод [1]). Если «платонизмом наизнанку» Л. Аксельрод называет утверждение Энгельса, что материальные вещи являются отображениями мира идей, а идеи являются отображениями вещей, то подобным «платонизмом наизнанку» является в с я к и й последовательный материализм. Если же, говоря о «платонизме наизнанку», Аксельрод имела в виду утверждение существования каких-либо особых «сущностей», то им нет никакого места в ленинской постановке проблемы.

Наконец, последний аргумент против теории отражения Л. Аксельрод видит в том, что Ленин де отождествляет наивный реализм с материализмом. А что такое наивный реализм? «Наивный реализм есть точка зрения человека, незнакомого с научным об'яснением явлений природы. Такой наивный человек считает звук, цвет, запах, теплоту, холод и т. д. об'ективными элементами. Эту именно точку зрения защищают эмпириокритики, облекая ее в тонкую метафизическую форму. Эмпириокритики являются, таким образом, настоящими наивными реалистами... Материализм же стоит на той точке зре-

[1]) Также напрасно Л. Аксельрод пытается отождествить в наших нынешних спорах точку зрения диалектиков со средиевековым реализмом. В ответ на наше замечание, что реалисты, исходившие из учения Платона и Аристотеля, считали понятия предшествующими вещам или обитающими в них, мы же считаем понятия лишь о т о б р а ж е н и я м и вещей, созданными нашим мышлением, Л. Аксельрод выступила в защиту средиевековых реалистов, утверждая, что они сами-де считали реальными вовсе не понятия, а «об'ективные сущности». И лишь критики схоластики сводила эти «сущности» к понятиям. Но, во-первых, я говорил именно о том, что представляли воззрения средневековых реалистов на самом деле, а не о той или другой их формулировке у того или другого мыслителя. Во-вторых, Л. Аксельрод ошибается, если полагает, что сами средневековые схоластики не признавали свои «об'ективные сущности» идеями, имеющими духовную природу. Так, согласно Фоме Аквинскому, универсалии существуют до вещей в вечном интеллекте бога, как прообразы вещей. О том же писал Альберт Великий и др. При всем нашем невежестве мы все же рекомендуем Л. Аксельрод освежить свои знания в этой области, прежде чем еще раз писать о схоластике. В-третьих, понятие «об'ективных сущностей» в данном случае представляет собой вообще продукт личного творчества Л. Аксельрод, которому в том, что мы писали, поистине ничто не соответствует.

Но как удержаться от громкого словца: схоластика, если даже знаешь, что оно совершенно не уместно?!—Ведь отыскание истины не является целью науки, согласно новейшим воззрениям Л. И. Аксельрод!.

ния, что ощущения, вызванные действием различных сторон движения материи, непохожи на об'ективные процессы, породившие их».

В этом последнем своем возражении Ленину Аксельрод умудряется одновременно и приписать Ленину совершенно чуждую ему точку зрения, и провозгласить положение, решительно несовместимое с самыми основами материалистической теории познания. Ленин вовсе не стоит на точке зрения наивного реализма. Л. Аксельрод судит «по разбросанным, отрывочным замечаниям». Но Ленина нельзя назвать наивным реалистом уже хотя бы потому, что он признает *относительный* характер нашего познания. Точка зрения наивного реализма состоит вообще в том, что наше сознание признается непосредственно вполне адэкватно отображающим действительность. Наивный реализм вовсе *не отождествляет* сознание и действительность, но он полагает, что сознание, независимо от какой бы то ни было критической проверки, *совершенно точно* отражает эту *независимо от него* существующую действительность. Обыденное некритическое мышление вовсе не отождествляет представление цвета или мысли о нем с самим цветом предмета, но полагает, что представление цвета вполне точно отображает свойства самого предмета.

Отождествить поэтому ненаучную, обыденную, наивно реалистическую точку зрения с *подлаживающимся* под наивный реализм сенсуалистическим идеализмом Беркли, Шуппе или Авенариуса—поистине «непозволительная ошибка для материалиста», говоря словами Л. Аксельрод. Сказать же, что *материализм* заключается именно в признании того, что *ощущения*, вызванные действием различных форм движения материи, *не похожи* на обективные причины, порождающие их—значит самому сделать шаг по пути *от материализма к идеализму*.

Наивный реалист, прежде всего, верит в существование независимо от нашего сознания существующего внешнего мира. Сколько бы епископ Беркли не убеждал его в том, что ничего не изменится в его представлениях, если сказать esse=percipi, все же всякий здравомыслящий человек признает это положение для себя не приемлемым.

В этом отношении наивный реализм и материализм *союзники*. Но *материализм отличается от наивного реализма тем*, что он *опирается на школу практической и критической научной проверки его воззрений*. Эта практическая *проверка* доказывает нам относительность нашего знания, вскрывает ошибки в наших представлениях и понятиях, показывает нам, что *непосредственного восприятия недостаточно для истинного* познания окружающего нас мира. Материализм ставит *целью* нашей познавательной *деятельности* то, что наивный реализм считает *непосредственно* данным с самого начала—адэкватное отображение внешнего мира в системе наших представлений и понятий.

Признавать же исходным положением теории познания то, что наши ощущения *не похожи* на об'ективные процессы, их порождающие, значит положить в ее основании *кантовское* понимание опыта. Признав эмпириокритиков «*настоящими наивными реалистами*», Л. Аксельрод становится несомненно на путь уступок идеализму в теории познания.

Само отображение внешней реальности в нашем познании носит *ступенчатый* характер. В непосредственной связи с об'ектами внешнего мира, воздействующими на наши органы чувств, находятся

наши ощущения и возникающие на основе их представления. Они «неточные копии» или «зеркальные отображения» внешних предметов в собственном смысле этого слова. Создаваемые на их основе понятия *не непосредственно* уже отражают действительность, а через опосредствование формулированных в них законов и определений,—результата всей совокупности нашей практической и теоретической (в конечном счете проверяемой также практикой) деятельности. *Понятия*, конечно, «не похожи» на соотношения, связи и те реально существующие единичные предметы, от представлений которых они абстрагированы, в смысле *фотографического* их воспроизведения, так как они выражают *общие* признаки, связи, свойства и формы этих предметов. Но Л. Аксельрод имеет в виду именно отношение содержания наших *ощущений и представлений* к вызывающим их предметам. В отношении же этих последних можно сказать, что они как раз похожи на эти предметы, имея при этом в виду, что *сходство* не есть тождество, а *включает в себе и различие*.

Конечно же, не нужно большого критического ума, чтобы указать на то, что наше сознание не дает непосредственно точного отображения действительности, точного снимка с нее. Но зато необходимо некоторое усилие мышления для того, чтобы понять, что это не *исключает* отсутствия *принципиального* разрыва между ними.

Тот же самый Сеченов, одно положение которого дало повод ошибке Плеханова в связи с его понятием «иероглифов», прекрасно доказывал это в полемике с идеалистической психологией.

Приведя идеалистический аргумент в пользу самостоятельности души, гласящий, что если бы психические явления находились в непосредственной зависимости от условий и законов внешней природы, то представления были бы фотографическими оттисками впечатлений внешнего мира, Сеченов пишет: «Речь идет очевидно о своеобразности той переработки, которой подвергается сырой материал внешних впечатлений. На такую общую аргументацию всякий натуралист может ответить примерно следующим образом: если взять два разных металла, например, цинк и медь, и опустить их одним концов в какую-нибудь кислоту, хоть уксус, а свободные, т.-е. непогруженные, концы соединить проволокой, то в последней происходят явления, непохожие ни на свойства металлов, ни на свойства уксуса:—если проволоку перерезать, то в месте перерыва появляется искра; если в место перерыва вставить тонкую платиновую проволоку, она раскаляется докрасна; если проволокой, соединяющей медь с цинком, обмотать кусок железа, то он делается магнитом, и пр. Отсюда видно, что, говоря вообще, своеобразность результирующих явлений и их отличие от производящих нисколько не указывает еще на различие между теми и другими *по существу*» [1]).

Таким образом, проповедуемая ныне Л. Аксельрод критика понятия отражения на деле есть не что иное, как отстаивание своей старой ошибки в полемике с Лениным. Эту ошибку Аксельрод заимствовала у Плеханова, но продолжала настаивать на ней именно тогда, когда Плеханов, поняв, что эта ошибка означает *уступку кантианству*, и сам от нее отказался. Не потому ли ныне Л. Аксельрод так злобно нападает на тех, кто не хочет уступать кантианству, что они

[1]) Сеченов, Психологические этюды. Спб. 1873 г., стр. 116.

сама по всей линии своих философских воззрений капитулирует в наши дни пред бледными тенями кенигсбергского мудреца?

Впрочем, утешением ей может служить то, что она сама вынесла уже смертный приговор своим нынешним воззрениям на теорию отражения на страницах той же самой книги, в которой она поносит сторонников теории отражения всеми допустимыми и недопустимыми в философской полемике способами. На стр. 66, говоря о значении понятия общественного класса, Л. Аксельрод незаметно для самой себя—сказалась хоть раз старая марксистская традиция!—пишет: «Понятие класса есть, таким образом, не априорно привнесенная суб'ектом категория для об'единения этих (об'ективно существующих) индивидуумов в целостное единство, как это вытекает из учения Канта, а также не отвлеченное формальное понятие, составляющееся на основании сходства и различия индивидуальных признаков, а, наоборот, понятие конкретное, отражающее об'ективную сущность класса». Так даже и написано: «понятие конкретное, отражающее об'ективную сущность класса», при чем слова «об'ективную сущность» выделены в разрядку, словно нарочно в насмешку над тем местом в возражениях мне Л. И. Аксельрод, в котором она издевалась над возможностью соответствия понятию какой бы то ни было об'ективной «сущности».

Картина!

Чего же стоят после этого все остроты и анафемы Л. Аксельрод, когда не сведены концы с концами в таком вопросе?

Трубить во все трубы, возвещая страшный суд и смерть грешникам, написать 250 стр. под громким и многообещающим заглавием «В защиту диалектического материализма», об'явить всех своих противников невеждами, уже не говоря о менее употребительных в литературе эпитетах,—и позорно провалиться, не связав элементарным образом концы с концами в вопросе о значении важнейшего понятия марксистской теории!

Поистине жалкий результат.

(Окончание следует).

Л. И. Аксельрод и философия.

В. Асмус.

Но нету места злобы мазку,
Не мажьте красные души!
В. Маяковский.

Последнее литературное произведение Л. И. Аксельрод[1]) снова ставит нас в центр происходящей философской дискуссии. Целая книга в 250 страниц посвящена «защите диалектического материализма» от «схоластики». Под диалектическим материализмом Л. И. Аксельрод подразумевает собственные философские воззрения, под схоластикой—философские взгляды А. М. Деборина и его единомышленников. Сражение «схоластике» дано по всему философскому фронту. В книге Л. И. Аксельрод затронут ряд действительно основных, важнейших проблем философии марксизма. Здесь трактуются: вопрос о цели познания, о действительности и о критериях истины (стр. 162—167), вопрос об отношении опыта к мышлению (стр. 221 — 233); вопрос о всеобщности и необходимости знания (стр. 231—234); вопрос о рассудке и разуме (стр. 236—237); проблема причинности и вопрос о ее механической природе (стр. 53—54, 89, 146—154); проблема истории философии в марксизме (стр. 71—72, 80—81); целая серия историко-философских вопросов, связанных с интерпретацией спинозизма (стр. 12—45, 46—57, 85—86, 102—115, 121—130, 133—146, 154—162); вопрос о нормах нравственности и об их об'ективной природе (стр. 70—74, 84—85, 171—207) и т. д., и т. д.

Обилие вопросов, затронутых Л. И. Аксельрод, серьезность этих вопросов, полемический характер ее сочинения несомненно привлекут к книге Л. И. Аксельрод широкие круги читателей, интересующихся проблемами марксистской философии.

Чем больше оснований предполагать, что книга Л. И. Аксельрод найдет широкий круг читателей, тем настоятельнее ощущается необходимость отозваться на эту книгу, подвергнуть анализу ее философские позиции, раскрыть сущность спора, происходящего между Л. И. Аксельрод и товарищами, об'единившимися вокруг А. М. Деборина.

К сожалению, ближайшее знакомство с книгой Л. И. Аксельрод порождает изрядное разочарование. Целевая задача книги, выразительно подчеркнутая и названием («В защиту диалектического материализма») и подзаголовком («Против схоластики»), не оправдывается ее содержанием.

П р и н ц и п и а л ь н а я установка книги, ставка на теорию, на анализ вопросов в их существе не только не выдержана до конца, но

[1]) Л. И. А к с е л ь р о д-О р т о д о к с. В защиту диалектического материализма. Гиз. 1928 г. Стр. 250.

на каждом шагу нарушается и даже оказывается отсутствующей. Книга, задуманная как принципиальная теоретическая декларация, выполнена скорее как апология, как личная защита. Едва ли не на каждой странице между абзацами, содержащими формулировку принципиальных положений, пестрят абзацы, полные личного—увы—слишком личного содержания. Автор все время жалуется на свои обиды и огорчения; принципиальные вопросы стушевываются и на первый план выступают личные счеты: кто с кем входил в триумвират, кто кого выводил в люди и т. д.

Во-вторых, кроме не столь уже интересных личных вопросов, кроме многочисленных страниц апологетического характера, книга Л. И. Аксельрод изобилует множеством инвектив, личных нападок. Книга эта направлена больше против лиц, нежели против принципов. Автор заботится не столько о том, чтобы выяснить вопросы, сколько о том, чтобы привести на скамью подсудимых ряд товарищей, доказать вредный характер их деятельности и работы.

Эта поглощенность Л. И. Аксельрод личными вопросами уже сама по себе снижает теоретический интерес, который могла бы представлять ее книга. Книга принципиальна только наполовину. Свои 250 страниц, предназначенные для уничтожения схоластики, Л. И. Аксельрод использовала крайне не экономно. Бюджет страниц книги Л. И. Аксельрод в изрядной части истрачен на статьи посторонние и к делу не идущие. Мы уже отметили чрезмерное обилие апологетических страниц и личных ламентаций. К баласту книги надо также причислить огромный ассортимент приемов и средств литературного воздействия. Сюда, прежде всего, относится большое число энергичных выражений, именуемых в просторечии ругательствами. Воинственное выступление Л. И. Аксельрод облечено в полемические формы исключительно резкие. Эпитеты: «тупой», «безграмотный», «вздорный», «грубый», слова в роде «шутовство», «parvenu», «ослы» так и пестрят на страницах сочинений Л. И. Аксельрод. Другую категорию лишних, не вызванных существом дела элементов книги Л. И. Аксельрод составляют чрезмерно частые анекдоты, шутки, уподобления, литературные реминисценции и т. п. Энергия, затраченная автором на изобретение всех этих украшений, нанесла ущерб содержательности произведения и разрушила единство целевой установки. Серьезная, деловая речь переливается в лексику и фразеологию аттракциона.

Раздвоение целевой установки книги, чрезмерно большое количество проблем, в ней поставленных, сложность и значительность выдвинутых вопросов лишают автора возможности удовлетворительно решить самые эти вопросы. Уже беглый просмотр произведения Л. И. Аксельрод заставляет опасаться за автора, которому, очевидно, при всех его недюжинных способностях, вряд ли удастся исчерпать свою проблему. Внимательное чтение это опасение только усугубляет. Автор скользит по поверхности затронутых вопросов, торопливо перебегает от одной проблемы к другой, не доводя анализов не то что до конца, но часто и до середины, отмахиваясь от больших проблем двумя-тремя страничками, приправленными вдобавок изрядным букетом полемических средств воздействия. По целому ряду важнейших вопросов Л. И. Аксельрод, едва эти вопросы наметив и сформулировав, тотчас же заявляет, что она лишена возможности трактовать эти проблемы с должной подробностью.

Все эти обстоятельства порождают разочарование даже при беглом первом знакомстве с книгой. Своей точки зрения Л. И. Аксельрод

не сумела развить с достаточной последовательностью и подробностью. Все это затрудняет как чтение книги, так и оценку ее.

Однако, несмотря на все указанные недостатки, книга Л. И. Аксельрод позволяет все-таки уловить принципиальный смысл или, по крайней мере, тенденцию ее руководящих идей. В этом смысле, несмотря на несерьезный литературный и научный стиль книги, в ней надо признать произведение хоть и с ущербным, но принципиальным содержанием. Философские позиции Л. И. Аксельрод книга, хотя и с грехом пополам, но все же представляет.

Анализ и критика этих позиций—задача настоящей статьи. Разбирать все содержание книги Л. И. Аксельрод не входит в наше намерение. Такой разбор необходимо вынудил бы нас повторить вместе с автором поверхностный бег по множеству вопросов его сочинения. К тому же, надо полагать, наша статья не будет единственной. Найдутся еще товарищи, которые сочтут своим долгом ответить на выступление Л. И. Аксельрод и осветить вопросы, оставленные мною без рассмотрения.

Чтобы суждение о книге Л. И. Аксельрод было обоснованно и репрезентабельно, я выбрал в качестве предмета для анализа три вопроса. Эти вопросы — проблема истории философии в марксизме, вопрос о цели знания и вопрос об отношении теоретического мышления к опыту. Думается, вопросы эти достаточно значительны сами по себе, достаточно актуальны, и потому ответы на них должны и достаточной мере характеризовать философские воззрения мыслителя.

Прежде, чем я приступлю к анализу воззрений Л. И. Аксельрод по всем этим трем вопросам, считаю необходимым сделать одно замечание. Полемический стиль книги Л. И. Аксельрод далеко выходит за рамки произведений подобного рода. Раздраженная полемическими статьями А. М. Деборина, Л. И. Аксельрод стремится сторицей воздать как самому А. М. Деборину, так и его единомышленникам. Резкие выпады, прямая ругань темными пятнами покрывают ее страницы. Полемическая пристрастность, раздраженность и просто злоба—тяжелая атмосфера, которой вынужден дышать читатель ее книги. Исключительный тон этой полемики заслуживает самого решительного осуждения. Однако мы вовсе не намерены подражать Л. И. Аксельрод в ее полемической несдержанности. Отмечая, как крайне печальное и недопустимое явление, исключительную резкость полемических приемов Л. И. Аксельрод, обратимся к характеристике ее философских взглядов по существу.

I.

В философской полемике Л. И. Аксельрод поражает несоответствие и даже явное противоречие между словесными заявлениями автора и действительным смыслом, действительными тенденциями его писаний. Взять хотя бы вопрос об истории философии. Если бы нам пришло в голову обратиться к Л. И. Аксельрод и прямо, в упор, в лицо сказать ей, что она пренебрежительно относится к занятиям историей философии, то Л. И. Аксельрод,—я уверен в этом,—расхохоталась бы в ответ и громогласно заявила бы, что обвинение это—наглая и безосновательная выдумка. Не будем заподазривать суб'ективное отношение Л. И. Аксельрод к историко-философским изучениям. Допустим, что Л. И. Аксельрод—в суб'ективном самосознании—терпимо относится к занятиям историей философии

Но даже если это так,—об'ективный смысл, об'ективная тенденция последних выступлений Л. И. Аксельрод свидетельствует об обратном. Есть ряд оснований думать, что Л. И. Аксельрод относится к историко-философской работе свысока, презрительно и пренебрежительно, что в ее подлинном представлении занятия историей философии и есть та самая праздная и вредная схоластика, от которой она хочет уберечь марксизм.

Стоит только посмотреть, как иронизирует Л. И. Аксельрод над А. М. Дебориным за то, что А. М. Деборин,—в числе других своих работ,—занимается также историческим изучением диалектики Канта и Фихте. «Деборин,—иронизирует Л. И. Аксельрод,—стоит на страже современной эпохи, посвящая всю свою деятельность актуальным и жгучим задачам, которые выдвигаются перед нами нашим бурным временем. Одним из таких жгучих и актуальных вопросов является, например, изложение диалектики Канта»[1]). Впрочем, чувствуя, повидимому, что одной иронической фразой трудно разрешить такой сложный вопрос, как вопрос о значении для нас исторического изучения философии Канта, Л. И. Аксельрод,—для подтверждения своей мысли о ненужности и несвоевременности изучения этой философии,—спешит найти опору... в «Диалектике природы» Энгельса! «О жгучей актуальности этой задачи,—продолжает иронизировать Л. И. Аксельрод,—пишет, например, Энгельс в «Диалектике природы»: «Изучать диалектику у Канта было бы без нужды утомительной и неблагодарной работой с тех пор, как в произведениях Гегеля имеется обширная энциклопедия диалектики, хотя и развитая с совершенно ложной исходной точки»[2]).

Правду говоря, требуется замечательно пренебрежительное мнение о читателе, чтобы можно было рассчитывать убедить его подобным способом. Как никак «Диалектику природы» Энгельса, кроме Л. И. Аксельрод, читали и читают многие. Всякий же читавший не только приведенную Л. И. Аксельрод цитату, но, кроме того, и всю замечательную книгу Энгельса в целом, тотчас же заметит, что Л. И. Аксельрод либо не понимает мыслей Энгельса по этому вопросу,—и тогда это очень плохо,—либо понимает, но, понимая, тенденциозно, умышленно эти мысли извращает. Если Л. И. Аксельрод серьезно думает, будто Энгельс, подобно ей, считал историческое изучение диалектики Канта бесполезным и неблагодарным делом, то такое мнение не может быть подкреплено ни приведенной в книге Л. И. Аксельрод, ни какой бы то ни было другой цитатой Энгельса. Единомышленником Л. И. Аксельрод по вопросу о границах исторнкофилософской тематики Энгельс, слава богу, не был.

Все дело в том, что Л. И. Аксельрод,—невольно или умышленно, — спутала два совершенно различных вопроса. Изучение истории философии может преследовать две совершенно различные задачи.

Во-первых, историю философии можно изучать для того, чтобы обрести в ней исходную точку для обоснования и разработки проблем современной философии. Изучая историю философии в этом теоретическом разрезе, марксисты ищут в системах прошлого такие учения, которые могли бы стать трамплином для разработки материалистической диалектики в ее современном виде. Таким трамплином,—не более,—является для нас система Гегеля. В этом,—но

[1]) Л. И. Аксельрод, op. cit., стр. 71.
[2]) Там же, стр. 71.

и только в этом,—смысле Энгельс полагал, что изучение диалектики Канта «было бы без нужды утомительной и неблагодарной работой», и утверждал, что «в произведениях *Гегеля* имеется обширная энциклопедия диалектики». Кто хочет и наше время развивать систему категорий материалистической диалектики, — такова мысль Энгельса,—тому иет нужды исходить в этой работе из диалектики Канта. Гораздо более плодотворным может оказаться здесь изучение диалектики в той форме, какую оиа приняла в системе Гегеля.

Но,—и это во-вторых,—диалектический метод должен быть изучен не только в современных нам или близких к ним, но также во всех исторических стадиях своего становления. *Само изучение диалектики Гегеля невозможно без исторического изучения предшествовавших Гегелю и менее совершенных форм диалектической мысли. В частности, изучение это немыслимо без изучения диалектики Канта.*

Л. И. Аксельрод, конечно, должно быть хорошо известно, какое значение имела философия Канта для Гегеля. Значение это было так велико, что,—как нетрудно заметить,—всю свою «Науку логики» Гегель построил, расположил в ней материал и изложил, руководствуясь логической и диалектической системой Канта, как масштабом для сравнения или трамплином для собственной мысли.

Наконец,—и это в-третьих,—историю философии можно и должно изучать не только с точки зрения ее непосредственного использования для настоящего. Философия есть одна из форм идеологической деятельности общественного человека и, как такая, она сама есть историческое явление и должна быть *исторически* понята и расшифрована. В качестве идеологической надстройки философия,—во всем своем историческом движении,—есть один из об'ектов *исторического материализма*, материалистического понимания истории. Кроме вопроса: в каком отношении могут быть нам *сейчас* полезны далекие от нас философские теории прошлого, существует еще весьма важный, научный вопрос о том, каким образом эти системы *исторически* возникли: чьи и какие именно *практические интересы каких общественных групп и классов* они выражали; диалектикой каких социально-экономических процессов были вызваны к жизни и т. д. На все эти вопросы и должна ответить *материалистическая* история философии.

Поэтому, если Энгельс говорил, что для построения материалистической системы диалектических категорий нет нужды обращаться к трудному и неблагодарному изучению философии Канта, то это суждение ни в малейшей степени не противоречит чрезвычайно высокой *исторической* оценке Канта, данной Энгельсом в ряде других мест. Мнимое противоречие в оценках Энгельса тотчас разрешается, как только мы заметим, что эти,—как будто противоположные,—оценки относятся к *разным* об'ектам. В первом случае речь идет о построении *теории* диалектического материализма, во втором —о том, чтобы воздать Канту должное в *историческом развитии* этой теории. Для первой задачи Кант явно устарел. Материалистическая теория диалектики опирается на *высшие* формы диалектической философии, сравнительно с теми, которые мы находим у Канта. Философия Гегеля в несравненно большей мере, нежели кантовская, может быть исходным пунктом или исходной перспективой для материалистической теории диалектики.

Совсем иное дело—определение исторической ценности диалектики Канта. В этом вопросе Энгельс никогда не отказывался от той,—в общем чрезвычайно высокой,—оценки, которую он дал системе Канта и в «Анти-Дюринге», и в «Диалектике природы».

Теперь читатель без труда оценит понятливость или, быть может, добросовестность Л. И. Аксельрод. Издеваясь над А. М. Дебориным за то, что он,—первый в марксистской философии,—приступил к широкому изучению истории диалектики классического идеализма, Л. И. Аксельрод побивает его цитатами из Энгельса, предназначенными вовсе не для этой цели. Совершив эту подмену, Л. И. Аксельрод празднует легкую победу: А. М. Деборин представлен в виде смешного схоласта, который материалистическую диалектику пытается построить на базе крайне несовершенной диалектики Канта! Действительно, — что и говорить, — смехотворное занятие! Беда в том, что такого занятия в действительности не существует.

Откуда взяла Л. И. Аксельрод, что А. М. Деборин считает «изложение» диалектики Канта и Фихте «актуальнейшей и насущнейшей задачей дня»? [1]). И,—прежде всего,—что за тенденциозное извращение, представлять дело так, будто А. М. Деборин занят одним лишь «изложением» диалектики Канта. Как будто у А. М. Деборина,—в то время, когда он писал свои исследования о Канте и Фихте,—не было и других «актуальнейших и насущных» работ! Как будто это такая простая и элементарная вещь,—взять и изложить диалектику Канта, этот, по выражению Л. И. Аксельрод, «флогистон», предваряющий теорию Лавуазье (т.-е. Гегеля)!

Это крайне антипедагогично внушать несведущему читателю, будто А. М. Деборин занимается всего лишь «изложением» диалектики Канта. Такое «изложение» просто невозможно, неосуществимо. Можно заниматься изложением того, что общеизвестно, общепризнано, установлено, доступно обозрению. Но диалектика Канта — не повесть, вышедшая отдельным изданием, и не еврейский анекдот. Ее нельзя просто «излагать». До того, как «излагать», ее надо найти, вскрыть, обнаружить, интерпретировать, подвергнуть критике.

Просто легкомысленно потешаться над ученым, «излагающим» диалектику Канта. Л. И. Аксельрод должно быть хорошо известно, что в необозримом океане литературы о Канте исследования, специально посвященные диалектике Канта, занимают ничтожное место. Также Л. И. Аксельрод должно быть хорошо известно, что это—характерное для буржуазной науки—пренебрежение к диалектике Канта об'ясняется, конечно, не качествами кантовской диалектики,—ведь написаны же тысячи книг о других сторонах философии Канта: об его метафизике, об его гносеологии, об учении о вещах в себе и т. п., но исключительно игнорированием диалектики, полной утратой сознания всей важности диалектического метода и его истории.

Казалось бы, при таком положении вещей ясно, что «изложению» диалектики Канта должно предшествовать ее открытие, обнаружение в самом составе кантовской философии, не говоря уже о том, что для такого «изложения» необходима, прежде всего, принципиально иная, чем в буржуазной философии, установка, иной метод исследования. Все это мы и находим в исследовании А. М. Деборина. Статья А. М. Деборина о диалектике Канта есть опыт марксистской историко-философской интерпретации. Но Л. И. Аксельрод делает вид,

[1]) Там же, стр. 72.

что она не понимает этого. Ей выгодно представить А. М. Деборина в виде схоласта, просто пересказывающего «своими словами» книжечки Канта. Л. И. Аксельрод напрасно взывает к тени Энгельса, напрасно пускает в дело вырванные из контекста цитаты. Замечательнее всего, что цитата об «утомительности и неблагодарности» изучения диалектики Канта взята Л. И. Аксельрод как раз из той статьи Энгельса, которая, если можно так выразиться, каждой строкой, каждым абзацем больно бьет Л. И. Аксельрод с ее невероятно узким пониманием задач историко-философского изучения. Именно в той самой статье, которую так безосновательно и своекорыстно использовала Л. И. Аксельрод, Энгельс,—вопреки всем утверждениям Л. И. Аксельрод,—настаивает на необходимости изучения истории философии и, в частности, истории диалектики **во всем ее объеме, во всех ее исторических формах**, а не только в той форме, какую она приняла в системе Гегеля. По мысли Энгельса [1]), работа естествоиспытателей сильно страдает от «путаницы и бессвязности теоретического мышления». Избежать этой путаницы и бессвязности нет никакой возможности «без возврата в той или иной форме от метафизического мышления к диалектическому» [2]). Этот возврат может совершиться либо стихийно, силами самих естественно-научных открытий, либо организованным путем. Но стихийное возвращение к диалектике есть, по Энгельсу, «тяжелый и мучительный процесс, при котором приходится преодолевать колоссальную массу излишних трений» [3]). Напротив, возврат организованный, сознательный знаменует значительное сокращение пути. Этот процесс «может быть значительно сокращен, если теоретизирующие естествоиспытатели захотят познакомиться основательно с диалектической философией **в ее исторически данных формах**» [4]). Таким образом, по Энгельсу, наилучшее средство для возврата естественно-научной мысли на путь диалектики есть **изучение истории диалектики** и притом не только гегелевской, но диалектики в ее **исторически данных формах**. И тут же Энгельс отмечает, что из этих форм особенно плодотворными для современного естествознания должны быть две: **греческая философия и классическая немецкая философия от Канта до Гегеля** [5]).

Не правда ли, это несколько не похоже на то, что говорит об изучении истории философии Л. И. Аксельрод? Энгельс считал плодотворным не только изучение «классической немецкой философии от Канта до Гегеля», но даже—о, ужас!—изучение **античной** философии. С точки зрения Л. И. Аксельрод, не выносящей даже Канта и Фихте, вряд ли такое изучение может быть признано отвечающим актуальнейшим и неотложным задачам дня. Но Энгельс был на этот счет другого мнения. «Мы вынуждены будем в философии,—писал он в той же самой статье, которую так неудачно использовала Л. И. Аксельрод,—мы вынуждены будем в философии, как и во многих других областях, возвращаться постоянно к подвигам того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили ему такое место в истории развития человечества, на которое

---

[1]) Ф. Энгельс, Диалектика природы (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, I, стр. 129).

[2]) Там же.

[3]) Там же.

[4]) Там же.

[5]) Там же, стр. 129—130.

не может претендовать ни один другой народ»[1]). «Все реже становится те естествоиспытатели,—писал дальше Энгельс,—которые, сами оперируя отбросами греческой философии,—например, атомистики,—как вечными истинами, смотрят по-бэконовски свысока на греков на том основании, что у последних не было эмпирического естествознания. Было бы только желательно, чтобы это понимание углубилось и привело к действительному ознакомлению с греческой философией»[2]).

Как видит читатель, Энгельс полагал, что для естествоиспытателей совершенно необходимо изучение даже истории греческой диалектики. Но не в меньшей степени считал он необходимым и изучение истории диалектики классического идеализма,—от Канта до Гегеля. И если Энгельс говорил, что «изучать диалектику Канта было бы без нужды утомительной и неблагодарной работой», то он имел в виду нечто совершенно иное, чем то, о чем невпопад говорит Л. И. Аксельрод. Говоря о необходимости изучения истории классической немецкой философии, Энгельс обращает внимание на то, что по отношению к Канту «лед уж как будто тронулся»[3]). «Кант,—говорит Энгельс,—снова оказался в почете у естествоиспытателей»[4]), «становится снова модой возвращаться к Канту»[5]).

Для непредвзятого и добросовестного читателя, умеющего вдумываться в контекст и чуждого привычке жонглировать бессвязными цитатами, совершенно ясно, что никакого принципиального возражения против изучения диалектики Канта цитата, приведенная Л. И. Аксельрод, не содержит. Энгельс показывает, что для него вполне понятны истинные причины успеха Канта у естествоиспытателей. Кант оказался снова в почете у естествоиспытателей «с тех пор, как открыли, что Кант является творцом двух гениальных гипотез, без которых не может обойтись современное теоретическое естествознание, именно приписывавшейся прежде Лапласу теории возникновения солнечной системы и теории замедления вращения земли благодаря приливам»[6]). Учитывая, что естествоиспытателям импонируют только те теории, которые имеют непосредственное значение для специальных наук, Энгельс выражает естественное опасение, как бы возвращающиеся к Канту естествоиспытатели не застряли на изучении той несовершенной и недостаточной формы диалектики, какую представляет система Канта.

Совершенно ясно, что возражения Энгельса преследуют единственную цель,—предостеречь от попыток разрабатывать диалектическую логику, диалектический метод на устарелых, неудовлетворительных, исторически превзойденных основах философии Канта. Ничего сверх этого Энгельс не хотел сказать. Утверждать же, — как это делает Аксельрод,—будто Энгельс вообще возражал против исторического изучения диалектики Канта, как ненужного, праздного и схоластического занятия,—это значит, — в лучшем случае, — превратно понять Энгельса, а в худшем,—просто извращать истину, играть на доверии и на невежестве читателя.

Даже в том случае, если бы философия Канта была вовсе лишена тех элементов диалектики, которые обеспечили ей навсегда видную

[1]) Там же, стр. 129
[2]) Там же.
[3]) Там же, стр. 131.
[4]) Там же.
[5]) Там же.
[6]) Там же.

историческую роль, философия Канта, как крупное и влиятельное философское построение, осталась бы одним из интереснейших и важнейших предметов историко-философского изучения.

Впрочем, даже к диалектике Канта Энгельс относился вовсе не столь сурово, как это изображает Л. И. Аксельрод. Тенденциозно интерпретируя мысли Энгельса, Л. И. Аксельрод привела только ту цитату, которая оказалась для нее выгодной. Но в той же «Диалектике природы» имеются места, где Энгельс,—в известных отношениях,—отдает диалектике Канта явное предпочтение сравнительно с диалектикой Гегеля. По словам Энгельса, гегелевская система «только «дух» приписывала историческое развитие... Таким образом, — говорит Энгельс, — в этом отношении Гегель стоит далеко позади Канта, который своей теорией туманности об'яснил возникновение солнечной системы, а своим открытием влияния морских приливов на замедление вращения земли предрек ее гибель» [1]).

Впрочем, в одном месте Л. И. Аксельрод постаралась смягчить резкость своего выпада против истории философии. «Само собой разумеется,—снисходительно раз'ясняет Л. И. Аксельрод, — что мы отнюдь не против теоретического рассмотрения развития диалектики, даже в ее чисто-логической и идеологической форме. Но такая задача, если она разрабатывается без всякого следа исторической связи, как это имеет место в статьях Деборина, уже, во всяком случае, не может считаться первейшей и жгучей задачей современной эпохи» [2]).

В этой фразе все удивительно: во-первых, голословное, ничем не подтвержденное и фактически неверное утверждение, будто исследования А. М. Деборина по истории диалектики «разрабатываются без всякого следа исторической связи». И в «Диалектике Канта» и в статьях, посвященных диалектике Фихте, А. М. Деборин уделил не мало места обстоятельному анализу исторических корней философии Канта и Фихте. Достаточно напомнить хотя бы такие статьи, как «Фихте и Великая Французская революция». Л. И. Аксельрод либо не читала вовсе этих статей, либо, если читала,—вновь и вновь тенденциозно извращает факты. Во-вторых, в этой фразе Л. И. Аксельрод приписывает А. М. Деборину смешное и претенциозное убеждение, будто все его многоразличные работы представляют в равной мере актуальный отклик на запросы текущего дня. Но где и когда А. М. Деборин высказывал подобное убеждение? Вся эта неловкая, натянутая инвектива Л. И. Аксельрод,—если рассматривать ее как суб'ективный акт,—преследует только одну цель: дискредитировать темы исторических работ А. М. Деборина в глазах читателя. Если же рассматривать выступления Л. И. Аксельрод как об'ективное событие, то оно сводится к следующему.

В 1917 году, в стране Октябрьской революции героическими действиями пролетариата впервые во всемирной истории были созданы условия для успешного развития единственной научной философии современности,—философии диалектического материализма. В невероятно трудных экономических условиях был создан ряд научных институтов, органов, журналов, в которых марксистская мысль впервые смогла выйти на широкое поприще научных работ и исследований. В это время А. М. Деборин собрал вокруг себя небольшую группу молодых работников, которые под его организационным и идейным

[1]) Там же, стр. 373, курсив мой — В. А.
[2]) Л. И. Аксельрод, op. cit., стр. 72.

руководством взялись за разработку ряда областей научной философии. Руководя этой группой, А. М. Деборин повел работу одновременно по нескольким линиям: одновременно ему пришлось вести борьбу с реакционными течениями западной философии, с варварскими попытками ликвидации, упразднения философии, с идеалистическими извращениями внутри философского марксизма. В то же время, не ослабляя борьбы с реакционной философией, А. М. Деборин приступил к ряду положительных исследований: к разработке материалистической диалектики, к разработке истории материализма и к разработке истории диалектики. Как раз в этой последней области А. М. Деборин оказался пионером. Если в области истории материализма начало научному изучению было уже до А. М. Деборина положено в классической работе Плеханова, то в сфере истории диалектики такого начала не было: здесь все приходилось начинать с начала, по-новому, на свой страх. Правда, в самое последнее время, одновременно с оживлением неогегелианских течений, параллельно с усилением неофихтеанства и других аналогичных явлений, в буржуазной историко-философской литературе стало заметно некоторое усиление интереса к диалектическим философам и к истории диалектики. Но исходная точка этого интереса попрежнему лежит вне материализма. В такой-то обстановке начал А. М. Деборин свои исследования по истории диалектики. Нечего и говорить о значении и о трудностях этой работы. Предстоит изучить все развитие диалектики,—с точки зрения ее результата,—с точки зрения диалектического материализма и материалистической диалектики. Надлежит пересмотреть все традиционные схемы историко-философского развития, переставить акценты, переоценить и заново построить выводы и т. д.

Что же, спрашивается, делала в это время Л. И. Аксельрод? Примкнула ли она к начатой А. М. Дебориным большой историко-философской работе? Применила ли свои знания, свой литературный опыт, свои способности к изучению истории философии и истории диалектики? Способствовала ли она своими работами совершенствованию марксистской истории диалектики?—Нет, нет и нет. Л. И. Аксельрод избрала благую часть: она оставила за собою роль беспощадного сурового критика историко-философских работ А. М. Деборина и его друзей. Мало того. Оставшись в стороне от начатой громадной историко-философской работы, чуждая и равнодушная к этой работе, Л. И. Аксельрод не может вдоволь натешиться по адресу тех «схоластов», которые могут предаваться столь вздорным занятиям.

Нельзя забывать, что работа историков-материалистов развертывается в обстановке глухой, притушенной, но все же существующей, враждебной критики буржуазных идеалистических ученых и историков философии, историков литературы и т. п. В такой обстановке воздержание Л. И. Аксельрод от участия в историко-философской работе марксистов, а еще более—яростная критика той работы, которая, худо ли или хорошо, но все же марксистами производится,—приобретает определенное отрицательное общественное значение.

Конечно, было бы смешно требовать от Л. И. Аксельрод во что бы то ни стало интенсивной историко-философской работы. Тематика научной работы в известной мере—дело личное, дело личной склонности и личной способности. Но можно и должно требовать от Л. И. Аксельрод другого,—терпимости и уважения к тем, кто, несмотря на трудности, эту работу все же начал и как-то делает. Мы осуждаем Л. И.

Аксельрод именно за отсутствие этой терпимости и этого уважения. И мы имеем основания думать, что источник этой нетерпимости не только в полемической озлобленности, но, кроме того,—и прежде всего,—в узком, граничащем с обывательщиной утилитарном, чрезмерно утилитарном подходе к проблемам историко-философских исследований. Философско-культурная позиция Л. И. Аксельрод есть позиция близорукого и одностороннего утилитаризма[1]).

Источник непонятно высокомерного, пренебрежительного отношения Л. И. Аксельрод к историко-философскому изучению диалектики Канта и Фихте коренится в характерном для всего мышления Л. И. Аксельрод узком утилитаризме философских воззрений.

II.

Здесь нам предстоит подняться на следующую ступень в выяснении философских взглядов Л. И. Аксельрод. При ближайшем знакомстве взгляды эти оказываются разновидностью довольно обыденного и неглубокого утилитаризма. И здесь, надо полагать, Л. И. Аксельрод, услышав прямое обвинение в утилитаризме, заявила бы громкий, решительный и притом недоумевающий протест. И здесь она наверное указала бы, что утилитаризм ее гносеологических воззрений ничем не отличается от общих утилитарных принципов гносеологии Маркса и Энгельса, от классического марксовского постулата практической целеустремленности знания.

Однако это не так. Об'ективный смысл последних выступлений Л. И. Аксельрод далеко выходит из границ утилитаризма, намеченных гносеологией Маркса и Энгельса. Доказательству этого положения и посвящается настоящая глава.

Антидиалектический утилитаризм Л. И. Аксельрод обнаруживается во многих ее выступлениях и утверждениях. Близоруким утилитаризмом обусловлены нападки Л. И. Аксельрод на историческое изучение диалектики Канта и Фихте. Утилитарную ценность такого рода исследований Л. И. Аксельрод пытается измерить исключительным масштабом их непосредственной пользы, мерой их соответствия непосредственным задачам текущего дня.

Нет нужды доказывать, насколько далеки эти взгляды от правильного понимания практического значения науки. Если подходить к научной работе со столь односторонним и узким критерием, то, например, систематическое фотографирование звездного неба, предпринятое по взаимному соглашению рядом крупнейших обсерваторий и рассчита-

---

[1]) Читателю не безынтересно узнать, что было время, когда Л. И. Аксельрод не считала постыдным заниматься изучением даже таких философов, чьи системы основаны на целиком превзойденных уже точках зрения. В свое время сама Л. И. Аксельрод написала, напр., статью о Фихте «Основное содержание системы Фихте,—писала она,—может считаться в наше время превзойденным совершенно и окончательно» («Против идеализма», 1923, стр. 53). Однако это обстоятельство не означало в то время в глазах Л. И. Аксельрод ненужности и бесполезности изучения философии Фихте. «Что же касается философской системы,—писала Л. И. Аксельрод,—то оно, как классическое творение мощного духа, остается живой и великой ценностью, несмотря на то, что превзойдена. Справедливо говорит Гегель: «Каждая философия была необходима, и ни одна еще из них не погибла, но все, как моменты некоторого целого, положительно сохраняются в философии как таковой» (Там же, стр. 55).

ное на много лет кропотлнвейшего труда, также нужно будет признать праздной затеей. Какие тут, в самом деле, актуальнейшие и иасущные задачн дня!

Однако ярче всего утилитаризм философских воззрений Л. И. Аксельрод обнаруживается в критике данного А. М. Дебориным определения н с т н н ы. Критнка эта чрезвычайно любопытна. Как и всегда почти, свои крнтическне соображения Л. И. Аксельрод излагает в высокомерно-нронических и назидательных выражениях. Л. И. Аксельрод прнводит из статьи А. М. Деборина «Диалектика у Канта» цитату, в начале которой А. М. Деборин говорит, что «целью познания является истнна». По поводу этой фразы Л. И. Аксельрод пишет: «Целью познання,—возвещает наш философ (т.-е. А. М. Деборин. — В. А.),—является истина. Я полагаю, что для всякого хоть мало-мальски мыслящего марксиста должно быть ясно без комментариев, что т а к а я ф о р м у л и р о в к а ц е л и п о з н а н и я е с т ь п о д л и н н ы й з а п р а в с к и й с т а р ы й и д е а л н з м. Говорю «старый», потому что ни один современный идеалист, стоящий на уровне знания нашей эпохи, не согласится с такой формулировкой. Утнлнтарный в общем значенин этого понятия характер познания выступает с такой выпуклостью в наше время, что, пожалуй, даже просвещенные теологи не станут разделять такой формулировки» [1]).

Итак, Л. И. Аксельрод полагает, что формулировка, утверждающая, будто цель познания есть нстнна, представляет собою подлинный, заправский, да еще к тому же и старый идеализм. В противовес этому, якобы идеалистнческому и даже старо-идеалистическому взгляду, Л. И. Аксельрод подчеркивает «утилитарный в общем значеинн этого понятия характер познаиия».

В этих рассуждениях Л. И. Аксельрод нет, прежде всего, необходнмой ясности и точности выражений. Инкримнннруемая А. М. Деборину фраза говорит о ц е л и познания, тирада Л. И. Аксельрод—об общем х а р а к т е р е познання. Всякому поиятно, что х а р а к т е р н ц е л ь ие одно и то же, и что эти понятия не могут быть противопоставляемы друг другу. По общему смыслу возраження Л. И. Аксельрод, надо полагать, что в данном месте под словом «характер науки» она подразумевала именно «цель зиания». В таком случае смысл возраження Л. И. Аксельрод может быть сведен к более ясной антитезе: вопреки мнеиию А. Деборина,—целью познання Л. И. Аксельрод провозглашает не нахожденне истины, а, вообще говоря, утилитарные, п р а к т н ч е с к и е задачи.

Выраженная в такой форме тирада Л. И. Аксельрод выигрывает в ясности, но, к сожалению, ни на капельку не становится от этого нстнниой.

Не подлежнт сомнению, что в своем выпаде против А. М. Деборина Л. И. Аксельрод руководствовалась известными, классническими положеннями Маркса: как нзвестно, одним из главных недостатков всех форм предшествующего материализма Маркс считал его пассивно-созерцательный, односторонне-теоретическнй характер. В противовес этому старому материализму Маркс выдвннул свой знаменнтый тезис о практнческой целеустремленности знания: философы лншь различным образом о б ' я с н я л и мир, но дело заключается в том, чтобы и з м е н и т ь его.

В своих нападках на А. М. Деборина Л. И. Аксельрод, очевидно, исходит нменно из этих положений Маркса. Но даже в том случае,

[1]) Л. И. А к с е л ь р о д, op. cit., стр. 163.

если бы обвинения Л. И. Аксельрод были бы правильны по существу, иными словами, даже в том случае, если бы приведенное из статьи А. М. Деборина положение заключало в себе отступление от принципов марксистской гносеологии, форма, в которой это обвинение выражено, крайне неудачна. Форма эта противоречит всем данным истории философии. В самом деле: по Л. И. Аксельрод выходит, что предложенное А. М. Дебориным определение истины есть *старый, заправский идеализм*. Но ведь как раз наоборот: старый идеализм, и только он, — в отличие от до-марксовского материализма, — разрабатывал *практическую, активную сторону* познания! «Действенная сторона,—писал Маркс в первом тезисе о Фейербахе,—в противоположность материализму, развивалась идеализмом и т. д.». И, действительно; такой, например, «старый» идеалист, каким был Иоганн Готлиб Фихте, не менее решительно, чем Л. И. Аксельрод, подчинял всю теоретическую сторону знания практической. Фихте подчеркивал, что из исходной точки его философии «явственнейшим образом следует подчинение теории практическому; отсюда следует,—писал Фихте,— что все *теоретические законы* основываются на *практических*, а так как практический закон может быть только один, то—на одном и том же законе»... «Таким образом,—раз'яснял Фихте,—разрушается до основания тот фатализм, который основывается на убеждении, будто наше действование и воление зависит от системы наших представлений; ибо здесь устанавливается, что, напротив того, система наших представлений зависит от нашего побуждения и нашей воли» [1]).

Таким образом, если бы Л. И. Аксельрод могла найти правильную историческую аргументацию для своих обвинений, если бы она могла высказать их грамотно в историко-философском отношении, то она должна была бы сказать совсем иначе: она должна была бы обвинить А. М. Деборина и данное им определение цели познания не в том, что оно составлено в духе старого идеализма, а скорее в том, что оно — вульгарно-материалистично, в том, что оно остается на уровне до-марксовского, т.-е. метафизического, механистического, пассивно-созерцательного материализма.

Но как бы там ни было, в какой бы форме ни выражала Л. И. Аксельрод свое недовольство А. М. Дебориным, *ее обвинение по существу не имеет под собой решительно никаких оснований*. Более того. Обвинение это предательски обнаруживает, с головой выдает серьезные, вряд ли исправимые недостатки мышления самой Л. И. Аксельрод. И в первую голову оно выдает *антидиалектический*, утилитарный характер ее гносеологических воззрений.

Из учения Маркса об истине Л. И. Аксельрод запомнила только то, что знание должно разрабатывать практическую сторону. Положение это хоть и верно, однако само по себе недостаточно. Преодоление *старо-материалистического* взгляда на знание как на *исключительно* пассивное, *исключительно* теоретическое отражение действительности в нашей науке, не может быть достигнуто тем, что на месте тезиса: «цель знания—истина» мы поставим столь же голый и абстрактный тезис: «цель знания—практическое изменение мира».

Соотношение между практической и теоретической сторонами знания бесконечно более сложно. Чтобы быть понятым, соотношение это требует уразумения конкретной диалектики познавательного про-

[1]) И. Г. *Фихте*, Избранн. сочин., I, стр. 274.

цесса. Диалектика же эта состоит в том, что действительным, пересоздающим и изменяющим мир может быть только такое знание, которое истинно. Знание есть сила, изменяющая мир, но изменять мир может не всякое знание, но только истинное, и в меру своей истинности.

Поэтому, как только европейская философская мысль нового времени,—в лице гениального Фрэнсиса Бекона,—усвоила идею о действенном значении науки и знания, она тотчас же вслед за постулатом о практической ориентации знания выставила постулат его истинности. В соответствии с этим в самом начале «Нового органа» Бекон занимается тщательным исследованием общих причин и источников наших заблуждений, иными словами,—исследованием условий, препятствующих нам в стремлении достигнуть истины. По той же причине Бекон так же, как и Декарт, огромное значение придавал вопросу о правильном методе научного исследования, т. е. о таком методе, который скорее и вернее ведет к истине.

Диалектический материализм одинаково чужд всем формам абстрактно-метафизического, одностороннего мышления. Диалектический материализм сообщает современное выражение тезису Бекона о практическом назначении науки. В познании диалектический материализм видит могучее средство умножения практической мощи трудового человечества. Бесконечное разнообразие наук, с их чрезвычайно сложными отличиями по предмету и по методу исследования, с сложными формами разделения труда и специализации, создающими видимость автономного имманентного движения наук, диалектический материализм подчиняет единой верховной цели,—развитию и укреплению власти человека над стихиями природы и над стихиями, управляющими экономической и политической жизнью людей. При этом, в отличие от старого идеализма, в котором действенная сторона хотя и развивалась, но, по словам Маркса, развивалась «только абстрактно», ибо идеализм, «естественно, не знает действительной чувственной деятельности, как таковой»,—диалектический материализм исследует материальные, и предметной чувственной деятельности человека укорененные условия, из которых возникает вся проблематика науки, показывая, как с развитием технологии прогрессируют и развиваются различные отрасли знания и все знание в целом. Но, с другой стороны, подчиняя мнимо-автономное, мнимо-имманентное движение наук верховной практической цели, диалектический материализм,—в качестве первого и необходимого признака всякой науки и всякого научного знания,—выдвигает признак истинности. Диалектический материализм стремится только к истинному знанию, так как только истинное знание действенно и способно увеличивать практическое могущество человека.

Диалектическому материализму нужна только истинная наука. С точки зрения диалектического материализма никакой практический результат знания, как бы ни был силен его временный эффект, не может гарантировать научным утверждениям признания, если эти утверждения не истинны.

С другой стороны, диалектический материализм не боится глядеть прямо в лицо истине, даже тогда, когда истина эта возвещает нам о практически-нежелательных или неприятных для нас событиях, обстоятельствах или отношениях. Так, в 90-х годах прошлого века, научное, марксистски-точное, основанное на об'ективном изучении огромного множества фактов изучение экономического развития Рос-

сии показало Плеханову и Ленину, что,—вопреки всем желаниям, думам, чаяниям и идеалам многих и многих благородно мысливших российских интеллигентов,—капитализм в России,—со всеми мрачными его последствиями,—у ж е н а л и ц о, что капиталистические отношения успели уже глубоко проникнуть в тело русской деревни, разлагая и уничтожая остатки феодальных отношений, повсеместно собирая на одном полюсе деревенский пролетариат, на другом — деревенскую б у р ж у а з и ю. И как ни был печален и нежелателен,—в практическом отношении,—этот процесс, сопровождавшийся разорением массы мелких крестьянских хозяйств, образованием неимущего пролетариата и т. д.,—русские марксисты не могли счесть результаты своих исследований ложными,—на том только основании, что эти результаты противоречили их нравственным идеалам или еще каким-нибудь там практическим соображениям [1]). Диалектический материализм всегда преследует задачу бесстрашного, прямого, неутомимого исследования и с т и н ы, во всей ее неприкрашенной, неприглядной сущности, со всеми ее результатами, требуя при этом одного: т о ч н о г о и об'ективного изучения всех обстоятельств, всех сторон истины.

П о э т о м у у т в е р ж д е н и е А. М. Д е б о р и н а, г л а с я щ е е, ч т о «ц е л ь п о з н а н и я—и с т и н а»,—е с т ь у т в е р ж д е н и е п р а в и л ь н о е, с т о я щ е е в п о л н о м с о г л а с и и с п р и н ц и п а м и т е о р и и п о з н а н и я д и а л е к т и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а. Если бы полемический азарт не ослепил окончательно зрения Л. И. Аксельрод, она могла бы без труда найти в сочинениях уважаемых ею представителей диалектического материализма не мало мест, содержащих утверждения, по существу тожественные с охаянным ею тезисом А. М. Деборина. Так Плеханов, которого Л. И. Аксельрод, повидимому, не считает до сих пор ни схоластом, ни гегельянствующим идеалистом, в классической книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» воспел,—устами Н. Г. Чернышевского,—целый дифирамб в честь истины. Раз'ясняя народникам, что диалектическая триада выступает в работах Маркса не как априорная формальная схема познания, но как результат и вывод из действительного изучения конкретной эмпирической жизни, Плеханов,—для подтверждения своих слов,—ссылается—как на свидетеля—на Чернышевского. «Просим внимания,—говорит Плеханов,—свидетель будет говорить долго и, по своему обыкновению умно» [2]).

В центре этой замечательной цитаты Плеханова стоит как раз вопрос об истине. «Прежде всего,—цитирует Плеханов, — укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще и в особенности гегелева система от тех лицемерных и трусливых возрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «Истина—верховная цель мышления; ищите истину, потому что в истине—благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что неистинно; первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми люби-

---

[1]) К тому же сама оценка отрицательных сторон капитализма была у марксистов совсем иная, чем у народников. Марксисты были чужды какой бы то ни было слащавой идеализации традиционных форм хозяйствования мелких производителей. Даже в «отрицательных» фактах и последствиях развития капитализма они видели потенциальное условие развития—в будущем—и положительных явлений. В этом смысле Ленин раз'яснял прогрессивную функцию капитализма.

[2]) Г. В. П л е х а н о в, Соч., т. VII, стр. 123.

ными своими мнениями. Заблуждение — источник всякой пагубы; истина—верховное благо и источник других благ». Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времен Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем, надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе, как затем, чтобы «оправдать дорогие для них убеждения», т.-е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям... Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «суб'ективным мышлением» (святители!—замечает здесь Плеханов,—да уж не за то ли ругают Гегеля схоластиком наши суб'ективные мыслители?—Автор), философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличил эту пустую и вредную забаву (Слушайте! Слушайте!)» [1]).

Примечания в скобках, принадлежащие самому Плеханову, ясно показывают, какое положительное значение придавал Плеханов высказанным здесь суждениям Чернышевского об истине. Плеханов обращает особое внимание (слушайте, Л. И. Аксельрод, слушайте) как раз на то место у Чернышевского, где последний говорит, что Гегель жестоко изобличил,—как пустую и вредную забаву,—точку зрения тех, кто не в состоянии философствовать «ради живой потребности истины».

В диалектике познания целеустремленность знания к истине имеет такое громадное значение, что Плеханов никогда не боялся говорить об истине и о стремлении к истине без обязательного каждый раз упоминания о верховной,—практической,—задаче науки. Так, в первых же строках предисловия к книге А. М. Деборина Плеханов цитирует данное Э. Целлером определение цели философии. «В чем, — пишет Плеханов,—состоит задача философии? В том,—отвечает он словами Э. Целлера,—чтобы «и с с л е д о в а т ь последние основания познания и бытия и п о с т и г н у т ь все реальное в связи с этими основаниями». И это, — замечает Плеханов, — п р а в и л ь н о» [2]).

И совершенно в том же духе, отвечая на возражения Михайловского, Ленин в «Что такое друзья народа» писал: «Задача материалистов—правильно и точно изобразить действительный исторический процесс» [3]).

Таким образом, нападение Л. И. Аксельрод на данное А. М. Дебориным определение задачи знания в корне несостоятельно. Оно не только не имеет под собой никаких решительно оснований, но, кроме того, содержит в себе, в скрытом виде, крупную теоретическую ошибку. Оно не учитывает всей сложной диалектики познавательного процесса. Материалистическое понимание задачи познания состоит не в том, чтобы просто выбросить за борт старо-материалистический взгляд на истину, как на цель знания и поставить на место его утверждение, будто цель знания—практическое изменение мира. Тот, кто ограничился бы подобным действием, был бы так же далек от к о н к р е т н о й истины, как вульгарный материалист, который стал бы твердить о том, что поведение человека—детерминировано, не упоминая при этом ни одним словом о проблеме возможной для человека свободы и о ее разрешении. Верное само по себе положение, утверждающее причинную

[1]) Там же, стр. 124.
[2]) Г. В. Плеханов. Соч., т. XVIII, стр. 296.
[3]) Ленин, Соч., т. I, стр. 92.

обусловленность всех действий и всех поступков человека, в том числе и тех, которые совершаются при свете сознания, тотчас же превращается в заблуждение как только мы забываем дополнить тезис детерминизма тезисом о свободе как о познанной необходимости. Но точно то же справедливо и относительно и с т и н ы. Верный сам по себе, тезис о верховном практическом назначении знания становится совершенно недостаточным и потому в своей недостаточности ложным, как только мы забудем присоединить к нему,—в качестве основного условия,—постулат и с т и н н о с т и знания, его соответствия действительности.

Кто не понимает справедливости сказанного, кто в марксистское определение задач знания не вводит постулат инстинности, тот совершенно лишается какой бы то ни было возможности отличить гносеологию диалектического материализма от весьма распространенных и в идеалистической буржуазной философии форм у т и л и т а р и з м а и п р а г м а т и з м а. Различие между гносеологией диалектического материализма и гносеологией ходячего у т и л и т а р и з м а, и н с т р у м е н т а л и з м а, п р а г м а т и з м а и т. д. начинается как раз в том пункте, где на сцену выступает п р о б л е м а и с т и н ы. По вопросу о конечной цели познания гносеология диалектического материализма вообще говоря, не расходится ни в чем существенном с гносеологией утилитаризма. Тезис подчинения знания верховной задаче практической ориентации, практического преобразования действительности равно написан на знаменах обоих учений. Различие,—и притом неустранимое, принципиальное, существенное,—состоит в том, что для прагматизма вопрос об истине, как такой, лишен всякого смысла растворяется без остатка в общих утилитарных принципах этого учения. Так, по Джемсу, слово «истина» означает только то, что мысли (составляющие сами лишь часть нашего опыта) становятся истинными ровно постольку, поскольку они помогают нам приходить в удовлетворительное отношение к другим частям нашего опыта» [1]). ...Вместе с Шиллером, вместе с Дьюи Джемс утверждает: «Мысль..., которая целесообразно связывает между собой вещи, работает надежно, упрощает, экономизирует труд,—такая мысль истинна ровно постольку, поскольку она все это делает. Она истинна, как орудие логической работы, и н с т р у м е н т а л ь н о» [2]). «Истинное, — раз'ясняет далее Джемс,—это просто лишь удобное (expedient) в образе нашего мышления, подобно тому, как «справедливое»—это лишь удобное в образе нашего поведения» [3]). Так, физик Пьер Дюгем, в полном согласии с прагматизмом, утверждает, что «правильной мы должны считать не такую теорию, которая дает об'яснение физическим явлениям, соответствующее действительности, а такую, которая наиболее удовлетворительным образом выражает группу экспериментально установленных законов» [4]).

Для прагматиста все мнения, все суждения, все утверждения хороши и истинны —в той мере, в какой они способны обслуживать потребности нашей практической ориентации. Для прагматиста совершенно не важно с о д е р ж а н и е истины, его интересует исключительно ее п р а к т и ч е с к и й э ф ф е к т. С точки зрения прагматиста, даже самое нелепое, самое фантастическое, самое вздорное суждение

[1]) В. Д ж е м с, Прагматизм, изд. 2-е, Спб. 1910, стр. 41.
[2]) Там же, стр. 41.
[3]) Там же, стр. 136.
[4]) П ь е р Д ю г е м, Физическая теория, ее цель и строение, Спб. 1910, стр. 26.

должно быть признано «истинным», если будет установлено, что суждение это обслуживает в какой-то мере практические потребности жизни.

Возьмем для примера так называемые мистические переживания. Переживания эти существуют. История идеологии показывает, что мистически настроенные люди существовали в различных общественно-экономических формациях. Мистицизм процветал в античном пифагорействе и в неоплатонизме. Мистика существовала,—параллельно со схоластикой,—в феодальном обществе. Мистицизмом окрашены неоплатоновские учения эпохи Ренессанса. Мистика процветает в современном буржуазном обществе. Но мистика выражается не только в «переживаниях» и «настроениях». Мистика есть определенное миропонимание. Она заключает в себе ряд определенных,—и притом удивительно сходных, несмотря на исторические различия по общественным формациям,—учений и положений. Спрашивается, какова должна быть оценка этих представлений и учений с точки зрения истинности?

Для прагматиста совершенно не важно, соответствуют ли или не соответствуют мистические представления действительности. Такая постановка вопроса, вероятно, показалась бы прагматисту просто наивной и, пожалуй, тоже «идеалистической». Для него ценность мистических представлений определяется не степенью их соответствия действительности, но исключительно коэффициентом их полезного практического действия. Прагматист и мистические идеи охотно признает «истинными»,—лишь бы только идеи эти оказались способными удовлетворить известным практическим потребностям людей. «Если окажется,—говорит Джемс,—что религиозные идеи имеют ценность для действительной жизни, то, с точки зрения прагматизма, они будут истинны в меру своей пригодности для этого» [1]).

Не требуется много труда, чтобы показать, что это учение об истине, несмотря на общие скобки утилитаризма, совершенно не приемлемо для диалектического материализма. Как бы ни был велик практический эффект наших представлений, какое бы глубокое удовлетворение они не доставляли известным группам и классам людей,—но ценными, с точки зрения диалектического материализма, они могут быть названы только в меру их соответствия действительности, т.-е. в меру их истинности.

И, наоборот, в буржуазных университетах, в буржуазной науке культивируется ряд идеалистических и полуидеалистических теорий исторического процесса. Нельзя сказать, чтобы теории эти не имели никакого практически-полезного действия. Они очень полезны буржуазии. В условиях реакции, фашистской диктатуры, относительной стабилизации капитализма теории эти представляют одно из средств для практической борьбы буржуазии с коммунизмом. Однако несомненная временная практическая действенность этих теорий отнюдь не делает их истинными. Мера истинности определяется не только временным практическим результатом, утилитарным эффектом. В понятие истины обязательно должен войти момент соответствия действительности.

Напрасно поэтому Л. И. Аксельрод выдвигает против А. М. Деборина свой тезис об общем утилитарном характере науки, напрасно ссылается на современных идеалистов, как на людей, понявших уже давно то, что не понято А. М. Дебориным. В рассуждениях Л. И. Аксельрод верно только одно: правильно отмечено, что гносеология современ-

[1]) В. Джемс, Прагматизм, стр. 80.

ного идеализма зачастую сплошь утилитарна, прагматистична. Но эт правильное наблюдение обращается своим острием против самой Л. И. Аксельрод. В вопросе *о целях знания* позиция диалектического материализма *не совпадает* с современным идеализмом, но резко от него отличается. И коренной пункт расхождения между ними— вопрос *об истине как о цели знания*.

III.

В вопросе об истине явно стирается различие между философскими воззрениями Л. И. Аксельрод и распространенными буржуазными теориями прагматизма и инструментализма. Нападая на данное А. М. Дебориным определение цели познания, Л. И. Аксельрод не только ставит себя *вне* гносеологии диалектического материализма но, кроме того, оказывает явное предпочтение современным идеалистическим теориям истины. «Утилитарный в общем значении этого понятия характер познания,—заявляет Л. И. Аксельрод,—выступает с такой выпуклостью в наше время, что, пожалуй, даже просвещенные теологи не станут разделять такой (как у А. М. Деборина.—В. А.) формулировки»[1]).

Л. И. Аксельрод неосторожно поступает, наделяя комплиментами современных «просвещенных теологов». Утилитаризм, которым проникнуты взгляды современных идеалистов и теологов на теорию истины, доказывает не передовой характер их гносеологии, но, напротив, представляет выражение глубокого философского декаданса. Современных идеалистов влечет к утилитаризму не столько желание стать с веком наравне, сколько глубокий скептицизм, разочарование в положительном знании, равнодушие к теоретической стороне вопроса об истине, стремление подыскать основы для распространяющегося фидеизма[2]), мистицизма и суеверия.

Констатирование утилитаризма в гносеологических воззрениях Л. И. Аксельрод выдвигает *ряд новых вопросов* о характере ее философских позиций. Гносеологический утилитаризм есть одна из разновидностей *вульгарного эмпиризма*. Если это так, то в гносеологии Л. И. Аксельрод непременно должны быть обнаружены более или менее значительные следы вульгарного эмпиризма. Чтение последней книги Л. И. Аксельрод не оставляет в этом никаких сомнений.

Наиболее отчетливо вульгарный эмпиризм Л. И. Аксельрод выступает в ее полемике с тов. Н. А. Каревым на диспуте, имевшем место 19 декабря 1927 года в театре им. Вс. Мейерхольда. К сожалению, крайняя тенденциозность полемических приемов Л. И. Аксельрод при-

---

[1]) *Л. И. Аксельрод* op. cit., стр. 163.

[2]) Конечно, в образовании теории современного прагматизма громадную роль сыграли поразительные технические и практические достижения новой науки. В этом смысле характерное для прагматизма подчеркивание инструментальной сущности знания есть не более как извращенное идеологическое отражение все возрастающего практического значения науки. Однако тот факт, что в теориях прагматизма как-то отразился объективный рост технической мощи науки, ни сколько не делает прагматические теории более истинными. В лучшем случае этот факт есть лишь косвенное доказательство технического научного прогресса. Напротив, анализ *логических* тенденций теории прагматизма показывает, что, подчеркивая *практическую* природу и цель знания, прагматисты имеют главной задачей критику интеллектуализма, апологию веры и мистицизма (об этом см. мои работы: «Бергсон и его критика интеллектуализма»,—«Под Знаменем Марксизма» 1926, III, стр. 53—84, и «Алогизм Уильяма Джемса»,—«Под Знаменем Марксизма» 1927, VII—VIII, стр. 53—84).

вела к тому, что один из главных предметов спора, происходившего на диспуте между тов. Н. А. Каревым и Л. И. Аксельрод, — вопрос о диалектическом синтезе эмпирических и рационалистических моментов в теории познания диалектического материализма—был старательно затушеван в книге Л. И. Аксельрод.

А между тем вопрос этот—один из коренных вопросов всей теории познания диалектического материализма и один из важнейших вопросов в происходящей философской дискуссии. По непонятным причинам Л. И. Аксельрод стремится умалить значение этой проблемы. Одно из главных ее возражений тов. Н. А. Кареву состоит в отрицании наличности самого вопроса. Л. И. Аксельрод прямо высмеивает диалектиков за то, что, по их мнению, в «Диалектике природы» Энгельса содержится постановка вопроса об отношении эмпирии к мышлению. По мнению Л. И. Аксельрод, диалектики, примыкающие к А. М. Деборину, впали в идеалистический дуализм. В частности, тов. Н. А. Карев повинен в том, что он резко противопоставляет опыту мышление, отрывает мышление от эмпирии и, таким образом, становится «на дуалистическую точку зрения, выдавая ее победоносно и смело за диалектический материализм». Л. И. Аксельрод протестует против выдвинутого Н. А. Каревым различия между эмпиризмом, на почве которого стояли идеалистические эмпирики, кончая Юмом, подготовивший кантианство, и тем эмпиризмом, который до сих пор господствует во многих областях естествознания, и эмпиризмом, лежащим в основе диалектического материализма. Н. А. Кареву Л. И. Аксельрод приписывает взгляд, будто разница между этими двумя родами эмпиризма стоит в том, что первый род эмпиризма отвергает мышление, а второй род мышление признает [1]). По мнению Л. И. Аксельрод, такое мнение—простое «шутовство» [2]). «Разве идеалистические эмпирики,—восклицает Л. И. Аксельрод,—Юм, Кант и кантианцы не признают роли мышления? Ведь именно Кант стремился об'единить эмпиризм с рационализмом или, как это следует из рассуждения тов. Карева, р а ц и о н а л и з и р о в а т ь опыт?» [3]). Ведь вся ошибка Канта заключается в том, что он оторвал форму опыта от содержания опыта, априорные формы—от чувственности, откуда и вытек безысходный дуализм и по существу вся трансцендентальная надстройка, превращенная в основу всего опыта. Тов. Карев берет кантовский дуализм только, конечно, в самой вульгарной его форме, приписывая его диалектическому материализму» [4]).

Особенного внимания заслуживает тот факт, что во всех этих своих рассуждениях Л. И. Аксельрод делает вид, будто она только идет по стопам Энгельса, что Энгельс и не думал подчеркивать роль мышления в диалектике опытного познания. Так, если Энгельс высмеивал—в статье «Естествознание в мире духов»—грубое суеверие и наивный мистицизм некоторых крупных естествоиспытателей, то, по мнению Л. И. Аксельрод, эти грубые заблуждения ученых Энгельс об'ясняет только «отсутствием выработанного общего материалистического научного миросозерцания» [5]). Ничего, кроме этого, Энгельс, по Л. И. Аксельрод, не хотел сказать. Критика Энгельса сводится лишь к тому, что критерию наивного опыта Энгельс противопоставляет в ка-

[1]) Л. И. Аксельрод, op. cit., стр 228
[2]) Там же, стр. 228.
[3]) Там же.
[4]) Там же.
[5]) Там же, стр. 234

честве критерия — «другой опыт, опыт действительный, критически проверенный на основании всего научного исторического опыта» [1]).

Все эти утверждения Л. И. Аксельрод представляют либо сплошное непонимание, либо невероятно тенденциозное искажение действительного смысла аргументов Энгельса. Заметим кстати. «Диалектика природы» Энгельса, как это показала практика нашей философской дискуссии, была и долго еще будет критерием для определения способностей всех ее читающих к философскому теоретическому мышлению.

Интерпретации «Диалектики природы» Энгельса—лучший способ для определения качеств философского мышления ее интерпретаторов. Как всякое крупное произведение крупного ума, «Диалектика природы» предъявляет читателю ряд требований, удовлетворить которым может не каждый. Случай с Л. И. Аксельрод подтверждает общее правило. Нигде ни на каком другом материале не обнаруживается с такой поразительной ясностью неискоренимая ограниченность философского кругозора Л. И. Аксельрод, невосприимчивость к подлинно-глубоким философским вопросам, вульгарно-эмпирический строй ее мышления. При чтении удивительно-слабых комментариев Л. И. Аксельрод даже грустно становится: до какой степени мало могла извлечь Л. И. Аксельрод из такой содержательной, блестящей, философски-значительной книги. Шопенгауэр где-то говорит, что люди перед великими произведениями мысли и искусства все равно, что водолазы перед морской пучиной: каждый может зачерпнуть из них ровно настолько, насколько хватает в глубь его собственный лот. Увы! лот Л. И. Аксельрод приспособлен для плавания по самому мелкому и мутному фарватеру; до глубины «Диалектики природы» Энгельса ему не хватает; он едва проникает в самый ее верхний слой.

И действительно: Л. И. Аксельрод даже не заметила, в чем главный смысл борьбы, которую на протяжении всей «Диалектики природы»—с таким блеском, с такой подлинной философской глубиной—ведет Энгельс. Но Л. И. Аксельрод не только оказалась неспособной понять Энгельса. Свое непонимание она прикрывает, маскирует демонстративным, крайне высокомерным и величественным по тону нападением на Н. А. Карева.

Л. И. Аксельрод «деборнищину» тов. Н. А. Карева видит в том, что тов. Н. А. Карев будто бы приписывает Энгельсу и вообще диалектическому материализму нелепое дуалистическое противопоставление теоретического мышления бессмысленному опыту естествоиспытателей и философов-эмпириков.

Это рассуждение Л. И. Аксельрод не соответствует действительности. Антитеза, которую развивает Энгельс в «Диалектике природы», состоит вовсе не в том, что Энгельс на место бессмысленного опыта эмпириков ставит теоретическое мышление философов. Но Л. И. Аксельрод напрасно приписала тов. Н. А. Кареву такое извращение мыслей Энгельса. Настоящая проблема, которую выдвигает Энгельс, которую он усиленно разрабатывает на протяжении всей «Диалектики природы» и которую имел в виду тов. Н. А. Карев, есть проблема диалектического синтеза сенсуалистических и рационалистических моментов в деятельности познания. Расхождение между Энгельсом и наивными натуралистами тов. Н. А. Карев видит не в том, что наивные натуралисты не

[1]) Там же, стр. 235.

признают никакого мышления, а Энгельс признает, да еще «противопоставляет» мышление опыту. Ничего похожего на такую «интерпретацию» тов. Н. А. Карев не выдвигал. И точно так же расхождение между Энгельсом и философскими эмпириками тов. Н. А. Карев усматривает вовсе не в том, будто Юм и Кант не признавали прав теоретического мышления, а Энгельс признавал.

Действительная проблема, которую выдвигает Энгельс, есть вопрос о взаимоотношении между непосредственно-чувственным опытом и из этого опыта вырастающим опосредствованно-рациональным теоретическим мышлением. Ограниченность естествоиспытателей, против которых борется Энгельс, состоит вовсе не в том, что они не пользуются мышлением—такое обвинение было бы, действительно, нелепо,—а в том, что они стремятся построить теорию опыта и теорию познания, опираясь исключительно на непосредственные данные чувственного восприятия. Критика Энгельса состоит в указании, что существует ряд таких предметов научного познания, в об'ективной реальности которых мы совершенно уверены, но которых об'ективная реальность удостоверяется не непосредственным чувственным восприятием, а теоретическим мышлением. Это не значит, конечно, что теоретическое мышление стоит «вне опыта» или «противополагается» опыту. Обвинение Л. И. Аксельрод в том, что тов. Н. А. Карев «берет кантовский дуализм», да еще «в самой вульгарной его форме, приписывая его диалектическому материализму» [1]), есть чистейший вздор. Теоретическое мышление, разумеется, вырастает генетически из опыта, как его высшая ступень и завершительная модификация. Но на высоких ступенях своего исторического развития: в философии, в естествознании—теоретическое мышление, не выходя из общих рамок опыта, уже не тождественно простой, непосредственной эмпирии. Будучи составной частью эмпирии—в широком смысле этого слова,—оно в то же время отличается от непосредственной эмпирии специфическим качеством, которое состоит в том, что теоретическое мышление, как такое, связано с чувственным опытом не только непосредственной связью, но также более или менее сложной цепью звеньев, или категорий рационального опосредствования. Различие между теоретическим мышлением и опытом не есть всего лишь различие между опытом наивным и опытом «действительным, критически проверенным, на основании всего научного исторического опыта», как хочет представить дело Л. И. Аксельрод. Выраженное в такой форме различие это обще, не ясно и недостаточно. В действительности различие это есть различие между тем, что может быть удостоверено прямой ссылкой на непосредственный чувственный опыт, и тем, что с этим прямым опытом непосредственно не связано и предполагает целую градацию форм и категорий опосредствованного рационального познания. Это различие между опытом непосредственно-чувственным и опытом, подвергшимся рациональной переработке, было известно уже античному материализму. Оно было совершенно ясно уже Демокриту, который—в противоположность нашим современным эмпирикам—был не только материа-

---

[1]) Там же, стр. 228.

листом, но, кроме этого, материалистом-диалектиком. Гениальный материалист-диалектик Демокрит хорошо понимал, — этого никогда не поймут неспособные к диалектике умы,—что, вырастая из единого корня опыта, теоретическое мышление, кроме единства с опытом, заключает в себе и различие. Поэтому Демокрит непосредственному чувственному опыту противопоставлял, как высшую ступень, рациональное познание, теоретическое мышление. Говорю, «противопоставлял» в том смысле, что Демокрит не только выдвигал это различие, но, кроме того, совершенно недвусмысленно рассматривал рациональное мышление, как высшую ступень—сравнительно с непосредственной эмпирией. Так, Демокрит разработал атомистическую теорию материи. Но, излагая эту теорию, Демокрит подчеркивает, что доказательства об'ективной реальности атомов не могут быть почерпнуты из чувственного опыта: атомов нельзя видеть, осязать и т. д. И все же мы необходимо должны мыслить атомы, как существующие об'ективно и как обладающие определенными первичными качествами: фигурой, порядком, положением. К этой необходимости нас приводит, по-Демокриту, не чувственный опыт, как таковой, а теоретическое, рациональное мышление. В противопоставлении и даже в предпочтении теоретического мышления опыту Демокрит заходил так далеко, что непосредственный чувственный опыт называл «незаконнорожденным знанием»—в отличие от «законнорожденного», т.-е. рационального познания, основанного на мышлении. «В (своем сочинении) о «правилах мышления» (Демокрит),—сообщает нам Секст Эмпирик,—говорит, что существует два рода знания: знание чувственное и знание, основанное на мышлении. Последнее знание, т.-е. основанное на мышлении, есть законнорожденное знание, в самом себе заключающее основание для суждений об (его) истинности. Другое же знание, исходящее из чувственных восприятий, (Демокрит) называет знанием незаконнорожденным, лишенным (критерия для) постоянного распознавания истины. Говорит же он так: «Есть два рода знаний—одно законнорожденное, другое—темное, незаконнорожденное; к последнему относятся все ощущения: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание; законнорожденное же знание совершенно отлично от всего этого». Затем он выясняет, в чем превосходство законнорожденного знания перед незаконнорожденным, темным, и добавляет следующее: «Ведь (очевидно), что в области мельчайшего незаконнорожденное познание не может ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни вкушать, ни осязать, но (поэтому в эту область и должен проникать тончайший орган знания—мышление).

Таким образом, согласно его (мнению), критерием всего является понятие, которое он называет законнорожденным познанием» [1].

Намеченное Демокритом различение вошло, как момент, в методологию диалектического материализма. В частности, «Диалектика природы» Энгельса стоит целиком на почве этого различения. Замечательно, что, отстаивая права теоретического мышления, Энгельс в борьбе с ограниченным эмпиризмом естествоиспытателей в целом ряде случаев буквально воспроизводит аргументацию Демокрита. Так, уже на первых страницах «Диалектики природы» Энгельс показывает, что натуралисты «в своей массе» «беспомощны», когда приходится рационально об'яснять и систематизировать эти совреме-

[1]) Цитирую по «Книге для чтения по истории философии», I, стр. 24.

ные факты, которые показывают, так сказать, наглядно наличие диалектики в природе» [1]. «А здесь, — замечает Энгельс, — волей-неволей приходится мыслить: атомы и молекулы и т. д. нельзя наблюдать микроскопом, а только мышлением» [2]. И если Энгельс утверждал, что Гегель «сделал большее дело, чем вся материалистическая тупость, вместе взятая (als all der materialistische Blödsinn zusammen)», то причину этого преимущества Гегеля Энгельс видел именно в его «синтезе и рациональной группировке естествознания» [3].

Поэтому заявление Л. И. Аксельрод, будто Энгельс, критикуя современных ему натуралистов, имел в виду не отсутствие у последних правильного представления о различии между теоретическим мышлением и опытом, но исключительно отсутствие у них «выработанного общего материалистического научного миросозерцания» [4], есть не более как бессодержательная и действительно «общая» фраза, замазывающая суть вопроса, о котором идет речь. По той же причине совершенно не верно издорное и к тому же в неприлично грубой форме выраженное обвинение единомышленников А. М. Деборина в том, будто они смешали «индукцию с эмпиризмом» и уверяют «на основании смешения этих понятий, что диалектический материализм превращается в вульгарный механический материализм, коль скоро он строит свое научно-философское здание на основе эмпирии» [5].

И действительно: критикуя Ньютона, Энгельс имел в виду вовсе не одно лишь то обстоятельство, что Ньютон был ограниченным индуктивистом, но прежде всего—характерную для Ньютона игнорацию теоретического мышления за счет эмпирии. Так, говоря о ньютоновском тяготении, Энгельс замечает: «Лучшее, что можно сказать о нем, это—что оно не об'ясняет, а наглядно представляет современное состояние движения планет» [6]. И здесь наглядному представлению Энгельс противопоставляет задачу полного теоретического об'яснения, ограниченному эмпиризму — рациональное теоретическое мышление. Но Энгельс не только выдвигает это противопоставление. Энгельс указывает и ту конкретную логическую форму, в которой реализуется и воплощается — в сфере естествознания — теоретическое мышление. Форма—это есть рациональная гипотеза. «Формой развития естествознания, поскольку оно мыслит,—говорит Энгельс, — является гипотеза» [7]. «Если бы мы захотели ждать, — раз'ясняет Энгельс,— пока созреет материал для закона, то пришлось бы до того момента отложить теоретическое исследование, и уже по одному этому мы не получили бы никогда этого закона» [8].

Точно так же критика индукции, данная Энгельсом, сводится вовсе не к одному лишь указанию на незаконность отрыва индукции от дедукции и наоборот, но также и к указанию, что даже сама индукция, поскольку ее результаты действительно истинны и плодотворны, не может быть правильно понята без помощи рационального теоретического мышления. «Никакая индукция на свете,—обращается

---

[1] Энгельс. Диалектика природы (Архив Маркса и Энгельса, II, стр. 6-7).
[2] Там же, стр. 7; курсив мой. В. А.
[3] Там же, стр. 7.
[4] Л. И. Аксельрод, op. cit., стр. 234
[5] Там же, стр. 221-222.
[6] Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 25
[7] Там же, стр. 11.
[8] Там же, стр 11

Эигельс ко «всеиидуктивистам»,—иикогда не помогла бы нам уяс-иить себе процесс иидукции. Это мог сделать только анализ этого процесса» [1]).

Ничего этого ие поияла,—или сделала вид, что ие поияла,—Л. И. Аксельрод. Истииный смысл борьбы, которую так блистательно ведет Эигельс иа всем протяжеиии «Диалектики природы», остается для нее киигой за семью печатями. Особеиио поражает скудость поиимания Л. И. Аксельрод в ее поистиие замечательиой интерпретации статьи Эигельса «Естествоэнаиие в мире духов». Здесь недостаток разумения граничит с явиой, иеприкрытой иедобросовестностью. К со-жалеиию, я ие могу подобрать другого, более мягкого, более соответ-ствующего слова, для характеристики того, что сделала с этой статьей Л. И. Аксельрод.

Особеиио забавио, что свою удивительиую «иитерпретацию» Л. И. Аксельрод излагает с яростиыми акцеитами, в тоие победоиосного на-ступлеиия.

По Л. И. Аксельрод выходит, что в этой статье Энгельс под «чи-стым эмпириэмом», или, как выражается Л. И. Аксельрод, под «чистой эмпирикой» разумеет только опыт, критически иепровереиный [2]). Но это утверждение Л. И. Аксельрод совершеиио ие верио. Едииствениый смысл этого утверждеиия — отвлечь виимание читателя от действи-тельиых возражеиий Эигельса. Возражеиия же эти целиком идут по лииии, характериой для всей вообще «Диалектики природы» кри-тики вульгариого эмпиризма. Ошибка иатуралистов, ведущая их при-мехаиьким путем к мистике, спиритизму и столоверчеиию, состоит, по Эигельсу, вовсе ие в том,—как изображает Л. И. Аксельрод,—что они пользуются экспериментами, ие провереииыми критически, а в том, что оии, пользуясь экспериментами, ие пользуются и ие умеют пользо-ваться теоретическим мышлеиием. Ошибка этих натуралистов— в суевериом презреиии к мышлению, в теоретической беззаботности. На протяжеиии малеиькой статьи Эигельс говорит об этом по крайней мере четыре раза. Говорит, как всегда, ясио, точио, отчетливо, недву-смыслеиио. Вот эти его рассуждеиия: «Мы вряд ли ошибемся,—говорит Эигельс,—когда стаием искать самые крайиие степени фаитазерства, лег-коверия и суеверия ие у той естествеиио-иаучиой школы, которая, по-добио иемецкой иатурфилософии, пыталась втисиуть мир в рамки сво-его суб'ективиого мышлеиия, а, иаоборот, у того противоположного иаправлеиия, которое, чваиясь одиим лишь опытом, отиосится с су-евериым презрением к мышлеиию и дошло, действительио, до геркуле-совых столбов в своей теоретической беззаботиости» [3]). В другом месте той же статьи Эигельс пишет: «Мы здесь иаглядио убедились, каков самый иадежиый путь от естествозиаиия к мистицизму. Это не натур-философская теория со всеми ее уродливостями и чрезмерностями, а самый плоский, презирающий всякую теорию, отиосящийся недовер-чиво ко всякому мышлению, эмпиризм» [4]). «Презреиие к диалектике,— говорит далее Эигельс,—ие остается безиаказаииым. Сколько бы ни высказывать преиебрежеиия ко всякому теоретическому мышлению, все же без последиего иевозможио связать между собою любых двух естествеииых фактов или же уразуметь существующую между ними связь. При этом важио только одио: мыслят ли правильио или нет,—

---

[1]) Там же, стр. 59.

[2]) Л. И. Аксельрод, op. cit., стр. 234.

[3]) Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 109.

[4]) Там же, стр. 120.

и пренебрежение к теории является, само собою разумеется, самым надежным способом мыслить натуралистически и, значит, неверно» [1]). А в заключении той же статьи Энгельс заявляет: «эмпиризм оказывается вынужденным противопоставить назойливости духовидцев не эмпирические эксперименты, а теоретическое соображение» [2]) ...

В соответствии с высказанными здесь мыслями стоит и ряд утверждений Энгельса, развитых им в старом предисловии к «Анти-Дюрингу». Вместе с тем статья эта наглядно показывает, что проблема теоретического мышления ставилась Энгельсом в неразрывной связи с проблемой философии. «Эмпирическое естествознание,—говорит Энгельс,—накопило такую необ'ятную массу положительного материала, что необходимость систематизировать его в каждой отдельной области исследования и расположить с точки зрения внутренней связи стала неустранимой. Точно также стало неизбежным привести между собою в правильную связь отдельные области познания. Но, занявшись этим,—раз'ясняет Энгельс,—естествознание попадает в теоретическую область, а здесь методы эмпиризма оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. Но теоретическое мышление,—продолжает Энгельс,—является прирожденным свойством только в виде способности. Она должна быть развита, усовершенствована, а для подобной разработки не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения истории философии» [3]).

Поэтому все попытки Л. И. Аксельрод доказать, будто Энгельс нигде не выдвигает теоретическое мышление в противовес эмпирическому, не достигают цели. Энгельс не только различает теоретическое мышление и эмпирию, но—в известном смысле—противопоставляет теоретическое мышление опыту. Противопоставляет не в том, разумеется, диком и нелепом смысле, который Л. И. Аксельрод хочет во что бы то ни стало навязать т. Кареву, а в том—глубоко верном и истинно-философском смысле,—согласно которому, из опыта возникшее и опытом—в конечном счете—подтверждаемое, теоретическое рациональное мышление, как высшая ступень и форма познания, непосредственному опыту уже не тождественно, но содержит в себе и специфические, одному только мышлению присущие, в нем одном только впервые реализующиеся, категории достоверности и истинности.

Так, возражая против агностических выводов Негели (Nägeli), Энгельс источник его ошибки видит в непонимании того факта, что пространство, время, движение, причина и следствие, как методологические категории, суть «умственные, а не чувственные вещи» [4]), а также в свойственном Негели предрассудке, будто «всякое познание есть чувственное измерение [5]). И наоборот: анализируя учение Пифагора о том, «что число есть сущность всех вещей, и вообще орга-

---

[1]) Там же, стр. 121.
[2]) Там же. стр. 121.
[3]) Там же, стр. 125.
[4]) Там же, стр. 153.
[5]) Там же. стр. 153.

низация вселенной в ее свойствах есть гармоническая система чисел и их отношений», Энгельс всецело присоединяется к Гегелю, который, по словам Энгельса, «правильно обращает внимание на «смелость подобной идеи, которая сразу уничтожает, таким образом все, что кажется представлению сущим или существенным (истинным) и устраняет чувственную сущность» и ищет сущности в логической категории, хотя бы очень ограниченной и односторонней» [1]).

Склоняющийся к вульгарно-эмпирическому воззрению, Л. И. Аксельрод не в силах не то, что вместить, но даже просто вынести установленного Энгельсом различения и противопоставления. Для метафизика всякое различение кажется отрывом, всякое противопоставление — дуализмом. Но бывают различения и различения, противопоставления и противопоставления. Метафизик не может понять, что различение и даже—horribile dictu!—противопоставление есть один из необходимых моментов конкретного диалектики познания. Различие между теоретическим мышлением и опытом не означает отрицания их единства. «Факт, что тождество содержит в себе различие,—говорит Энгельс,—выражен в каждом предложении, где сказуемое неизбежно отлично от подлежащего» [2]).

И точно также противопоставление теоретического мышления—как высшей и качественно-специфической ступени познания—эмпирии, как ступени низшей,—не означает никакого «дуализма», никакого «отрыва», никакого «кантианства», если только противопоставление это предполагает и единство мышления и опыта: единство по происхождению и по последним целям знания.

Читатель видит теперь, как хорошо поняла Л. И. Аксельрод Энгельса, как полно и верно отразила она его взгляды и как основательны ее нападки на «деборинщину». Можно было бы значительно увеличить рамки нашего разбора. Мы полагаем, что в этом нет нужды. Смеем думать, философские симпатии и тяготения Л. И. Аксельрод выяснились все же в нашем очерке. В трех крупнейших теоретических проблемах, как в трех зеркалах, отразилась философская индивидуальность Л. И. Аксельрод: в проблеме истины, в проблеме синтеза эмпирических и рациональных моментов познания и, наконец, в проблеме истории философии.

В разработке всех этих трех вопросов Л. И. Аксельрод неизменно обнаружила поразительную близорукость, ограниченность или предвзятость понимания, непонимание подлинного содержания серьезных философских вопросов и, по сути, я бы сказал, глубокое равнодушие к философскому и вообще теоретическому мышлению.

Философские симпатии Л. И. Аксельрод ведут ее—согласна она с этим или нет, может она понять это или нет—к вульгарному эмпиризму, к позитивизму. Л. И. Аксельрод в целом ряде важнейших философских вопросов остается на уровне до-марксовского материализма. Мимо Л. И. Аксельрод бесследно прошло, не оплодотворив ее мышления, богатейшее философское содержание «Диалектики природы» Энгельса. В лучшем случае Л. И. Аксельрод использовала отрывки из этого сочинения—для полемических задач.

Заканчивая статью, считаю необходимым отметить, что некоторое об'ективно-вредное влияние книга Л. И. Аксельрод, несмотря на явную несообразность содержащихся в ней нападок и обвинений, не-

[1]) Там же, стр. 187; курсив мой. В. А. Ср. еще отрывок о Гегеле, стр. 201.
[2]) Там же, стр. 15.

смотря на очевидную слабость философских позиций автора, все же, повидимому, окажет.

Книгу Л. И. Аксельрод «спасает» суб'ективный ее характер. Наивная самоуверенность и ограниченность автора придают кое-где его тирадам отпечаток искренности, которая несведущим людям может импонировать, как известная нравственная сила. Не лишена книга Л. И. Аксельрод и обычных для этого автора литературных достоинств: полемического остроумия и изобретательности.

Впрочем, литературный эффект сочинения Л. И. Аксельрод омрачен изрядным количеством эстетически безвкусных, а кое-где даже грамматически безграмотных выражений. Мы бы не остановили внимание читателя на этих ляпсусах, если бы сама Л. И. Аксельрод нас к тому не принудила: очень уже любит она обвинять своих противников в безграмотности. Не претендуя на исчерпывающую полноту, позволяю себе обратить внимание Л. И. Аксельрод на следующее:

1) Сказать, как это сказано у Л. И. Аксельрод, что «борьба, которую Плеханов вел с народниками, народовольцами, велась опять-таки с тем же могучим орудием диалектического метода» [1]), — совершенно не допустимо грамматически. Борьба с методом есть борьба против метода. Но Плеханов, насколько мне известно, против диалектического метода борьбы не вел.

2) Сказать, как это сказано у Л. И. Аксельрод, что ученик Брюллова «нарисовал картину» — тоже нехорошо. Картины не рисуют, а пишут. Л. И. Аксельрод сама тут же рядом говорит: «Брюллов, окинув взглядом произведение ученика, взял кисть и т. д.» [2]). Стало быть, речь идет не о рисунке, а о картине.

3) Сказать, как говорит Л. И. Аксельрод, что темой ее статьи о Спинозе будет раз'яснение-об'яснение теологического элемента и т. д.» [3]) «безвкусный стилистический плеоназм. Что это за штковина такая: «раз'яснение-об'яснение»? Просим Л. И. Аксельрод «раз'яснить-об'яснить» нам это.

4) Сказать, как говорит Л. И. Аксельрод: лекция Плеханова «отличается глубоким интересом» [4]), — стилистически неуклюже и безвкусно. Следовало бы сказать: «представляет глубокий интерес», или как-нибудь иначе.

5) Говоря об отражении детерминизма Спинозы в поэзии Гете, Л. И. Аксельрод выражается следующим образом: «Так именно определилось мировоззрение Спинозы во всем творчестве его великого последователя и гениальнейшего мирового поэта Гете» [5]). Это «определилось» тут — ни к чему. Непонятно, громоздко, нескладно.

6) Характеризуя ход мыслей Спинозы, Л. И. Аксельрод пишет: «Религиозное чувство создало таким образом из антирелигиозного начала отвлеченное существо, окрашенное религией» [6]). Замечательно изящно это «отвлеченное существо, окрашенное религией»!

Приведенные примеры — только часть замеченных нами. Мораль из этих примеров небольшая: во-первых, не следует обвинять в безграмотности других, не приведя в порядок своих собственных отношений с грамматикой. Во-вторых, такой покровительнице эстетики, как Л. И. Аксельрод не мешало бы заняться эстетическим самоусовершенствованием — в области стиля, разумеется.

[1]) Л. И. Аксельрод, op. cit., стр. 76.
[2]) Там же, стр. 8; курсив мой. — В. А.
[3]) Там же, стр. 12, курсив мой. — В. А.
[4]) Там же, стр. 8; курсив мой. — В. А.
[5]) Там же, стр. 26; курсив мой. — В. А.
[6]) Там же, стр. 29; курсив мой. — В. А.

Каутский и диалектический материализм

М. Фурщик.

I. „Исповедь“ Каутского.

В предисловии к своей книге «Материалистическое понимание истории», состоящей из двух об'емистых томов и вышедшей в 1927 г в издании Дица при особом содействии Центрального комитета германской социал-демократической партии, Каутский дает ей следующую краткую, но многозначительную характеристику-аттестацию:

«Она составляет квинт-эссенцию работы моей жизни. Она излагает метод, которым я руководствовался в своей работе в течение полувека. Этот метод был формулирован за одно поколение до того, как я с ним познакомился и когда многочисленные успехи, выпавшие на долю его творцов, показали его плодотворность. Дальнейшие работы как самих учителей, так и их учеников подтверждали его все более и более, и вместе с тем *уточняли* и дальше *развивали* его. Так что я теперь излагаю его не только как *фундамент*, но и как *результат работы моей жизни*»[1]).

Внешним поводом к составлению книги автор называет раскол германской социал-демократии, в результате которого Каутский в октябре 1917 года лишился поста редактора «Neue Zeit», и получил, таким образом, возможность приступить к осуществлению своей давнишней заветной мечты. Книга потребовала от автора десятилетней работы.

«Я вправе,—говорит Каутский в том же предисловии,—назвать ее в ее теперешнем виде всеоб'емлющей, так как она охватывает все области, которые, по моим сведениям, имеют отношение к материалистическому пониманию истории»[2]).

Назначение книги автор видит в «повышении интереса к материалистическому пониманию истории, в ознакомлении с суммой проблем, им охватываемой, в распространении ясного о нем представления и в противодействии всем попыткам шаблонизирования его»[3])

Как повод, так и назначение говорят о том, что книга родилась из кризиса социал-демократии.

И вот как преломляется кризис в голове автора, неслыханный кризис старой социал-демократии, начавшийся сдачей позиции буржуазии и дошедшей в наши дни до полной идейной и практической капитуляции перед капитализмом: непрерывное, могучее, победоносное развитие социал-демократии, — повествует Каутский, — было прервано войной, которая внесла растерянность в ее ряды, расколол Интернационал, расколола партии Германии и России. В момент воен-

---

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, Vorwort, S. V (Verlag Dietz Nachf., Berlin 1927). Курсив наш.

[2]) Там же, S. VII.

[3]) Там же, S. XV.

ной катастрофы к социал-демократии пришли «миллионные толпы пролетарских и полупролетарских элементов без знакомства с общественными науками и без социалистической традиции». «Благодаря своему невежеству, они ждали и требовали от этих партий немедленное осуществление рая на земле, и это при беспримерной разрухе во всем производственном аппарате. И то обстоятельство, что ни одна из социалистических партий не была в состоянии чудодейственным образом создать цветущий рай на развалинах, увеличило ярость по отношению к социал-демократии со стороны многих разочарованных ноябрьских социалистов и близко к ним стоящих слоев; это обстоятельство способствовало еще большему ослаблению социал-демократии, нежели порожденный войной раскол. Напряженное противоречие между умением и желанием росло все более и более» [1].

Никакого анализа, никакого намека на анализ войны и поведения международной социал-демократии, германской социал-демократии в частности. Во всем виновны миллионные толпы пролетариев и полупролетариев, по своему невежеству требовавших от социал-демократии свержения власти буржуазии. Так Каутский старается выгородить германскую социал-демократию, предавшую рабочий класс Германии, ослабленной и растерянной в результате военного разгрома германской буржуазии. Во всех бедах виновна «толпа», охлос, невежественная масса. Это она по своему невежеству не поняла, что нельзя на развалинах создать цветущий рай. Так пишет Каутский историю. Но послушаем дальше.

«Отсюда,—говорит Каутский, — пошло, распространяясь, презрение к социал-демократии, отход от нее, и не только от нее, но и от того учения, на котором покоится ее практика,—от материалистического понимания истории».

Ясно, что Каутский отождествляет здесь марксизм с социал-демократией. «Дело в том,—поясняет тут же Каутский,—что материалистическое понимание истории, не отрицая силы человеческой воли, указывает, однако, что она может быть победоносной и непобедимой лишь в том случае, когда она действует в направлении, определяемом экономическими условиями и когда она держится каждый раз в отведенных ей границах возможного. Воля, пренебрегающая материалистическим пониманием истории, не создает ничего прочного, обречена на провал, не взирая на мимолетные успехи, которые она отстаивает с крайней беспощадностью и кровавым террором» [2].

Смысл этой последней тирады ясен. Задача марксизма и его исторического учения состоит в том, чтобы держать массы в узде, связать историческую инициативу пролетариата, а не в том, чтобы эту инициативу развязать, руководя ею и направляя ее по пути, подготовленному предшествующим развитием и данным соотношением классовых сил. Каутский явно искажает марксизм, подменяет его либеральным и педантски-трусливым учением о том, что воля должна действовать в строго отведенных рамках возможного. В предисловии к «Критике политической экономии» Маркс говорит: «Человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может решить, так как при ближайшем рассмотрении всегда окажется, что сама задача только тогда выдвигается, когда существуют уже материальные условия, необходимые для ее разрешения, или когда они, по крайней мере, находятся в процессе возникновения». По Марксу, значит, по-

---

[1] K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, Vorwort, S. XIII.
[2] Ibid.

становка задачи и возможность ее решения диалектически связаны. Задача ставится тогда, когда налицо имеются условия для ее разрешения. А по Каутскому задача может ставиться при отсутствии малейших условий для ее осуществления. Доказательство: германский пролетариат захотел своей революции при разрушенном производственном аппарате. Но почему он именно в результате опыта мировой войны поставил задачу социальной революции? Не увидел ли пролетариат вместе с задачей и возможность ее осуществления? Конечно, так. И эта возможность была обусловлена не только всей тогдашней международной обстановкой, но и тем немаловажным и даже весьма существенным обстоятельством, что германская буржуазия потерпела жестокое поражение в войне и что ее производственный аппарат был разрушен. Пролетариат видел не только задачу, но и возможность ее разрешения. «Невежественный» пролетариат видел то, чего не видели архи-образованный Каутский и архи-«вышколенная» социал-демократия. Вот в чем суть вопроса.

Без намека на какой-либо конкретный экономический и политический анализ, Каутский профессорски-высокомерно преподносит пролетариату мещански-филистерское правило поведения.

Но идем дальше.

Каутский валит с больной головы на здоровую, когда старается обелить себя и социал-демократию.

Учение марксизма, материалистическое понимание истории очутилось в загоне,—жалуется Каутский,—отождествили марксизм с социал-демократией. Необразованная масса, а также отдельные лица, пользовавшиеся методом марксизма, стали во время революции ощущать его, как ощущают «оловянную гирю»,—жалобно плачет Каутский, печалясь о судьбе марксизма. «Ограничение действия воли, диктуемое марксизмом, было массой воспринято, как «парализование воли» [1]).

Марксизм не был понят массой, и престарелый Каутский, сам тоже непонятый социал-демократическим ЦК и потому вышибленный из из редакции «Neue Zeit», взялся за систематическое изложение учения о материалистическом понимании истории в надежде на лучшие времена.

Начал Каутский свою книгу в черные, по его мнению, дни для марксизма, но окончил ее в дни вновь вспыхивающих надежд в связи с наступлением «нормальных экономических условий», когда «сила» экономических законов снова обнаруживается».

Выходит, что во время революции экономические законы перестают действовать. Выходит, что классовая борьба, политическая борьба в ее наиболее развитой форме не является выражением той же «силы экономических законов». Хороша диалектика Каутского, что и говорить. Удивительно ли после этого, что этот марксизм «перестал действовать» во время революции, и что массы ощущали его, как ощущают оловянную гирю? Совсем неудивительно.

Во время мировой войны перестает действовать Интернационал. Во время революции перестает действовать сила экономических законов, марксизм в целом.

Скажите после этого, что Каутский «непоследователен»!

---

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, Vorwort, S. XIV.

Заключительные строки предисловия звучат оптимистически. И это опять-таки «последовательно»! Ведь наступили «нормальные», т. е. капиталистические, экономические порядки, а социал-демократия еще ведет за собою известные массы, которых Каутский хочет организовать и просвещать в духе «ограничения действия воли» и требования возможного,—читай: определяемого рамками капиталистического порядка.

Всякое предисловие представляет собою, естественно, попытку начертить общий фон, наметить основную идею и метод, легшие в основу труда. Бегло рассмотренное нами предисловие Каутского к его капитальному труду несомненно удовлетворяет этим формальным требованиям. Виден фон, видна основная идея и виден метод. Книга написана на фоне глубочайшей идейно-политической катастрофы социал-демократии. Ее основная идея состоит в связывании революционной воли борющегося, несказанно преданного, но все с новой и новой силой борющегося пролетариата и трудящихся масс. Ее метод в соответствии с основной идеей состоит в опошлении марксизма, в уничтожении его революционного существа, в оскоплении его.

С похвальной откровенностью Каутский, после предисловия и некоторой расчистки пути при помощи короткого и неглубокого критического обзора некоторых марксистских и около-марксистских течений и трудов, на стр. 16 заявляет буквально следующее:

«Я не намерен увеличить число комментариев к положениям Маркса и Энгельса еще на один. Я ставлю себе задачу совсем иную. То, что я в последующем изложу, есть обоснование моего с о б с т в е н н о г о п о н и м а н и я и с т о р и и, которое как в отношении путеводной нити, так и в отношении ее настоящей формы является результатом работы моей жизни на благо марксизма».

Считая, что все, до сих пор написанное по марксизму, является комментариями, носящими в той или иной степени суб'ективный характер, Каутский берет себе право дать с в о е материалистическое понимание истории.

«Если читатель,—говорит он,—вздумает мне возразить, заявив, что его интересует материалистическое понимание истории Маркса, а не мое, то я осмелюсь ответить, что все те, которые излагали теорию исторического материализма, излагали фактически каждый свое собственное понимание. Все мы у Маркса учились, основываемся на его исследованиях и мыслях. Но каждый видит их и видит действительность собственными глазами».

Среди «всех тех», которые писали по марксизму, в одном безразличном ряду стоят Плеханов и Бернштейн, Меринг и Кунов, Гильфердинг и Роза Люксембург, Парвус, Аксельрод и Ленин.

Ясно, что все это не более, как тактика заметания следов, «тонкое» предупреждение и подготовка читателя к предстоящему походу Каутского на Маркса и Энгельса, которых он кстати и некстати величает, и чем дальше от них отходит, тем старательнее величает: «мои великие учителя».

«Развивая здесь мое собственное понимание истории большей частью без ссылок на положения Маркса и Энгельса, я этим не удаляюсь от основы мышления их, на почве которого я стою. Зато я надеюсь таким образом достигнуть то, что изложение перестает вращаться вокруг толкования отдельных положений, а будет посвящено исключительно самому делу».

Каутский удостоверяет здесь, что он стоит на почве марксизма, что он, только не желая вращаться вокруг толкования отдельных положений, не будет прибегать к ссылкам на Маркса и Энгельса. Как будто нельзя изложить цельную и стройную теорию марксизма без *вращения* вокруг отдельных положений Маркса и Энгельса. При чем тут вращение? Как будто такие марксисты, как Плеханов, Роза Люксембург и Ленин, излагая теорию исторического материализма в многочисленных трудах своих, то и делали, что вращались вокруг отдельных положений основателей научного социализма. Как будто плехановский вклад в философский материализм и ленинская изумительная диалектика, с необычайным мастерством, гениально примененная им в теоретической экономии, философии и политике, являются только комментариями к марксизму, а не крупнейшими вехами на историческом пути его развития, не дальнейшим развитием и обогащением марксизма. И разве сам Каутский не дал, когда он был еще марксистом, ряда не плохих исследований, в которых он вовсе не *вращался* вокруг толкования отдельных положений. Кроме того, он ведь несколькими страницами раньше сам говорил о том, что дальнейшие работы Маркса, Энгельса и их учеников уточняли и дальше развивали плодотворный метод марксизма. Одно из двух: или метод не имеет отношения к теории, или Каутский противоречит самому себе.

Ясно, что вращение здесь не при чем. Загвоздка не во вращении, а в *толковании* положений (и не только *отдельных* положений) Маркса и Энгельса. Ясно, что Каутский, собираясь в поход против Маркса и Энгельса, считает для себя более выгодным *не ссылаться* на их положения. Его поход будет заключаться не в *атаке* Маркса и Энгельса, а в ряде обходных движений. Он «большей частью» не будет вовсе ссылаться на Маркса и Энгельса (не из своеобразного ли внимания к «своим великим учителям»?), а там, где будет ссылаться, то, как он тут же заявляет, будет развивать их «в другой связи», не в той, в какой их развивали его учителя. Какое изумительно «бережное» отношение к «своим учителям»! Это еще более остроумное обходное движение, чем не ссылаться вовсе.

Право на такое «свободное» обращение с положениями Маркса и Энгельса Каутский в глазах читателя хочет купить сообщением, что он откроет взгляды, которых Маркс и Энгельс нам не сообщали, которых они, может, и вовсе не имели».

Это еще интереснее. Значит, Каутский собирается преподнести читателю не только «свободное» изложение исторического материализма на «марксовой основе», но и *свои новые взгляды, которых Маркс и Энгельс не имели*. Еще раз приходится сказать: не даром Каутский об'явил о том, что он дает *свое* материалистическое понимание истории. Спрашивается: зачем эти шитые белыми нитками оговорки и оговорочки, если не для того, чтобы заметать следы, скрыть, елико возможно, *факт полного отхода от марксизма*? Другого смысла эти оговорки и выкрутасы иметь не могут.

Но на этом исповедь еще не кончается. Каутский сообщает, что он имел *свое* понимание истории еще до того, как познакомился с учением Маркса; что к Марксу он шел медленно, но, в конце концов, достиг полного, как ему казалось, согласия с Марксом, что к марксизму он шел иными путями, чем Маркс и Энгельс, рано проявив интерес к явлениям, на которые Маркс и Энгельс меньше обращали внимание. Каутский при этом сообщает, что он учился не только у Маркса

и Энгельса, но и у других, что он шел от Дарвина, в отличие от Маркса и Энгельса, которые шли от Гегеля, и что проблема развития организмов интересовала его раньше, а экономические проблемы позже, борьба за существование видов и рас—раньше, чем борьба классов. Каутский, продолжая нить воспоминаний, рассказывает, что он по мере изучения экономических вопросов все больше и больше стремился к приведению в связь естественного и экономического факторов, историческое развитие человечества с развитием организмов, и что, наконец, 22-х лет им был задуман план написать большой труд «Историческое развитие человечества», который не был написан. Воспоминания заканчиваются сообщением, что сохранившийся и до сих пор неопубликованный фрагмент того периода, когда развитие человечества ему представлялось, как совершающееся на основе борьбы между коммунистическими и индивидуалистическими инстинктами, автор счел нужным присоединить к настоящему труду в качестве приложения.

Спрашивается, что преследует Каутский, когда он эти полубиографического характера данные сообщает читателю? Что это, если не подготовка читателя к тому, что патриарх Каутский дал задний ход от марксизма к буржуазной науке, вернувшись к своему домарксистскому периоду.

Только такой смысл имеет полубиографическое сообщение, которому место в воспоминаниях, а не в систематическом изложении исторического материализма. И только один смысл может иметь приложение фрагмента от 1876 г. немарксистского содержания, этот смысл в том, что об'явленное им в 1927 году свое материалистическое понимание истории имеет свою основу в его собственных первоначальных взглядах, и что, если налицо бегство от собственного довоенного периода, то это, мол, бегство к себе же домой. Что отступление менее позорно, чем перебежка к врагу, вообще говоря, верно, но дело в том, что в данном случае отступление к домарксистским взглядам, пусть собственным, означает перебежку во вражеский лагерь по той простой причине, что домарксистские взгляды Каутского буржуазные, в лучшем случае полубуржуазные.

На стр. 18 своей книги Каутский пытается об'яснить факт приложения статей от 1876 года желанием пойти навстречу тому читателю, который захотел бы сравнить его первоначальные взгляды с его теперешними. Каутский этим лишь тонко намекает, что это, по его мнению, было бы интересно. Но на стр. VIII предисловия Каутский выбалтывает всю правду, пусть косвенно, но зато не менее ясно.

Указанный и ранее неопубликованный фрагмент от 1876 года приложен к первой книге, озаглавленной «Дух и вселенная» и где излагается философия и диалектика. Ко второй книге, озаглавленной «Человеческая природа», приложены две статьи, в свое время опубликованные, и трактующие об инстинктах. Факт приложения неопубликованного фрагмента к 1-й книге, трактующей о кардинальнейших основных вопросах марксистской философии и методологии, Каутский прямо не мотивирует. Но в мотивировке приложений ко 2-й книге содержится мотивировка, приложения к 1-й книге. Мотивировка двух приложений ко 2-й книге гласит:

«Я перепечатал эти последние не для того, чтобы показать, что я еще полстолетия тому назад был близок к моим теперешним взглядам». Он потому их перепечатывает,—говорит он,—что они содержат

ряд иллюстраций и доказательств, кажущихся ему важными и необходимыми для подкрепления его теперешних взглядов на трактуемые в них вопросы.

Тут ясно, и мы спорить не станем.

Но что касается приложения к 1-й книге, то почему Каутский его не мотивирует, не считает этого нужным, неуклюже вопрос обходит? Этим своим молчанием Каутский буквально вынуждает читателя к выводу, что мотив, отводимый Каутским для двух приложений ко 2-й книге, имеет силу в отношении приложения к 1-й книге.

Каутский напечатал в качестве приложения ранее неопубликованный фрагмент от 1876 года для того, чтобы показать, что он еще полстолетия назад был близок к теперешним взглядам или, что будет вернее, что он пошел вспять, вернувшись в основном к взглядам оставленным им полстолетия тому назад.

Наш анализ основных идей и построений Каутского, надеемся покажет, что это именно так.

II. Как Каутский „исправляет“ Маркса в основном вопросе гносеологии

Каутский понимает, что марксизм есть целое миросозерцание, от которого историческая теория Маркса и Энгельса неотделима. В основе этого миросозерцания лежит материализм, и «исторический материализм,—правильно формулирует Каутский,—есть материализм, примененный к истории». Он очень горячо выступает против всех и всяческих попыток отождествления исторического материализма с «экономическим пониманием истории», справедливо усматривает в них стремление молчаливо и осторожно завуалировать основу его, материализм. В этой, якобы, невинной замене названия сверх того обнаруживается,—говорит Каутский,—желание об'явить исторический материализм терпимым к любой философии; в его основании, мол, нет определенного мировоззрения,—он возник эмпирически из изучения экономических и исторических фактов.

«... Исторический материализм,—говорит Каутский,—не остался изолированной гипотезой, добытой эмпирически, т.-е. путем простого наблюдения фактов,—он вошел органической частью в цельное миросозерцание, с которым он теснейшим образом связан.

Маркс и Энгельс философски пришли к материалистической точке зрения раньше, чем они развили свое понимание истории»[1].

В этой защите марксизма все благополучно и даже ортодоксально. Каутский как будто ясно и решительно выступает против позитивизма, эмпиризма и за материализм. Каутский высказывается также решительно против отождествления исторического материализма с так называемым «экономическим материализмом», сугубо подчеркивая мысль, что нельзя смешивать экономический интерес с экономическим развитием, экономические мотивы с экономическими условиями, и что движущую силу истории следует видеть именно в экономическом развитии»[2]).

Каутский и тут на первый взгляд как будто ортодоксален.

По крайней мере, постольку, поскольку он отвергает суб'ективно-психологическую постановку вопроса и решительно отстаивает точку зрения об'ективного развития, обязывающую марксиста к диалектике

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung. B. I, S. 21.
[2]) Там же, S. 3—12.

Таким образом, исторический материализм как будто защищается и отстаивается Каутским с обеих сторон: со стороны материализма и со стороны диалектики. В постановке вопроса, в общем, все или почти все благополучно и даже ортодоксально.

Но точно так же, как можно сделать отличное социологическое введение в оппортунистическую политику и держать боевую речь накануне срыва забастовки, точно так же можно сделать марксистское введение к немарксистской и нематериалистической философии.

Каутский начинает изложение материализма с «тонкой» операции удаления фейербаховского фундамента из-под здания марксистской философии.

Приводя знаменитое положение Маркса из предисловия к «Критике политической экономии» о том, что не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Каутский замечает следующее: «Это положение является вариацией фейербаховского положения, что мышление — продукт бытия, а небытие продукт мышления. Обратили внимание на то обстоятельство, что Маркс тут «бытию» на одной стороне противопоставляет на другой стороне еще раз не просто бытие, а «общественное бытие». Но в этом и заключается шаг вперед, сделанный Марксом по сравнению с Фейербахом, который он, однако, из пристрастия к сжатому изложению, не доразвил. Он иногда выпускает средний член логической цепи, который мыслящий читатель должен дополнить сам. Точнее оно значило бы вот как: не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их бытие определяет их сознание; но в сравнении с естественным бытием общественное бытие показывает в период, охватывающий историю человечества, историческое развитие. Перемена (Wechsel) в человеческом сознании вызывается, таким образом, благодаря перемене в о б щ е с т в е н н о м бытии, другими словами: каждое в отдельности взятое общественное бытие определяет особенности каждого в отдельности взятого сознания»[1]).

Мы привели это рассуждение Каутского целиком, как образчик вольного обращения Каутского с Марксом в целях явно безнадежного предприятия обращения Маркса в заурядного позитивиста, с одной стороны, и как образчик тонких, поистине талмудических, приемов трактовки общепонятных и общепринятых в марксистском лагере положений,—с другой стороны. Это Каутский так выполняет свое обещание не вращаться вокруг толкования отдельных положений Маркса и Энгельса. Мы видим тут и вращение, и толкование, но оба определенного качества.

При помощи неуклюжей и насквозь фальшивой ссылки на пристрастие Маркса к сжатому выражению мысли, Каутский в ы ч е р к и в а е т о д н о с л о в о из марксова текста, слово «о б щ е с т в е н н о е», для того, чтобы, прибавив пять десятков своих, получить возможность противопоставить Маркса Фейербаху в основном вопросе теории познания. Для того, чтобы сказать: Фейербах, мол, за то, что мышление п р о д у к т бытия, а по Марксу мышление лишь о п р е д е л я е т с я бытием. Это во-первых. Каутский сверх того в своем дополнении якобы недоразвитой мысли Маркса ограничивает действие «определения» бытием общественного сознания одними особенностями каждого данного общественного сознания. Марксово п р и м е н е н и е фейербаховского положения к истории превращается под руками

[1]) K. K a u t s k i, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 21—22.

Каутского в в а р н а ц н ю, т.-е. измеиеиис его. Выходит, что Маркс и з м е и н л положеине Фейербаха, замеиив порождение определения в отношенни естественного состояння н ограннчив действие этого определеиня в нсторическнй период одиими особеиностями этого сознаиня. «Порожденне» начнсто отрицается, «определение» же понимается ограиичительио н механнчески, как п е р е м е н а о с о б е н н о с т е й.

Чтобы показать, что мы имеем здесь дело именно с покушением, тщательио замаскнрованным, необходимо, забеган несколько вперед, привести два положеиня Каутского, характеризующие его позицию в основиом вопросе об отиошеинн мышления к бытию.

В главе «Атом и дух» Каутскнй полемизнрует с А. Ланге, который по адресу матерналнзма говорнт, что он иикогда не сможет об'яснить ощущение. Каутский полагает, что это не так. И начниает он свое рассуждеиие, иадо сказать, очень хорошо. Верио,—говорит он,—что мы еще сегодия этого ие в состоянии сделать, ио отсюда никак не следует, что мы н и к о г д а не сумеем этого сделать. «При современном состояини нашего знания,—говорнт он,—появление духа означает, коиечио, скачок в прнроде так же, как н появление жизни. Но со времени Гегеля известио, что развнтие ие обходится (sic!) без скачков, н что увелнченне колнчества пренращается на известной степени в иовое качество или же может в такое превратнться»[1]). Нет никаких, следовательно, оснований сделать нсключенне для духа,—говорит тут же Каутский. С первого взгляда это рассуждение подкупает. Что правнльно, то правильио. Каутский всерьез вернт, что мы в конце концов об'яснм ощущенне, что мы нмеем здесь дело с большой и трудиой проблемой, до которой иаука добирается, но еще не добралась, что появлеине духа есть скачок, подлежащнй экспериментальиому исследоваиию н т. д. Но — увы! — это сплошное подкапываине под материализм. Каутскнй за материалистнческой терминологией прячет некую феиоменалистскую фнлософию. Непосредственио после только что прнведеиного вы чнтаете следующее: «Каждый шаг вперед, который делает позианне в этой области, показывает иам духовную жизнь во все более тесиой связи с состоянием тела и, прежде всего, с состояиием иервиой снстемы и ее центра — мозга. Зависимость ряда духовиых функций от природы (Beschaffenheit) определеииых частей мозга уже открыта, н медицина в состоянии лечнть душевиые заболевання»[2]). Очень хорошо. Меднцина лечит душевные заболеваиия на осиове открытой завнснмости между явлениями духа н мозгом. Не предполагая, что Каутскнй сторонник так называемой духовиой медицииы, мы вправе, одиако, спросить: на что воздействует медицина? Если она воздействует иа тело, то она этим самым говорит, что открытая зависимость есть зависимость определениого порядка, завнснмость, в которой отлнчают п р и ч и н ы и с л е д с т в и е. Где причина и где следствне,—вот в чем вопрос. Является ли материя мозга носителем, субстратом духа, а дух его фуикцией, его следствием или иаоборот? Этот вопрос требует ответа. Медициия дает на иего ответ тем, что оиа воздействует иа тело, и мозг при лечении душевиых заболеваний. Каутскнй же ответа нзбегает. Всячески распииаясь за то, что иаука обязательно иайдет об'яснение

---

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 45.

[2]) Там же.

тому, как «из определенных в высшей степени сложных химических соединений получаются органические существа с жизнью и ощущением»[1]). Каутский, тем не менее, не дает ответа на вопрос о том, кто же, что ощущает, мыслит ли человек при помощи мозга или мозг только присутствует, ассистирует при духе. На этот важнейший и кардинальнейший вопрос Каутский, повторяем, ответа не дает. И не дает он его принципиально.

Послушайте.

«Современная наука,—говорит он, — отказывается от всякого об'яснения, она стремится лишь к возможно более простому и точному копированию, описанию явлений. Попытка об'яснить их завела бы нас в туманы метафизики... Если под этим (об'яснением) понимать сведение явления к последним причинам, то это, конечно, неразрешимая задача... Исходный пункт всякого исследования события должен состоять в его описании, его копировании. Но мы на этом остановиться не можем. Мы должны каждое отдельное событие или связь увязать без противоречия с другими уже известными связями и событиями. Чем больше нам это удается, чем больше совокупность связей, в которые мы отдельные события вставляем, тем лучше мы это отдельное событие об'яснили»[2]).

И Каутский думает, что «об'ясняет» явление духа, когда он опускается ниже по лестнице животного царства, где налицо явления духа, аналогичные явлениям человеческого духа, и приходит на этом основании к выводу, что дух связан с материей всегда, что, стало быть, человеческий дух «естественное явление», находящееся в природе, а не вне ее.

Ниже мы подробнее остановимся на взглядах Каутского в вопросе об отношении мышления к бытию, духа к материи, а также на его понимании об'яснения. В данной же связи достаточно и приведенного, чтобы убедиться в том, что Каутский по существу от об'яснения духа отказывается, отказывается принципиально. «Кто оказался шатким (unhalfbar),—говорит Каутский в другом месте,—так это тот материализм, который сулит разрешить все мировые загадки; мнящий, что он сумеет из механики того, что называют материей, об'яснить все явления мира, явления человеческого духа в том числе». Дух необ'ясним,—из материи его не понять никогда,—таков тезис Каутского. Этот тезис, разумеется, чисто идеалистический. Обоснование «позитивистское» в духе Маха, существо его—идеализм, отрицающий вторичность духа по отношению к материи.

После этого понятно, почему понадобилось Каутскому толковать известное положение Маркса в предисловии к «Критике политической экономии», как изменение фейербаховского положения о порождении мышления бытием. Он сам не согласен с фейербаховским положением, что мышление порождается мозгом, является его функцией, его следствием и ему, следовательно, нужно, чтобы считаться марксистом, перетянуть на свою сторону Маркса и Энгельса. Читатель, далее, видит, что Каутский под определением понимает не то, что понимают Маркс и Энгельс, марксисты, материалисты, т.-е. не отношение причины и следствия, а отношение связи, взаимозависимости. Стало быть, признание Каутским определения мышления бытием в отношение естественного состояния есть только формальное, сло-

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 47—48.
[2]) Там же.

Каутского в вариацию, т.-е. изменение его. Выходит, что Маркс изменил положение Фейербаха, заменив порождение определением в отношении естественного состояния и ограничив действие этого определения в исторический период одними особенностями этого сознания. «Порождение» начисто отрицается, «определение» же понимается ограничительно и механически, как перемена особенностей.

Чтобы показать, что мы имеем здесь дело именно с покушением, тщательно замаскированным, необходимо, забегая несколько вперед, привести два положения Каутского, характеризующие его позицию в основном вопросе об отношении мышления к бытию.

В главе «Атом и дух» Каутский полемизирует с А. Ланге, который по адресу материализма говорит, что он никогда не сможет объяснить ощущение. Каутский полагает, что это не так. И начинает он свое рассуждение, надо сказать, очень хорошо. Верно,—говорит он,— что мы еще сегодня этого не в состоянии сделать, но отсюда никак не следует, что мы никогда не сумеем этого сделать. «При современном состоянии нашего знания,—говорит он,—появление духа означает, конечно, скачок в природе так же, как и появление жизни. Но со времени Гегеля известно, что развитие не обходится (sic!) без скачков, и что увеличение количества превращается на известной ступени в новое качество или же может в такое превратиться»[1]). Нет никаких, следовательно, оснований сделать исключение для духа,—говорит тут же Каутский. С первого взгляда это рассуждение подкупает. Что правильно, то правильно. Каутский всерьез верит, что мы в конце концов об'ясним ощущение, что мы имеем здесь дело с большой и трудной проблемой, до которой наука добирается, но еще не добралась, что появление духа есть скачок, подлежащий экспериментальному исследованию и т. д. Но — увы! — это сплошное подкрашивание под материализм. Каутский за материалистической терминологией прячет некую феноменалистскую философию. Непосредственно после только что приведенного вы читаете следующее: «Каждый шаг вперед, который делает познание в этой области, показывает нам духовную жизнь во все более тесной связи с состоянием тела и, прежде всего, с состоянием нервной системы и ее центра — мозга. Зависимость ряда духовных функций от природы (Beschaffenheit) определенных частей мозга уже открыта, и медицина в состоянии лечить душевные заболевания»[2]). Очень хорошо. Медицина лечит душевные заболевания на основе открытой зависимости между явлениями духа и мозгом. Не предполагая, что Каутский сторонник так называемой духовной медицины, мы вправе, однако, спросить: на что воздействует медицина? Если она воздействует на тело, то она этим самым говорит, что открытая зависимость есть зависимость определенного порядка, зависимость, в которой отличают причину и следствие. Где причина и где следствие,—вот в чем вопрос. Является ли материя мозга носителем, субстратом духа, а дух его функцией, его следствием или наоборот? Этот вопрос требует ответа. Медицина дает на него ответ тем, что она воздействует на тело, на мозг при лечении душевных заболеваний. Каутский же ответа избегает. Всячески распинаясь за то, что наука обязательно найдет об'яснение

---

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 45.

[2]) Там же.

тому, как «из определенных в высшей степени сложных химических соединений получаются органические существа с жизнью и ощущением» [1]). Каутский, тем не менее, не дает ответа на вопрос о том, кто же, что же ощущает, мыслит ли человек при помощи мозга или мозг только присутствует, ассистирует при духе. На этот важнейший и кардинальнейший вопрос Каутский, повторяем, ответа не дает. И не дает он его принципиально.

Послушайте.

«Современная наука,—говорит он, — отказывается от всякого об'яснения, она стремится лишь к возможно более простому и точному копированию, описанию явлений. Попытка об'яснить их завела бы нас в туманы метафизики... Если под этим (об'яснением) понимать сведение явления к последним причинам, то это, конечно, неразрешимая задача... Исходный пункт всякого исследования события должен состоять в его описании, его копировании. Но мы на этом остановиться не можем. Мы должны каждое отдельное событие или связь увязать без противоречия с другими уже известными связями и событиями. Чем больше нам это удается, чем больше совокупность связей, в которые мы отдельные события вставляем, тем лучше мы это отдельное событие об'яснили» [2]).

И Каутский думает, что «об'ясняет» явление духа, когда он опускается ниже по лестнице животного царства, где налицо явления духа, аналогичные явлениям человеческого духа, и приходит на этом основании к выводу, что дух связан с материей всегда, что, стало быть, человеческий дух «естественное явление», находящееся в природе, а не вне ее.

Ниже мы подробнее остановимся на взглядах Каутского в вопросе об отношении мышления к бытию, духа к материи, а также на его понимании об'яснения. В данной же связи достаточно и приведенного, чтобы убедиться в том, что Каутский по существу от об'яснения духа отказывается, отказывается принципиально. «Кто оказался шатким (unhalfbar),—говорит Каутский в другом месте,—так это тот материализм, который сулит разрешить все мировые загадки; мнящий, что он сумеет из механики того, что называют материей, об'яснить все явления мира, явления человеческого духа в том числе». Дух необ'ясним,—из материи его не понять никогда,—таков тезис Каутского. Этот тезис, разумеется, чисто идеалистический. Обоснование «позитивистское» в духе Маха, существо его—идеализм, отрицающий вторичность духа по отношению к материи.

После этого понятно, почему понадобилось Каутскому толковать известное положение Маркса в предисловии к «Критике политической экономии», как изменение фейербаховского положения о порождении мышления бытием. Он сам не согласен с фейербаховским положением, что мышление порождается мозгом, является его функцией, его следствием и ему, следовательно, нужно, чтобы считаться марксистом, перетянуть на свою сторону Маркса и Энгельса. Читатель, далее, видит, что Каутский под определением понимает не то, что понимают Маркс и Энгельс, марксисты, материалисты, т.-е. не отношение причины и следствия, а отношение связи, взаимозависимости. Стало быть, признание Каутским определения мышления бытием в отношение естественного состояния есть только формальное, сло-

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 47—48.
[2]) Там же.

весное признание, так как на деле, не признавая определения в смысле отношения причины и следствия, он занимается простой тавтологией: мышление определяется бытием в естественном состоянии, т.-е. они взаимно связаны во всем животном царстве, включая и человека.

Посмотрим теперь, что получается у Каутского с «определением» в историческом периоде. Тут по Каутскому перемена в общественном бытии вызывает перемену в общественном сознании, в его особенностях. Здесь Каутский как будто признает отношение причины и следствия между бытием и сознанием касательно их особенностей. Но, к сожалению, и тут налицо одно лишь формальное, словесное признание. «Диалектический процесс между человеком и окружающим миром,—говорит Каутский в другом месте,—поскольку он становится историческим процессом, принимает в первую голову (in erster Linie) характер взаимодействия между психикой и окружающим миром»[1]). Человек подменен психикой, находящейся во взаимодействия с окружающим материальным миром. Между материей и духом на исторической арене существует взаимозависимость в первую голову. Стало быть, и в отношении исторического периода «определение» Каутского очень далеко от того, чтобы быть определением в марксовом смысле, т.-е. таким, под которым понимается, что общественное сознание является продуктом, следствием общественного бытия. От такого понимания Каутский далек, как небо от земли. Можно сказать, что такое понимание органически противно всему духу его философии. Очень неохотно, с тысячью оговорок становясь на точку зрения причинного об'яснения исторических явлений (на чем мы впоследствии подробно остановимся), Каутский применяет категорию причинности по Гегелю, а не по Марксу. «Мы находим здесь диалектический процесс, во многом сходный с гегелевским,—говорит Каутский,—характеризуя диалектический ход развития техники и производственных отношений,—как у одного, так и у другого из этих процессов это в конце концов (schliesslich) дух, который дальше развивает общество, который сам себе ставит собственную антитезу и ищет затем синтез между тезисом и антитезисом и после его нахождения образует новый антитезис и т. д.»[2]). Дух оказывается демиургом истории, как у Гегеля. Так превращается невинная, «об'ективная» взаимозависимость духа и материи, их взаимодействие в пышный пустоцвет реакционного неогегельянства, идеализма.

Впрочем, эта истина, уже тысячу раз доказанная историей, что как дуализм в вопросе духа и материи, так и стремление якобы уничтожить противоположность между духом и материей на деле ведет к идеалистическому тезису примата духа над материей. Остается только констатировать, что Каутский не составляет исключения из этого общего правила.

После этого очевидно, что «определение» общественным бытием общественного сознания, якобы ограничительно признаваемое Каутским, есть не больше, как формальная дань учителю, так как он на самом деле не знает никакого определения сознания бытием, а лишь взаимодействие между психикой и окружающим миром в первую голову (in erster Linie) и определение бытия сознанием в конечном счете ((schliesslich).

[1]) K. Kautski, Materialistische Geschichtsauffassung. B. I, S. 216.
[2]) Ibid., S. 789.

И далее, ограничением определения одними особенностями общественного сознания Каутский выдает себя с головой. Во взаимодействие с бытием вступает только определенная сфера сознания, — другая сфера остается вне всякого взаимодействия, как самодовлеющая. Каутский — волюнтарист и доподлинный ученик Шопенгауэра; решительно стоит на точке зрения априорной воли, данной до всякого познания, до всякого опыта и определяющей как познание, так и опыт. «Не подлежит сомнению,— говорит он,—что в последнем счете («in letzter Linie») наше воление определяется не нашим познанием, а дано до всякого познания и что оно на него самого определяющие воздействует» [1]). И совершенно естественно, что эта априорная воля, направляющая познание и действие, во взаимодействие с бытием не вступает: ее дело направлять познание на окружающий мир, определять, таким образом, бытие в конечном счете.

Можно было бы после этого оставить Каутского, ставшего на путь идеалистической философии в основном гносеологическом вопросе, в покое, если бы не то обстоятельство, что почти все без исключения теоретики ревизионизма цепляются за марксово понятие «определения», неизменно противопоставляя его фейербаховскому «порождения». Вопрос этот, таким образом, приобретает общий теоретический интерес. Необходимо выяснить, что понимали Маркс и Энгельс под «определением» и в каком отношении находится это понятие к понятию «порождения».

Соответствующее положение Фейербаха гласит: «Истинное отношение мышления к бытию только следующее: бытие—суб'ект, мышление—предикат. Мышление—продукт бытия, но бытие—не продукт мышления. Бытие существует из себя и через себя, бытие дается только бытием, бытие имеет свое основание в себе» [2]). С этим положением Маркс и Энгельс целиком согласны, и их критика Фейербаха идет не по этой линии, в чем нас хотел бы убедить Каутский, выдавая свой шаг назад от материализма, от марксизма за «шаг вперед» Маркса по отношению к Фейербаху. Маркс и Энгельс действительно сделали шаг вперед по сравнению с Фейербахом, но отнюдь не в смысле отхода или изменения основной гносеологической позиции Фейербаха в вопросе об отношении мышления к бытию. Поистине, слышал звон, да не знает, где он.

Не за его материалистическую теорию познания критиковали Маркс и Энгельс Фейербаха, а за то, что он не сумел сделать ее исходным пунктом исторического материализма; не материализм Фейербаха они отбрасывают, а его ограниченность. Это вещи как будто разные.

Каутский, как известно, очень не любит пролетарской диктатуры в СССР, но благодаря этой диктатуре, у нас эта истина стала буквально элементарной, общераспространенной и общеизвестной.

В своем «Людвиге Фейербахе» Энгельс, характеризуя ход развития Фейербаха, как превращение гегельянца в материалиста, говорит между прочим следующее: «С неудержимой силой овладело им, наконец, сознание того, что предвечное бытие «абсолютной идеи» и «логических категорий», существование которых, по Гегелю, предшествовало существованию мира, есть не более, как фантастический оста-

[1]) Там же, B. II, S. 714.

[2]) Л. Фейербах, Принципы материалистической теории познания, 1923, стр. 96.

ток веры в творца: что вещественный, доступный нашим внешним чувствам мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир, и что наше сознание и мышление порождаются вещественным органом, частью нашего тела — мозгом, хотя и принадлежат, повидимому, к невещественному миру. Не материя порождается духом, а дух представляет собою высочайшее порождение материи. Это, конечно, уже чистейший материализм. Но, придя к нему, Фейербах останавливается»[1]). Фейербах, как поясняет дальше Энгельс, утвердив «основу» здания, не мог построить самого «здания», т.-е. общественной науки на материалистической основе. «Задача,—говорит Энгельс,—состояла в том, чтобы согласовать с материалистической основой и заново построить на ней здание общественной науки, т.-е. всю совокупность так называемых исторических и философских знаний. Но Фейербаху не суждено было сделать это»[2]). Это сделать, т.-е. на материалистической основе построить само здание общественной науки, выпало на долю Маркса и Энгельса.

Так как трудно предположить, что Каутский незнаком с энгельсовским «Людвигом Фейербахом», то необходимо предположить другое: Каутский решил ставить вещи на голову. Он сам несогласен с фейербаховским положением, что сознание и мышление порождаются мозгом и ему, следовательно, нужно, чтобы считаться марксистом, перетянуть на свою сторону Маркса и Энгельса.

Разногласия творцов научного социализма с Фейербахом вкратце изложены в тезисах Маркса к «Фейербаху», но подробнее они изложены в дошедших до нас отрывках из «Немецкой идеологии», изложены с классической ясностью и с необычайной глубиной мысли.

Не имея возможности в данной связи подробно остановиться на этих замечательных отрывках, целиком и полностью опрокидывающих все ревизионистские догадки и ложные толкования материализма Маркса и Энгельса вообще, и отношения марксо-энгельсовского материализма к фейербаховскому, мы рассмотрим одно лишь положение.

Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» упрекают Фейербаха в том, что он не доработался до «практического» или «коммунистического» материалиста, для которого «дело идет о том, чтобы революционизировать существующий мир, чтобы практически обратиться против вещей, как он их застает, и изменить их»[3]). Доработаться до этого материализма Фейербаху мешало, по мнению Маркса и Энгельса, то, что его понимание чувственного мира ограничивалось «голым ощущением», т.-е. что он не посмотрел на предметы «чувственной достоверности» со стороны их исторического возникновения и обусловленности. Он не замечает того,—говорят Маркс и Энгельс по адресу Фейербаха,—что окружающий его чувственный мир не есть вовсе какая-то непосредственно от века данная, всегда самой себе равная вещь, а продукт промышленности и общественного состояния, продукт в том смысле, что он является в каждую историческую эпоху результатом деятельности целого ряда поколений». Даже предметы «простейшей чувственной достоверности» даны только благодаря общественному развитию, промышленности и торговым сношениям. Для

---

[1]) Фр. Энгельс. Л. Фейербах (Соч. Г. В. Плеханова, т. VIII, стр. 327) Курсив наш.

[2]) Там же, стр. 330.

[3]) Архив Маркса и Энгельса, кн. I, стр. 217.

иллюстрации этой своей мысли Маркс и Энгельс приводят ряд примеров: все почти плодовые деревья появились в нашем поясе лишь несколько веков тому назад, благодаря торговле; в Манчестере Фейербах видит один лишь фабрики и машины, а между тем сто лет тому назад можно было видеть там только самопрялки и ткацкие станки и, наоборот, в Римской Кампаньи Фейербах видит теперь только пастбища и болота, а между тем во времена Августа здесь можно было видеть сплошные виноградники и виллы римских капиталистов.

Фейербах ограничивается, по мнению Маркса и Энгельса, «голым ощущением» и в своем взгляде на человека. Материалистически рассматривая человека, как «чувственный предмет», он, однако, тем односторонен, что не рассматривает его еще как «чувственную деятельность». Эта односторонность и повела к тому, что Фейербах дальше понятия «реального, индивидуального, телесного человека в ощущении» не пошел, что для него вследствие этого «человеческие отношения» ограничивались отношениями любви и дружбы. Видя в человеке только «чувственный предмет», не замечая при этом «чувственного деятеля» в нем, он только отрезал себе путь к пониманию «реального, исторического человека».

Маркс и Энгельс настаивают на том, что практический материалист не должен ограничиваться «голым ощущением», т.-е. не должен удовлетвориться тем, что его мышление через ощущение черпает из непосредственно данной действительности, не может ограничиться непосредственно данным чувственным миром, а обязан добраться до основы этого данного чувственного мира.

Этой основой является «чувственная деятельность людей». Эта деятельность,—об'ясняют Маркс и Энгельс,—эта непрекращающаяся чувственная работа и творчество, это производство являются настолько основой всего чувственного мира, как он теперь существует, что если бы оно прекратилось хотя бы лишь на один год, то Фейербах не только нашел бы колоссальные изменения в физическом мире, но очень скоро не нашел бы всего человеческого мира, собственной способности воззрения и даже своего собственного существования» [1]). Чувственная деятельность людей является основой чувственного мира, как он существует теперь и, разумеется, лишь постольку. «Конечно,—прибавляют тут же Маркс и Энгельс,—при этом сохранится приоритет внешней природы и, конечно, все это не имеет никакого отношения к первичным, порожденным generatio aequivoca людям» [2]). Чувственная деятельность, производство, творчество людей совершается в природе, на основе которой эта деятельность лишь становится возможной и, конечно, эта деятельность не относится к доисторическому человеку. Речь идет о чувственной деятельности исторического человека, преобразующего природу и себя самого.

Фейербах, не видевший этой «основы чувственного мира», как он существует теперь, не понимал ни физического мира, ни человека, как должен их понимать не просто материалист, а практический или коммунистический материалист. Вот почему он не мог быть последовательным в своем материализме до конца. «Таким образом,—говорят Маркс и Энгельс,—он никогда не был в состоянии рассматривать чувственный мир, как совокупную, живую, чувственную деятельность составляющих его индивидов и поэтому вынужден—когда замечает,

---

[1]) Архив Маркса и Энгельса, кн. I, стр. 218.

[2]) Там же.

например, вместо здоровых людей толпу золотушных, надорванных работой и чахоточных бедняков, — спасаться в «высшей интуиции, в идеальном выравнивании в роде», т. е. вынужден снова впасть в идеализм, как раз там, где коммунистический материализм усматривает необходимость и одновременно с этим условие преобразования промышленности и общественного расчленения» [1]).

Физический мир Марксом и Энгельсом диалектически связывается с человеком и обратно. Исторический человек не просто существует в природе, а деятелен в ней. В своей деятельности он ее изменяет, и, изменяя ее, он изменяет самого себя. Вот почему как физический мир, так и человек не могут быть рассматриваемы только созерцательно, об'ективно, а должны быть рассматриваемы под аспектом материальной практики людей, суб'ективно (выражаясь языком тезисов Маркса к «Фейербаху»).

Своим открытием «основы чувственного мира» Маркс и Энгельс подводят материалистический фундамент под историческую науку и кладут конец отрыву материализма от истории. Материализм и история шли у Фейербаха различными путями. У Маркса и Энгельса они идут одним путем.

«Поскольку Фейербах является материалистом, он не имеет дела с историей, поскольку же он занимается историей, он вовсе не материалист. Материализм и история идут у него совершенно различными путями» [2]).

Вот в чем шаг вперед, сделанный Марксом и Энгельсом по сравнению с Фейербахом. Стало быть, шаг вперед не в том, что они, как думает Каутский, покинули материалистическую теорию познания Фейербаха, а в том, что они ее, эту материалистическую теорию познания, распространили на историю. Свою историческую теорию Маркс и Энгельс потому и называют историческим материализмом, что она распространяет материализм на историю. А материализм есть по формулировке Энгельса учение о том, что «не материя порождается духом, а дух представляет собою высочайшее порождение материи» [3]), т. е. то же, что и по Фейербаху.

Но что конкретно значит распространить материалистическую теорию познания на историю? Это значит рассматривать все без исключения идеи, все сознание реального, исторического человека (другого человека нет), как порождения его бытия.

Фейербах споткнулся на том, что он бытие человека понимал ограниченно. Он понимал, что «наше сознание и мышление порождаются вещественным органом, частью нашего тела—мозгом, хотя и принадлежат, повидимому, невещественному миру» (Энгельс). Он также понимал, что свое содержание наше сознание и мышление получает, черпает в чувственном мире вещей, но он не понимал самого чувственного мира конкретно и всесторонне, поскольку он смотрел на него только созерцательно, абстрактно, не видя его основы, не видя чувственной деятельности. «Созерцайте природу, созерцайте человека. Здесь вы имеете тайны философии перед глазами» [4]),—говорит Фейербах.

---

[1]) Там же.
[2]) Архив Маркса и Энгельса, кн. I, стр. 219.
[3]) Фр. Энгельс, Л. Фейербах (Соч. Г. В. Плеханова, т. VIII, стр. ...
[4]) Л. Фейербах, Принципы материалистической теории познания, 192..., стр. 97.

бах, но чувственный мир и человек были для него только тем, как они существуют теперь, непосредственно данными.

При таком понимании бытия человека знание неизбежно осуждено на односторонность, а идеи «высшего» порядка, как религия, философия, политика, мораль и т. п., другими словами, «вся совокупность исторических и философских знаний» (Энгельс) не могли быть поняты, точнее, не могло быть понято порождение их бытием человека. Вот откуда и против материализма у Фейербаха именно здесь. И вот почему Фейербах, как говорит Энгельс, «был совершенно прав, когда говорил, что материализм, опирающийся исключительно на естествознание, «составляет основу человеческого знания, но еще не самое знание» (Фейербах) [1].

Иначе у Маркса и Энгельса. У них бытие человека, понимаемое, как реальный процесс жизни людей, совершающийся в непрерывной материальной практике, порождает все без исключения идеи, все решительно содержание сознания человека, понимаемого как реально действующего человека. Порождает, пропуская их через мозг, разумеется.

Приведем следующие замечательные строки из «Немецкой идеологии».

«Производство идей, представлений, сознания прежде всего непосредственно вплетается в материальную деятельность и в материальные сношения людей — в язык реальной жизни. Представления, мышление, духовные отношения людей являются здесь еще прямым порождением их материальной практики. То же можно сказать о духовном производстве, как оно выражается в языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т. д. какого-нибудь народа. Люди (и именно люди, как они обусловлены, способом производства их материальной жизни, их материальными сношениями и дальнейшим развитием последних в общественном и политическом расчленении), как они обусловлены определенным развитием своих производительных сил и соответствующих последним способов сношений до их отдаленнейших формаций, являются производителями своих представлений, идей и т. д. о реальных действующих людях. Сознание (Bewusstsein) никогда не может быть чем-то иным, как только сознанным бытием (bewusstes Sein), а бытие людей, это — реальный процесс их жизни. Если во всей идеологии люди и их отношения кажутся поставленными на голову, как в какой-нибудь камере-обскуре, то это тоже вытекает из исторического процесса их жизни, подобно тому, как обратное изображение предметов на сетчатке вытекает из непосредственного физического процесса их жизни» [2]). И несколькими строками позже: «и туманные образования в мозгу людей являются тоже необходимыми сублиматами их материального, эмпирически констатируемого и связанного с материальными условиями жизненного процесса. Таким образом мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают свою видимость самостоятельности, у них нет вовсе истории, у них нет развития: только люди, развивающие свое материальное производство и свои материальные сношения, изменяют в этой своей деятельности также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание

[1]) Фр. Энгельс, Л. Фейербах (Соч. Г. В. Плеханова, т. VIII, стр. 330).
[2]) Архив Маркса и Энгельса, кн. I, стр. 215—216. Курсив наш.

определяет жизнь, а жизнь определяет сознание[1]. И страницей раньше в этой же связи и об этом же производстве сознания людьми в их реальных отношениях, в их практике говорится:

«Противоположное допущение возможно лишь в том случае, *если предположить кроме духа реальных, материально обусловленных, индивидов еще какой-то иной дух*» (Курсив наш).

Яснее выразиться трудно. Маркс и Энгельс под бытием человека понимают его реальный жизненный процесс, его жизнь, как существа действующего, практического, т. е. производящего и творящего в чувственном мире вещей. Это—бытие реального исторического человека. В этом своем бытии человек и производит свои идеи и представления. При чем одни идеи, непосредственно *вплетающиеся* в материальную деятельность и в материальные сношения людей, образующие «язык реальной жизни» являются *прямым* порождением материальной практики, бытия. Другие же идеи, образующие язык политики, морали, религии, метафизики и т. д., не являясь прямым порождением материальной практики, а «необходимыми сублиматами», ее «идеологическим рефлексом и отражением», как Маркс и Энгельс иначе еще тут же их называют, являются не в меньшей степени ее порождением, так как,—подчеркивают Маркс и Энгельс,—сознание *никогда не может быть ничем иным, как только сознанным бытием*.

Маркс и Энгельс изгоняют идеализм из его последних щелей. *Туманные образования в мозгу людей также порождаются его бытием.* Никакой самостоятельности идеи не имеют и иметь не могут, и в этом смысле они не имеют своей истории. Развивается производство, практика—изменяется в процессе этого производства, практики мышление и его продукты. Сознание *определяется жизнью*, а не наоборот.

Ясно, какой смысл вкладывают в понятие «определения» Маркс и Энгельс. Они отрицают самостоятельность развития сознания.

На каком основании Маркс и Энгельс оспаривают эту самостоятельность? Совершенно очевидно, на том основании, что содержание сознания есть *продукт* материальной практики людей. Как таковой, он ею же изменяется и развивается, как ее рефлекс, или, иначе, *определяется*.

«Сознание определяется бытием» означает по Марксу и Энгельсу: сознание изменяется, развивается не *вместе* с развитием бытия, а *в результате* этого развития, как его следствие, как его продукт. Это положение исторического материализма является ни чем иным, как применением гносеологического положения Фейербаха к истории. *По Марксу и Энгельсу не может быть «определения» без «порождения».*

В своем «Людвиге Фейербахе» Энгельс говорит о так называемых «идеальных силах» следующее: «Все, что побуждает человека к деятельности, неизбежно проходит через его голову: даже за еду и питье человек принимается под влиянием отразившихся в его голове ощущений голода и жажды, а перестает есть и пить потому, что в его голове отражается ощущение сытости. Впечатления, производимые на человека внешним миром, выражаются в его голове, отражаются

[1] Там же, стр. 216. Курсив наш.

в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, волевых движений, словом, в виде «идеальных стремлений». В этом виде они являются «идеальными силами» [1]). Энгельс подчеркивает здесь, во-первых, *источник* идеальных сил»,—это бытие человека, впечатления от внешнего мира,—и, во-вторых, голову, мозг, отражающий эти впечатления. Источник и аппарат отражения—оба участвуют в деле порождения так называемых идеальных стремлений. Последние являются целиком и без остатка продуктом деятельности их обоих, продуктом бытия человека в конечном счете. Есть ли тут у Энгельса хоть намек на какое-то «определение», которое отличалось бы от фейербаховского порождения? Ничего подобного. Ясно, что разница между Марксом и Энгельсом, с одной стороны, и Фейербахом, с другой стороны, в основном вопросе гносеологии является не более, как «тонким» теоретическим, с позволения сказать, ухищрением, направленным против материализма Маркса и Энгельса. Возвращаясь теперь к Каутскому, мы в праве сказать:

Противопоставляя «определение» Маркса фейербаховскому «пождению», Каутский искажает Маркса и Энгельса *и делает первый решительный шаг к превращению исторического материализма в теорию исторического позитивизма, неизбежно перерастающего в исторический идеализм.*

И это целиком в духе теоретического ревизионизма, к которому окончательно пристал Каутский.

Чтобы не быть голословным, мы приведем лишь одно место, заимствованное у одного «философствующего» ревизиониста «левого» толка. Это место гласит:

«Материализм» у Энгельса не метафизика, он не занимается вопросом о сущности вещей и не может быть истолкован *не в том смысле, будто он рассматривает мышление, как продукт мозга.* Нигде Энгельс не сделал это partie honteuse материализма своей точкой зрения. Для него этот метафизический вопрос, а именно, *порождает ли мышление бытие или наоборот,* не существует вовсе — для него этот вопрос превращается в диалектический (sic!) вопрос об *отношении мышления и бытия,* и его решение вопроса состоит в том, что между этими обоими элементами опыта существует *отношение зависимости...* И во взглядах Энгельса *по вопросу об отношении мышления к бытию нельзя найти ничего из того, что составляет сущность философского материализма.* Ибо этот последний никогда не удовлетворится одним постоянным отношением связи между бытием и мышлением, если не захочет изменить своему существу, состоящему в том, чтобы представить все явления мира, мышление в том числе, *продуктом* движения материальных мировых элементов (Weltelemente)—*у Энгельса нет и следа подобного взгляда, это опять-таки только позитивизм, рассматривающий и этот вопрос не философски, а чисто эмпирически...* Этот «диалектический материализм»—фактически ничто иное, как *позитивизм современной научной работы вообще»* [2]) Эти строки принадлежат кантианцу

---

[1]) *Энгельс,* Л. Фейербах (Соч. Г. В. Плеханова, т. VIII, стр. 331).

[2]) *Max. Adler,* Engels als Denker, 1925, S. 85—87. Курсив наш.

Максу Адлеру. Эту же точку зрения разделяют Фр. Адлер, Отто Бау и др. Махисты и кантианцы в блоке против материализма.

И еще вот что: Каутский, ограничивая действие «определен одними особенностями сознания, тем самым говорит, что остальная сфера мышления, сознания, в эти особенности не уклады вающаяся, бытием не определяются вовсе. Из этого следует закл чить, что Каутский мышлению, духу отводит некую дозу сам стоятельности, что по Марксу и Энгельсу означает, как м видели, предположить, что, кроме духа реальных, материально обусл ленных индивидов, есть еще какой-то иной дух. Мы выше вида что этот «иной дух» у Каутского действительно представлен. Это априорная воля, определяющая ход истории в конечном счет

III. Материализм Каутского или материализм без матери

После «тонкой» расправы с основным гносеологическим полож нием Маркса Каутский, однако, упорно и настойчиво продолжает сч тать себя материалистом и, само собою разумеется, учеником Марк и Энгельса. Материализм Маркса и Энгельса,—торжественно заявк он по адресу сторонников соединения марксизма с любой другой фи софией,—не преодоленный и не превзойденный; он остается в полн силе и теперь.

С этим мнением Каутского нельзя не согласиться. Но мы уж знаем, что Каутский «начинает» хорошо, но плохо «кончает», и че лучше начинает, тем хуже кончает.

«Что оказалось шатким (unhaltbar),—продолжает Каутский сво рассуждение,—так это тот материализм, который сулит разрешить вс мировые загадки, мнящий, что он сумеет из механики того, что наз вают материей, об'яснить все явления мира, явления человечеся духа в том числе. Эта философия оказалась шаткой не потому, что она была вытеснена другой философией, лучше об'ясняющей миро вые загадки, а потому, что мы пришли к сознанию, что мы не в состо нии постичь абсолютные истины, не в состоянии познать бесконечн при помощи нашей конечной познавательной способности. Но поми этого переступающего границы опыта материализма есть еще мат риалистический метод, материалистический в этом, а не в гегел ском, метафизическом смысле. Материализм Маркса и Энгельса в м методе» [1]).

В этой выдержке «квинтэссенция» «новейшей» философск мысли Каутского. Каутский утверждает, что:

1. Абсолютные истины непостижимы, они «мировые загадк бесконечное, которого наш конечный разум познать не может, н в состоянии.

2. Человеческий дух—это неразрешимая «загадка».

3. Материализм, стремившийся к разрешению «мировых загадо обанкротился.

4. Материализм, чтобы не быть метафизическим, должен стр стоять на почве «опыта», ни в коем случае не переступая его грани

5. Такой материализм есть собственно материалистическ метод, которым и исчерпывается материализм Маркса и Энгельс

В этой концепции, вообще говоря, нет решительно ничего нового Нова она для нас лишь постольку, поскольку эта философия из

[1]) K. Kautsky, Materialistische Geschichtsauffassung. B. I, S. 22

проповедуется Каутским. По существу это перепевы агностицизма, позитивизма. Эти «позитивистские» премудрости можно также в изобилии читать у Макса Адлера, Фр. Адлера, Отто Бауэра и у многих других «философствующих» ревизионистов.

Впрочем, «ново» и оригинально здесь еще то, что Каутский в отличие от своих коллег и вопреки здравому смыслу упорно и настойчиво считает себя материалистом. Мы позже увидим, от кого Каутский получил аттестат материалиста, и вместе с ним авторитетную уверенность в своем материализме. Пока же перейдем к рассмотрению тезиса, согласно которому материализм Маркса и Энгельса только в методе.

Для доказательства этого тезиса Каутский ссылается, как это ни странно, на самого Энгельса. В своем «Людвиге Фейербахе» Энгельс, характеризуя «направление, которое теснейшим образом связано с именем Маркса», как «разрыв с философией Гегеля», происшедший путем возврата к материалистической точке зрения, говорит: «Это значит, что люди этого направления решились смотреть на действительный мир—на природу и на историю—без идеалистических очков и видеть в нем только то, что он собою представляет. Они решались без всякого сожаления отказаться от всех идеалистических взглядов, несогласных с явлениями действительного мира, взятыми в их истинной, не фантастической связи. А в этом и состоит весь материализм» [1]). В этом совершенно правильном положении Энгельса Каутский усматривает доказательство того, что материализм Маркса и Энгельса состоит только в методе. Почему? На каком основании?

Потому, что в этих строках Энгельс не упоминает м а т е р и и. И Каутский победоносно восклицает по адресу де-Мана, что напрасно он обвиняет Маркса и Энгельса, что они «подняли мертвую материю до степени божества». Ведь сам Энгельс, мол, утверждает материализм без материи, говоря, что весь материализм в том и состоит, чтобы смотреть на действительный мир без идеалистических очков и видеть в нем только то, что он собою представляет.

Тут надо заметить, что эти строки Энгельса в доказательство того же тезиса цитирует кантианец Макс Адлер почти во всех своих работах (см., напр., его «Engels als Denker» 1925, S. 85), делая неизменно один и тот же вывод: что Энгельс не был материалистом, а позитивистом. С этой же целью их цитирует Фр. Адлер в своем «Machs Ueberwindung des mechanischen Materialismus» и т. д., и т. д. Эти господа и Каутский, приставший к общему хору, с материализмом шутят в самом скверном смысле этого слова.

Дело в том, что цитируемое Каутским место из «Л. Фейербаха» находится в 4-й главе, где речь идет, главным образом, о п р и м е н е н и и материализма к истории. О философском материализме Энгельс трактует раньше и, главным образом, во 2-й главе. Казалось бы, что Каутский в поисках «утерянной» им материи должен был обратиться раньше всего к 2-й главе. Сделав это, он нашел бы черным по белому написанные строки, уже выше нами в другой связи процитированные, и в которых дается известная формулировка материализма, согласно которой материализм утверждает, что «не материя порождается духом, а дух представляет собой высочайшее порождение материи».

---

[1]) Ф р. Э н г е л ь с (Соч. Г. В. Плеханова, т. VIII, стр. 341).

Энгельс тут не только упомннает матерню, а, вопреки «печальному» де-Ману н его утешителю Каутскому, рассматривает ее как причину по отиошеиию к духу, являющемуся ее высочайшим порождением.

И несколькими строками ииже Энгельс характеризует материализм «как общее мировоззреиие, вытекающее из нзвестиого взгляда на взаимое отношенне матернн н духа» [1]). Опять - таки без материи нет материалнзма, так как материализм потому н постольку есть материализм, что он признает материю и о п р е д е л е н н ы м образом разрешает вопрос об отиошенин матерни н духа.

Ясио, что Каутский нарочнто вводнт в заблуждение читателя. Матерню потерял не Эигельс, а его «ученнк» Каутский.

И далее. Непосредствеиио следующие за нзлюблеиным ревизионистамн местом в «Людвиге Фейербахе» Эигельса и всеми ими игнорируемые строки гласят: «Новое направлеине отличалось только тем, что оно не ш у т и л о с материалнзмом (курснв иаш.—М. Ф.), что оно, по крайней мере, в общем, последовательио прилагало материалистический взгляд ко всем отраслям зиання, нмеющим сюда какое-нибудь отиошение». Тут же дальше Эигельс об'ясняет, что зто значит, что иовое направлеине, т.-е. Маркс и ои, Эигельс, ие шутило с материализмом. Ои говорит, что оии, ие игнорнровав Гегеля и взяв у иего диалектический метод, устраннлн из него «идеологическое извращение». «Вериувшись к материалистической точке зреиия, — продолжает Энгельс,—мы снова увидели в человеческих понятиях снимки с действительиых вещей, вместо того, чтобы в действительных вещах видеть снмки с абсолютного понятия, иаходящегося на известной ступени развития» [2]). Значит, не шутить с материалнзмом по Эигельсу означает в ч е л о в е ч е с к н х п о и я т я х у в и д е т ь с и и м к и с д е й с т в и т е л ь н ы х в е щ е й. И тот, кто зтого не признает,—а это случилось именио с Каутскнм, в чем мы очень скоро убедимся,—тот с материализмом ш у т и т, тот ие материалист. Призиать, что человеческне понятия являются сннмками с действительиых вещей, означает стоять на точке зреиия познання об'ективной, абсолютной истины, означает считать возможиым с прогрессом цауки решение «мировых загадок», озиачает стоять на точке зреиия того материализма, который Каутский вслед за обонмн Адлерами и др. ругает «метафизическим», н который, по нх просвещенному миенню, обаикротился.

Попытка Каутского о т д е л и т ь материалистический метод от философского матерналнзма характернзует его, как обанкротившегося марксиста. Место нз «Людвига Фейербаха» Эигельса, говорящее о методе, имеет в внду метод материалнстическнй, т.-е. метод, в основе которого лежнт ие позитивистское прнзнание «фактического», а признание об'ективной реальиости, отображаемой в нашей голове. Без такого признаиня нет материалистической фнлософнн и иет материалистического метода.

Но «шуткн» скверного пошиба, которые позволяет себе Каутский по отношеиию к матерналнзму н к его гениальным творцам, в зтом ие коичаются. Он заявляет увереиио: «чтобы увидеть, как наши учителя в действительности мыслили материю, я приведу лишь одно характериое место». Место зто взято нз эигельсовской «Диалектики природы», и оио гласит: «Материя, как таковая, это—чисто мысленное произведенне (reine Gedanken - Schöpfung) и абстракция. По-

[1]) Г. В. П л е х а н о в. Соч., т. VIII, стр. 327.
[2]) Там же, стр. 341.

водя вещи, рассматриваемые нами, как телесно существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех качественных различий в них. Поэтому материя, как таковая, в отличие от определенных существующих материй, не является чем-то чувственно существующим. Естествознание, стремящееся отыскать единую материю как таковую, стремящееся свести качественные различия к чисто количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц, поступает так, как оно поступало бы, если б вместо вишни, груш, яблок оно искало бы плод, как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. искало млекопитающее, как таковое, газ, как таковой, металл, как таковой, камень, как таковой, химическое соединение, как таковое, движение, как таковое». Процитировав это место, Каутский заключает:

«Материя с этой точки зрения, — это вселенная (die Gesamtheit der Welt), и признание материализмом материи ничего другого не означает, как признание, что мир существует действительно вне нас, что он не чистый призрак (nicht blosser Schein), не является продуктом человеческой головы» [1]). Значит, по Энгельсу,—так заключает Каутский из приведенного им места,—материей называется вселенная в целом; конкретной материи, определенной чувственно - существующей материи нет, одним словом материализм Энгельса есть материализм без материи; он состоит лишь в признании внешнего мира. Такой удобный для себя вывод делает Каутский, стремясь во что бы ни стало перетянуть Энгельса на свою точку зрения материализма без материи. Но перетянуть Энгельса на свою несуразную каутскианскую точку зрения материализма без материи, Каутский либо Энгельса не понял, либо сознательно извращает его. В приводимых Каутским строках, заимствованных из одной полемики Энгельса с механистами, говорится лишь то, что необходим качественный подход к материи. Материя вообще, — говорит Энгельс, — есть абстрактное понятие, полученное путем абстрагирования от определенных существующих материй и, поэтому, поиски ее в чувственном мире вещей являются бесплодным занятием, таким же бесплодным, как поиски плода, как такового. Как не существует плода, как такового, а только чувственно определенные вишни, груши, яблоки и т. д., так не существует материи, как таковой, а лишь чувственно определенные формы материи. Поиски единой материи, сведение всех качественных различий к количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц основаны по Энгельсу на непонимании существа абстрактного понятия. Этот взгляд Энгельса на абстрактное понятие, высказываемый им многократно в «Диалектике природы», кстати сказать, представлен и в «Святом семействе», написанном, как известно, Марксом и Энгельсом. Маркс и Энгельс признают материю, как об'ективную реальность, материя, как таковая, чувственно не существует, но она существует в виде определенных форм материи и познать ее можно, изучая эти чувственно определенные формы ее.

Непосредственное продолжение приводимое Каутским места из энгельсовской «Диалектики природы» гласит: «Теория Дарвина требует подобного млекопитающего, но Геккель должен в то же время признать, что если оно содержало в себе в зародыше всех будущих и современных млекопитающих, то в действительности оно стояло ниже всех современных млекопитающих и было совершенно грубым,

[1]) K. Kautsky, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 23.

а поэтому и было более проходящим, чем все они. Как доказал уже Гегель (Enz., I, стр. 199) это воззрение, эта «односторонняя математическая точка зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно исконно одинакова, является «именно точкой зрения» французского материализма XVIII столетия. Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, количественную определенность, как сущность вещей»[1].
На этом кончается фрагмент, но как из приведенных Каутским, так и из нарочито им недоцитированных строк, совершенно ясно, что Энгельс точку зрения абстрактной материи вместе с Гегелем считает «односторонней математической точкой зрения», возвратом к французскому материализму XVIII века и даже возвратом к Пифагору. Этой абстрактной, количественной точке зрения, в виду ее односторонности, Энгельс противопоставляет качественную точку зрения, согласно которой материя качественно не исконно однакова, а различна, по состоянию и по форме. Коротко говоря, Энгельс борется в этом фрагменте, как и во всей «Диалектике природы», против того, что ему приписывает Каутский, рассчитывая на несведущего читателя. Энгельс, сохраняя абстрактное понятие материи, на этом не останавливается. Он в отличие от французских материалистов требует качественного подхода к материи, который один дает возможность познания материи в ее чувственно-определенных формах и проявлениях. Каутский либо нарочито вводит в заблуждение читателя, либо лишился способности понимать Энгельса.

Но может быть, подумает читатель, все еще по старой привычке считающий Каутского марксистом,—Каутский в вопросе о материи стоит на точке зрения французских материалистов XVIII века и найдет в этом «схождение» для Каутского. Но все сомнения должны рассеяться, когда мы познакомимся с его отношением к Канту. Мы к этому сейчас же и перейдем.

IV. Отношение Каутского к Канту, или путь к „высшей форме материализма".

Критике Канта Каутский посвящает целый раздел и нам придется к ней еще возвращаться. Остановимся покамест на самом основном и раньше всего на «установке» этой критики.

Автор «Материалистического понимания истории» свою критику Канта начинает так:

«Его критицизм (т.-е. Канта.—М. Ф.) мог бы послужить замечательным (sehr wohl) исходным пунктом для высшей формы материализма»[2].

Каутский, стало быть, обретается в поисках высшей формы материализма. Это раз. Далее, по его мнению, эта высшая форма материализма возможна только на почве критицизма. Согласитесь, что это очень интересно и даже «оригинально».

Каутский мотивирует свой восторг Кантом следующим образом: «Кант признает, что мир действительно существует вне нас, не является продуктом нашей головы. О внешнем мире мы узнаем только благодаря нашим чувствам. Он энергично выступает против прежнего

[1] Фр. Энгельс, Диалектика природы, стр. 147.
[2] K. Kautsky, Materialistische Geschichtsauffassung. B. I, S. 25.

идеализма, который он как «мистический и мечтательный» отвергает и считает превращение действительных вещей в одни представления «предосудительным идеализмом» [1]). Каутский дальше приводит известное рассуждение Канта, в котором последний «настоящему идеализму»—элеатов и Беркли противопоставляет «свой идеализм», состоящий, по его словам, в противоположном Беркли утверждении; это утверждение Канта гласит: «Всякое познание вещей из одного чистого рассудка или чистого разума является иллюзией и только в опыте—истина». Процитировав это положение Канта, Каутский заявляет:

«Под этим положением может каждый «подлинный» материалист подписаться» [2]).

Его при этом ни капельки не смущает то, что по Канту мы познаем вещи не такими, какими они есть, а какими они нам являются. «Это,—говорит он,—обращено против *наивного, примитивного* материализма, который принимает, что наши чувства на самом деле показывают нам вещи, как они есть. *Критический* материализм прекрасно может примириться (sich abfinden) с кантовским различением между вещами в себе и явлениями» [3]).

Под чем же Каутский *подписывается*, как «подлинный материалист», и с чем он только примиряется, чем только удовлетворяется (читай: соглашается)?

Каутский подписывается под *признанием внешнего мира и необходимостью опытного познания*, вместе с Кантом выступая против Беркли. Но разве выступать против берклеанства может *только* материалист? И разве антиберклеанец Кант свою философию называет материалистической, а не, наоборот, «своим идеализмом», как мы видели, или «формальным, лучше критическим», в отличие от берклеанского, который он называет «догматическим» [4]). И разве, скажем, идеалист Шопенгауэр, чьим доподлинным учеником Каутский является и к которому он относится с благоговением, не протестует против обвинения идеализма, что он «отрицает эмпирическую реальность внешнего мира»; называя это обвинение недоразумением? [5]). Что это? На каком спектакле мы присутствуем? Каутский совершенно произвольно и необосновано некоторые *разновидности* идеализма величает материализмом. В отношении Канта он настолько перестарался, что оказался большим папой, чем сам папа. Он готов окрестить Канта материалистом вопреки самому Канту. И за что? За то только, что тот признает существование внешнего мира и стоит на точке зрения «опыта». Но разве от материалиста большего не требуется? По Каутскому, этого, очевидно, достаточно. Но верно ли это?

Не трудно было бы привести в свидетели ряд философов-идеалистов, так или иначе признающих внешний мир, но остающихся тем не менее идеалистами. Возьмем хотя бы того же Беркли. В своем «Трактате об основах человеческого познания», § 34, он заявляет: «Я вовсе не оспариваю существования какой бы то ни было вещи, которые мы можем познавать посредством чувства или размышления. Что те вещи, которые я вижу своими глазами, трогаю своими

[1]) Там же.
[2]) Там же, S. 53.
[3]) Там же.
[4]) *Immanuel Kant*, Prolegomena etc., Reclam, S. 166.
[5]) A. *Schoppenhauer*, Welt als Wille u. Vorstellung. B. II, Reclam, S. 14.

руками, существуют,—реально существуют, в этом я нисколько ие сомиеваюсь. Едииствеииая вещь, существоваиие которой мы отрицаем, есть то, что философы иазывают материей или телесиой субстаицией». И в § 36: «Если слово субстаиция поиимать в житейском (vulgar) смысле, т.-е. как комбииацию чувствеииых качеств, протяжеииости, прочиости, веса и т. п., то меия нельзя обвинять в их уиичтожеиии. Но если слово субстаиция поиимать в философском смысле как осиову акцидеиций или качеств (существующих) вие созиаиия, то тогда действительио я призиаю, что уиичтожаю ее, если можио говорить об уиичтожеиии того, что иикогда не существовало, ие существовало даже в воображеиии».

Как видите, и Беркли «призиает» существоваиие виешиего мира, чего ои «только» ие призиает, так это материи, которая, действуя иа иаши чувства, отражается в иашем созиаиии. Ои, таким образом, призиает виешиий мир, как продукт иашего созиаиия. Виешиий мир по Беркли существует, ио как следствие созиаиия, имеющего божествеииое происхождеиие.

Вывод: зиачит, дело ие в том, призиаешь ли вообще виешиий мир, а в том, как ты его призиаешь. В другом месте Беркли по адресу материалистов говорит следующее: «Я утверждаю так же, как и вы, что раз иа иас оказывает действие иечто извие, то мы должиы допустить существоваиие сил, приииадлежащих существу, отличиому от иас. Но здесь мы расходимся по вопросу о том, какого рода это могуществеииое существо. Я утверждаю, что это дух, вы — что это материя или я ие зиаю какая (могу прибавить, что и вы ие зиаете какая) третья природа» [1]). Вот как ставит вопрос Беркли. Осиовиое расхождеиие между идеализмом и материализмом ие в том, существует ли виешиий мир или ие существует, а в том, что лежит в его осиове, дух или материя, первичеи ли дух или первичиа материя.

Далее, Беркли ие отрицает и «опытиого позиаиия». В § 59 «Трактата» мы читаем: «Мы можем из иашего опыта относительио сосуществоваиия и последовательиости идей в иашем созиаиии делать правильиые заключеиия о том, что испытали бы мы (или увидали бы мы), если бы были помещеиы, в условия, весьма зиачительио отличающиеся от тех, в которых мы иаходимся в настоящее время. В этом и состоит позиаиие природы, которое может сохранить свое зиачеиие и свою достовериость вполие последовательио в связи с тем, что выше было сказаио». Беркли «призиает и опыт и естествозиаиие, ио, как видите, опыт ои поиимает как «сосуществование и последовательиость идей в иашем созиаиии». Вывод: как есть призиаиие и призиаиие виешиего мира, так есть призиаиие и призиаиие «опыта».

Осиовиое расхождеиие между идеализмом и материализмом в вопросе об опыте состоит в том, что в осиову опыта положеиа об'ективиая реальиость или связь идей, ощущеиий.

Эигельс, как известио, в своем «Людвиге Фейербахе» делит философов иа «два больших лагеря», материалистов и идеалистов, из которых первые призиают первичиой природу, а дух вторичным.

[1]) Беркли, Три разговора между Гиласом и Филюиусом, цитировано по «Материализму и эмпириокритицизму» Леиииа.

идеалисты же наоборот. «Ничего другого,—говорит Энгельс,—и не заключают в себе выражения: идеализм и материализм в их первоначальном смысле». Всякое другое толкование идеализма и материализма,—говорит Энгельс,—приводит к «путанице» [1]).

Самый последовательный идеалист Беркли и самый последовательный материалист Энгельс одинаково ставят вопрос. Сошлись крайности, и сошлись они потому, что оба знают, в чем они расходятся и чего они хотят.

Каутскому же хотелось бы вместе с Кантом примирить идеализм и материализм; вот почему он целиком перенимает образ мыслей Канта, когда он признание внешнего мира делает водоразделом основных философских направлений, перещеголяя самого Канта в обозначении кантовского направления материализмом.

Кант во втором примечании к «Пролегоменам», которые Каутский цитирует, полемически по адресу противников, упрекавших его в идеализме, подчеркивает свое признание внешнего мира и говорит: «Разве это можно назвать идеализмом? Ведь это противоположное ему» (Reclam, S. 67). То, что Кант склонен в полемике выдать за материализм, Каутский самым серьезным образом выдает за материализм. На самом деле Кант материалистом себя не считал и в тех же «Пролегоменах» назвал свою философию критическим идеализмом.

Признание Кантом существования внешнего мира обесценивается им же самим, поскольку он об'являет его непознаваемым, поскольку он действительный мир вещей, с которым имеет дело человечество, делает зависимым от человеческого сознания, «сознания вообще», являющегося по существу тем же берклеанским верховным существом.

Кантовский идеализм,—говорит Фейербах,—в котором вещи сообразуются с разумом, а не разум с вещами, является, поэтому, ничем иным, как осуществлением теологического представления о божественном разуме, который не вещами определяется, но, наоборот, их определяет» [2]). Кант своим признанием внешнего мира человеческому познанию мало помогает, так как он сам это признание сводит на-нет. Ибо, что толку в признании внешнего мира, когда познание его ставится в зависимость от чуждой этому миру силы, когда оно достоверность черпает, получает не в самом мире вещей, а в сверхопытном, надопытном разуме.

Опять-таки: есть признание и признание внешнего мира. Признание внешнего мира при одновременном признании непознаваемости его есть по существу непризнание внешнего мира, каким его признавало и признает все человечество.

Можно и нужно говорить о материалистических, лучше реалистических элементах в кантовской философии, но, говоря о них, нельзя забыть при этом, что они в кантовской системе, идеалистической по существу, утопают и, в конце концов, аннулируются вовсе. В Канте боролась материалистическая струя с идеалистическим потоком. Это характеризует кантовскую философию в целом. И материалист не может, как это делает Каутский, подписаться под кантовским признанием внешнего мира по той простой причине, что это означает

[1]) Плеханов, Соч., т. VIII, стр. 325.
[2]) Л. Фейербах, Соч., т. I, стр. 99.

подписаться под таким признанием внешиего мира, которое идеалистически его изуродует и ставит само признание под вопрос. Фейербах абсолютио прав, когда ои, критикуи Каита, заявляет: «об'екты чувств, опыт являются, следовательио, дли разума чистого явлеииями, ие суть истины; оии ие удовлетяоряют, следовательио, разум, т.-е. оии не соответстиуют его сущности. Разум, стало быть, никоим образом ие ограничен чувствеииостью в своей сущиости; в противиом случае он должен был бы приинимать чувствеииые вещи ие за явлении, ио за чистую истину. То, что меня ие удовлетворяет, меии также и ие ограничивает, не ставит мне пределов. И, тем ие менее, умствеииые сущиости не могут быть действительными об'ектами для разума! Кантовскаи философия есть противоречие суб'екта и об'екта, сущности и существоиания, мышлеиия и бытия. Сущность отиосится здесь к разуму, существоаиие к чувстям. Существоваиие без сущиости это голое яилеиие—таковы чувствеииые вещи; сущность без существоиания, это чистая мысль,—таковы умствеииые сущиости, иоумены, оии мыслимы, ио им не достает существоваиия, по меиьшей мере существования для нас, и достает об'ективиости; хотя оии и вещи в себе, т.-е. истинные яещи, ио оии не действительиыс вещи, а, стало быть, не вещи для разума, т.-е. ие вещи, разумом определяемые и постигаемые. Какое огромиое противоречие отделять истиииость от действительиости, действительиость от истииности!» ¹). Каитовское признание существояаиия виешиего мира есть призиаиие существования без сущиости, истиниости без действительиости, существования не для нас, ие об'ективиого. Каитовское признаиие виешиего мира есть по существу признаиие мыслимого мира. Точиее, оио становится у иего таковым помимо его воли, и силу самой системы с ее допущеиием иепозиаваемых вещей и себе. Это такое признаиие внешнего мира, в котором примиряются эмпирическая реальиость мира и его трансцеидеитальная идеальиость.

Вот почему иельзи подписаться под кантовским признанием виешиего мира без оговорки, что одиовремеино откидываешь его непозиаваемую вещь в себе. Подписаться без такой оговорки означает расписаться я идеализме. Это и сделал Каутский. Каутский, как мы видели, каитовскую вещь в себе принимает, с ней примиряется. И Каутский клевещет иа Эигельса, когда ои говорит, что Эигельс под материализмом поиимал одио лиш признание виешиего мира. Нет, Энгельс разумел под материализмом учение о существовании и о познаваемости мира, отражаемого в иашем сознании, учение о том, что об'ект и суб'ект ие разорваны, а иаходятся я едииство.

Примиреически иастроеииый Каутский «мигко» выражается: он «примиряется» с каитовским делеиием мира на вещи в себе и явления Но вместе с Кантом ои называет это деление критическим и, сиова перещеголяя самого Каита, иазыиает это воззрение крайним ческим материализмом. Ясно, что Каутский подделывается под материализм.

Вот что «критический материалист» Каутский говорит о кантовской вещи в себе: «Если бы Каит придерживался мысли о непознаваемости вещей в себе, ие выходя за его рамки, то ои стал бы вождем мудрости ие для метафизики, что было его стремлеиием, а для мате-

¹) Л. Фейербах, Соч., т. I, стр. 105.

риализма, он стал бы тогда для материализма тем, чем стал Коперник для астрономии»[1]).

Оставляя покамест в стороне вопрос, мог ли Кант не «выйти за рамки вещи в себе», нам хочется лишь отметить, что Каутский **высшей формой материализма** считает тот материализм, который **признает непознаваемость вещи в себе**, что **высшую мудрость** составляет: Ignorabimus,—не познаем.

В этих рассуждениях Каутского **критицизма**, агностицизма действительно предостаточно, но, увы, **материализма ни грана**.

Вот как материалист и подлинный ученик Маркса и Энгельса Ленин характеризует агностицизм: «Агностик говорит: — не знаю, есть ли об'ективная реальность, отражаемая, отображаемая нашими ощущениями. Об'являю невозможным знать это. Отсюда отрицание об'ективной истины агностиком и терпимость мещанская, филистерская, трусливая терпимость к учению о леших, домовых, католических святых и тому подобных вещах»[2]).

Эта характеристика материалиста Ленина целиком относится к Каутскому вплоть до трусливой терпимости к религиозным предрассудкам, как мы дальше увидим. И тот же Ленин понимает отличие материализма от идеализма так: «Основное отличие материалиста от сторонника идеалистической философии состоит в том, что ощущение, восприятие, представление и вообще сознание человека принимается за образ об'ективной реальности»[3]). «Материалист утверждает существование и познаваемость вещей»[4]). **Существование и познаваемость по существу неотделимы друг от друга.**

Каутский, опошлив материализм, клевещет на Энгельса, превращает Канта в материалиста, а себя в представители высшей формы материализма.

Каутский «журит» Канта за то, что он «пошел дальше». А между тем, Каутский, в несравненно худшем положении, чем Кант. Кант был великий мыслитель, предпринявший грандиозную попытку борьбы с эмпиризмом и скептицизмом оружием идеализма и на почве идеализма, почему и потерпел неудачу, крушение. Его «вещь в себе» неизбежно должна была вести его к учению о категориях и идеях. Сказав А, он вынужден был сказать В; став на точку зрения вещи в себе, он ее сделал исходным пунктом целой метафизической системы на так называемой трансцендентальной основе, построив интеллигибельный мир (разумеется, в его голове и головах его сторонников). Далее для Канта есть то оправдание, что он жил в XVIII веке и в стране с мелкобуржуазными отношениями, без сколько-нибудь развитой промышленности, которая конкретно, практически ежедневно и ежечасно опровергает теорию «вещи в себе». Каутский «журит» Канта, но его положение несравненно хуже кантовского. Он сохраняет вещь в себе, не делая из нее дальнейших философских выводов, как это сделал Кант и должен был сделать, как мыслитель-идеалист. Каутский остается благополучно на почве эмпиризма. Каутский, далее, сохраняет вещь в себе, живя в период наивысшего развития промышленности и в стране наиболее передовой индустрии в Европе. Ergo, Каутский преподносит явно реакционную философию.

---

[1]) K. Kautsky. Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 54.
[2]) Ленин, Соч., т. X. изд. 1-е, стр. 102.
[3]) Там же, стр. 224.
[4]) Там же, стр. 84.

Энгельс, в обществе которого Каутский, как мы видели, все хочет пребывать, в своем «Людвиге Фейербахе» по поводу в себе говорит: «Лучше всего разбиваются эти философские к шления самой практикой, т.-е. опытом и промышленностью. можем доказать правильность нашего понимания данного я ния (вовсе не по Каутскому, по которому отдельное, данное яв абсолютно непознаваемо. Курсив наш.—М. Ф.) природы тем, что сами его вызываем, порождаем его из его условий и застав служить нашим целям. Таким образом, кантовской «вещи са по себе» приходит конец. Химические соединения, образующ в телах животных и растений, оставались подобными «вещам мими по себе», пока органическая химия не выучилась пригото их; но, когда она постепенно дошла до этого, «вещи само по стали вещами для нас» [1]). Далее идут известные примеры с зарином и т. д.

Очень любопытно, как Энгельс расценивает людей, продолж щих цепляться за кантовскую вещь в себе. В «Диалектике приро в старом предисловии к «Анти-Дюрингу» Энгельс, касаясь прич поворота от классической немецкой философии и усматривая ее, г ным образом, в том, что после революции 1848 года Германия ок лась «охваченной духом практицизма», между прочим говор «Среди публики стали с тех пор иметь успех, с одной стороны, п норовленные к духовному уровню филистера плоск размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Га мзна, а с другой—вульгарный, в стиле странствующих пропове ков, материализм разных Фохтов и Бюхнеров. В университетах к курировали между собою различнейшие сорта экле тизма, имевшие общим лишь то, что они состояли из од лишь отбросов старых философских систем и бы все одинаково метафизичны. Остатки классической немец философии сохранились только в виде неокантианства, последн словом которого была вечно непознаваемая вещь в себ т.-е. та часть кантовского учения, которая меньш всего заслуживала сохранения. Конечным результат были господствующая теперь путаница и бессвязность теорети ского мышления» [2]) (Курсив наш.—М. Ф.). По Энгельсу, таким об зом, «вещь в себе»—та часть кантовского учения, которая являет наименее ценной. По Каутскому, наоборот, она является наибо лее ценной частью кантовской философии.

Каутский в своем восторженном отношении к кантовской ве в себе буквально повторяет Шопенгауэра. Последний в своей «Кр тике кантовской философии» говорит:—«величайшая заслуга Кан в различении между явлением и вещью в себе, сделанное им на осн вании доказательства, что между вещами и нами стоит интелле вследствие чего они сами по себе, непознаваемы» [3]). Шопенгау считает за Кантом три крупных заслуги: вещь в себе, «независимост морали от законов явлений» и «полное ниспровержение схоласти ской философии», из них вещь в себе самая основная и «бессмер ная», как Шопенгауэр часто говорит. Мы впоследствии увидим, ч Каутский перенимает шопенгауэровский ход мыслей и в вопрос

[1]) Плеханов, Соч., т. VIII, стр. 326.
[2]) Энгельс, Диалектика природы, стр. 129.
[3]) A. Schoppenhauer, Welt als Wille u. Vorstellung, B. I, S. 534 (Recla

этики. Энгельс характеризует людей, подобных теперешнему Каутскому эклектиками, питающимися отбросами. Мы впоследствии увидим, что среди отбросов у Каутского числится кроме неокантианства, шопенгаузровщины еще неогегельянство, кое-что от Мальтуса, изрядная доля махизма, добрый кусок Дюринга, и все это сервировано под видом «материалистического понимания истории», теории марксизма, от которой Каутский ушел и ушел безвозвратно.

V. „Поправка" Каутского к кантовской вещи в себе.

Высшая форма материализма состоит в том, чтобы «не выходить за пределы вещи в себе». На простом языке это означает: примириться с тем, что не знаем и не будем знать, довольствоваться тем, что мы знаем и можем знать. Агностицизм об'является высшей формой материализма.

Но не так уж плохо обстоит с познанием,—утешает нас Каутский. Дело обстоит гораздо лучше, чем это думал Кант. Мы имеем основание утверждать,—говорит Каутский,—что мы, правда, «единичную, неизменную вещь не в состоянии познать такой, какая она есть», но что, однако, «возможно получать точные представления о внешнем мире, о мире вещей в себе». И вот почему: «Различия между вещами, о которых мы узнаем при посредстве наших органов чувств, существуют в действительности, являются действительными различиями вещей. Они не производятся нашей познавательной способностью». То же и в отношении изменения вещей, будь это изменения структуры, положения.

На счет критерия истины Каутский рассуждает так: «духовный аппарат» перед лицом этих различий и изменений остается один и тот же; кроме того, познаю ведь не я один, познают и другие люди, обладающие тем же духовным аппаратом, что и я. Познание является социальной функцией; уверенное познание возможно только у «обобществленного человека», а не у «изолированного человека». Это дает нам право полагать, что чувства нас не обманывают, когда они указывают нам различия и изменения вещей. И Каутский приходит к выводу, что из кантовской критики познания вовсе не следует с необходимостью, что познание внешнего мира невозможно. «Она показывает нам только, — говорит Каутский, — какой род познания возможен. Она оберегает нас от истощения наших сил в бесполезном стремлении к невозможным познаниям и оплодотворяет нашу духовную работу тем, что она ее концентрирует на познании возможного. Если мы не в состоянии познавать вещи в себе изолированно и вне связи, то зато мы их различия, взаимные связи, их движения и изменения познаем. Разве это не много уже?» [1]).

Ахиллесовой пятой всего этого рассуждения является то, что Каутский, как кот около горячей каши, вертится вокруг вещей в себе, действительных вещей, боясь до них дотронуться. Заметьте, он все о них «может» знать, различия, связи и даже структурные изменения, но их-то самих он все же познать отказывается, утверждая, что это невозможно. Кант тем и замечателен,—говорит Каутский,—что он определил возможный род познания. «Конечно, — продолжает Каутский,—познаваемые нами различия остаются различиями представлений, а не вещей в себе» [2]) и несколько дальше: «Ведь все

[1]) K. Kautsky, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 54—57.
[2]) K. Kautsky, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 55.

наше познание не есть познание вещей в себе, а лишь сравнение и различий и тождеств» [1]).

В том-то и дело, г. Каутский, что, проводя принципиальное различие между явлениями и вещами в себе, вы с неизбежностью сх тываетесь к отрицанию познания, сводя его к делу сравнени ощущений. Ваше заявление, что «наши чувства нас не обманывают, показывая нам различия и движения вещей, превращается в пустую фразу. На деле вы чувствам не верите, т.-е. не верите, что они дают верное изображение действительных вещей, не видите в ощущениях верного снимка с об'ективной реальности, с вещи в себе. Более того, вы на такие заявления не имеете самомалейшего права. Вы сами его не верите, поскольку тут же заявляете, что «познаваемые нами различия остаются различиями представлений, а не вещей в себе». И ваша ссылка на общезначимость, на социальный характер опыта, как на критерий истины, только лишний раз доказывает вашу идеалистическую позицию, так как вы делаете об'ективный мир, об'ективную реальность, существовавшую до человека, когда еще, след., не было никакого познания и никакой «социальной функции», зависимой от человека. Вы не имеете критерия об'ективной истины, так как вы не признаете об'ективной истины, об'ективной реальности вещей.

Каутский хочет быть материалистом, а на деле выходит, что он непоследовательный сенсуалист. Признавая существование мира вне нас и считая ощущение основой познания, он этим ощущениям не верит, не верит в то, что их источником является об'ективный мир. А непоследовательный сенсуализм прямехонько ведет к суб'ективному идеализму Канта, Юма, Шопенгауэра и Маха.

Каутский заявляет, что «красное другое нежели зеленое и плод другое нежели лист», и что это «не обусловлено нашей познавательной способностью, а что оно идет от внешнего мира» [2]). Но это ведь значит увильнуть от вопроса. А что это другое? Нечто, x, вещь в себе, непознаваемое. Ведь о самих вещах мы, по Каутскому, не знаем решительно ничего. Что световые лучи,—говорит Каутский,—падающие от земляничного листа и от самой земляники дают в одном случае зеленое, а в другом—красное, зависит от нашей организации. При этом ни слова о различной длине световых волн, а между тем в этом научное подтверждение материалистического взгляда на ощущение, как на отражение об'ективной реальности. Каутский игнорирует естествознание, становится с ним в противоречие, открывая дверь поповщине.

Оппозиция Каутского Канту в философии напоминает оппозицию его величеству королю в политике. Утверждая, что различия и тождества мы узнаем через ощущение, Каутский выступает против кантовских категорий. Но, признавая незыблемой непознаваемую вещь в себе, он целиком стоит на почве кантианства. Оспаривая трансцендентализм и формализм Канта, он оставляет его критицизм в полной силе. Демаркационная линия между вещью в себе и явлением у Каутского та же, что у Канта. Вся разница лишь в том, что чувства, ощущение по Каутскому подслеповаты в то время, как у Канта они, как известно, без понятий слепы. У Канта они ничего не видят—свет вносит апрнорный рассудок,—у Каутского

---

[1]) Там же, S. 57.
[2]) Там же, S. 56.

они видят, вернее, должны видеть тождества и различия вещей, но не сами вещи. Каутский на деле границ познания не расширяет по сравнению с Кантом, поскольку он не решается об'явить чувства «зрячими», т.-е. отражающими внешний мир таким, каким он есть на самом деле, а предпочитает оставить их на положении подслеповатых. Каутский остается агностиком, сколько бы он нас ни уверял в противном. Энгельс с полным правом и основанием зачисляет в одну рубрику как тех, «которые вообще отрицают возможность познания мира», так и тех, которые, «по крайней мере, не считают возможным полное его познание» [1]).

Вот как на деле выглядит «реформа» философии Канта в целях превращения ее в «высшую форму материализма». Вот в чем «поправка» Каутского к Канту. Она совершенно не касается вещи в себе, остающейся принципиально непознаваемой. Она только переводит чувства из разряда слепых в разряд подслеповатых. И диву дивишься после этого, когда Каутский на основании этой «поправки» важно восклицает:

«Вещь в себе»—это для нас граница познания внешнего мира, что совсем иное нежели н е в о з м о ж н о с т ь е е познания» [2]).

Откуда это? Ведь мы «познаем» одни различия и тождества вещей, и ни в коем случае самих вещей в себе. Полагать, что наша чувственность отражает, отображает вещи как они есть на самом деле, означает быть «наивным», «примитивным материалистом», и «критический материализм» Каутского тем и исправляет наивный материализм, что он проводит принципиальную линию раздела между явлениями, представлениями и вещами в себе. Все это ведь не выдумано нами, а изложено подробно на десятках страниц самим Каутским. Путает, Каутский, невероятно путает! Сам противник всякого перехода границ возможного, границ «опыта» и т. д., он переступает всякую «границу», переоценивая свою поправку к Канту в такой, совершенно непозволительной мере.

Разгадка, однако, не так сложна: Каутский во власти им же созданной иллюзии: так как, мол, связи вещей мы можем познавать, то тем самым мы познаем сами вещи,—ergo, мы их познать можем, и вещь в себе есть только граница, дальше которой нам, человеку вообще, человечеству в целом, итти не дано. Это иллюзия суб'ективиста, который сначала упраздняет об'ективную реальность, и затем свои фикции выдает за подлинную реальность. Мах ухитряется, напр., на стр. 3 «Познания и заблуждения» заявить: «область трансцендентного мне недоступна», а на стр. 19 сказать: «Интересовать нас может еще только одно,— это ф у н к ц и о н а л ь н а я з а в и с и м о с т ь (в математическом смысле) этих элементов д р у г о т д р у г а. Эту связь элементов можно продолжать называть в е щ ь ю. Но эта вещь н е е с т ь уже н е п о з н а в а е м а я вещь». Вещи Махом упраздняются, превращаются в фикции—элементы, а затем об'являются им познаваемыми. Что же собственно остается познавать? Свои фикции. Да, это гораздо проще, чем познавать вещи, и очень «экономно» к тому же. (Мах, как известно, строит свою теорию познания на принципе «экономии мышления»).

В своем желании отгородиться хотя бы в некоторой степени от кантовской вещи в себе Каутский снова обнаруживает свою «совре-

---

[1]) Э н г е л ь с, Л. Фейербах (Соч. Плеханова, т. VIII, стр. 325).
[2]) K. K a u t s k y, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 80.

менность». Он идет здесь по стопам современных неокантианцев, пытающихся осовременить кантовскую вещь в себе, толкуя ее, как понятие границы. Этим хотят убить двух зайцев сразу: с одной стороны, удовлетворить буржуазному «здравому смыслу», не мирящемуся больше с вещью в себе, понимаемой, как противоположность явлению—эта сторона кантовского учения стала в такое противоречие с успехами естествознания и промышленности, превращающей чем дальше тем большее количество «вещей в себе» в вещи для нас, что дальше настаивать на традиционной вещи в себе представляется нецелесообразным,—а с другой стороны, все же сохранить кантовскую вещь в себе в более приемлемом, либеральном виде, в каком она все же в состоянии выполнять роль лазейки для всякой мистики.

Каутский об'ясняет, как он понимает возможность познания при границе познания, заявляя:

«Мы пришли к выводу, что организация нашей познавательной способности, правда, не показывает нам отдельные вещи, как они есть, но зато она показывает нам отношение между нами и вещами, а также, что мы все же в состоянии познать различия, движения и изменения вещей» [1]). Познаем, выходит, одни отношения, раньше всего отношения между нами и вещами, а затем связи самих вещей, но не сами вещи и нас самих в том числе. Как такое познание возможно, как можно познавать связи вещей без вещей, и на чем основано это замечательное «мы все же...», где кончается возможность и начинается граница—на это Каутский не отвечает.

Не превращается ли связь вещей без самих вещей в связь одних идей? Не превращается ли об'ективный, реальный мир в необ'ятную сеть мертвых, абстрактных отношений? Ну и материализм! Но почитаем еще немного у Маха.

«Для меня,—говорит Мах,—физическое и психическое по существу своему тождественны, непосредственно известны и даны и только различаются по точке зрения, с которой их рассматривают. (Там же, стр. 22). «На... различении зависимостей основано противоположение мира и нашего Я. Изолированного Я нет точно так же, как нет изолированной вещи. Вещь и Я суть временные фикции одинакового рода» (стр. 23—24). «Когда мы рассматриваем элементы—красное, зеленое, теплое, холодное и т. д., как бы они ни назывались, и которые в их зависимостях от находимого вне V (т.-е. Я) суть физические элементы, а в их зависимостях от находимого внутри V — психические, но, несомненно. в обоих случаях непосредственно данные и тождественные элементы, то при таком простом положении дела вопрос об иллюзии и действительности теряет свой смысл» (Там же, стр. 19) .

Теперь откроем на минутку Шопенгауэра и прочитаем следующие строки: «Недостаток всех систем заключается в непризнании той истины, что интеллект и материя соотносительны, т.-е. одно существует для другого, оба стоят и падают вместе, одно рефлекс другого, да, что они по существу одно и то же, рассматриваемое с двух противоположных сторон» [2]).

«Весь мир об'ектов есть и остается представлением, и именно поэтому кругом и навсегда обусловлено суб'ектом: т.-е. он трансцендентально идеален. Но он в силу этого не ложен, не иллюзорен: он дается нам тем, чем он есть, представлением, как ряд представлений,

[1]) K. Kautsky, Materialistische Geschichtsauffassung, B. I, S. 79.
[2]) A. Schoppenhauer, Welt als Wille u. Vorstellung, B. II, S. 25.

общую связь которого составляет закон основания» (там же, стр. 47). Закон достаточного основания у Шопенгауэра играет ту же роль, какую играет функция у Маха. Он связывает представления одно с другим. Подробнее о связи махистского «позитивизма» с шопенгауэровским идеализмом мы скажем ниже. Здесь же отметим, что за «познаваемость», как видите, стоит и Шопенгауэр, но это познаваемость видимого мира, мира, сведенного к представлениям. Мах и Шопенгауэр суб'ективные идеалисты и коррелятивисты, об'ект для них существует постольку, поскольку есть суб'ект, его, этот об'ект представляющий, и познаваемость у них относится, поэтому, к одним представлениям.

Каутский в своей аргументации возможности познания вещи в себе, или лучше ограничения ее непознаваемости, скатывается к Шопенгауэру и Маху. Он так аргументирует, что у него под пальцами улетучивается об'ективная вещь в себе. Желая «выйти за Канта» в вопросе о непознаваемости вещи в себе, он на подобие Шопенгауэра и Маха выбрасывает самое вещь в себе, как об'ективную реальность. Шопенгауэр, как известно, уничтожил реальную вещь в себе, заменив ее волей. Мах, на это не решаясь, как «позитивист» (явно этому сочувствуя), «ограничивается» отождествлением физического с психическим и об'явлением вещи в себе «мнимой проблемой» [1]). Это просто, ясно и «экономно», экономнее даже, чем у Шопенгауэра. Каутский так говорить не решается, подделываясь под материалистическое признание существования внешнего мира, но финал тот же. Каутский так поправляет Канта, что он вместе с Махом и Шопенгауэром удаляет последние остатки реализма у Канта. Что при этом получается нечто невероятно путаное, сбивчивое и невнятное, ясно само собой. Вещь в себе принципиально непознаваема, но все же практически познаваема, правда, только до некоторой степени; то, что я,— Каутский, называю непознаваемостью, есть собственно только граница. Осмельтесь считать такую логику неубедительной.

Необходимо тут заметить еще следующее. Каутский, как помнит читатель, сугубо подчеркивает невозможность познания одной, отдельной вещи, настаивая на возможности познания различий и тождеств вещей. Это нельзя иначе назвать, как подкрашиванием агностицизма диалектикой. Каутский перевирает диалектику с ее требованием изучения предметов и т. д. во взаимной связи, проповедывая изучение связей без предмета. Вот смысл того, почему он тут и в других местах неизменно подчеркивает невозможность познания одной, отдельной вещи. Его отказ от познания отдельной вещи есть собственно отказ от познания вещи вообще. Он знает только связи, но не вещи. Каутский «диалектически» маскирует свой агностицизм и феноменализм. Это раз. Но Каутский, перевирает и тут Канта. Кант так вопроса вовсе не ставил. По Канту, вещь в себе принципиально непознаваема, и дело вовсе не в изолированной вещи. И Каутский это, конечно, знает. Но дело в том, что он хочет Канта «поправить». Каутский «поправляет», как мы знаем, Канта Махом. В «Познании и заблуждении» Мах говорит: «Изолированная вещь, строго говоря, не существует. Только преимущественное внимание к зависимостям, более сильным и более бросающимся в глаза, и невнимание к менее заметным и более слабым зависимостям дают нам возможность при первом предварительном исследовании созда-

[1]) Мах, Познание и заблуждение, стр. 21.

вать фнкцню изолнрованиых вещей» (стр. 23). Тело, предмет, вещь-фикция есть элемеиты и их связь. Связь элемеитов **можно** называть вещью» (стр. 19. Курсив наш). Связь можно называть вещью, но и можно ие называть. Во всяком случае, оиа, как иечто условное, не существеииа. Вещь ие существеииа, существеииа одна связь. Требуются ли еще особые доказательства, что Мах стремится упразднить об'ективную вещь в себе. А Каутский постыдно рабски следует за Махом, подменяя материалистнческую диалектнку, с ее требованием познания вещей (отдельиых вещей, к сведенню Каутского), в их связи с другими вещами, в процессе нх возникновения, развития и исчезноѳеиия маховской квази-диалектикой, упраздияющей вещь, как таковую, об'являя ее «миимой проблемой». Поправляя таким путем Каита, каутскианская критика Каита превращается в критику **справа**, между тем, как марксист, материалнст обязан критиковать Канта **слева**.

Кстати сказать, ие потому ли величайший из материалистов Спиноза ни разу на протяжении всей об'емистой книги не упоминается Каутским, что ои, как материалист, выставил знамеиитое положение о том, что порядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей? Спииоза Каутскому, как говорят, не товарищ. Спиноза стоит за возможность постановку познания сущиости вещей. Каутский, иаоборот, считает такую постановку вопроса неправильной, «метафизикой». Каутский материалист без материи, и познание он сводит к установлению голых связей, абстрактиых отношеиий вещей без материи, без свойств, без бытня и без сущности. Естествеино, что такому «материалисту» со Спииозой не по дороге, как не по дороге ему и с Фейербахом.

Вот, что говорит Фейербах по поводу бытия и сущности в связи с критикой Гегеля: «**Бытие — это не общее понятие, отдельиое от вещей. Оно едиио с тем, что существует**, оно является мыслимым лишь посредственно, при помощи предикатов, составляющих сущиость вещи. Бытие, это утверждение сущиости. **То, что является моей сущиостью, и есть мое бытне**. Рыба существует в воде, однако от этого бытия ты ие можешь отделить ее сущиости» [1]). Фейербах—материалист, и как таковой он признает бытие вещей ие абстрактио, как Гегель, и также ие чисто внешне, эмпирически, как это делает философия эмпиризма. Фейербах мыслит бытие, как конкретиое и действительное, от которого сущиость иеотделима. Предикаты рыбы составляют ее сущиость. Но для того, чтобы так рассуждать, иужио понимать под рыбой рыбу, а ие иекий иепозиаваемый X, и под ее предикатами действительиые свойства рыбы, а ие какие-то вымучеииые, мертвые «различия», «связи» и «измеиеиия», от которых иа версту отдает суб'ективизмом н схоластикой. Не случайно в философском словаре Каутского почти ие фигурирует слово «Eigenschaft», т.-е. свойство. Это диктуется «системой». Вместо действительиого, коикретиого бытия—абстрактиое призиаиие виешиего мира, вместо действительных свойств—абстрактиые «различия» и т. д. Удивительио ли после этого, что вопрос о позиаиии сущиости вещей есть по Каутскому «метафизический» вопрос.

Леиии считает вместе с Эигельсом открытие ализарина в каменноугольиом дегте шагом вперед в познаиии сущиости дегтя, и откры-

---

[1]) Л. **Фейербах**, Соч., т. I, стр. 111.

тие электронов в атоме Ленин считает шагом вперед в познании сущности материи. «Исторически условно то,—говорит Ленин,—когда и при каких условиях мы подвинулись в своем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменноугольном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие, есть шаг вперед безусловно об'ективного познания» [1]). По Каутскому ализарин и электрон должны быть некоими «различиями» неких вещей в себе. И эту путаницу он выдает за материалистическую теорию познания.

Сделаем некоторые выводы:

Каутский признает существование внешнего мира, но не решается, не позволяет себе рассматривать познание, как знание о вещи в себе. Своей «поправкой» к кантовской вещи к себе он не только лишний раз доказал свой агностицизм, но у г л у б и л его, сделав решительный шаг в сторону шопенгауэровского и маховского феноменализма, превращающего действительный мир в мир сплошной видимости. Мир со всем его разнообразием и богатством содержания остается, н о о н п е р е в е д е н и з б ы т и я в в и д и м о с т ь. Вместо свойств, предикатов действительных вещей с р а в н е н и е различий и изменений, данных в ощущении.

Энгельс характеризует новейший идеализм, сопоставляя его со скептицизмом, следующим замечательным образом: «Скептицизм не позволяет себе говорить: это есть; новейший идеализм (id est Кант и Фихте), не позволял себе рассматривать познание, как знание о вещи в себе. Но в то же время скептицизм сохранял за своей видимостью разнообразные определения, или, вернее, его видимость имела своим содержанием все разнообразие и богатство мира. Точно так же и я в л е н и е идеализма (id est what idealism calls Erscheinung, т.-е. то, что идеализм называет явлением) содержит в себе всю полноту этих разнообразных качеств... Таким образом, основой этого содержания может и не служить никакое бытие, никакая вещь или вещь в себе; о н о д л я с е б я о с т а е т с я т а к и м, к а к о н о е с т ь — о н о л и ш ь п е р е в е д е н о и з б ы т и я в в и д и м о с т ь» [2]).

Абстрактная вселенная вместо живой самодвижущейся материи в ее конкретном разнообразии и вымученные «различия» и пр. вместо действительных свойств материальных вещей служит у Каутского средствами перевода бытия в видимость. Каутский не сомневается в существовании внешнего мира,—он не хочет быть скептиком. Но, решительно отказываясь рассматривать познание, как знание о вещи в себе, он агностик, идеалист. Пытаясь доказать недоказуемое, познаваемость непознаваемой вещи в себе — стремясь занять позицию м е ж д у Кантом и Махом,—он путаный идеалист. Поскольку он при этом называет себя материалистом, то это не что иное, как грубое подделывание и одно сплошное недоразумение.

Отрицание Каутским материи, как об'ективной реальности, тесно связано с его агностической позицией в теории познания и наоборот. В своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин говорит по адресу махистов: «Отрицание материи ими есть давным-давно известное решение теоретико-познавательных вопросов в смысле отрицания внешнего об'ективного источника наших ощущений, об'-

---

[1]) Л е н и н, Материализм и эмпириокритицизм, стр. 132.

[2]) Э н г е л ь с, Диалектика природы, стр. 13.

ективиой реальиости, соответствующей нашим ощущеииям. И, наоборот, призиаиие той философской линии, которую отрицают идеалисты и агиостики, выражается определеииями: материя есть то, что, действуя иа иаши органы чувств, производит ощущение; материя есть об'ективиая реальиость, даииая нам в ощущении и т. п. (стр. 143). Эту меткую и вериую характеристику диалектической связи между т. н. оитологией и теорией позиаиия иельзя лучше иллюстрировать, чем это делает Каутский в своей философии.

(Продолжение следует).

Марксова теория кредита в „обработке“ Гильфердинга.

И. Марков.

Гильфердинг, при обосновании кредита, а также и на протяжении всего изложения теории финансового капитала делает вид, что он во всем согласен с Марксом и лишь в конце главы «О деньгах и кредите» выражает открыто свое «несогласие» с ним. Остальные «несогласия» он переносит в подстрочные примечания. Гильфердинг не согласен со следующими «воззрениями» Маркса: во-первых, что изменения уровня процента зависят от предложения капитала, ссужаемого в форме денег, и, во-вторых, с Марксовой «догмой» о тенденции нормы процента к понижению. К таким «неожиданным» выводам Гильфердинг приходит не потому, что он действительно везде правильно интерпретировал Маркса, а в двух лишь пунктах расходится с ним во мнениях, из-за выявившегося противоречия или непоследовательности, а единственно потому, что он марксову теорию кредита не понял, безнадежно ее запутал и поэтому совершенно необходимо должен был притти к таким противоречиям, к такой «несогласованности» с Марксом. Клубок противоречий у Гильфердинга в вопросах кредита до того усложнился, что дальше не было никакой возможности замалчивать эти расхождения. Гильфердинг в конце концов должен был сознаться в своем несогласии с «догмами» Маркса.

Чтобы напасть на верный след ошибок Гильфердинга в вопросах кредита, нам придется начать критику его теории с этого конца.

Говоря об изменениях размера процента, Гильфердинг приводит цитату из Маркса, где Маркс утверждает, что «изменения уровня процента зависят от предложения ссудного капитала... т.-е. капитала, который ссужается в форме денег, металлических денег или банкнот», и делает такое замечание:

> «Мы не совсем согласны с этим воззрением. У Маркса изменения уровня процента зависят от предложения капитала, ссужаемого в форме денег,— металлических денег и банковых билетов. Но тогда остается вопрос, насколько же велико может быть количество банковых билетов. Для Англии... сумма банковых билетов раз навсегда установлена законом на определенном уровне. Если же поставить вопрос в общей форме, то изменения уровня процента зависят от предложения, от количества ссужаемых денег. Но в ссуду могут быть отданы все деньги, которые не находятся в обращении. В обращении же находится, во-первых, количество денежных знаков, соответствующее минимальной потребности обращения, и, во-вторых, определенная сумма золота. Остальное золото хранится в кладовой банка или банков. Часть этого золота служит резервом (сокровищем) для потребностей внутреннего обращения, часть—резервом для интернационального обращения, потому что золото должно исполнять функцию мировых денег. Опыт показывает, какую минимальную сумму должен составить резерв для той и другой цели. Оста-

ток может быть выдан в ссуду и в последнем счете составляет то самое предложение, спрос на которое определяет величину процента. Самый же этот спрос зависит от состояния оборотного кредита, следовательно, от «торгового кредита», который оказывают друг другу агенты процесса воспроизводства. Поскольку этот кредит может расширяться в той мере, как то требуется повышающимся спросом, в уровне процента не произойдет никаких изменений» [1]).

Маркс в цитируемом Гильфердингом отрывке устанавливает следующие два момента: 1) что изменения уровня процента зависят от предложения ссудного капитала, т.-е. капитала в денежной форме, и 2) что ссуда денежного капитала отлична от ссуды промышленного капитала, «который, как таковой, в товарной форме ссужается при помощи коммерческого кредита в среде самих агентов производства» (К. III, 2. 37 стр.) [2]).

Гильфердинг переводит спор на другие рельсы. Он считает, что в ссуду могут быть отданы все деньги, которые не находятся в обращении и если не считать количества золота в резервах, то остается лишь небольшой остаток, который «в последнем счете составляет то самое предложение, спрос на которое определяет величину процента». Но так как самый спрос на ссуды зависит от состояния «коммерческого кредита», а последний расширяется вместе со спросом, то в уровне процента «не произойдет никаких изменений». По этой линии Гильфердинг ведет дальнейшие рассуждения и обосновывает свое «несогласие» с Марксом.

Свою мысль он подкрепляет следующими рассуждениями:

«Не следует забывать, что наибольшая доля спроса удовлетворяется предложением, которое растет одновременно со спросом. Наибольшая часть кредита представляет «коммерческий кредит», или, как мы предпочитаем называть его, оборотный кредит. Здесь спрос и предложение, или, если угодно, средства для удовлетворения спроса, возрастают одновременно, параллельно друг другу и расширению производства. Этот кредит способен расширяться не оказывая никакого влияния на величину процента; в начале периода оживления такое расширение и происходит, не производя особого действия на уровень процента» (Фин. Кап., стр. 98).

Из сопоставления выдвинутых Марксом положений и тех возражений, которые Гильфердинг приводит, видно, что спор ведется в различных плоскостях. Здесь либо Гильфердинг не понял Маркса, либо он его извращает. В самом деле, Гильфердинг «тщится» доказать, что коммерческий кредит способен расширяться, не производя никакого способа действия на уровень процента. Но здесь его старания совершенно излишни, ибо эта мысль черным по белому изложена у Маркса и изложена гораздо яснее. Маркс пишет:

«В начале промышленного цикла низкий размер процента совпадает с сокращением, а в конце цикла высокий процент совпадает с избытком промышленного капитала. Низкий размер процента, сопровождающий «улучшение» дел, свидетельствует о том, что коммерческий кредит лишь в небольшой степени нуждается в банковом кредите, что он все еще стоит на своих собственных ногах» (К. III, 2, 27 стр.).

Но дело вовсе не в этом верном положении Маркса, а в тех неправильных выводах, которые делает Гильфердинг. Исходя из верного

---

[1]) Р. Гильфердинг. Финансовый капитал, ГИЗ, 1922 г., стр. 97. В дальнейшем в тексте сокращено: Фин. Кап.

[2]) В нашей работе мы цитируем «Капитал» Маркса по следующим изданиям: т. I, изд. ГИЗ'а 1923 г. (сокращ. К. I. стр.), т. II, Книгоиздательства «Коммунист» изд. 1918 г. (сокращ. К. II, стр.), т. III, ч. 1, ГИЗ от 1924 г. и т. III, ч. 2, ГИЗ от 1921 г. (сокращ. К. III, 1, и К. III, 2). «Теории прибавочной стоимости», т. III, изд. К. У. З 1924 г. (сокращ. Теории, III, стр.).

положения Маркса о том, что коммерческий кредит способен в некоторых случаях расширяться, не оказывая влияния на величину процента, он приходит к выводу, что... «неверно, будто изменения уровня процента зависят от предложения ссудного капитала. Ибо, по мнению Гильфердинга, коммерческий кредит (или, как он предпочитает его называть, «оборотный кредит») удовлетворяет наибольшую долю спроса на ссуды. Спрос на денежные ссуды удовлетворяется, помимо использования средств, находящихся в обращении, из того небольшого остатка золотого запаса, который остается за вычетом резервов. Поэтому ему кажется более верным, что именно предложение ссуд из остатка золотого запаса служит основой определения уровня процента. Он пишет:

«Уровень процента повышается лишь при том условии, если золотая наличность банка сокращается, резервы приближаются к своему минимуму, к потому банки вынуждаются повысить учетный процент. Но так оно и бывает в период высокой кон'юнктуры, потому что обращение требует тогда больше золота (увеличение переменного капитала, оборотов вообще, а следовательно, и той суммы, которая служит для сальдирования разницы). Но наибольший спрос на ссудный капитал становится как раз тогда, когда золотой запас делается наименьшим, вследствие того, что золото поглощается возрастающими потребностями обращения. Истощение золотого запаса, который мог бы быть ссужен, дает непосредственный толчок к повышению банкового учетного процента, который в такие периоды становится регулятором величины процента. И целью повышения дисконта является как раз создание обратного притока золота» (Фин. Кап., стр. 98).

И вот на протяжении 5—6 страниц у Гильфердинга получается такой большой клубок противоречий, что диву даешься, как он этого сам не заметил.

Как мы видели, уровень процента по Марксу зависит от спроса и предложения ссудного капитала. Ссудный капитал, это—товар особого рода, товар sui generis, который предлагается на денежном рынке. Ценой этого особого рода товара является процент. При чем Маркс в «Капитале» отмечает, что если цена товара не может быть об'яснена только спросом и предложением, то цена товара-капитала определяется исключительно спросом и предложением.

Фактически Гильфердинг не всегда это и сам отрицает. Он пишет, что «уровень процента зависит от соотношения спроса и предложения ссудного капитала». Он даже дает довольно верную аргументацию в защиту этого положения. Он об'ясняет это таким образом:

«На одной стороне оказываются бездеятельные в данное время, но ищущие применения деньги, на другой стороне оказывается спрос функционирующих капиталистов на деньги, которые они намерены превратить как денежный капитал в функционирующий капитал... Во всякий момент мы имеем пред собою две определенные величины, которые встречаются на денежном рынке друг с другом как спрос и предложение и определяют «заемную цену денег, уровень процента» (Фин. Кап., стр. 95).

Здесь все изложено довольно гладко, но когда возникает вопрос, почему происходит изменение уровня процента, Гильфердинг начинает «блуждать». Казалось бы, ответ мог бы быть такой: расширение производства увеличивает спрос на ссудный капитал. В первую голову этот спрос пред'является коммерческому кредиту. Пока коммерческий кредит сам справляется с увеличившимся спросом на ссуды—улучшение дел может продолжаться при низком размере процента, так как тогда еще «коммерческий кредит лишь в небольшой степени нуждается в банковом кредите». Но вот развитие промышленности начинает ускоряться, спрос на ссуды увеличивается, коммерческий кредит

не только не может удовлетворить увеличившийся спрос, но сам вынужден прибегнуть за помощью к банковому кредиту. Спрос начинает обгонять предложения ссудного капитала. Процент повышается, ибо повышение процента, безусловно, зависит от повышения спроса на ссудный капитал. Так как дела идут «в гору», то капиталисты соглашаются платить более высокий процент, и это продолжается до наступления кризиса.

Гильфердинг не согласен с такой постановкой вопроса. Он начинает с того, что процент зависит от спроса и предложения ссудного капитала, но считает, что изменения уровня процента зависят от других причин. Он подтверждает, что увеличившийся спрос, если он обгоняет предложение, должен привести к повышению уровня процента. Но, во-первых, спрос долгое время удовлетворяется возросшим предложением, так как по Гильфердингу оборотный кредит «сам создает необходимые средства кредитования в форме кредитных денег», и, во-вторых, когда спрос обгоняет предложение, то повышение процента происходит вовсе не потому, что спрос больше предложения, а потому, что в обращение вступают имеющиеся остатки золотого запаса. Так как золотая наличность сокращается, то процент повышается, «и целью повышения дисконта является как раз создание обратного притока золота». Следовательно, ссудный капитал у него связан с движением золотого запаса, а изменение процента обусловливается движением последнего. Гильфердинг начал об'яснение процента «за здравие» марксовой теории и кончил «за упокой души» той же теории.

Приведем иллюстрацию этой путаницы:

1) На странице 94 «Фин. Кап.» Гильфердинг пишет: «Уровень процента зависит от соотношения спроса и предложения ссудного капитала».

2) На странице 98: «Уровень процента повышается при том условии, если золотая наличность банков сокращается».

3) На странице 96: «Абсолютная величина процента зависит от состояния капитального кредита... ее изменения зависят прежде всего от состояния оборотного кредита».

Из этих цитат видно, что по Гильфердингу существует несколько ответов на вопрос, от чего зависит величина процента. Необходимо отметить, что у Гильфердинга на каждый вопрос имеется несколько ответов, иногда друг друга совершенно исключающих. Всякий непредубежденный читатель легко может заключить из сопоставления приведенных отрывков, что у Гильфердинга не связаны концы с концами.

Но это не единственное противоречие Гильфердинга. В связи с его допущением, что уровень процента зависит от движения золотой наличности банков, он фактически попадает в «порочный круг». В самом деле: уровень процента зависит от состояния золотого резерва. С изменением золотой наличности банка изменяется также и уровень процента. Но движение золотой наличности банка зависит от изменения кон'юнктуры, а изменение кон'юнктуры характеризуется изменением уровня процента. Следовательно, изменения процента зависят от движения золотого запаса, движения золотого запаса зависят от состояния кон'юнктуры, изменения кон'юнктуры зависят от состояния уровня цен, в том числе и цены товара-капитала. Движение процента зависит от изменения величины... того же процента. Теория блестящая!

В том, что Гильфердинг попал в такое противоречие, нет ничего удивительного. Так с ним всегда случается, когда он берется исправлять Маркса. Такой же казус с ним произошел, когда он нашел «излишним... тот обходный путь, в который пускается Маркс, определяя сначала стоимость необходимого количества монеты и лишь через нее стоимость бумажных денег» (Фин. Кап., стр. 43). Когда он попытался сократить обходный путь Маркса и пойти по своему сокращенному пути, т.-е. выводить стоимость бумажных денег «непосредственно из общественной стоимости обращения», то получилось, что стоимость денег определяется общественной стоимостью тех товаров, которые находятся в обращении, а стоимость товаров, находящихся в обращении, не может в капиталистическом обществе найти другого выражения кроме как в деньгах. Как видит читатель, прежде чем Гильфердинг попал в своей политической жизни в «порочный круг», он до этого не вылезал теоретически из этих порочных кругов.

Мы видели, что Гильфердинг под ссудным капиталом понимает нечто совсем другое, чем Маркс. Точно так же Гильфердинг по-другому трактует категорию коммерческого или «оборотного» кредита. Чтобы разобраться в причинах неправильной трактовки Гильфердингом этих вопросов, нам придется разобрать три основных его ошибки: 1) насчет его методологической путаницы в вопросах кредита; 2) по вопросу о разнице между деньгами, денежным капиталом и ссудным капиталом, и 3) по поводу деления кредита: на оборотный и капитальный. Только тогда все вопросы, оставшиеся в предыдущем изложении неясными, а также и те затруднения, с которыми мы встретимся в дальнейшем изложении, найдут свое правильное разрешение.

Основная методологическая ошибка Гильфердинга заключается в том, что он выводит кредит непосредственно из функции денег, как средства платежа. В предисловии к «Финансовому капиталу» он пишет, что «вопрос о роли и существе кредита... можно изучить лишь по выяснению роли денег», и что «лишь после правильного анализа денег можно понять роль кредита, а вместе с тем и элементарные формы отношений между банковым и промышленным капиталом». В этом духе он и ведет свое изложение отдела «Деньги и кредит». Сначала он освещает вопрос о необходимости денег, потом он рассматривает деньги в процессе обращения, затем следует изложение главы о деньгах, как платежном средстве, о кредите и банках и т. д. И это не случайное расположение материалов, а является глубоко продуманным моментом в работе Гильфердинга.

Конечно, не то плохо, что Гильфердинг связывает кредит с деньгами и денежным обращением, а плохо то, что он кредит рассматривает лишь как простое и непосредственное продолжение категории денег и денежного обращения. Сущность кредита он выводит из функции денег, как платежного средства, а необходимость кредита—из денежного обращения. Он пишет: «Кредит является сначала простым результатом изменения функции денег, как платежного средства» (Фин. Кап. стр. 70). И дальше: «Так как деньги всегда представляют издержки обращения, а капиталистическому производству присуща тенденция все больше напрягать свои силы, не увеличивая в соответственной мере денежного капитала, то этот кредит становится необходимостью (wird dieser Kredit zur Notwendigkeit)» [1]).

[1]) Das Finanzkapital von dr. Rud. Hilferding, Wien 1923. · Marx-Studien, 3. Band, S. 74. В дальнейшем сокращено: F. K., S

В процессе об'ясиеиия кредитных явлеиий Гильфердинг подчекивает, главиым образом, роль денег. Вексель замещает деньги. Обротный кредит... «заключается в создании кредитных денег» (Фи. Кап., 79). Он содействует экономизации наличиых денег. Капитальный кредит «представляет перемещение денежной суммы» и т. д. Количество выписок можно было бы увеличить, но и приведенных вполне достаточно, чтобы подтвердить иаше положение о том, что по Гильфердингу кредит является продолжением функции денег и денежного обращения.

Исходиым пунктом Марксова анализа кредита в капиталистическом обществе являются «капиталистические отношения в форме капитала, приносящего проценты», т.-е., иначе говоря, движение капитала, приносящего проценты. Отдел 5-й третьего тома «Капитала», где Маркс разбирает вопросы кредита, начинается с анализа этой особой категории капиталистического кругооборота капитала.

«Деньги... как самостоятельное выражение известной суммы стоимости, существует ли она в действительности в форме денег или товара, могут быть превращены на основе капиталистического производства в капитал, в силу ствие такого превращения из данной стоимости делаются самовозрастающей увеличивающейся стоимостью... Благодаря этому своему свойству возможного капитала, средства для производства прибыли, деньги становятся товаром, но товаром sui generis. Или, что сводится к тому же, капитал, как товой, становится товаром» (К. III. 1. 323 стр.).

И после пояснения примером этого своего положения Маркс прямо ставит вопрос о необходимости рассмотрения своеобразия обращения капитала, приносящего проценты («Die eigentümliche Zirkulation des Zinstragenden Kapitals») [1].

Что является самым интересным в рассмотрении Марксом движения капитала, приносящего проценты, это то, что «отдача в ссуду денег, как капитала... предполагает, что деньги действительно употребляются как капитал» (К. III. 1. 324). Это значит, во-первых, что Маркс рассматривает категорию кредита только «в атмосфере капиталистического производства» и, во-вторых, что деньги, денежная форма ссуды играет лишь ту роль, что ссуда всегда представляется sub specie денег, но не деньги являются причиной и основой кредита.

Гильфердинг этого просто не понял. О капитале, приносящем проценты, он говорит, лишь касаясь движения уровня процента, но сам нигде не выясняет особенностей этой категории. У него имеется довольно пикантное место, где он пишет, что «деньги ссужаются под процент, следовательно, для ссужающего всегда принимают характер капитала» (Фин. Кап., стр. 80), из чего можно заключить, что Гильфердинг не понимает капитала, приносящего проценты в марксовой постановке.

Деньги ссужались под процент не только в капиталистическом обществе, но и при простом товарном хозяйстве. Следовательно, если согласиться с общим утверждением Гильфердинга, что деньги всегда ссужаются под проценты, то тем самым смазывается своеобразие категории кредита в капиталистическом обществе. Маркс отделяет капиталистический кредит от докапиталистических его форм. Он пишет:

«Коммерческая форма и форма, приносящая проценты, старше формы капиталистического производства, промышленного капитала, который явля

[1] Немецкий текст цитируется: «Das Kapital» в издании Otto Meissners Verlag, Hamburg 1922; «Theorien über den Mehrwert», изд. I. h. W. Dietz Nachf. G. m. b. H. Berlin 1923.

ся основной формой (Grundform) капиталистических отношений, господствующих в буржуазном обществе,—все другие формы являются лишь производными от него, второстепенными; производными, как капитал, приносящий проценты... поэтому промышленный капитал в процессе своего возникновения должен еще подчинить себе эти формы, и преобразовать их в производные или особые свои функции. Эти более старые формы он застает в эпоху своего возникновения. Он застает их, как предпосылки не как установленные им предпосылки, не как формы его собственного жизненного процесса. Подобно тому, как он вначале застает товар (wie es ursprünglich die Ware vorfindet, Теор., III, S. 541), но не как его собственный продукт; и как он застает денежное обращение, но не как момент его собственного воспроизводства. Когда капиталистическое производство развито во всех своих формах и является господствующим способом производства, то капитал, приносящий проценты, подчинен промышленному капиталу... как самостоятельные формы (als selbständige Formen) оба (т.-е. и коммерческая форма.—И. М.). Они должны сначала быть сломаны (müssen gebrochen werden), подчинены промышленному капиталу» (Теор., III, стр. 367).

Итак, по Марксу, получается, что старая форма капитала, приносящего проценты, должна быть сломана, а не просто переносится в капиталистическое производство. В капиталистическом обществе кредит получает качественно новое содержание и становится особой функцией движения капитала в капиталистическом кругообороте. Для Гильфердинга этого различия не существует. Судя по изложению «Финансового капитала», кредит на всех ступенях развития товарного хозяйства: при простом, капиталистическом и империалистическом,—всегда является простым предложением денег, и из социально-экономической сущности денег черпает свое содержание [1]. Гильфердингу невдомек, что кредит является специфической формой, имманентно присущей капиталистическому воспроизводственному процессу, особой «формой промышленного капитала» (Теор., III, 368), и что кредит также может быть об'яснен той или другой функцией денег, как промышленный капитал той или другой функцией торгового капитала.

Вместо марксова метода расчленения экономической категории и рассмотрения во всем разнообразии ее проявления, у Гильфердинга получается какая-то расплывчатость и неясность форм. Между деньгами, денежным обращением и капиталистическим кредитом существует определенная связь, но существует также и различие. Вот этого различия у Гильфердинга нет, он его не видит. Известно, что Маркс придавал большое значение кредиту в смысле его обслуживания уравнения нормы прибыли (К. III. I. 421). Этого уравнения, разумеется, простое денежное обращение обслужить не может. И если кредит его обслуживает, то, очевидно, потому, что категория капиталистического кредита обладает какими-то специфическими качествами, которыми денежное обращение и ростовщический кредит не обладает. Но так как Гильфердинг не понимает сущности кредита, то он неясно себе представляет и функции кредита. Не даром он нигде в «Финансовом капитале» не касается вопроса о действии кредита при уравнении нормы прибыли.

Так как Гильфердинг начинает свое исследование кредита с исследования вопроса о том, как из функции денег, как платежного средства, возникает возможность кредита, то многие могут подумать, что он «лишь добросовестно» пересказывает Маркса. Но это глубоко неверно, ибо и в первом томе «Капитала», в разделе о деньгах,

[1] На стр. 304 Фин. Кап. Гильфердинг пишет: «Обширная полоса развития пролегает между функциями денег как средства обращения и платежей и функцией в качестве ссудного капитала». Но нигде он больше этого вопроса не касается, так же как нигде он не дает ясного ответа по данному вопросу.

и в 25 главе III тома Маркс исследует кредит генетически. Во втор[ой] же части III тома «Капитала» Маркс рассматривает кредит с точ[ки] зрения его функционального значения. Что у Маркса существует гл[у]бокая разница между генетической и функциональной сущностью кредита, ясно всякому. В противном случае было бы совершенно не[по]нятно, почему Маркс, с одной стороны, связывает кредит с функци[ей] денег, как платежного средства, а, с другой стороны, говорит о кр[е]дите, как о системе, как о форме промышленного капитала, котора[я] создается промышленным капиталом после слома «старомодны[х]» кредитных форм.

У Маркса легко различить: зародышевые формы кредита, кред[ит], как возможность, и, наконец, кредит, как необходимость. Для Гиль[фер]динга «все кошки серы». Кредит у него возникает из функци[и] денег. Поскольку разделение Т и Д становится частым явлени[ем,] кредит становится возможным. А из того факта, что деньги предс[та]вляют издержки обращения капиталистического процесса произво[дс]тва, которому присуща тенденция напрягать силы, не увеличива[я] количества денег,—кредит становится необходимостью. Все это прос[то] и, на первый взгляд, как будто бы даже понятно, но... неверно! И точ[но] так же, как для Гильфердинга не существует нового качест[ва] в установлении капиталистического кредита, точно так же для не[го] не существует и этих «переходных ступеней» от зародышевой фор[мы] кредита до кредита, как необходимость.

Рассуждения Гильфердинга о сущности кредита потому п[лоски], плоски, что он не понимает, что кредит в капиталистическом обще[ст]стве является целой системой, а не отдельным проявлением функци[и] денег. Маркс считает, что:

> «Настоящим способом подчинения капитала, приносящего процент промышленному капиталу является создание его отличительной формы кредитной системы... кредитная система представляет с[обой] собственное создание; это форма промышленного капитала, которая на[чи]нается с мануфактурой и далее развивается вместе с крупной промышлен[]ностью. Кредитная система представляет вначале полемическ[ую] форму против старомодного ростовщичества» (Теор., III, 368 стр.).

Нигде, на всем протяжении «Финансового капитала» Гильфер[]диг не употребляет этого термина. В одном только месте, [на] 327 стр., он цитирует одно место из Маркса, где говорится, что «при современной кредитной системе купеческий капитал располага[ет] большей частью всего денежного капитала общества». К этому пр[и]мечанию Гильфердинг добавляет, что указанное утверждение Маркс[а] в современных условиях нуждается в ограничении. Не вдаваясь в кр[и]тику гильфердинговского нового «несогласия» с Марксом, мы лишь по[д]черкиваем, что «система кредита» для Гильфердинга не существует. У Гильфердинга, если можно так выразиться, существует своя особ[ая] «система» кредита, но она очень далека от марксовой.

Гильфердинг в своем непонимании марксовой системы кредит[а] приближается к буржуазным экономистам. Шумпетер считает, что «кредит по существу—это создание покупательной силы (Kaufkraft) с целью предоставления ее предпринимателю (Unternehmer)» [1]). Ирвинг Фишер сводит систему кредита к одной циркуляторной ее функци[и]. Иначе говоря, буржуазные экономисты выдают часть за целое, н[е] охватывая «системы кредита» в целом.

---

[1]) J. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung; 2 Aufl. 19[26], S. 153.

Гильфердинг поступает не лучше буржуазных экономистов. Для него оборотный кредит заключается в создании кредитных денег и экономии наличных денег, а капитальный кредит—в перенесении имеющихся в обществе не занятых денег. Вся система кредита, таким образом, у него исчерпывается двумя функциями: циркуляторной функцией денег и перераспределением имеющихся денег. Все остальные стороны системы кредита: общее учение о движении капитала, приносящего проценты, понятие потребительского кредита, общественного кредита, накопление ссудного капитала и т. д., и т. п., для него не существуют. Вот почему оборотный кредит у него сливается просто с денежным обращением, в действительности же денежное обращение является лишь частью всей кредитной системы,—этой господствующей формы обращения в капиталистическом обществе.

Система кредита является некоей целокупностью, об'единяющей в себе все формы и взаимодействия различных частей кредита. Для Гильфердинга это—terra incognita. Для него денежное обращение, денежный капитал, оборотный кредит, капитальный кредит, банковый золотой резерв, clearing и проч., это ряд самостоятельных явлений. Единство и связь этих различных элементов единой системы у него отсутствуют. Марксово положение, что «пока продолжает существовать капиталистический способ производства, продолжает существовать, как одна из его форм, и капитал, приносящий проценты, образуя фактический базис его кредитной системы» (К. III. 2, стр. 144), для него является безразличным. И если кредит представляется ему прямым продолжением денег и денежного обращения, где от него ускользает «скачок» к новому качеству, к капиталистической категории «системы кредита», то, с другой стороны, от него также скрыты связи отдельных форм и взаимодействия различных элементов той же системы.

* * *

Путаница Гильфердинга в вопросах кредита еще усугубляется тем, что у него и один и тот же термин «денежный капитал» вкладывается совершенно различное содержание. Маркс различает следующие три категории: деньги (currency), денежный капитал и ссудно-денежный капитал. У Гильфердинга все эти три категории свалены в одну кучу, что очень затрудняет понимание отдельных мест из «Финансового капитала».

Денежное обращение (currency) в капиталистическом обществе существует в форме обращения металлических денег или банковых билетов. «Под количеством обращения,—пишет Маркс,—мы понимаем сумму всех находящихся и обращающихся в стране банкнот и металлических денег, включая слитки благородных металлов» (К. III. 2, стр. 37).

Денежный капитал—это капитальная стоимость в денежной форме. Прежде чем выполнять роль денежного капитала в общем кругообороте капитала, выступающий капитал должен быть авансирован в форме денег и потом в денежной форме должен быть извлечен обратно. «Деньги являются первым носителем капитальной стоимости, а потому денежный капитал является той формой, в которой авансируется капитал» (К. II. 4). В конце процесса воспроизводства «капитальная стоимость находится опять в той же форме, в которой она вступила в него» (К. II. 20), т.-е. опять в денежной форме. Таким образом, в процессе кругооборота капитала денежный капитал

является лишь переходящей формой, является простой переходной ступенью. Постепенно от промышленного и товарно-торгового капитала отделяется известная часть и в форме денежного капитала обслуживает их движение для всего класса промышленных и торговых капиталистов. «Движение этого денежного капитала опять-таки есть лишь движение обособившейся части промышленного капитала, находящегося в процессе своего воспроизводства» (К. III. 1. 299).

Ссудно-денежный капитал—это капитал «не только для себя, но и для других». Особенность ссудного капитала заключается в том, что это капитал, который всегда представляется в форме денег.

«Prima facie ссудный капитал всегда существует в форме денег, впоследствии в форме требования денег, при чем деньги, в виде которых он первоначально существует, принимают теперь в руках заемщика действительную денежную форму» (К. III. 2. 48).

Из изложенного ясно, что ссудно-денежный капитал, безусловно, не совпадает ни с денежным капиталом, как переходной формой в кругообороте капитала, ни с денежным обращением. У Маркса часто выражение денежный капитал употребляется в смысле ссудного капитала. Но это ни в малейшей степени не опровергает установленного разграничения. Маркс предвидел возможность такой путаницы и поясняет:

> «Поскольку деньги функционируют в кругообороте капитала, они, конечно, в известные моменты образуют денежный капитал; однако, они не превращаются в ссудный денежный капитал, но или обмениваются на элементы производительного капитала, или же выплачиваются как средства обращения при реализации дохода и, следовательно, не могут опять превратиться в ссудный капитал для своего владельца. Поскольку же они превращаются в ссудный капитал,—а одна и та же сумма денег повторно представляет ссудный капитал,—ясно, что они лишь в одном пункте существуют как металлические деньги; во всех других пунктах они существуют лишь в форме притязаний на капитал» (К. III. 2. 47).

Что же касается Гильфердинга, то, конечно, дело вовсе не в том, что он нигде не говорит в «Финансовом капитале» об этих разграничениях, а дело в том, что он их игнорирует, вследствие чего получается необычайная путаница. Необходимо заметить, что категория «ссудного капитала» у Гильфердинга вообще не разработана. Это не значит, что Гильфердинг не употребляет этого термина. Наоборот, он этим термином слишком часто пользуется, но пользуется им, так сказать, «явочным порядком», нигде не поясняя содержания и сущности этой категории.

Исходным пунктом обоснования кредита, как мы уже говорили, для Гильфердинга являются деньги. Если деньги почему-либо оказываются праздно лежащими, то задача кредита заключается в том, чтобы бросить их в обращение и использовать с прибылью. Гильфердинг пишет:

> «В ходе капиталистического производства возникают праздно лежащие, принимающие форму сокровища, деньги, которые должны будут послужить в качестве денежного капитала... Мы имеем дело с деньгами, которые не функционируют. Но деньги совершают функцию только денег, и совершать их могут только в сфере обращения. Поэтому кредит, как капитальный кредит, не может сделать ничего иного, как только необращающиеся деньги бросить в обращение[1]). Однако, как капиталистический кредит, он бросает их в обращение только затем, чтобы увеличить большее количество денег, он бросает их в обращение как денежный капитал для превращения в пр[illegible]

---

[1]) «Jetzt haben wir es mit Geld zu tun, das nicht funktioniert, Geld kann aber nur Geldfunktion verrichten und diese kann es nur in der Zirkulation verrichten, der Kredit kann in dieser Funktion daher nichts anderes leisten, als nicht-zirkulierendes Geld in Zirkulation zu werfen» (F. K., S. 86).

изводительный капитал... Он представляет перемещение денежной суммы, которую владелец не может применить в качестве капитала к такому лицу, которое должно ее применить, как капитал» (Ф. К., 79—80 стр.).

Из приведенной цитаты со всей очевидностью видна вся путаница Гильфердинга вокруг вопросов о денежном и ссудном капитале. Во-первых, Гильфердинг считает, что в ходе капиталистического процесса воспроизводства возникают праздно лежащие, принимающие форму сокровища, деньги. Но это неверно! В ходе капиталистического воспроизводственного процесса высвобождается денежный капитал, который не достиг, с одной стороны, той величины, чтобы продолжать свое дальнейшее существование, как капитал, а, с другой стороны, он уже в себе заключает или даже сам представляет «приращение» на капитал. Так как высвобождение капитала происходит в денежной форме, то эти деньги, будучи оставлены без движения, затвердевают у их владельца в форме сокровища, а будучи пущены в оборот, они превращаются в ссудный капитал.

Во-вторых, Гильфердинг считает, что «деньги совершают функцию только денег и совершать их могут только в сфере обращения». Что деньги совершают в обращении только функцию денег—это верно, но не верно, будто деньги в процессе кругоборота капитала также выполняют «только функцию денег». В процессе кругооборота капитала деньги—этот prius капиталистического процесса производства—деньги выполняют роль денежного капитала. Здесь также ясно видна и другая ошибка Гильфердинга. Он полагает, что для использования праздных (необращающихся) денег необходимо их бросить в обращение, между тем, как свободный денежный капитал бросается, главным образом, в производство путем предоставления их в ссуду функционирующему капиталисту.

В-третьих, капиталист бросает денежный капитал в обращение не для того, чтобы его превратить в производительный капитал, а чтобы получить процент (доход). Превращение денежного капитала в производительный капитал—дело функционирующего капиталиста. Последнее может быть осуществлено и может не быть осуществлено, собственник ссужаемого капитала все равно получит полагающийся ему процент. Это неясно получается и у самого Гильфердинга: с одной стороны, деньги бросаются в обращение, чтобы извлечь большее количество денег, а, с другой стороны, они же бросаются в обращение для превращения в производительный капитал. Здесь неясно, что хотел Гильфердинг установить из сопоставления этих противоречивых положений?

Гильфердинг не делает также различия между функцией денег в процессе обращения от их роли при ссуде денежного капитала. Маркс с полной отчетливостью эту разницу устанавливает в следующем месте:

«В действительном процессе обращения капитал всегда является только как товар или как деньги, и его движение (Bewegung) сводится (löst sich) к ряду актов купли и продажи. Короче, процесс обращения сводится к метаморфозу товара. Иное дело, если мы рассмотрим процесс воспроизводства (Reproduktionsprozess) в его целом. Если за точку отправления мы возьмем деньги (дело не изменится, если такой точкой отправления мы возьмем товар, потому что в таком случае мы исходим из его стоимости и, следовательно, рассматриваем самый товар sub specie денег), то мы увидим, что израсходована известная сумма денег и по истечении известного периода она возвращается обратно с некоторым приращением. Возвращается обратно возмещение авансированной денежной суммы плюс прибавочная стоимость... Но деньги, поскольку они ссужаются, как капитал, ссужающийся именно в качестве такой с о х р а н я ю щ е й с я и увеличивающейся денежной суммы,

> которая по истечении известного периода возвращается с некоторым приком и во всякое время может снова начать тот же самый процесс. Они не расходуются ни как деньги, ни как товар... Они расходуются, как капитал. Отношение к самому себе, в виде которого представляется капитал, если рассматривать капиталистический процесс производства, как целое и единое отношение (als Ganzes und Einheit), в котором капитал выступает, как деньги, высиживающие деньги (das Kapital, als Geld heckendes Geld auftritt), засоединяется с деньгами без посредствующего промежуточного движения просто в качестве их характера их определения. И в такой определенности (in dieser Bestimmtheit) они отчуждаются, когда отдаются в ссуду, как денежный капитал» (К. III. 329—330).

Итак, из сопоставления Маркса и Гильфердинга видно: 1) что Маркс связывает кредит с кругооборотом капитала, а Гильфердинг с денежным обращением; 2) что, по Марксу, капитал в процессе обращения «всегда является, как товар или как деньги», а по Гильфердингу деньги бросаются в обращение, чтобы превратить их в денежный капитал; 3) что, по Марксу, когда деньги ссужаются, как капитал, они «не расходуются ни как деньги, ни как товар», в то время, как у Гильфердинга ссуда всегда представляется «перемещением денежной суммы» («Der Kapitalkredit... ist nur eine übertagung einer Geldsumme» F. K., S. 86); 4) что для Маркса существует посредствующая (vermittelnd) ступень между превращением незанятого капитала в занятый в форме ссудно-денежного капитала. Для Гильфердинга никакой посредствующей ступени не существует, а деньги бросаются в обращение для превращения их «из бездеятельных денег в функционирующий денежный капитал» и 5) у Маркса деньги соединяются с движением ссудного капитала «просто в качестве их характера, их определения». У Гильфердинга деньги сами по себе (an sich) имеют кредитное существование, поскольку они являются платежными средствами и могут в капиталистическом обществе быть превращенными из незанятых в занятые.

По Гильфердингу, не кредит обусловливает некоторые новые и специфические функции денег, как, например, функцию денег в качестве ссудно-денежного капитала, а, наоборот, деньги обусловливают возможность движения кредита. Кругооборот капитала—вот арена действий для капиталистического кредита по Марксу; денежное обращение—арена действий кредита по Гильфердингу.

Нечего и говорить, что эта путаница Гильфердингу даром не проходит. В конце концов, Гильфердинг попадает в такое невылазное болото противоречий, что ему остается только одно... не согласиться с Марксом, что он фактически и делает в конце главы о кредите. И хотя это несогласие с Марксом относится как-будто только к вопросу о причинах изменения процента, но это стало возможным лишь благодаря неправильной трактовке Гильфердингом системы кредита и, в частности, категории ссудного капитала.

Так как Гильфердинг не понял Маркса в вопросе о ссудном капитале и подменил ссуду капитала ссудой «денежной суммы», то у него нет ясности и в вопросе о накоплении ссудного капитала. Мы уже видели, как в вопросе о причинах изменения уровня процента Гильфердинг сводит величину ссудного капитала к размерам денежного обращения, плюс свободный золотой остаток банков. В другом месте он говорит, что через капиталистический кредит достигается расширение размеров производства «исключительно использованием для целей обращения прежних, но бездействовавших денег» (Ф. К., стр. 80). Тот же смысл заключается и в утверждении Гильфердинга,

что кредит, как капнтальиый кредит, «ие может сделать инчего иного, как только необращающиеся деньги бросить в обращеиие».

Из этнх положеинй Гильфердинга с иесомнеииостью вытекает, что: 1) капиталистический кредит лишь приводнт к увеличению количества денежиого обращения, ие увеличнвая колнчества реальных денег. Это пополнеине пронзводится за счет использоваиня иефуикционнрующих деиег, и 2) что накоплеиие ссудиого капитала мыслится Гильферднигом, как накоплеиие действнтельиых денег в деиежиом обращении.

Маркс же считает, что «масса ссудиого капитала, иесомиенио, отлична от количества обращення», и что «зиачительная часть фуикций обращеиия сводится к простой передаче кредита, без посредствующей ролн металлнческих или бумажиых деиег» (К. III. 2. 38).

По теории Гильфердинга получается такое представлеиие, что будто бы баик прн предоставлеиии ссуды должеи обязательио располагать соответствующим количеством денежиой иаличиости. И поэтому узкий «золотой базис» при большом спросе иа ссудиый капнтал должеи привести к повышеиию уровня процеита и к стремлеиию баика путем повышеиия днскоита создать... «обратный прнток золота». Но эта ошибка кроется в фетншизацнн ссудиого капитала. В действительности иакоплеине ссудиого капнтала может происходнть вие зависимости от иакоплеиия реальиых деиег. Это ясио из следующего отрывка из Маркса:

«На сколько часто однн н тот же денежный знак может фигурировать в качестве ссудного капнтала, всецело завнсит от того,

1) на сколько часто он реалнзует товарные стонмости в процессах продажи н платежа, т.-е. перенеснт капнтал, н от того далее, насколько часто он реалнзует доход. Насколько часто он переходнт в другне рукн в качестве реалнзованной стонмости, будет лн это стонмость капитала или дохода, завнснт, очевндно, от размеров н чнсла действительных оборотов;

2) это завнснт от экономнн в платежах н от развнтня н оргаиизацнн кредитного дела;

3) наконец, от взанмной связн между различными кредитами и быстроты нх функционирования, прн чем денежная сумма, осевшая в одном месте в внде вклада, тотчас же снова выходнт в другом в виде займа» (К. III. 1. 147).

Иначе говоря, размер ссудиого капнтала ие зависит от суммы наличиых деиег, как и ие зависит от размера золотого запаса. Накопленне ссудиого капитала зависит от потребиостей кругооборота капитала, от потребиостей воспроизводствеииого процесса, и может быть осуществлеио при одиом и том же количестве средств обращения. Ибо посредством одиой и той же суммы денег можио обслужить то большее, то меньшее количество ссудных сделок в зависимости от развития кредитиой снстемы, и от того, как быстро совершается кругооборот капитала в целом.

Еслн для Гильфердиига формой существования деиежиого капитала являются действительные деньги, то для Маркса ссудиый капитал всегда представляется в форме деиег, но вовсе ие обязательно, чтобы этн деньги существовали в иалнчности. Маркс считает, что если даже предположить, что формой существоваиия ссудиого капитала «является исключительио форма действительиых деиег, золота или серебра, товаров, вещество которых служнт мернлом стоимостей, то и в этом случае часть этого денежиого капитала иеизбежио будет фиктивной» (К. III. 2. 47). По Марксу «иакоплеиие ссудного капитала может быть достигнуто без всякого действительного иакоплеиия»,

а просто при помощи чисто-технических средств, каковы «расширение и концентрации банкового дела, сбережение оборотного резерва или резервного фонда» (К. III. 2. 34) и т. д.

Непоследовательность Гильфердинга в этом вопросе тем более разительна, что в другом месте, где это ему показалось теоретически выгодным, он пишет: «Сумма вкладов (это заем банкира.—И. М.) в много раз превышает действительно имеющуюся сумму наличных денег. Эти деньги проделывают целый ряд актов обращения и дают базис для обращения кредитных денег. Следовательно, сумма вкладов может быть во много раз больше суммы наличных денег» (Ф. К., стр. 82). Это же с полным правом может быть также отнесено и к накоплению ссудного капитала. Как по многим другим вопросам, так и по данному вопросу у Гильфердинга существует несколько мнений. Не гладко все это выходит у него!

Такая же по существу картина получается у Гильфердинга по вопросу о ссуде денег и ссуде капитала. С одной стороны, мы видели, что у него всякая ссуда является перемещением денег, а, с другой стороны, он пишет, что

> «Деньги всегда ссужаются под процент, следовательно, для ссужающего всегда принимают характер капитала. Поэтому, наоборот, всякие ссужаемые деньги, каковы бы ни были потом их действительные функции, будут ли эти деньги исходным пунктом нового производительного капитала, или же они обслужат лишь процессы обращения уже существующего капитала, — во всех этих случаях ссужаемые деньги рассматриваются (кем??? - И. М.), как капитал, и спрос на деньги, как платежное средство, смешивается (verwechselt) со спросом на них, как на денежный капитал» (Ф. К., стр. 80).

Эта выписка из «Финансового капитала» является примечанием к одному из пунктов о капитальном кредите, где Гильфердинг устанавливает, что «капиталистический кредит заключается в передаче денег, которые благодаря этому должны быть превращены из бездеятельных в функционирующий денежный капитал», т. е. где Гильфердинг рассматривает всякую ссуду, как ссуду денег.

Но где же тогда логика? То всякая ссуда является только ссудой денег, то ссуда денег всегда является ссудой капитала. Это тупик, а не логическое рассмотрение вопроса.

Это «диковое положение» не спасает Гильфердинга от необходимости разграничения между ссудой денег и ссудой капитала. Что между предложением ссудного капитала и ссудой денег существует определенная разница, это устанавливается и Марксом, и Энгельсом. Маркс, как в споре с Норманом и Оверстоном, так и в споре с Туком и Фуллартоном, вопросу о правильном разграничении между ссудой денег и ссудой капитала уделил очень много внимания. Для Гильфердинга этот спор не существует, он его просто отметает. Его разрешение вопроса, который в течение столетия занимал все великие умы экономической мысли, является столь же лаконическим, сколь и неверным. Его точка зрения подходит под то представление, относительно которого Энгельс сказал, что оно перенесено «из банкирской конторы в политическую экономию» (К. III. 1. 414). Утверждать, что всякая ссуда всегда является ссудой капитала, значит стать на точку зрения банкиров Нормана и Оверстона. В самом деле, разве утверждение Оверстона, что во время паники главное желание торгового мира «получить власть над капиталом» не является смешением денег и капитала? Но то же получается и у Гильфердинга

и по Гильфердингу фактически получается, что даже, когда капиталист просит денег во время кризиса, ему предоставляют в ссуду капитал.

Вопрос о различении денег и капитала больше всего смазан у Гильфердинга. Специально он этого вопроса нигде не разбирает, а ограничивается лишь одним вышеприведенным примечанием. Спорить по этому вопросу с Гильфердингом, значит дать подробное его освещение по Марксу, ибо у Гильфердинга здесь «пустое место». Но необходимо иметь в виду, что эта путаница дает себя особенно остро чувствовать при изложении Гильфердингом вопросов кон'юнктуры. «Смазывание» этого вопроса мстит за себя, точно так же, как смешение денег, денежного обращения и ссудного капитала даром Гильфердингу не прошло.

Неясность Гильфердинговской трактовки движения уровня процента усугубляется его «оригинальной» классификацией кредита: на оборотный и капитальный. Мы уже цитировали то место из «Финансового капитала», где Гильфердинг устанавливает, что «если абсолютная величина процента зависит от состояния капитального кредита, то ее изменение зависит, прежде всего, от состояния оборотного кредита». Эта довольно «мистическая» формула может быть понята лишь после известной кропотливой работы над расшифровыванием того, что Гильфердинг понимает под «оборотным» и что под «капитальным» кредитом.

Марксово деление кредита на коммерческий и банкирский не совпадает с гильфердинговским делением на оборотный и капитальный. Можно даже сказать, что между основами деления кредита у Маркса и у Гильфердинга ничего общего нет, ибо они исходят из совершенно различных принципов, которые они кладут в основу классификации. Тем не менее, Гильфердинг почему-то считает возможным без каких бы то ни было оговорок отождествлять их. Он пишет:

а) Об оборотном кредите: «наибольшая часть кредита представляет «коммерческий кредит» (Kommerzieller Kredit) или, как мы предпочитаем называть его, оборотный кредит (Zirkulations kredit)» (Ф. К., стр. 98).

б) О капитальном кредите: «Обычно не видят... функционального различия между оборотным кредитом и капитальным (банковым) кредитом» (Ф. К., стр. 318 и др.).

Неясность еще больше «сгущается» потому, что Гильфердинг на ряду с этими терминами употребляет еще и такие: платежный кредит, торговый кредит, промышленный кредит, производственный кредит, которые он связывает то с категорией оборотного кредита, то с категорией капитального кредита.

Его марксистская терминология вводит некоторых товарищей в заблуждение. Одни склонны считать, что оборотный кредит по Гильфердингу совпадает с марксовским коммерческим кредитом (торговым), другие, наоборот, считают, что капитальный кредит в толковании Гильфердинга очень близок к марксовскому банкирскому (банковому) кредиту. Но это неверно! Между классификацией Маркса и той же классификацией Гильфердинга ничего общего, кроме некоторых сходных выражений, нет.

Маркс кладет в основу классификации кредита иа коммерческий и банкирский: 1) фуикцию кредита в кругообороте капитала и 2) классовый призиак. По Марксу при коммерческом кредите передается капитал, находящийся в определенной фазе воспроизводственного процесса. Это ие свободиый капитал, и кредитуется он лишь в целях ускорения реализации товаров и усилеиия быстроты кругооборота капитала. Наоборот, баикирский кредит—это иезанятый денежный капитал, и кредитуется ои лишь постольку, поскольку потребиости в кредите ие могут быть удовлетвореиы одиим лишь коммерческим кредитом. Деиежный капитал высвобождается временно в самом процессе воспроизводства, а с другой стороны притекает от раитье, мелких накоплеиий и т. д. Это первое различие приводит к тому, что, поскольку коммерческий кредит может удовлетворить спрос фуикциоиирующих капиталистов, и при этом не прибегая еще к баикирскому кредиту, уровеиь процента может ие повышаться даже при иачавшемся уже под'еме. Большой спрос иа баикирский кредит всегда сопровождается повышением процеита.

Не менее важеи и другой призиак кредита,—признак классового противоречия. Если между агеитами капиталистического воспроизводствеиного процесса, кредитующими иепосредствеиио друг друга, ие может возиикиуть иикакого классового антагоиизма по поводу дележа прибавочиой стоимости, то этот момент является доминирующим при банкирском кредите. Выжатая прибавочиая стоимость делится иа процент и прибыль. Что выигрывает один капиталист, то в даииом случае теряет другой. Чем больше укрепляется власть банков, тем большую часть выжатой функционирующим капиталистом прибавочиой стоимости пожирает баик за свою ссуду. Таково в самых общих чертах осиоиное содержание марксовой классификации кредита.

У Гильфердиига совсем другой подход. Поскольку кредит не является для иего движеиием капитала, приносящего проценты, а лишь простым продолжеиием деиег и деиежного обращения, то его ие интересует: ни связь кредита с кругооборотом капитала, ни момент эксплоатации и классового противоречия. В одном месте «Финансового капитала» Гильфердииг даже пишет, что кредит «в своих завершеииых формах... противостоит капитализму, представляет организацию и контроль в противоположность анархии» (Ф. К, 193). Поэтому совершеиио естествеииым является, что Гильфердинг выдвигает «деиежный призиак» в качестве осиовы классификации кредита иа капитальный и оборотиый.

Гильфердиниг видит сущиость оборотиого кредита в том, что он а) создает кредитиые деньги (стр. 79); б) сберегает иаличные деньги, так как ои приводит к тому, что деньги фуикциоиируют лишь, как платежиое средство (стр. 80); в) замещает реальные деньги кредитиыми деньгами, что сокращает faux frais капиталистического производства, и г) придает товариому капиталу форму деиежиого капитала, ио в распоряжении капиталиста ие представляет иикакого нового капитала (там же).

Сущиость же капитальиого кредита по Гильфердингу заключается в том, что ои: а) превращает иаличные или кредитные деньги из бездеятельиых деиег в фуикциоиирующий деиежный капитал (стр. 79); б) совершает передачу деиег, которые уже имелись, но ие создает экоиомии иа деньгах вообще (стр. 80); в) не сберегает, как платежный кредит, издержки обращеиия и г) расширяет функци

производительного капитала при изменении денежного базиса (стр. 81).

Следует заметить, что Гильфердинг не везде точно придерживается признаков классификации, им самим установленными. По вопросу о расширении путем кредита производства он пишет:

а) «Оборотный кредит расширяет базис производства за пределы, определяемые денежным капиталом, имеющимся у капиталиста» (Ф. К., 73).

То же на стр. 79.

б) «Капитальный кредит заключается в передаче денег, которые благодаря этому должны превратиться из бездеятельного в функционирующий денежный капитал... при неизменности денежного базиса расширяет функцию производительного капитала» (стр. 81).

На ряду с тем, как Гильфердинг считает основным признаком оборотного кредита его способность сокращать издержки обращения, он в другом месте (глава 18) приписывает это же действие и капитальному кредиту.

И по данному вопросу, как мы видим, у Гильфердинга существует несколько ответов, взаимно друг друга исключающих. Но все же, при всей путанице Гильфердинга совершенно очевидно, что оборотному кредиту он приписывает циркуляторную функцию кредитных денег (включая и их создание), а капитальному кредиту — функцию перераспределения в капиталистическом обществе кредитных и реальных денег.

Итак, между марксовыми формами кредита и гильфердинговскими — пропасть. Если бы Гильфердинг не был сам так беспечен на счет «перекрытия» марксового коммерческого кредита своим оборотным, а банкирского—капитальным, нам не пришлось бы так упорно настаивать на их глубоком различии. В дальнейшем речь может итти лишь о том, чтобы вскрыть самостоятельное научно-познавательное значение за классификацией Гильфердинга.

Классификация кредита проводится и может быть проведена по самым различным признакам и на самых различных основах. Но основное требование, которое пред'является любой классификации,— это требование, чтобы она имела какое-либо научно-познавательное значение. Только с этой точки зрения может быть оправдано самостоятельное существование гильфердинговской классификации, поскольку она не совпадает с марксовой.

Оборотный кредит по Гильфердингу является очень сложной категорией. Гильфердинг так рассуждает: оборотный кредит возникает в товарном обращении в форме векселя за проданные товары. Постепенно этот вексель начинает приобретать доверие не только у своего владельца, но и у других агентов капиталистического кругооборота. Вексель в качестве свидетельства будущего платежа начинает переходить из рук в руки. В товарном обороте он начинает вести самостоятельное существование, поскольку он представляет действительно проданные товары. Заменяя товар, вексель может обращаться до тех пор, пока его не заменят деньги. Его роль в обращении такая же, как роль действительных денег, поэтому вексель вытесняет из обращения действительные деньги, превращаясь сам в кредитные деньги. Чем больше кредитных денег в обороте, тем больших размеров достигает предложение ссудного капитала. Отсюда Гильфердинг делает вывод, что оборотный кредит увеличивает количество кредитных

денег, а увеличение количества денег способствует увеличению пред-
ложения денежного капитала, следовательно, оборотный кредит... заключается в создании кредитных денег».

Ошибки Гильфердинга заключаются в том: во-первых, что он всякие кредитные деньги всегда считает деньгами, как таковые; во-вторых, что он смешивает вексель с банкнотой, и, в-третьих, что он полагает, что вексель служит средством, а не результатом кредитования. Цепь перечисленных ошибок у него начинается с его первой формулировки возникновения векселя. Он пишет:

«Капиталисты взаимно кредитуют здесь друг другу товары (в примере с 3-мя капиталистами А. В и С. — И. М.), представляющие для них товарный капитал; но эти товары — просто носители определенной суммы стоимости, которая актом продажи предполагается уже реализованною в деньгах, этой общественно-значимой форме стоимости; следовательно, товары — носители определенной денежной суммы, которую вексель представляет [1]). Значит, обращение векселей основывается на обращении товаров, но таких товаров, которые актом продажи уже превращены в деньги, хотя это превращение еще не приняло общественно-значимой формы, а существует лишь как частный акт обещания платежа со стороны покупателя» (Ф. К., 71 стр.)

В приведенном отрывке Гильфердинг устанавливает, что вексель является представителем проданного товара, т.-е. носителем той стоимости, «которая актом продажи предполагается реализованной в деньгах». Гильфердинг полагает, что продажа товаров в кредит осуществляет превращение товара в деньги, этой общественно-значимой форме стоимости. Но это не совсем верно. При продаже товаров в кредит осуществляется только первая часть метаморфозы, — переход товаров (Т). Вторая часть метаморфозы, замещение Т—Д отсрочивается во времени. Вексель является лишь удостоверением этого разрыва, а вовсе не представителем «таких товаров, которые актом продажи уже превращены в деньги», как утверждает Гильфердинг. Вексель является результатом кредитной сделки, свидетельством временного разобщения Т и Д, а не результатом продажи. Вексель фактом своего существования «вопиет» о том, что метаморфоза Т—Д не закончена, что Т не превратилось еще окончательно в Д. Оговорка Гильфердинга, что векселя представляют товары, которые актом продажи уже превращены в деньги, хотя это превращение «еще не приняло общественно-значимой формы», не спасает положения. Акт кредитования глубоко отличен от акта обмена. И различие это заключается в том, что при обмене эквиваленты одновременно меняются местами, а при акте кредитования замещение проданного Т отделяется по времени от оплаты его Д.

У Гильфердинга получается, что векселя всегда являются носителями тех сумм денег, за которые проданы товары, и поэтому они в обороте могут представлять наличные деньги. На самом деле это далеко не всегда на практике так гладко выходит, как у Гильфердинга. Необходимо иметь в виду, что обращение векселей лишь постольку заменяет действительные деньги, поскольку платежи взаимно компенсируются, чем создается возможность ликвидировать платежи без применения наличных денег. А так как в капиталистическом круго-обороте очень часто происходят «прорывы», которые могут быть заполнены только наличными деньгами, то о векселях, замещающих деньги, можно говорить лишь cum grano salis.

[1]) «Also als Träger einer bestimmten Geldsumme, die der Wechsel repräsentiert» (F. K. S. 76)

Дальнейшие ошибки Гильфердинга пронстекают из того, что он банкноту без «оговорок» зачисляет в кредитные деньги. Его рассуждения очень просты: обращение векселей основывается на обращении товаров, а обращение банкнот основывается на обращении векселей, следовательно, банкнота возникает в товарном обороте и является кредитными деньгами. С точки зрения происхождения банкноты это об'яснение является совершенно верным, но с развитием капитализма банкнота, обыкновенно становится «в большей или меньшей степени законным платежным средством», т.-е., как определяют англичане. становится iegal teuder. Банкнота уже тогда основывается не только на вексельном обращении, но, как подчеркивает Маркс, банкнота, как платежное средство, «в действительности имеет за собой национальный кредит» (К. III. I. 390). Иначе говоря, банкнота становится деньгами, в противовес векселю, который лишь замещает наличные деньги в обращении, в том числе и банкноты. Поэтому считать вполне тождественными вексель и банкноту, в их функции кредитных денег, является неверным. К тому же и поле деятельности у банкноты шире, чем у векселя. Векселя имеют хождение лишь в торговом обороте, а банкноты «переходят из простого торгового обращения в общее обращение и здесь функционируют, как деньги» (К. III. I. 390). Причина и следствие у Гильфердинга зачислены в одну рубрику. Получилось обычное гильфердинговское «слияние», где исчезли все различия, которые в действительности существуют.

Отсутствие различия между векселем и банкнотой приводит Гильфердинга к ложному выводу, будто бы кредитные деньги всегда могут быть предметом кредитования. Что банкноты могут быть предоставлены в ссуду, это верно, но это потому происходит, что банкноты ceateris paribus играют роль действительных (наличных) денег. Векселя же являются лишь результатом акта кредитования, но не об'ектом ссуды. Если вексель учитывается в банке, то происходит обычная продажа банку будущего платежа, но здесь не имеет места новый акт кредитования. Путаница в этом вопросе тем больше углубляется, что Гильфердинг и сам сознает, что векселя с развитием капитализма все больше отходят на задний план, уступая место банковскому кредитованию. Как и во всех других случаях, у него и здесь имеется «дополнительное мнение». Он пишет:

> «С развитием банков, к которым притекают все остающиеся без занятия деньги, коммерческий кредит все более заменяется банковым в том смысле, что векселя служат платежным средством все менее в своей первоначальной форме, в которой они обращаются между производительными капиталистами: они все больше служат платежным средством в своей превращенной форме, в виде банковых билетов. Компенсация и покрытие разницы совершается теперь между банками» (Ф. К., 77 стр.).

Замена кредита коммерческого банковым может совершаться и в других формах, например, в форме акцептов, право выдавать чеки на банк и т. д.

Теперь «все ясно», что у Гильфердинга совсем неясно! Кредитные деньги это уже теперь не векселя, а банкноты, акцепты и т. д. Так как коммерческий кредит, по его рассуждениям, постепенно заменяется банковым, а банковый кредит, как мы доказали по Гильфердингу, сплошь и рядом совпадает с капитальным кредитом, то получается: 1) что кредитные деньги создаются не только оборотным кредитом, но и капитальным; 2) что капитальный кредит постепенно поглощает оборотный и 3) что банковый кредит может быть и капитальным и оборотным.

Одиим словом, поинмай кто как может!

Капитальиому кредиту Гильфердииг вообще отводит чрезвычайио скромиую роль,—«превращать иаличные деиьги или кредитные деньгн из бездеятельиых денег в функциоиирующий денежиый капитал» (Ф. К., 79).

Гильфердинг пншет:

> «Иное дело с капнтальным кредитом. Он представляет перемещение денежной суммы, которую владелец не может применить в качестве капитала, к такому лицу, которое должно применить ее, как капитал. Таково назначенне этой суммы... Здесь совершается передача денег, которые уже нмелись, а не экономия на деньгах вообще. Значит, капитальный кредит заключается в передаче денег, которые благодаря этому должны превратиться из бездеятельиого в фуикциоиирующий денежный капитал. Он не сберегает, как платежный кредит, издержки обращения, а при неизменности денежного базиса расширяет функцию производительного капитала» (Ф. К., 80—81 стр.).

Насколько категория оборотного кредита у Гильфердинга сложна, иастолько капитальный кредит у иего упрощен. Фактически капитальиый кредит выполняет лишь одну осиовиую функцию — функцию перемещеиня незаиятых деиег. Эго ие мешает Гильфердингу, однако, прнттн к выводу, что капитальиый кредит поглощает оборотиый кредит. Хотя Гильфердинг об этом прямо и члеиораздельио нигде не говорит, ио это безусловно вытекает из рассмотрення всех его рассуждеиий о капнтальном и оборотиом кредите.

Искусствеииость и иеясиость деления Гильфердингом кредита на капнтальйый н оборотный—бьет в глаза. В самом деле, допустим, что капиталнст А желает закупнть в страие Н у капиталиста В определенную партию товара. Так как ои ие располагает деньгами во время закупки товара, то ои выиужден обратиться к банку за ссудой. Ссуду ои может получить в форме наличных денег, но чаще всего он ее получает в форме акцепта его векселей илн в форме разрешения выдавать чеки на баик. По Марксу этот случай является типичным примером коммерческого кредита в капиталистическом обществе, но на той ступеии развнтия кредита, когда «банкир стаиовится источником всякнх благ» и когда сделки по коммерческому кредиту проводятся при помощн и содействни банка.

С точкн зрении Гильфердннга это далеко не так просто. Если капиталнст А получает ссуду в золотых деньгах (металлических), то это капнтальный кредит, нбо здесь произошло перемещение «незаиятых» (?!) денег. Если кредит предоставляется ему в форме акцепта, то это оборотный кредит, нбо в даниом случае ие передаются незанятые деиьги, да к тому же получается экоиомия иа наличных деиьгах. Но если кредит предоставлеи в форме баикиот, то, придерживаясь трактовки Гильфердинга, довольно трудио решить, будет ли это случаем капитальиого кредита нли, наоборот, оборотиого кредита.

Если строго прндерживаться осиов гильфердииговской классификации, то в том случае, когда баик предоставляет капиталисту А только что выпущеииые баикноты,—это будет случаем оборотного кредита, ио если банк предоставляет капиталисту А баикиоты, которые являются вкладом в баик капиталиста С, то здесь имеет место перенесеиие иезанятых деиег, т.-е. чистейший случай капитального кредита. Итак, самый обыкновеииый и заурядиый пример из повседиевиой практики доказывает всю путаинцу Гильфердинга. Один н тот же случай может быть отиесеи и к капитальиому кредиту, и к оборотному кредиту, и к баикирскому кредиту, и к коммерческому

кредиту. А вернее всего, что если следовать классификации Гильфердинга, то это не будет ни капитальным, ни оборотным кредитом, а кредитом «так себе».

Таково содержание гильфердинговской классификации кредита на капитальный и оборотный. Какая ясность существует у самого Гильфердинга по вопросу о различении этих категорий, мы уже показали. С достаточной ясностью также вскрыто, что деление Гильфердинга ничего общего не имеет с подразделением кредита у Маркса на банкирский и коммерческий. Вывод, который можно сделать из рассмотрения обоснования Гильфердингом его особой и «оригинальной» классификации, следующий, что это деление никакого научно-познавательного значения не имеет, что Гильфердинг под прикрытием этого неясного и путаного деления только извращает Маркса. Особенно резко выявляется вся беспомощность Гильфердинга в вопросах кредита, когда он переходит к рассмотрению движения кредита во время кон'юнктуры. Там оборотный и капитальный кредит до того «мистифицируются», что рядовой смертный не в состоянии разобраться в его «кон'юнктуре». Ограниченность места не позволяет нам подробнее осветить этот вопрос, но с точки зрения выяснения ошибок Гильфердинга в вопросе о проценте, приведенных данных вполне достаточно, чтобы судить о бесплодности и научной вредности его неясной классификации.

Исследование вопроса об уровне процента Гильфердинг начинает с большой цитаты из Маркса, после чего он приходит к выводу, что «уровень процента (die Höhe der Zinses) зависит от соотношения спроса и предложения ссудного капитала». В дальнейшем Гильфердинг ставит такой вопрос: «но если процент зависит (hängt aber der Zins) от спроса и предложения, то чем же определяются сами спрос и предложение?» Так как на одной стороне оказываются бездеятельные в данное время деньги, а на другой стороне оказывается спрос на них со стороны функционирующих капиталистов, «то распределение (незанятых денег.—И. М.) обслуживается капитальным кредитом, от состояния которого зависит уровень процента» (Ф. К., стр. 95) [1].

Из сопоставления этих цитат из Гильфердинга можно заключить: 1) что движение капитального кредита одно и то же по Гильфердингу, что и движение спроса и предложения ссудного капитала, ибо как от движения одной категории, так и от движения другой «зависит уровень процента»; 2) что причины, обусловливающие общее состояние процента и причины, обусловливающие изменения уровня процента, не один и те же, и если общее состояние уровня процента зависит от спроса и предложения ссудного капитала или от распределения свободного денежного капитала путем капитального кредита, то изменения процента зависят от других причин.

А в общем получилась такая картина, что там, где необходимо провести разграничение, как, например, между движением капитального кредита и между движением спроса и предложения на ссудный капитал, Гильфердинг его не проводит и констеллирует эти понятия. Наоборот, там, где не существует никакого различия, как, например, между состоянием уровня процента и изменением этого уровня, всегда

[1]) Diese Verteilung besorgt der Kapitalkredit, von dessen Stand also die Höhe des Zinsfusses abhängt...» (F. K., S. 103).

зависящие от одних и тех же общих причин, Гильфердинг провод искусственное разграничение и тем самым запутывает вопрос.

В самом деле, если Гильфердинг хочет сказать, что спро и предложение ссудного капитала не являются категориями an si und für sich, а зависят от потребностей воспроизводственного пр цесса, то он здесь ничего нового не открывает, и этот факт не мож служить причиной для особого отграничения причины высоты пр цента от причины ее изменения.

Дальнейшие рассуждения Гильфердинга по этому вопросу х вольно длинные и скучные. Он пишет:

«Прежде всего ясно, что расширение производства, а вместе с не обращение, знаменует возрастание спроса на денежный капитал. Увели шийся спрос в свою очередь, если бы предложение осталось прежнее, дол был бы повести к повышению уровня процента. Но затруднение возник здесь потому, что вместе с изменением спроса изменяется и предложе и изменяется как раз вследствие изменения спроса... Расширение же про водства означает увеличение спроса на денежный капитал; этот расшир щийся спрос находит, однако, и возросшее предложение, которое опре ляется увеличением количества кредитных денег, вытекающим из расшире производства. Следовательно, изменение уровня процента наступит ли при том условии, если спрос на денежный капитал изменяется сильнее, ч его предложение: например, уровень процента повысится, если спрос н денежный капитал возрастает быстрее, чем увеличивается количество кр дитных денег. Но при каких условиях это может наступить?.. Те сум которыми можно располагать для кредитных операций, сокращаются пото что часть наличных денег требуется для указанных сейчас функций ино рода. В конце концов увеличение количества кредитных денег начнет отс вать от требований возрастающего производства и обращения, как толь эпоха оживления начнет подходить к концу, и в сбыте товаров наступ заминка или замедление... Итак, если абсолютная величина процента завис от состояния капитального кредита, то ее изменения зависят прежде все от состояния оборотного кредита» (Ф. К., 95—96 стр.).

После этого «обстоятельного» об'яснения Гильфердингом пр чины изменения уровня процента, число неясностей увеличивается Состояние процента зависит от спроса и предложения денежно капитала, а изменение его зависит от того, как быстро обгоняет спро на денежный капитал существующее предложение. Очевидно, ч спрос и предложение ссудного капитала по Гильфердингу определяг уровень процента статически, динамика же движения процента зав сит от других причин. Но тогда Гильфердингу необходимо было б пояснить, что он понимает под статическим уровнем процента (ил как он его называет—абсолютным) и что он понимает под динам кой процента (или как он выражается—изменением)?

По Гильфердингу абсолютная величина процента зависит о спроса и предложения ссудного капитала или от «состояния капи тального кредита», а изменение процента зависит от состояния об ротного кредита или, как он в тексте пространно об'ясняет, от с стояния тех сумм кредитных денег, «которыми можно располагать для кредитных операций» и которые с увеличением спроса «сокра щаются потому, что часть наличных денег требуется для... функци ного рода». Но где же тогда логика? Денежная сумма, котора образует предложение, — по утверждению Гильфердинга, — сост вляется из двух частей: во-первых, из наличных денег и, во-вторых, из кредитных денег (Ф. К., стр. 95). Вследствие уменьшения предложе ния кредитных денег, т.-е. одной из составных частей предложени ссудного капитала, все больше прибегают для удовлетворения спрос к наличным деньгам. В том и другом случае мы имеем дело со спро

сом на ссудный капитал, от движения которого зависит не только общее состояние процента, но и его изменение. И совершенно непонятным является, почему Гильфердинг считает недостаточным об'яснение, что изменение уровня процента зависит от соотношения спроса и предложения?

Все возникшие недоумения и неясности по поводу об'яснения Гильфердингом причин общего состояния и изменения уровня процента не могут быть им самим разрешены, ибо они являются прямым следствием той путаницы, которая у него царит по всем вопросам кредита. Совершенно не случайным является его «двупричинное» об'яснение величины уровня процента. Как мы показали, Гильфердинг не понимает особенностей категории ссудного капитала. Ссуду он понимает лишь как передачу известной суммы денег, которые могут быть предоставлены путем передачи кредитных денег через оборотную форму кредита, или путем перемещения незанятых денег — через капитальную форму кредита, т.-е. ссуда денег осуществляется и капитальным, и оборотным кредитом. И вот, когда перед ним встает вопрос, отчего зависит величина процента и его изменение, он становится втупик. Если бы он об'яснил причину изменения величины процента одним только оборотным кредитом, то не было бы ясно, какова роль капитального кредита. Если бы он об'яснил состояние процента и причины его изменения только одним движением капитального кредита, то не было бы ясно, какова функция оборотного кредита, и какое влияние оборотный кредит оказывает на движение уровня процента. Гильфердинг «легко» выходит из этого затруднения: он устанавливает, что величина процента зависит от состояния капитального кредита, а ее изменение зависит от движения оборотного кредита. Voilà ce que parler veut dire!!

У Маркса, как известно, на сей счет существует четкий и недвусмысленный ответ:

> «Изменения уровня процента... зависят от предложения ссудного капитала, который ссужается в форме денег, металлических денег или банкнот, в отличие от промышленного капитала, который, как таковой, в товарной форме ссужается при помощи коммерческого кредита в среде самих агентов производства» (К. III. 2. 37).

Коммерческий кредит через учет векселей может также оказывать влияние на норму процента, но лишь через его «смычку» с банкирским кредитом. Вообще же норма процента всегда зависит от спроса и предложения ссудного капитала. Поскольку Гильфердинг не принимает ни марксовых категорий ссудного капитала, ни его основы классификации кредита, он, конечно, не может согласиться и с его об'яснением причин изменения процента. Гильфердинг поступает совершенно логично, когда заявляет, что он «не согласен» с Марксом по вопросу о причинах изменения уровня процента.

В дальнейшем Гильфердинг уточняет свои выводы относительно причин изменения процента, что в основном сводится к следующему его положению: «истощение золотого запаса, который мог бы быть ссужен, дает непосредственный толчок к повышению банкового учетного процента... и целью повышения дисконта является как раз создание обратного притока з о л о т а» (Ф. К., 98).

Хотя Гильфердинг раньше утверждал, что изменения величины процента зависят от состояния оборотного кредита, однако при уточнении вопроса он приходит уже к другому выводу, где его непоследовательность еще больше выявляется. Мы видели, что по Гильфердингу остаток золотого запаса, который мог бы быть ссужен,

является тем толчком, который содействует повышению уровня процента. Но золотой запас безусловио представляет собою неиспользованные деиьги и их продвижение в качестве ссуды осуществляется капитальиым кредитом. Следовательио, в даиином случае изменения уровня процента зависят от фуикций перераспределения остатка золотого резерва капитальным кредитом, т.-е. измеиения процента зависят от движения капитальиого кредита. Но почему же тогда Гильфердииг двумя страиицами раиьше утверждает, что изменения величиньы процента зависят «прежде всего от состояиия оборотного кредита»?

Гильфердииг считает, что «одиовремеиио с возрастаннем золотого запаса и миинмума обращеиия возрастает и та сумма золота, которая в зпохи высокой кои'юиктуры дополнительио поглощается обращеиием. Но по Гильфердингу рост средств обращеиия означает также и рост предложения ссудиого капитала. Нечего и говорить, что зто иеверио, ибо между предложеиием ссудиого капитала и денежным обращеиием ие существует той связи, иа осиове которой можно было бы утверждать о прямой зависимости между ссудиым капиталом, деиежным обращеиием и золотым резервом баика. Увелнчение предложеиия ссудиого капитала ие зависит от золотого запаса, потому что между ссудиым капиталом и золотым запасом ие существует никакой установлеииой пропорции. На фактах развития отдельных стран легко доказать, что сумма кредитиого оборота растет ие пропорциоиальио быстрее, чем золотой запас баиков. Чем больше развита какаянибудь страиа, тем относительио меиьше золотой резерв по сравнению с размерами ссудио-деиежиого капитала. Так, иапример, в России золотой запас был гораздо больше, чем в Аиглии, хотя Россия в кредитном отиошеиии далеко отставала от той же Аиглии. Но никакой прямой связи также ие существует между деиежиым обращением и размерами ссудиого капитала, ибо, как мы уже это доказывали, накопление ссудио-деиежиого капитала может происходить при одних и тех же размерах деиежиого обращения, а иногда даже при уменьшающемся количестве средств обращеиии.

Это, коиечио, ие зиачит, что мы отрицаем сигиализирующее значение движения золотого запаса. Мы отводим должиое место учету движеиия золотого резерва в общем развитии кои'юиктуры, но не переоцеииваем его действия, как это делает Гильфердинг. Отвергая положение Гильфердиига, что движение золотого резерва приводит к повышению процента, иепосредствеино, и таким образом является «регулятором» процента, мы все же призиаем всю важиость и необходимость учета зтого фактора, как своего рода сигиализатора кои'юнктуры. Для иас является совершеиио очевидиым, что ие золотой запас создает «кои'юиктуру», а, иаоборот, кои'юиктуриые колебания вызывают те или иные движения золотого запаса. Золотой запас—это пульс капиталистической кои'юиктуры, ио иикто ие стаиет утверждать, что вследствие учащения пульса у больиого Х., последиий заболел, а очевидио скажут иаоборот, Х. заболел, что можио заключить по его учащеииому пульсу, т.-е. что ие от измеиения величины золотого запаса измеияется кои'юиктура, а иаоборот.

Точка зрения Гильфердиига по вопросу о зиачении движения золотого запаса, безусловио, расходится с точкой зрения Маркса по этому поводу. Маркс пишет:

«Отлив, непрерывный значительный вывоз благородного металла наступает, когда обратный приток капитала уже затруднен, рынок ве-

полнены и кажущееся процветание поддерживается только кредитом; когда, следовательно, уже существует очень усиленный спрос на ссудный капитал и потому уровень процента достигает по меньшей мере своей средней высоты. При этих условиях, отражающихся именно в отливе благородного металла, значительно усиливается влияние непрерывного извлечения капитала в такой форме, в какой он непосредственно существует, как ссудный капитал. Это должно оказывать прямое влияние на уровень процента» (К. III. 2. 110—112).

В этих нескольких приведенных строках из Маркса Гильфердингу дан ответ на всю ту путаницу, которую он «наплел» вокруг вопроса о роли золотого запаса в движении процента. Не золотой запас регулирует процент, а само движение золотого запаса обусловливается состоянием кругооборота капитала, от которого в последнюю очередь зависит изменение спроса на ссудный капитал. «Не количество ввезенного или вывезенного благородного металла оказывает влияние само по себе... с другой стороны, оно влияет, как перышко, которое, будучи прибавлено к нагрузке весов, оказывается достаточным, чтобы окончательно склонить на одну сторону колеблющееся коромысло,— оно влияет благодаря тому, что наступает при условиях, когда всякий прибавок в ту или другую сторону имеет решающее значение» (К. III. 2. 111).

Если вспомнить, что Гильфердинг при обосновании стоимости бумажных денег игнорирует золото, как организатора капиталистического процесса денежного обращения; что при обосновании кредитных денег вексель получает свою стоимость от товара, а не от золота, которого он предвосхищает, и с другой стороны, что при об'яснении причины изменения уровня процента Гильфердинг переоценивает роль золотого запаса, то многим эти необычайные колебания могут показаться очень странными и совершенно непонятными. Маркс этот вопрос пояснил в отношении Тука и Ллойд-Оверстона, но его пояснения с поражающей меткостью могут быть отнесены также и к Гильфердингу:

«Не говоря об ужасающем проявлении во время кризисов этого его (золота—И. М.) характера «оси», отсюда вытекает очень милый теоретический дуализм. Пока просвещенная экономия толкует «о капитале» ex professo, она с величайшим презрением взирает на золото и серебро, как на форму капитала, фактически в высшей степени безразличную и бесполезную. Как только она начинает говорить о банковом деле, все это совершенно изменяется, и золото с серебром становится капиталом par excellence, для утверждения которого следует жертвовать всеми другими видами капитала и труда» (К. III. 2. 113).

* * *

Противоречия и «несогласия» с Марксом приводят Гильфердинга к тому, что он для «спасения положения» вынужден перейти от обороны к нападению. Отдел о «Деньгах и кредите» он заканчивает атакой против Маркса. После его утверждения, что уровень процента изменяется с изменением золотой наличности банков, он делает следующий вывод: «Следовательно, тенденция к понижению уровня процента предполагало бы, что отношение наличного золотого запаса к спросу на ссудный капитал становится все благоприятнее, или, иначе, что золотой запас возрастает быстрее, чем спрос на ссудный капитал. В действительности, если сравнить между собою развитые капиталистические отношения, то невозможно будет констатировать такую тенденцию к постоянному понижению размера процента. Этой тенденции невозможно постулировать и теоретически: ведь одновременно с возрастанием золотого запаса и минимума обращения возрастает

и та сумма золота, которая в эпохи высокой конъюнктуры дополнительно поглощается обращением» (Ф. К., 98—99).

Чтобы опровергнуть Марксово положение о существующей тенденции нормы прибыли к понижению, Гильфердинг приводит теоретические и статистические доводы. Сначала разберем его теоретические доводы, а потом его эмпирико-статистические.

Маркс обосновывает свое положение о тенденции нормы процента к понижению следующим образом:

> «Существует тенденция к понижению процента, совершенно независимо от колебаний нормы прибыли. И главные причины тому двоякого рода: 1) вследствие роста класса рантье и количества людей, которые могут ссужать свободные капиталы (установ. по отрывку из Ramsay, Essay on the Distribution of Wealth, p. 201), 2) давление на размер процента должно также оказывать развитие системы кредита, постоянно возрастающая вместе с ним власть промышленников и купцов распоряжаться при посредстве банкиров всеми денежными сбережениями всех классов общества и прогрессирующая концентрация этих сбережений до таких размеров, при которых они могут действовать как денежный капитал» (К. III, 1, 346—347).

По Марксу вследствие этого получается, что в стране, где больше развита кредитная система, где больше имеется накоплений и где сильнее проведена централизация сбережений, там процент будет более низкий, чем в стране отсталой и менее развитой. По той же причине Маркс утверждает, что процент имеет своим пределом величину нормы прибыли, хотя изменение уровня процента не зависит непосредственно от изменения нормы прибыли. Гильфердинг нигде не отрицает положений Маркса: 1) что существует тенденция к понижению нормы прибыли в капиталистическом обществе и 2) что в отсталых странах норма процента всегда выше, чем в развитых. Тем не менее, он все же считает, что теория и практика «не подтверждают догмы о понижении величины процента» [1].

Где же тогда логика?

Если в отсталых странах процент выше, чем в развитых, то как же может одновременно уровень процента в развитых странах находиться в одном положении или даже повышаться? Логически тогда можно допустить, что уровень процента в отсталых странах может быть равен или даже ниже его, чем в развитых странах, что является просто бессмыслицей.

Не лучше обстоит дело у Гильфердинга с вопросом о соотношениях между нормой прибыли и нормой процента. Гильфердинг признает (а он нигде этого не опровергает), что в капиталистическом обществе господствует закон тенденции нормы прибыли к понижению. С другой стороны, он пишет, что:

> «Понижение нормы прибыли только в том случае знаменовало бы понижение уровня процента, если бы процент составлял бы какую-либо устойчивую долю прибыли, чего нет в действительности. Понижение нормы

[1] Любопытно, что, когда Гильфердингу это выгодно, он пользуется законом, установленным Марксом о «тенденции нормы процента к понижению». Так, например, при изложении вопросов экспорта капитала он пишет: «Обостренная конкуренция иностранного ссудного капитала имеет тенденцию быстро понижать норму процента и в отсталых странах» (Ф. К., 356). Следовательно, если существует тенденция к понижению нормы процента «и в отсталых странах», то она подавно существовала и существует в развитых капиталистических странах. Но тогда в чем же Гильфердинг не согласен с «догмой» Маркса, которая не подтверждается ни теорией, ни практикой?

прибыли имеет, самое большее, то значение, что понижается теоретически возможный максимальный предел процента, именно вся прибыль; но так как эта максимальная граница вообще не может достигаться процентом на сколько-нибудь продолжительное время, то это «констатирование» не имеет никакого значения (Ф. К. 100—101 стр.).

Но тогда выходит по Гильфердингу, что прибыль может снижаться, а норма процента одновременно может повышаться. А это, как известно, может привести к тому, что процент окажется большим, чем сама прибыль, лишь часть которой процент составляет. Маркс считает, что при прочих равных условиях «функционирующий капиталист способен и согласиться платить высокий или низкий процент в прямой зависимости от уровня нормы прибыли», но Гильфердинг этого допустить не может и с его точки зрения «понижение» нормы прибыли имеет, самое большее, то значение, что понижается теоретически возможный максимальный предел процента». После этого не трудно заключить, что Гильфердинг не только не понимает Марксовой диалектики, но что он очень часто грешит и против формальной логики.

В дальнейшем Гильфердинг переходит к опровержению догмы Маркса на основе эмпирического материала. Данные, которые приводятся им в отношении Голландии XVIII века, мы здесь не будем ни рассматривать, ни опровергать, ибо эти данные относятся к простому товарному хозяйству, а Маркс рассматривает систему кредита лишь в капиталистическом обществе. Гильфердинга, конечно, такие методологические пустяки не интересуют, но это потому, что он вообще не понял марксову теорию кредита.

Данные, которые «мобилизует» Гильфердинг для опровержения марксовой догмы о понижении уровня процента, черпаются им из статьи Альфреда Шионера («Zinsfuss und Krisen im Lichte der Stafistik», Berliner Tageblatt 26, 27, XI. 1907»). Что эти данные говорят против Гильфердингом, в литературе уже отмечалось (Мотылевым, Богдановым и др.), но нам хотелось бы отчетливее подчеркнуть допущенные Гильфердингом неправильные методологические приемы при использовании приведенных данных, а также выявить те неправильные выводы, которые у Гильфердинга имеют место. Во-первых, чтобы судить о тенденции нормы процента к понижению, необходимо провести сопоставление цифр средней нормы процента за достаточно большой промежуток времени, а во-вторых, «чтобы найти среднюю норму процента, необходимо: 1) вычислить средний размер процента из его изменения во время крупных промышленных циклов; 2) вычислить размер процента при таких приложениях капитала, когда последний ссужается на сравнительно продолжительное время» (К. III. 1. 347). Гильфердинг же 1) делает вывод о том, что не существует тенденции нормы процента к понижению лишь на основе данных первых пяти лет начала XX века; 2) он рассматривает цифры средней нормы процента по годам, а не средний размер процента из его изменений во время промышленного цикла, и 3) он делает свои выводы лишь на основе рассмотрения среднего уровня учетного процента 4 крупных европейских эмиссионных банков, не учитывая нормы процента на долгосрочные ссуды. А ведь известно, что учетный процент банков касается лишь краткосрочных ссуд.

Неверная методологическая установка Гильфердинга приводит его к тому, что даже данные, которыми он пользуется по собственному усмотрению, говорят против него.

Это особеиио иаглядио видио из разбора следующей таблиц которую он также заимствует из статьи Альфреда Швоиера.

Средний уровень учета за последние пять 10-летий

Годы	Английский банк	Французский банк	Германский Имперский банк	Австро-Веигерский банк	Средняя величина всех банков
1897—1906	3.52	2.85	4.28	4.05	3.67
1887—1896	3.04	2.71	3.59	4.21	3.38
1877—1886	3.19	2.96	4.11	4.26	3.63
1867—1876	3.25	3.89	4.34	4.85	4.08
1857—1866	4.82	4.48	4.83	5.06	4.79

Если вдуматься в приведеииую таблицу, то легко заметить сл дующее:

1) Что в то время, как в более развитых капиталистичес страиах средияя иорма процеита за 10-летие 1897—1906 повышает в капиталистических страиах меиее развитых, в которых проведе меиьшая коицеитрация баикового дела, эта теидеиция проявляет слабее, или вовсе ие проявляется. На протяжеиии пяти 10-летий сущ ствует определеииая теидеиция иормы прибыли к поиижению в дл в последиие десятилетия эта теидеиция иарушается, прн чем не в ра иой степеии для всех страи. Так, иапример, иаибольший скачок к пов шеиию размера процеита за последиие десятилетия дает Германск Имперский баик + 0,69, по сравиеиию с предыдущим десятилетие Совсем ие дает иикакого повышеиия Австро-Веигерский банк, и даж иаоборот, процеит поиижается иа — 0,16. Незиачительиое повышени дает Фраицузский баик + 0,14. Англия дает большее повышени по сравиеиию с Фраицией, ио меньшее по сравнению с Германие всего + 0,48. 2) Что поворот к повышеиию средией нормы процеи обиаруживается лишь за десятилетие 1897—1906 с ростом концентр ции и цеитрализации баикового дела, с ростом крупиых капитал стических моиополий и их слияиия с баиковым капиталом, короч, ростом фииаисового капитала. При чем теидеиция к повышению про цеита всего резче проявляется в тех страиах, которые раньше и твер вступили иа путь развития фииаисового капитала.

Не говоря уже о том, что Швоиер сам заявляет, «что если позв лительио извлечь какие-либо общие выводы из статистики банковог учета в XIX веке, то оказывается, что ие обиаруживается никакой определеииой теидеиции кверху или киизу», что, иаоборот, «прогрес замечается постольку, поскольку с техиическими усовершенствов ииями банковой организации и деиежиой системы граница уров процеита оттесияется вииз» (цитируется по «Фииаисовому капитал 100 стр.). Гильфердииг проходит мимо этих заявлеиий, пропуская вышеприведеииую таблицу и делает такой «миогозиачительный вывод по поводу даииых из Швоиера:

«Из всего этого следует, что уровеиь процеита не определяется каким-либо образом иормой прибыли, а зависит от большего и меньшего спроса иа деиежиый капитал, обусловливаемого ускоренным или замедлеииым темпом развития, интеисивиостью и продолжитель иостью периодов процветаиия» (Ф. К., 101 стр.).

Что уровеиь процеита ие определяется нормой прибыли, это верн и по Марксу, ио что уровень процеита упирается в предельную вел чииу нормы прибыли, это также верио. Гильфердинг спорит проти последнего факта, ио самого главиого в этих приведенных из Швоиер даииых ои ие видит («слоиа-то ои и ие приметил»). В приведенн

таблице речь шла о тенденции нормы процента к понижению. Гильфердинг с этой «догмой» Маркса не согласен. Он приводит ряд доказательств в опровержение марксовой догмы. Этому должны также служить и данные, которые он приводит из статьи А. Швонера, но, судя по этим данным, получается совсем другая картина. Из них с очевидностью вытекает, что в течение всей 2-й половины XIX столетия, существует определенная тенденция нормы процента к понижению. Если бы сгруппировать данные по кон'юнктурным циклам, то картина не только не изменилась бы, но была бы еще более рельефной. Так как в периоды от 1873 до 1907 годов было много лет депрессий и частных кризисов, но не было всеобщего промышленного кризиса, то сопоставление данных средней нормы прибыли по десятилетиям, как это делает Швонер, является вполне правомерным и близким к истине. А из них следует, что поворот в отношении существования тенденции нормы прибыли к понижению наступает лишь с начала XX века, т.-е. за десятилетие 1897—1906 вместе с ростом финансового капитала. Гильфердинг, как автор «Финансового капитала», должен был бы знать, что с ростом монополии в промышленности растет также норма прибыли, а с ростом концентрации банкового дела растет и средний уровень процента. Последнее верно и теоретически, и статистически. Вместо об'яснения этого явления Гильфердинг ограничивается лишь «опровержением» Маркса.

Верен ли установленный Марксом закон о тенденции нормы прибыли к понижению для всех времен? Нет, он лишь верен для исторически-отграниченного периода, для периода господства промышленного капитала и свободной конкуренции. Когда свободная конкуренция сменяется монополией, этот закон претерпевает крупные изменения, но значит ли это, что Марксова «догма» не верна? Конечно, не значит! Наоборот, именно потому, что закон тенденции нормы прибыли к понижению правилен, именно поэтому легко об'яснить, почему он не применим в эпоху финансового капитала, когда свободная конкуренция заменяется господством капиталистических монополий.

То же самое имеет место и в случае с повышением уровня процента. Установленный Марксом закон о тенденции нормы процента к понижению так же верен, как установленный им закон о тенденции нормы прибыли к понижению. С развитием финансового капитала с нормой процента происходит то же самое, что с нормой прибыли. Если бы Гильфердинг излагал верно марксову теорию кредита, он легко мог бы понять и положение Маркса о тенденции нормы процента к понижению.

Гильфердинг заканчивает главу о проценте «с барабанным боем»:

> «Так как при развитых капиталистических отношениях уровень процента изменяется слабо, а норма прибыли, наоборот, падает, то доля процента в общей прибыли до известной степени возрастает по сравнению с предпринимательской прибылью, следовательно, доля праздных капиталистов возрастает за счет доли функционирующих. Это обстоятельство, правда, стоит в противоречии с догмой о понижении уровня процента, но зато согласуется с фактами и является одной из причин возрастающего влияния и значения капитала, приносящего проценты, следовательно, банков, и служит важным рычагом в превращении капитала в финансовый капитал» (Ф. К. 101).

Этот вывод Гильфердинга необходимо расчленить, тогда легко будет доказать и его несуразность. При промышленном капитализме норма процента имеет тенденцию к понижению, равно как и норма прибыли. Что «догма» Маркса о проценте верна, видно не только из доказательств Маркса, но и из данных А. Швонера, которыми

Гильфердниг пользуется. И еслн доля праздных капиталистов в общей прибыли возрастает, то ие за счет фуикционнрующих капиталистов, как утверждает Гнльфердииг, а за счет увелнчеиия количества капиталистов раитье, предпочнтающих получать «спокойио» процент, чем участвовать в производстве. О последием факте Маркс говорит, как об одиой нз причин теидеицни иормы процента к поииженню. Гильфердииг не прииял «догмы» Маркса о поииженин процента в капиталистическом обществе, поэтому он ие поиял н его обосиование причии этой самой «теиденцин». Следовательно, тот факт, что «доля процента в общей прибыли возрастает по сравнеиию с предприиимательской прибылью, ие только ие стоит в противоречни с догмой о поинжения уровия процеита, а подтверждает ее. Гильфердинг ие понимает разиицы (или сознательно путает) между «уровнем процента» и массой получаемых процеитиых деиег. Иначе бы он легко поиял, что тенденция нормы процента к поииженню, возможиая лншь при росте класса раитье и размеров свободиого деиежиого капитала, уживается с ростом доли процента в «общей массе прибыли», поскольку класс раитье растет, а фуикционирующие капиталисты все больше прибегают к ссудам деиежного капитала. Так разрешается первая часть вывода Гильфердинга.

В отиошеиии второй частн того же вывода иеобходимо иметь в внду, что в эпоху фииаисового капитала растет ие только уровень процеита, ио также и иорма прнбыли, в особениости монополистических предприятнй. И еслн доля процеита возрастает в общей прибылн, то потому, что ссудиый капитал при фниаисовом капитализме приобретает исключительио важиое зиачение в общем кругообороте капиталистического процесса воспроизводства. Количество промышленных магнатов сокращается, ио зато растет количество капиталистов-раитье и даже «стран-раитье». Следовательно, в этом факте не только нет инкакого противоречия «с догмой» о поинжеиии уровня процента, ио подтверждает его правильность, потому что финаисовый капитал смеияет промышлениый, где законы классического капитализма получают иовое преломление, а сам капнтализм получает иовое «качествеиное» развитие.

Из всего изложеииого в даиной статье следует: 1) что теория кредита Гнльферднига не является простым нзложением марксовой теории кредита, как и не является «углубленнем» этой теории. Теория кредита Гильферднига является прямым извращеинем действительной марксовой теории; 2) что теория Гнльфердиига является самостоятельной интерпретацией вопросов кредита н, как таковая, требует к себе сугубо-виимательного отношення и 3) что «расхождения» между Гильфердингом и Марксом по некоторым вопросам кредита являются не случайиыми, а вытекают из особенностей обосиования Гильфердингом теории кредита.

Методологическне ошибки, приведшне Гильфердинга к такому «смешеиню языков», нами в достаточиой мере вскрыты. Гильфердинг ие понял ин диалектического метода Маркса, ни осиов его учения о кредите. Он поэтому должеи был притти к «иесогласию с ним». А вступив с Марксом в «протнворечия», ои еще больше запутался н окоичательно попал в болото эклектизма.

Нечего и говорить, что иевериая трактовка вопросов кредита приводит Гильфердиига к большим ошибкам по вопросам конъюнктуры, воспроизводства и кризисов, а также и по вопросам империализма. Маркса иельзя «частично» приннмать, ибо ои логичен до конца. С Марксом иужио согласиться или иужио бороться. Гильфердинг

хотел занять нейтральное положение: «немножко» согласиться и «немножко» его опровергнуть. Это привело Гильфердинга к неразрешимым противоречиям. Гильфердинг думал, что он идет по марксистскому пути, а на самом деле он пошел «по номиналистическому пути». Это у него началось с неверной трактовки теории денег, красной нитью проходит через его теорию кредита, это же нашло свое проявление и в его теории кризисов. Разбор его теории кредита позволяет нам сделать вывод, что Гильфердинг задолго до своего политического отхода от марксизма отошел от него теоретически [1]).

---

[1]) Высказанное автором положение о том, что тенденция нормы прибыли к понижению перестает действовать в эпоху империализма, редакция считает дискуссионным. Ред.

Математика в диалектическом анализе в „Капитале“ Маркса [1]).

(Заметки).

И. Бутаев.

I.

В то время, когда капиталистическое общество вступило в эпох краха, когда осуществляются «пророчества» Маркса, как иеумолимы законы природы, и вся теоретическая система Маркса в этом нача шемся крахе капитализма находит высший критерии своей иаучности об'ективиости,—апологетическая буржуазная политическая экономи делает вид, как будто ничего особенного ие произошло и продолжа «развивать» «науку», выпячивая на первый план иовый ее разде-учение о кои'юиктуре [2]). Создаются специальные кои'юиктурные и ституты, выпускаются кои'юиктурные журналы, издаются толсты книги, и т. д. и т. п. И все это для того, чтобы показать во внешн данных, что кривая движеиия капиталистической экономики отвеча «вечным» формам движения капитализма. В качестве таких вечны форм буржуазными экономистами предлагаются всевозможные вид кривых (вековые колебания, большие циклы, трент-линии и т. д.). Ма лые промышлеиные циклы рассматриваются, как колебаиия более час иого характера на кривых более долговечного порядка. Если прол тарская революция в СССР не умещается на оси буржуазных предст влений о формах движения капитализма, то тем хуже для факто В соответствии с общей «социологической» установкой апологет капитализма острые углы движеиия периодических промышленн (по представлению буржуазиых экономистов—«малых») цикл приглаживаются. Само слово «кризис» считается иеподходящим выр жением для перелома кривой от расцвета к депрессии (Mitchell, «Bu siness Annals», «Business Cycles»).

Чем мощнее размах виутренних «вулкаиических» сил неизбеж сти гибели капитализма и иачавшегося его краха, тем упорнее стрем иия к представлеиию движеиия капитализма в таких внешних форм которые изображали бы «закономерное» и «нормальное» его развит

Заставить служить математику как иауку, дающую наиболее ч кие об'ективиые формы анализа, целевой установке буржуазной п литэкономии о вечности капитализма—не плохая идея. И она ее з ставляет служить буржуазиой экономии и иа ее ионом поприще: в у

---

[1]) Печатается в порядке обсуждения. Ред.

[2]) E. Varga, Conjunkturforschung und Krisentheorie, Intern. Presse Korresp. ... № 110. Русск. перевод в журн. „Миров. хозяйство и мировая политика“ 1927, № ...

ции о кон'юнктуре,—так же как она заставляла ее служить всей ненаучной буржуазной теоретической экономии. Будучи построена не на об'ективных формах познания, она пытается использовать формы анализа математики и прикрывает ими свое убожество и свою научную несостоятельность.

II.

Не случайно всплыл и обсуждается у нас вопрос о математическом методе в политической экономии. Чувствуется, что этим вопросом нужно заняться более основательно не только потому, что монополия на математику внешне находится у буржуазных экономистов, а и потому, что перед нами встали задачи изучения экономики переходного периода. На этом последнем поприще на долю математики выпадает, очевидно, не малая роль, ибо, как говорит Маркс, «по уничтожении капиталистического способа производства, но при сохранении общественного способа производства, определение стоимости попрежнему продолжает господствовать в том смысле, что регулирование рабочего времени и распределение общественного труда между различными отраслями производства, наконец, охватывающая все это бухгалтерия становится важнее, чем когда бы то ни было». (К. Маркс, т. III, 2, стр. 389, 1923).

Круг вопросов по применению математики в области экономических исследований обширен. Из этого круга вопросов мы считаем необходимым здесь прежде всего заняться вопросом о том, как использовывал Маркс об'ективные формы познания из области математики в анализе капиталистического общества и в создании научной политической экономии. Начать с этого мы считаем тем более необходимым, что эта сторона вопроса до сих пор не нашла, или почти не нашла, должного освещения.

III.

Метод познания, который дает нам диалектический материализм, представляет продукт исторического развития всего человеческого знания. Пользуясь этим методом, человек познает законы развития природы и общества. Метод познания последнего представляет исторический материализм. Применяя метод материалистической диалектики и исторического материализма, Маркс создает теорию капиталистического общества. Маркс использовывает не только эти фундаментальные формы познания, но, в качестве **вспомогательных**, и все об'ективные формы анализа, которые дала та или иная наука. В какой форме и в каком масштабе—это вопрос другой. Сюда не относится вопрос о соотношении диалектических и формальных элементов в той или иной науке. Мы не можем, например, здесь заниматься особо проблемой диалектического содержания математики. Эта в высокой степени интересная проблема лежит в плоскости подхода к математике под углом зрения **марксизма и математики**. Это совершенно новая область.

Маркс берет у каждой науки те ее формы познания, которые помогают ему в изучении капиталистического общества.

«Мы находим и в «Капитале»,—говорит тов. Рязанов,—ряд очень интересных методологических указаний и параллелей из области естественно-математических наук (математика, астрономия, механика, физика, химия, анатомия, физиология, геология и т. д.)» («Диалектика природы», предисловие).

Из естествеино-математических наук наиболее совершенными об'ективными формами позиания располагает математика, которая ходом исторического развития, в силу своей природы—сводить «движущее само по себе начало до степени материала ради того, чтобы получить в нем безразличиое, внешнее, безжизиениое содержание» (Гегель, Феноменология духа» (1913, стр. 21)—раиьше других иаук развилась в стройиую систему об'ективиых форм аиализа.

Целью настоящей работы и является показать, какое место занимают об'ективные формы позиания, позаимствоваиные Марксом у математики, в системе марксовой политической экономии, в его «Капитале».

Мы считаем, во-первых, что не может быть сомнений относительно примеиимости математики в экономическом аиализе; во-вторых, что место математических форм в аиализе капиталистического общества, в качестве диалектических вспомогательиых форм позиания [1]), определено характером этих последиих, и, в-третьих, что об'ективиые формы позиания, которые дает математика, не являются только формами изложения, а являются **ф о р м а м и и с с л е д о в а н и я** в пределах, определеиных диалектикой и марксистской социологией.

Может ли математика найти более благоприятные условия применения в экономической теории, чем в условиях, указанных об'ективными теоретическими формами позиании. В руках буржуазных экономистов математика об'ективных иаучиых рамок применения не имеет. Несмотря иа это, однако, оиа больше всего употребляется буржуазными экономистами. Другой вопрос, что такое употребление математики является скорее злоупотреблением математикой. Но это—факт, и этот факт иаходит выражение своего исторического бытия в лице так называемой математической школы. Математические формы позиаиия являются у этой школы все охватывающими формами позиаиия, иа основе той «социологической» установки, что капитализм вечеи.

Нечего и говорить, что такая, ни на чем не основывающаяся математика дает результат, который картинно изображен Маршаллом в словах:

«Когда действительные условия определенных вопросов предварительно не изучены, подобного рода разработка (математическая) немногим лучше, чем насос для выкачивания нефти при отсутствии нефтеносного слоя» (цит. у Блюмина, «В. К. А.» № 16, стр. 89).

Можно ли после этого считать политико-экономистов, которые злоупотребляют математикой, в силу этого «геростратовски» исторического факта, математической школой в политической экономии. Не правильнее ли будет назвать действительной математической школой ту, которая правильно использовывает об'ективные формы анализа математики в политической экономии. Можно ли серьезно оспаривать, что такой политэкономией является Марксова политэкономия, построенная на об'ективных формах познания.

Если это положение недостаточно известно, то виноваты в этом сами марксисты, не показавшие до сих пор, как использована математика в «Капитале» Маркса.

---

[1]) Указание на вспомогательный характер математических форм анализа в этом смысле дает следующее место из опубликованного тов. Рязановым плана работ Энгельса: «Математика: **д и а л е к т и ч е с к и е в с п о м о г а т е л ь н ы е** средства — математическая бесконечность существует реально» («Диалект. пр.», Введение; курсив мой).

IV.

Каковы условия применения математики в политической экономии?

Необходимо, чтобы «... абстрактные фикции математики» не «создавали как бы некоторый экран между физической реальностью и тем способом, как математики понимают науку об этой реальности» (Ленин, т. X, 258, цит. физик Рей). Здесь речь идет о применении математики в области физики. Однако эта аналогия дает нам представление о тех границах, которые об'ективно имеются для применения математики в другой науке. Математика должна считаться с этими об'ективными границами, в противном случае применение математики может превратиться в злоупотребление математикой. Необходимо, чтобы математика не стремилась подчинить науку, для которой она дает лишь вспомогательные формы анализа. Экономист-математик должен чувствовать себя «стесненным грубыми материальными элементами, которые он находил недостаточно податливыми». Он не должен стремиться к тому, «чтобы возможно больше абстрагировать от них, или даже совсем игнорировать их». Иначе, «элементы, в качестве реальных, об'ективно данных, т.-е. в качестве физических элементов», исчезнут, останутся «только формальные отношения, представляемые дифференциальными уравнениями». Так обстоит дело при неправильном применении математики в науке физики (см. Ленин, т. X, стр. 259).

«Если математик,—говорит Ленин словами вышеназванного физика,—не окажется одураченным этой конструктивной работой своего ума..., то он сумеет найти связь теоретической физики с опытом» (Там же, стр. 259).

То же нужно сказать о связи теоретической экономии с математикой.

Применяя формы математического анализа, последние не должны поглотить материальной основы другой науки. Иначе «материя исчезает», остаются уравнения (Ленин, т. X, стр. 259). Иначе не математика служит политической экономии, а политэкономия приносится в жертву «конструктивной работе» ума экономиста-математика.

Однако есть ли «математический метод» только «тот способ анализа, который ограничивается выяснением одних лишь количественных отношений между элементами реального мира» (К. Милонов, «П. З. М.», «Ответ на ответ», № 1—2, 1925 г., стр. 232). Нужно полагать, что нет. Если бы мы приняли это положение за единственно правильное, мы имели бы в математике только формы функциональной зависимости, но никаких причинных форм анализа. А между тем математика построена как строгая система оснований и следствий, и она представляет из себя дедуктивную науку, развивающуюся от наиболее простых, всеобщих категорий к более конкретным. Последнее обстоятельство в высокой степени роднит систему математики с методом изложения Марксом «Капитала», или, вернее, это обстоятельство не могло не оказать влияния на способ изложения Марксом «Капитала».

И уже здесь имеется достаточно материала для аналогий. Это—первое.

Второе. Но у Маркса основным способом использования математики является использование возникающих в математике форм движения противоречий, диалектических форм,

простейшие примеры которых мы имеем в отрицательном, иррациональном, мнимом и т. д. числе.

И, наконец, третий способ использования математики заключается в применении функционально-количественных соотношений.

Мы косиемся только первых двух вопросов. Вопрос о применении функционально-количественных отношений оставляем пока открытым, хотя буржуазная политическая экономия совершает свои сомнительные подвиги именно в этой области. Это и понятно, ибо ей до использования диалектических форм математики так же далеко, как от земли до неба.

V.

Правы тт. Блюмин и Рубин, когда они говорят:

Первый: «... Сама система Маркса, по своему построению, очень напоминает стройную математическую теорию» («О математическом методе в политической экономии», «В. К. А.» № 16, стр. 81).

Второй: «Система Маркса изучает ряд усложняющихся типов производственных отношений людей, которому соответствует ряд усложняющихся форм вещей» («Очерки по теории стоимости Маркса», стр. 27—28). Речь идет здесь не об анализе и восхождении от непосредственного данного к простейшим категориям, а о способе воспроизведения конкретного на основе простейших категорий (ибо «наиболее глубокое понятие обладает наиболее общим значением и применением» (Гегель, «Наука логики», ч. 1, 1916, стр. 143) при дедуктивном движении от общих категорий к конкретным, благодаря которому жизнь материала получает свое идеальное отражение (Маркс). В абстрактно-аналитическом анализе Маркс идет от доказанного к недоказанному, при этом нет никакого скачка через промежуточные звенья неизбежных этапов анализа. Так же, как в математике рассматриваются отношения и формы их движения, так в теоретической системе Маркса анализируются отношения, носителями которых являются вещи. Все это дает для математических форм анализа в политической экономии широкие области применения.

В вышеуказанной статье тов. Блюмин пишет следующее:

«Экономическая структура капиталистического общества, т. е. об'ект изучения, представляет из себя сложнейший комплекс производственных отношений, весьма разнородных и разнообразных, но связанных общим единством. На почве этих качественных различий между отдельными категориями, которые, в рамках данного капиталистического способа производства, могут быть сведены к количественным различиям, возникает ряд благоприятных возможностей для применения математики» (Там же, стр. 82).

Что касается вопроса о количественных соотношениях, то в этом отношении тов. Блюмин совершенно прав. Но ограничиваться этим нельзя, как это делают он, и тов. Милонов, перепрыгивая через возможности использования об'ективных форм исследования математики в вопросе возникновения внешней формы движения противоречий.

У Маркса математика играет значительно более широкую вспомогательную роль. В последующем изложении мы это покажем. Но, чтобы к этому перейти, сделаем небольшой экскурс в область математики.

VI.

Возьмем несколько примеров.

1. Когда мы имеем дело с случаем вычитания из трех—пяти, мы наталкиваемся в сущности на неразрешимое противоречие. Из трех вычесть пять нельзя. Степень наших познаний с одним лишь классом положительных чисел не может вывести нас из тупика. Противоречие, однако, не приостанавливает процесса, а находит свое разрешение в новой форме. Такую форму представляет сама невозможность, принимая форму этой невозможности за возможность. Невозможное становится возможным в новой форме, прежнее количество выражается в новом качестве. Таким образом, противоречие находит свое разрешение в форме отрицательного числа. И если мы принимаем форму отрицательного числа, то тупик преодолен. Невозможное стало возможным в иной форме. Отрицательная форма дала положительное разрешение процесса с его противоречиями.

2. Если нам нужно извлечь корень квадратный из какого-нибудь числа, чтобы совершить действие, обратное возведению в степень, то нужно найти такое число, которое, будучи возведено в степень показателя корня, дало бы подкоренное число. $\sqrt{}$ из 4 будет 2; $\sqrt{}$ из 9 будет 3. И так далее. Но вот нужно извлечь корень квадратный из 5. Нет ни одного положительного или отрицательного числа, целого или дробного, которое, будучи возведено в квадратную степень, дало бы 5. Здесь мы стали перед тупиком. Противоречие, однако, разрешается таким образом, что самая форма «$\sqrt{5}$» принимается за совершенное действие в самом этом неразрешенном виде. Таким образом, противоречие разрешено, благодаря возникновению формы его движения. Математика вступает в новую область класса иррациональных чисел, который по материальному содержанию равняется сумме положительных и отрицательных чисел. Так открываются новые горизонты для движений математических отношений путем возникновения форм движения противоречий. Само собой понятно, что и отрицательная и иррациональная форма числа суть отражение реальных отношений, а не только логически или диалектически порождаемые мышлением категории.

Например, $\sqrt{5}$ есть величина гипотенузы прямоугольного треугольника—форма соотношения гипотенузы и катетов.

3. В форме $\sqrt{-4}$ мы не имеем ни положительного, ни отрицательного числа, которое дало бы подкоренное число. Но мы можем упростить это число таким образом $\sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} = 2\sqrt{-1} = 2i$. Невозможность процесса нашла свое разрешение в новой форме мнимого числа.

4. Такую же форму мы имеем при возникновении комплексного числа.

И так далее.

Во всех этих случаях неразрешенная форма становится формой разрешения противоречий и осуществления процесса [1]. Формы эти возникают как результат причинно обусловленных явлений в развитии отношений.

[1] «...Гегель сказал относительно известных математических формул: то, что простой здравый смысл находит иррациональным, есть рациональное, а рациональное для него есть сама иррациональность» (К., III, 2, стр. 316, 1923).

VII.

Вот этим-то формам движения противоречий Маркс дает блест-щее применение в анализе капиталистического общества.

Прежде всего в качестве аналогии испольҙовывается сама за-дочность этих мнимых, иррациональных и т. д. форм.

«... Откуда возникает загадочный характер труда, как только эт-последний принимает форму товара?—спрашивает Маркс и отвечает,-очевидно, из самой этой формы» (К., I, 39).

Затем, аналогию дает то обстоятельство, что, несмотря на ирра-циональность и загадочность этих форм как в математике, так и капиталистическом обществе, они являются формами движения р-альных отношений и формами осуществления реального результа Так, несмотря на иррациональность капиталистических форм обще-ственных отношений они являются формами осуществления обще-ственного обмена веществ и соответствующего этому развития произ-водительных сил.

И в капиталистическом обществе,—

«процесс» обмена товаров заключает в себе противоречащие и исключающие друг друга отношения. Развитие этого про-цесса, обнаруживающее двойственный характер товара, являюще-гося потребительной стоимостью и меновой стоимостью, не устра-няет этих противоречий, но создает форму дл-их движения. Таков вообще тот метод, при помощи которо-разрешаются действительные противоречия. Так, например, в том, что одно тело непрерывно падает на другое и непрерывно же уд-ляется от последнего, заключается противоречие. Эллипсис—есть форм движения, в которой это противоречие одновременно и осуществляется и разрешается» (К., I, 74; курсив мой).

Описанные в математическом процессе формы выражения прот-воречий дают Марксу об'ективные формы для анализа таких эконо-мических явлений, которые по отношению к действительному пр-цессу представляют подобные же выражения, как иррациональные и мнимые числа по отношению к развитию отношений в математике.

Итак, «... Мнимые выражения возникают из самых производстве-ных отношений. Это—категории для форм проявления некоторых, де-ствительно существующих отношений. Что вещи в своем проявлении могут часто представляться в извращенном виде,—говорит Маркс,—признано, как будто, во всех науках, за исключением политической экономии» (К., I, 540).

В обмене товаров, «в этом простейшем явлении (в этой «клеточке» буржуазного общества)», мы имеем уже «все противоречия (ге-зародыш всех противоречий) современного общества. Дальнейшее изложение,—говорит Ленин о «Капитале» Маркса,—показывает на развитие (и рост, и движение) этих противоречий и этого общества в его основных частей, от его начала до его конца» («Большевик» № 5—6, 1925).

При этом то обстоятельство, что процесс обмена товаров заклю-чает в себе противоречащие и исключающие друг друга отношения, не устраняет этих противоречий, но создает форму для их движения» (К., I, 74; курсив мой).

Таков вообще тот метод,—говорит Маркс,—при помощи кото-рого разрешаются действительные противоречия».

VIII.

Перейдем теперь к тому, как познается необходимость возникновения этих форм, начиная от зарождения простого товарообмена и кончая капиталистическим способом производства.

Маркс пользовался математикой прежде всего, как системой восхождения от простейшего всеобщего к конкретному, генетически обусловленному развитием данной основы. Как развивается соответствующая основа и как она обусловливает возникновение иррациональных форм движения в капиталистическом обществе?

Противоречие товара, того, что вещь является одновременно потребительной стоимостью и стоимостью, воплощением конкретного и абстрактного, частного и общественного труда, ищет форму своего разрешения и движения и не успокаивается, пока ее не находит.

Как? x товара A обменивается на y товара B. Но как возникает материализованная форма движения противоречий, которые кроются в этом отношении?[1]

Чтобы дать ответ на этот вопрос, требуется проследить необходимость, в силу которой качественно разные товары обмениваются в определенных количествах. Чтобы вещи были количественно сравнимы, необходимо, чтобы они были сведены к соизмеримой основе, или вернее, чтобы они являлись выражением одной и той же соизмеримой основы. Чтобы это проследить, и проследить необходимость возникновения формы движения противоречия, возникающего из товарообмена, Маркс прибегает к помощи конкретных математических форм анализа.

Величины, стоящие в обеих частях вышеприведенного уравнения,—«количественно сравнимы,—говорит Маркс,—лишь после того, как они сведены к одной и той же единице измерения. Только как выражения, сведенные к одной и той же единице, они являются одноименными, а, следовательно, и, соизмеримыми (измеряемыми одной мерой) величинами» (К., I, 17; курсив мой).

При этом Маркс исходит из следующего: даны—товарное общество, товар, рынок, обмен, самостоятельные производители, следовательно, дано: x товара A = y товара B. Если мы имеем возможность такого обмена, то это в результате того, что «существует нечто общее равной величины» (К., I, 3), что делает товары обмениваемыми, в силу того, что «обе эти вещи равны чему-то третьему, которое само по себе не является ни первой, ни второй из них. Таким образом, каждая из них, поскольку она есть меновая стоимость, может быть сведена к этому третьему. Иллюстрируем это простым геометрическим примером. Для того, чтобы определить и сравнить площади всех прямолинейных фигур, последние рассекают на треугольники. Самый треугольник сводят к выражению, совершенно отличному от его видимой фигуры, к половине произведения основания на высоту. Точно так же меновые стоимости товаров необходимо свести к некоторой общей им всем основе, количественные видоизменения которой они представляют» (К., I, 3; курсив мой).

И вот такой общей основой, количественные видоизменения которой в уравнении обмениваются, несмотря на их внешний, материально-несоизмеримый вид,—такой общей основой является абстрактный человеческий труд, человеческий труд вообще.

[1] «...Сапожник, портной, булочник стоят друг против друга со своими товарами, в которых они взаимно нуждаются, и только вмешательство денег может разорвать этот порочный круг» (А. Паннекук, Теоретич. заметки и причине кризисов; Осн. пробл. полит. эк.; I изд., стр. 386—387).

Но этого еще недостаточно. Необходимо, чтобы кристалл «общим всем общественной субстанции» (К., I, 5), разрешающий противоречие, из случайно возникающего характера превратился в постоянную форму движения противоречия. *Необходимо,* чтобы *противоречие отношения нашло свою форму движения в материальном теле мерила стоимости,* необходимо, чтобы историей был выдвинут третий товар в виде денег.

«Таким образом, труд, реализованный в товарной стоимости, получает не только *отрицательное* выражение, как труд, от которого отвлечены все конкретные формы и полезные свойства действительных работ, но, кроме того, отчетливо выступает вперед и его *положительная* природа. Последняя состоит в сведении всех действительных видов труда к их общему характеру человеческого труда, к затрате человеческой рабочей силы» (К., I, 35; курсив мой).

Так выдвигается решение противоречия процесса товарообмена, возникающего на основе развития производительности труда. Процесс не уничтожается в результате затруднений, но выдвигает форму своего движения и разрешения тупиков и нелепостей. В самом деле,

«Когда я говорю,—пишет Маркс,—сюртук, сапог и т. д. относятся к холсту, как всеобщее воплощение абстрактного человеческого труда, то нелепость этого выражения бьет в глаза. Но когда производители сюртуков, сапог и т. п. относят эти товары к холсту, или,—что не изменяет дела,—к золоту и серебру, как к всеобщему эквиваленту, то им отношение их частных работ к совокупному общественному труду представляется именно в этой *нелепой* форме» (К., I, 4[illegible]; курсив мой).

Но эта нелепая форма есть форма разрешения нелепости, так же, как нелепые формы отрицательного, иррационального, мнимого и т. д. числа *суть формы разрешения нелепых тупиков.*

«Исторический процесс расширения и углубления обмена развивает дремлющее в товарной форме противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью. *Потребность дать для оборота внешнее выражение этому противоречию* заставляет искать самостоятельной формы для воплощения товарной стоимости и не дает покоя до тех пор, пока задача эта не решается окончательно путем *раздвоения товара на товар и деньги. Следовательно, в той же самой мере, в какой осуществляется превращение продуктов труда в товары, осуществляется и превращение товара в деньги»* (К., I, 56; курсив мой).

Таким образом, так же, как в математическом процессе число развивается в иррациональную, мнимую и т. д. форму отношения, так и здесь «стоимость, в отличие от пестрых в своем разнообразии тел товарного мира, развилась в эту *иррациональную* и в то же *время общественную форму»* (К., I, 71; курсив мой).

IX.

Дальше.

«Выражение стоимости товара в золоте: x товара A = y денежного товара, есть денежная форма товара, или его цена» (К., I, 64).

Вместо x товара A = y товара B, имеем x товара A = yД.

«Но если *цена,* как показатель величины стоимости товара, *есть* в то же время *показатель его менового отношения* к деньгам, то отсюда не вытекает обратного положения, что

показатель менового отношения товара к деньгам неизбежно должен быть показателем величины стоимости» (К., Г, 71; курсив мой).

«Следовательно, возможность количественного несовпадения между ценой и величиной стоимости, или возможность отклонения цены от величины стоимости, заключена уже в самой форме цены».

«Но форма цены не только допускает возможность количественного несовпадения между величиной стоимости и ценой, т. е. между величиной стоимости и ее собственным денежным выражением,—она может, кроме того, скрывать в себе качественное противоречие, вследствие чего цена перестает вообще быть выражением стоимости, хотя деньги представляют лишь форму стоимости товаров. Вещи, которые сами по себе не являются товарами, напр., совесть, честь и т. д., могут стать продажными для своих владельцев и таким образом при посредстве цены приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как известные величины в математике. С другой стороны, мнимая форма цены, напр., цена обработанной земли, которая не имеет стоимости, так как в ней не овеществлен человеческий труд,—может скрывать в себе действительное отношение стоимости или некоторое производное от них отношение» (К., I, 72; курсив мой).

Итак, противоречие товарной формы порождает форму своего движения в деньгах. Денежное выражение не только количественно может не совпадать с величиной стоимости, но скрывать в себе качественное противоречие, вследствие чего цена вообще перестает быть выражением стоимости. Мы здесь имеем, следовательно, не только иррациональную форму движения противоречия, но и его мнимую форму.

Качественные формы математического анализа помогают Марксу, в качестве об'ективных форм познания, вскрыть действительное содержание иррациональных форм общественных отношений в капиталистическом обществе и понять необходимость их возникновения.

Та самая основа — производительность труда, — которая проявляется в пестром многообразии товарных тел, с необходимостью выдвигает форму движения противоречий в стоимости, деньгах и цене. Весь товарный мир стремится выразиться в денежном выражении непосредственно общественной формы стоимости. Между стоимостью и ценой создаются зависимости, которые не могут быть охарактеризованы иначе, чем иррациональные и мнимые отношения. Значимость иррациональных и мнимых форм еще больше развивается, когда на рынке появляется рабочая сила, как товар, а в дальнейшем и деньги, как товар, и земля, как предмет купли-продажи.

Об'ективные формы познания, которые дает математика, помогают Марксу в достижении тех величайших открытий, о которых сам Маркс говорит в следующих словах:

«... Определение предметов потребления, как стоимостей, есть общественный продукт людей не в меньшей степени, чем, напр., язык» (К., I, 42).

X.

Деньги, как экономическая форма, есть конечный продукт простого товарного обращения (К., I, 120). С того момента, как деньги стали самостоятельной формой бытия стоимости, требовались лишь количественные изменения, чтобы этот последний продукт товар-

ного обращения сделался первой формой капитала (К., 1, 120), новой формой развития производительных сил. В этой новой форме стоимость оказывается «самостоятельно движущейся субстанцией, для которой товары и деньги представляют лишь формы проявления» (К., 1, 129), так как носителем процесса становится капитал.

«... Капитал, как общественное отношение, возникает на экономической почве, представляющей продукт длинного процесса развития. Наличная производительность труда, из которой он исходит, как из своей основы, есть не дар природы, а дар истории, охватывающий периоды не в столетиях, а в тысячи столетий» (К., I, 514).

Таким образом, в результате длинного процесса развития возникает качественно новая форма движения производительных сил, при которой труд становится наемным трудом, а носителем процесса—капитал. Основой процесса начинает казаться движение капитала, а не производительные силы труда.

«Производительные силы труда,—как исторически развившиеся, общественные, так и обусловленные самой природой,—говорит Маркс,—кажутся производительными силами капитала, когда последний овладевает трудом» (К., I, 518).

Работник не имеет теперь возможности «дать своему труду самостоятельное существование». Если бы он имел такую возможность,—«он продавал бы созданный трудом товар, а не самый труд» (К., I, 539).

Итак, мы имеем условия, при которых в меновых отношениях начинает фигурировать в качестве товара рабочая сила, не овеществленный труд, а живой труд. И вот требуется теперь об'яснить на основе данных—закона стоимости и капиталистического производства—возникновение и необходимость иррациональной формы заработной платы, как цены рабочей силы, или вскрыть действительное содержание этой иррациональной формы.

«... Прямой обмен денег,—говорит Маркс,—т.-е. овеществленного труда на живой труд, уничтожил бы или закон стоимости, который достигает свободного развития как раз на основе капиталистического производства, или же само капиталистическое производство, которое основывается как раз на наемном труде» (К., 1, 539).

Получается абсурдный результат, тупик, противоречие. Но этот результат не уничтожает процесса, а процесс находит форму своего разрешения. И этой формой является заработная плата.

Для того, чтобы вскрыть тайну заработной платы, Маркс прибегает здесь к помощи об'ективных форм исследований, о которых мы все время говорим. Указание на помощь математики в анализе заработной платы мы находим и у самого Маркса в письме к Энгельсу от 8 января 1868 г. В этом письме он говорит, «что зарплата есть и р р а ц и о н а л ь н а я ф о р м а проявления скрывающегося за ней отношения». Письмо кончается следующими словами: «Мне очень облегчило задачу то, что в высшей математике очень часто встречаются подобные формулы» («Письма», 1923 г., стр. 169).

Трудно сказать, в какой части «Капитала» математика не облегчила Марксу задачу изучения капиталистического общества и в том смысле, как мы это показали, и в смысле применения ее форм количественных отношений.

В анализе зарплаты Маркс помимо использования указанных форм анализа, или, вернее, чтобы вскрыть содержание этих форм, прибегает еще к методу приведения к абсурду. Анализ ведется таким образом.

Даны: A (все условия простого товарного производства и обмена), B (капиталистический способ производства), C (труд, как наемный труд). Требуется доказать: за счет чего растет капитал, откуда берется прибавочная стоимость.

Доказательство:

1. «Пусть, напр., рабочий день в 12 часов выражается в денежной стоимости в 6 шиллингов. Если обмениваются эквиваленты, рабочий получит за свой двенадцатичасовой труд 6 шиллингов. Цена его труда была бы равна цене продукта труда. В этом случае он не произведет никакой прибавочной стоимости для покупателя своего труда, эти 6 шиллингов не превратятся и в капитал, вместе с тем исчезнет самая основа капиталистического производства; но как раз на этой основе рабочий продает свой труд, как раз на этой основе его труд является наемным трудом» (К., 1, 539; курсив мой).

2. «Или же рабочий получает за 12 часов труда менее 6 шиллингов, т.-е. менее, чем 12 часов труда; 12 часов труда обменивают на 10, 6 и т. д. часов труда. Это приравнивание неравных величин не только делает невозможным определение стоимости, такое само себя уничтожающее противоречие не может быть вообще даже высказано или сформулировано в качестве закона» (К., 1, 539; курсив мой).

3. «Не поможет также делу попытка вывести обмен большого количества труда на меньшее из различия формы: из того, что в одном случае имеется овеществленный, в другом—живой труд. Это тем более нелепо, что стоимость товара определяется не количеством действительно овеществленного в нем, а количеством необходимого для его производства живого труда. Пусть товар представляет 6 рабочих часов. Если будут сделаны изобретения, благодаря которым его можно будет произвести в течение 3 часов, то и стоимость уже произведенного товара понизится на половину. Теперь товар этот представляет уже только 3 часа необходимого общественного труда вместо прежних шести. Таким образом величина стоимости товара определяется количеством труда, необходимого для его производства, а не количеством уже овеществленного в нем труда» (К., 1, 540; курсив мой).

Итак, мы пришли к абсурду, к опровержению данных исходных положений, предположив, что непосредственно труд обменивается на деньги. Следовательно, правильным может быть другое положение, именно, что «фактически на товарном рынке владельцу денег противостоит непосредственно не труд, а рабочий. Товар, продаваемый последним, есть его рабочая сила... Труд есть субстанция и имманентная мера стоимости, но сам он не имеет стоимости» (К., 1, 540).

Так обосновывается необходимость возникновения категории зарплаты, как формы движения капиталистической эксплоатации. «Напротив,—говорит Маркс по поводу Прудона,—попытки об'яснить такие выражения, как простые licentia poetica (поэтические вольности) свидетельствуют о бессилии анализа». Нужно об'яснить иррациональные и мнимые формы в капиталистическом обществе, как неизбежные формы движения противоречия, возникающие как формы движения противоречивой основы капитализма, а не как случайные порождения поэтической фантазии так называемых политэкономов.

«... Экономисты никогда не замечали, что ход анализа не только ведет их от рыночных цен труда и его мнимой «стоимости», но и

заставляет эту стоимость труда в свою очередь свести к стоимости рабочей силы» (К., I, 542; курсив мой), чтобы вскрыть истинное содержание иррациональных и мнимых форм и об'яснить необходимость возникновения последних для товарно-капиталистического общества.

Итак, к какому результату мы пришли? Очевидно, к следующему:

«Так как стоимость труда есть лишь иррациональное (противоречивое) выражение для стоимости рабочей силы, то само собою понятно, что стоимость труда всегда должна быть меньше, чем вновь созданная трудом стоимость, потому что капиталист всегда заставляет рабочую силу функционировать дольше, чем это необходимо для воспроизводства собственной стоимости» (К., I, 543).

Так разрешается «тот, на первый взгляд нелепый результат, что труд, создающий стоимость в 6 шиллингов, сам обладает стоимостью в 3 шилл.» (К., I, 543), хотя форма зарплаты стирает всякие следы разделения рабочего дня «на необходимый и прибавочный, на оплаченный и неоплаченный труд» (К., I, 543).

Если при прежних отношениях крепостничества разделение труда на оплаченный и неоплаченный различалось самым осязательным образом, то теперь «денежное отношение скрывает даровую работу наемного рабочего» (К, I, 543).

Отсюда колоссальное значение для капитализма возникновения иррациональной формы зарплаты, как формы движения капитализма.

«*На этой внешней форме проявления, скрывающей истинное отношение и создающей видимость отношения прямо противоположного, покоятся все правовые представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства*, все порожденные им иллюзии свободы, все апологетические увертки вульгарной экономии».

«Если всемирной истории потребовалось много времени, чтобы вскрыть тайну заработной платы, то, напротив, нет ничего легче, как понять *необходимость* raison d'être (причины существования) *этой внешней формы*» (К., I, 544; курсив мой).

Можно ли после этого сомневаться в той великой *вспомогательной* службе, которую сослужили об'ективные формы познания математики Марксу в исследовании капиталистического общества в том смысле, как мы это показали.

XI.

Таковы иррациональные формы движения капитала—так, как он сложился. Но капитализм не ограничивается этими формами движения, а выдвигает в процессе своего развития также форму осуществления всех заложенных в этом способе производства способностей. Эти формы помогают капитализму развиться до пределов. Но еще до того как капитализм исчерпывает заложенные в нем способности развития производительных сил, он время от времени выходит за свои собственные пределы. Время от времени чувствуется недостаточность выдвигаемых им форм его движения.

«В периоде перепроизводства и спекуляции,—говорит Маркс,—производительные силы достигают наивысшего напряжения, *выходя за пределы* капиталистических границ производственного процесса» (К., III, 2, 28; курсив мой).

Пределы развивающегося капитализма кроются в потребности капитала к возрастанию и в границах потребления капиталистического

общества. «Эти границы потребления раздвигаются напряжением самого процесса воспроизводства: с одной стороны, оно увеличивает потребление доходов рабочими и капиталистами, с другой стороны,— напряжение процесса воспроизводства тождественно с напряжением производительного потребления». (К., III, 2, 21).

Развитие капитализма происходит в границах этих об'ективных противоречий, и само развитие процесса необходимо выдвигает форму преодоления этих противоречий. Даже кризис является одной из этих форм исчерпания возможностей развития капитализма до конца, пока об'ективная неизбежность краха капитализма, как антагонистической формы, не осознается производителями и пока не вырастают суб'ективные факторы этого краха в лице пролетариата.

Когда об'яснены товар (стоимость), деньги (материализованная форма стоимости), капитал (самовозрастающая стоимость), заработная плата, как иррациональная форма движения в процессе капиталистического производства, как необходимые формы развития производительных сил,—должен быть поставлен вопрос о том, чтобы «найти и описать те конкретные формы, которые возникают из *рассматриваемого, как целое, процесса движения капитала*» (курсив мой), и проследить, как эти конкретные формы «шаг за шагом приближаются к той форме, в которой они выступают на поверхности общества, в действии различных капиталов одного на другой, и конкуренции и в обыденном сознании деятелей производства» (К., III, 1, 1—2). Или, иначе говоря, как развиваются иррациональные формы *осуществления и развития капиталистического способа производства до конца.*

XII.

Основной формой осуществления и разрешения противоречия капитализма, взятого в целом, в его динамике, является прибыль и ее движение, тенденция нормы прибыли к уравнению и тенденция нормы прибыли к понижению [1]). При условии этих тенденций цена становится еще в большей степени иррациональной, ибо между стоимостью и ценой возникает *превращенная форма стоимости, преломленная сквозь призму капитала*, в цене производства.

«Цена производства есть *иррациональная форма* товарной стоимости, в которой товар выступает в процессе конкуренции» (К., III, 1, 178; курсив мой).

Такое опосредствование стоимости есть теперь результат того, что «то, чего стоит товар капиталистам, измеряется затратой *капитала*, то, чего товар действительно стоит,—затратой *труда*» (К., III. 1, 2).

Поэтому «издержки производства приобретают в капиталистическом хозяйстве *ложный вид категории*, относящейся к самому производству стоимости [2]) (К., III, 1, 3; курсив мой).

[1]) О роли математической формы в исследовании этого вопроса сказано достаточно, поэтому на применении математики в анализе тенденции нормы прибыли к понижению мы не будем останавливаться.

[2]) «Как мы видели, говорит Маркс,— издержки производства товара меньше, чем его стоимость. Так как $Т = к + м$, то $к = Т - м$. Формула $Т = к + м$ лишь при том условии сводится $Т = к$, товарная стоимость=издержкам производства товара если $м = 0$, —случай, который никогда не встречается на основе капиталистического производства, хотя при особых рыночных кон'юнктурах продажная цена товаров может падать до или даже ниже издержек производства» (К., III. 1, 11).

Прибавочная стоимость рассматривается теперь не как результат труда, а как заслуга капитала. Таким образом, на одном полюсе цена рабочей силы является в превращенной форме заработной платы, то на противоположном полюсе прибавочная стоимость является в превращенной форме прибыли» (К., III, 1, 11).

В силу этого явления между ценой и выражаемой ею стоимостью получается иррациональная связь, а сама цена является тем более иррациональной формой стоимости, что она опосредствована иррациональной ценой производства. Детерминированное об'яснение того явления, что «будто издержки производства товара составляют его действительную стоимость, а прибавочная стоимость происходит из продажи товара выше его стоимости» (К., III, 1, 14), дается уже в иррациональной форме заработной платы.

Прибыль, которая представляет $\frac{м}{c+v} = \frac{м}{K}$, отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу прикрывает истинную сущность ее происхождения. Сама эта форма делает ее результатом всего капитала, а не переменной части его. Поэтому эта форма является наилучшей формой движения капитала, так же как процент проявляется как заслуга любого капитала.

Чтобы вскрыть сущность этой иррациональной формы, под которой затушевывается действительный источник прибыли, Маркс развивает длинную цепь доказательств, не пропуская ни одного из посредствующих звеньев. В отношении хода доказательств, приведем следующее место.

Прежде всего Маркс устанавливает истинный источник прибавочной стоимости и дает следующий закон:

«Производимые различными капиталами массы стоимости и прибавочной стоимости, при данной стоимости и одинаковой степени эксплоатации рабочей силы, прямо пропорциональны величинам переменных составных частей этих капиталов, т.-е. их составных частей, превращенных в живую рабочую силу».

«Этот закон,—говорит Маркс,—видимо противоречит всему опыту, основанному на внешней видимости...».

«Для разрешения этого кажущегося противоречия,—продолжает Маркс,—требуются еще многие промежуточные звенья, как в элементарной алгебре требуются многие промежуточные звенья для того, чтобы понять, что $\frac{0}{0}$ может представлять действительную величину» (К., I, 293).

XIII.

Высшим критерием деятельности капиталиста является высокая норма прибыли. Высокая норма прибыли получается в результате технических преимуществ и роста органического состава капитала. Рост органического состава капитала означает относительное уменьшение количества одновременно эксплоатируемых рабочих, и отношение $\frac{м}{c+v}$ обнаруживает тенденцию нормы прибыли к понижению, несмотря на рост массы прибыли. Однако это понижение прибыли имеет свой предел в проценте, в наиболее иррациональной форме движения денежного капитала.

«... Если предположить среднюю прибыль, как величину наперед данную, то норма предпринимательского дохода определяется не заработной платой, а размером процента» (К., III, I, 365).

Таким образом, представление о происхождении источника самовозрастания капитала из эксплоатации наемной рабочей силы уничтожается. Ведь независимо от того, употребляется капитал в промышленном кругообороте, следовательно, для эксплоатации наемной рабочей силы, или нет, капитал приносит процент.

Всмотримся в особенности этой новой формы движения капитала. Процент возникает, как цена ссудного капитала, обособленное существование которого вызвано самим характером кругооборота промышленного капитала, периодически высвобождающего капитал в денежной форме. Форма процента есть для промышленного капитала форма расширения и интенсификации производственного процесса. Свойство денег, как платежного средства, благодаря детерминирующему влиянию кругооборота производительного капитала развивается в свойство денег, высиживающих деньги. Здесь мы имеем нелепость. Несмотря на это,

«Простая форма капитала—деньги, которые затрачиваются в виде суммы А и через известный промежуток времени возвращаются обратно в виде суммы $A + \frac{1}{x}$ А без какого бы то ни было иного посредствующего звена, кроме этого промежутка времени,—есть лишь иррациональная форма действительного движения капитала» (К., III, 1, 1922, 334; курсив мой).

«В Д—Д мы имеем перед собою иррациональную форму капитала, высшую ступень искажения и овеществления отношений производства: форму, приносящую проценты, простую форму капитала, в которой он является предпосылкой своего собственного процесса воспроизводства; мы имеем перед собою способность денег или товара—увеличивать свою собственную стоимость независимо от воспроизводства,—крайнюю форму мистификации капитала» (К., III. 1, 379; курсив мой).

В движении денежного капитала мы имеем, таким образом, иррациональную форму движения действительного капитала, форму, которая представляет из себя обособление одной из трех фаз движения капитала, и которая разрешает противоречия и раздвигает пределы капитализма. Вместе с тем развивается и представление о цене, которая находит в цене капитала высшую извращенную, доведенную до абсурда форму.

«Если процент назвать ценой денежного капитала,—говорит Маркс,—то это будет иррациональной формой цены, совершенно противоречащей понятию цены товара. Цена сведена здесь к своей чисто абстрактной и бессодержательной форме, такой форме, что это есть определенная сумма денег, которая уплачивается за нечто, фигурирующее так или иначе в качестве потребительной стоимости; тогда как цена по своему понятию равна выраженной в деньгах стоимости этой потребительной стоимости.

«Процент, как цена капитала—выражение с самого начала совершенно иррациональное. Выходит, что товар имеет двоякую стоимость: во-первых, стоимость, во-вторых, цену, отличную от этой стоимости, между тем как цена есть денежное выражение стоимости» (К., III, 1, 389; курсив мой).

Итак, если возьмем формы движения промышленного, торгов
и ссудного капитала, то мы будем иметь такую картину:

1) Д—Т — $\genfrac{}{}{0pt}{}{\text{Сп}}{\text{Р}}$ ...П...Т′—Д′ (кругооборот пром. капитала);

2) Д—Т—Д′ (кругооборот торгового капитала);

3) Д—Д′ (кругооборот ссудного капитала).

Последние две формы являются производными формами от кр гооборота промышленного капитала, обособившимся в своем со ственном кругообороте. Во-втором случае—

«Форма купеческого капитала все же представляет процесс, еди ство противоположных фаз, движение, распадающееся на два прот воположных акта, на куплю и продажу. В Д—Д′, в форме капитал приносящего проценты, это изглаживается» (К., III, 1, 377).

В соответствии с тем, что самый процесс капиталистического пр изводства вызвал обособленные формы движения торгового и ссудно капитала, возникли и новые формы движения прибавочной стоимост Прибыль трансформируется в зависимости от возникновения этих н вых форм движения капитала.

«При разделении,—говорит Маркс,—на прибавочную стоимост и зарплату, на котором существенно основывается определение норм прибыли, определяющее значение оказывают два совершенно разли ных элемента: рабочая сила и капитал; это—*функции двух н зависимых переменных*, которые взаимно ограничива друг друга; и из их *качественного различия* происход *количественное разделение* произведенной стоимост Мы увидим позже, что *то же самое происходит* при р *лении прибавочной стоимости на ренту* и при *быль. По отношению к проценту не происход ничего подобного. Здесь качественное различие* наоборот, происходит, как мы сейчас увидим, из чисто колич *ственного разделения* одной и той же части прибавочно стоимости» (К., III, 1, 349; курсив мой).

Форма ссудного капитала, будучи порождена производительны капиталом, диктует распадение прибыли на процент и предприни тельский доход. Всякий капитал должен приносить прежде всего пр цент. Таким образом, «... в капитале, приносящем проценты, перед н ми выступает выработанный в чистом виде... автоматический фетиш самовозрастающая стоимость, деньги, высиживающие деньги, и в этой форме он уже не несет на себе никакого следа своего происхождени Общественное отношение получило законченный вид, как отношение некоей вещи, денег, к самому себе. Вместо действительного превра щения денег в капитал здесь имеется лишь бессодержательная форм этого превращения» (К., III, 1, 378).

Так об'ясняется необходимость возникновения иррациональных форм движения капитала и выражаемых ими противоречий и действи тельных отношений, которые под ними скрываются. Так познаются формы осуществления и разрешения противоречий, выдвигаемых ра витием капиталистического процесса.

В самом деле. «...Раньше было показано, что заработная плата или цена труда есть лишь иррациональное выражение стоимости или цена рабочей силы...» (К., III, 2, 360).

«...Труд—заработная плата, плата за труд, цена труда, как пока зано в книге 1, есть выражение, которое prima facie противоречи понятию стоимости, равно как и понятию цены, которое вообще есть

лишь определенное выражение стоимости; и «цена труда» столь же иррациональна, как желтый логарифм» (К., III, 2, 355).

Также в «форме: капитал—процент, отпадает всякое опосредствование, и капитал сводится к своей самой общей, но потому и необъяснимой из себя самой и абсурдной формуле». (К., III, 2, 355).

Еще бессмысленнее выглядит обращение земли в форме цены земли.

«...Хотя формула: капитал—процент, есть самая иррациональная формула капитала, но, тем не менее, это—его формула. Но каким образом земля может создать стоимость, т.-е. общественно определенное количество труда и даже ту особую часть стоимости, ее собственных продуктов, которая образует ренту». (К., III, 2, 361).

«Формула: капитал—процент (прибыль), земля—рента, труд—заработная плата представляет одинаковую во всех частях и симметричную несообразность» (К., III, 2, 351).

И, несмотря на эту несообразность, эти формы наиболее соответствуют капиталистическому способу производства, прикрывая действительные отношения эксплоатации. И потому-то апологетическая буржуазная политэкономия превозносит их и увековечивает.

«В капитал—прибыль или, еще лучше, капитал—процент, земля—земельная рента, труд—заработная плата в этом экономическом триединстве, изображающем связь составных частей стоимости и богатства, вообще с его источниками, оказывается завершенной мистификация капиталистического способа производства, овеществление общественных отношений, непосредственное сращение материальных отношений производства с их исторически-общественной формой: завороженный, искаженный и на голову поставленный мир, в котором monsieur le Capital и madame la Terre как социальные характеры и в то же время непосредственно как просто вещи совершают свой шабаш. Великая заслуга классической экономии заключается в том, что она разрушила эту ложную внешнюю видимость и иллюзию, это обособление и фиксирование различных общественных элементов богатства один от другого, эту персонификацию вещей и овеществление отношений производства, эту религию повседневной жизни,—разрушила тем, что она свела процент к части прибыли и ренту к избытку над средней прибылью, так что обе сливаются в прибавочной стоимости; тем, что она представила процесс обращения как простой метаморфоз форм и, наконец, в непосредственном процессе производства свела стоимость и прибавочную стоимость товаров к труду. Однако даже лучшие из ее представителей,—да иначе оно и быть не может при буржуазной точке зрения,—в большей или меньшей мере остаются захваченными тем миром внешней видимости, который они критически разрешили, и потому все в большей или меньшей мере впадают в непоследовательность, половинчатость и неразрешимые противоречия. Не менее естественно с другой стороны, что действительные агенты производства чувствуют себя совершенно как дома среди этих отрешенных от действительных отношений и иррациональных форм: капитал—процент, земля—рента, труд—заработная плата, потому что они живут и каждый день имеют дело ведь как раз с этими формами внешней видимости. Не менее естественно поэтому, что вульгарная экономия, которая есть не что иное, как дидактический, более или менее доктринерский перевод повседневных представлений действительных агентов производства, и которая лишь вносит известный разумный порядок в эти представления, что она именно в этом триединстве, в котором изглажена всякая

внутренняя связь, находит естественный, стоящий выше всяких сомн. ний базис для своей пустой претенциозности. В то же время эта фо мула соответствует интересам господствующих классов, так ка она прокламирует и возводит в догму естественную необходимость и вечное оправдание источников их дохода» (К., III, 2, 368).

XIV.

Поскольку математика использовывается буржуазными экономи стами, она использовывается ими в целях апологии капитализма. От сюда и те жалкие результаты, которые математика дает в их руках несмотря на об'явленную ими на нее монополию. Наоборот, матема тика использовывается Марксом для того, чтобы вскрыть истинное со держание, кроющееся под этими формами, которые буржуазная по литэкономика старается увековечить. И в наше время, в учени о кон'юнктуре буржуазные экономисты, использовывая математи так же как и математическая школа, пытаются увековечить да циклическую форму движения капитализма, как мы на это указа в начале этой работы. Математика Марксом использовывается н в целях увековечения, а в целях действительного постижения су ности капиталистического общества, несмотря на фетишистически характер его производственных отношений. Какие блестящие резу таты дает математика при соединении с об'ективными формами по знания исторического материализма и материалистической диалектик показывает «Капитал» Маркса. И это потому, что диалектически вспомогательные формы познания математики имеют опору в об'ек тивных формах познания диалектического материализма и маркси ской социологии, чего буржуазные экономисты в качестве исходны теоретических позиций не имеют, ибо у них нет научной социологи и научного миропонимания вообще.

Гениальная заслуга Маркса заключается в том, что, применяя ма тематику, он применил ее не только к анализе количественных отн шений—в этом отношении нет равного ему среди политэкономов,—н и в более глубоком смысле—использовании ее об'ективных форм по знаний для познания действительных отношений под фетишизиро ванными, мистифицированными формами капиталистического обще ства. Имея дело с отношениями, сведенными к соизмеримости, к ед ной трудовой основе, причинно обусловленными производительны способностью труда, система математических отношений, пропорци и т. д., находят здесь широкое поприще для применения. В этой ста мы эту сторону вопроса не рассматриваем. Но математика приме няется прежде всего в ее формах,—возникновения и осуществлени процесса,—отрицательного, иррационального, мнимого и т. д. А межд тем, люди, говорящие о применении математики Марксом, видят ли количественную, функциональную сторону применения математи и не видят того применения математики, которое мы здесь в общи чертах попытались набросать.

Социальные взгляды „бешеных“ [1]).

Я. Захер.

Характернейшей чертой социальных взглядов «бешеных» является то, что, исходя в основном и главном из тех же самых теоретических посылок, что и монтаньяры, «бешеные» их значительно углубляют и приходят в силу этого к выводам, представляющим значительные отличия от ходовых мыслей большинства их современников. Таков вывод, к которому приведет нас дальнейшее изложение.

В марксистской историографии неоднократно подчеркивалось то весьма слабое представление, которое громадное большинство монтаньяров (исключением среди них был едва ли не один Марат) имело о классах и классовой борьбе. Теоретически «бешеные» в этом смысле от монтаньяров ровно ничем не отличались, и было бы совершенно никчемным и заранее осужденным на неудачу делом искать в их произведениях каких бы то ни было намеков на сущность классовой борьбы и ее роль в истории, даже хотя бы отдаленно напоминающих то, что говорили по этому поводу Бариав или Марат. Напротив того, в большинстве произведений «бешеных» мы в большом количестве встречаем места, показывающие, что они, подобно Робеспьеру и робеспьеристам [2]), были очень часто готовы об'яснять партийную вражду противоречием между «добрыми» и «злыми» и соответственно этому видели выход из положения в пропаганде и прояснении сознания ошибающихся, за которым должны были последовать всеобщие об'ятия и примирение [3]).

Однако на ряду с этим теоретическим непониманием причин и значения классовой борьбы, там, где дело шло о практических выводах и о конкретном анализе отдельных событий, «бешеные» очень часто проявляли поразительную вдумчивость и глубокую проницательность, лишь с трудом совмещающуюся в нашем представлении с их теоретической наивностью в вопросах данного порядка. Самые яркие проявления этого любопытного, хотя и очень часто встречающегося, противоречия мы находим у Жака Ру.

Так, например, исключительно любопытна оценка социальных результатов революции, даваемая Жаком Ру в его «Речи о причинах

---

[1]) Настоящая статья составляет главу из находящейся в печати книги «Бешеные», написанной на основе материалов Национального архива и Национальной библиотеки в Париже.

[2]) См. Я. М. Захер, Робеспьер, стр. 88—89; Н. Лукин (Антонов), Максимилиан Робеспьер, изд. 2, стр. 85.

[3]) См., напр., Jacques Roux, «Discours sur les moyens de sauver la France et la liberté», p. 47 (Bibl. Nat., Lb^{39} 10782); «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 1 (Arch. Nat., W^{20}); «Le Publiciste de la République Française par l'Ombre de Marat», № 246, p. 6; № 255, p.p. 7—8; № 265, p. 6 и т. д., и т. д. (Bibl. Nat., Lc^{2} 227).

несчастий Французской республики» и затем дословно повторенная им в № 249 «Публициста Французской Республики»:

«Поразительным феноменом революции, поверить которому потомство сможет лишь с величайшим трудом, является то усердие, с которым враги свободы морят голодом, разоряют и приводят в отчаяние народ. Даже в те времена, когда воровство было узаконено государством под видом торговли, не видано было такого количества вампиров и кровопийц, как сейчас, когда спекуляция достигла предела, а трудящийся класс общества лишился возможности существовать на политой его слезами почве. Можно даже сказать, что богатый получил над бедным право жизни и смерти..

«... Но не будем обвинять революцию в том, что она является источником наших бедствий. По своей природе она должна была обеспечить лучшую участь несчастному рабочему и классу людей, угнетаемых феодальным деспотизмом... Но роковой декрет, запретивший, посредством торговли деньгами, обесценение ассигнатов, дал ростовщикам и контрреволюционерам возможность жиреть за счет общественных бедствий... Узурпированные духовенством владения, а равно и национальные имущества *перешли в руки людей, обогатившихся за счет крови вдов и сирот* (Курсив наш.—Я. З.) [1]).

Уже подчеркнутые нами слова показывают, насколько ясно сознавал Жак Ру столь характерный для Французской революции процесс создания во время ее и вследствие ее так называемых «новых богачей»; но следующий абзац из той же «Речи о причинах несчастий Французской республики» демонстрирует это еще более отчетливо:

«Раскройте перед нами ваши бумажники!– говорит в этой речи Жак Ру, обращаясь к «новым богачам». Ваше быстрое обогащение лучше всего свидетельствует о ваших разбоях, изменах и злодеяниях. До взятия Бастилии вы были в лохмотьях, а ныне вы своей роскошью оскорбляете общественную нужду. Вы едва ли имели жилище, а ныне вы обитаете во дворцах. Вы владели лишь сохой, а теперь вы хозяева значительных имений. Вы занимались торговлей в разнос, а теперь вы сооружаете военные корабли. Члены ваших семей протягивали руку первому встречному и жили лишь милостыней, а теперь им доверено снабжение наших сухопутных и морских сил. Можно ли после этого удивляться, что повсюду встречаешь людей, преданных на первый взгляд революции,—ведь она предоставила им полную возможность,—и притом в течение краткого срока,—скопить громаднейшие сокровища, покрыв вместе с тем их хищения непроницаемым покровом!» [2]).

Столь же ясное понимание социальных результатов революции находим мы и у Леклера:

«Место дворянской и священнической аристократии заняла аристократия буржуазная и торговая. Этот класс, составляющий в некотором роде промежуточную касту между первым (т.-е. аристократией.—Я. З.) и народом, приобрел, в результате своего богатства, столько же потребностей а следовательно, и столько же пороков, сколько и высший класс. Принципиально он встретил довольно дружелюбно революцию, уравнивавшую его с высшим классом. Но когда народ, сильный своим могуществом, своей храбростью и сознанием своих прав, потребовал установления равенства и основал Респуб-

[1]) «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 14.
[2]) Ibidem, p. 15.

лику, эти господа сделались его самыми ожесточенными врагами и встали на путь своих предшественников» [1]).

Если этот поразительный по своей четкости классовый анализ может быть вполне повторен современным историком, вскрывающим генезис классовых отношений эпохи Великой Французской революции, то совершенно то же самое можно сказать и о том номере газеты Леклера, где он пытается об'яснить социальные корни лионского восстания:

«С самого начала революции Лион проявлял отчетливейше выраженные признаки неблагонадежности. Он даже не изменил своей аристократии. В нем, как и во всех крупных городах, богатый негоциант роскошествовал не менее, чем дворянин. Поэтому он не имел никакого интереса в уничтожении дворянства и духовенства и, напротив того, имел очень большой интерес помешать углублению революции, могущей привести к падению производства предметов роскоши, на сбыте которых строилось накопление громаднейших богатств...» [2]).

Совершенно очевидно, что этот блестящий анализ конкретных классовых противоречий, обнаружившихся в ходе революции, должен был привести «бешеных» и к теоретическим выводам, явным образом противоречащим установленному нами выше непониманию ими сущности и значения классовой борьбы. Однако, несмотря на это противоречие, обе точки зрения мирно уживались в идеологии «бешеных», и примеры их сосуществования могут быть найдены почти в любом из их произведений.

Так, если взять Жака Ру, то на ряду с уже отмеченными выше местами, в которых он призывает к общему примирению и забвению обид, мы находим у него и абзацы, в роде следующего:

«Было бы верхом безумия полагать, что высокопоставленные разбойники, мнящие себя богами на земле, будут помогать революции, уравниваюцей их с теми, кто, по их мнению, должны ползать перед ними в пыли. Было бы верхом безумия думать, что мерзавцы, своим достоинством и богатством обязанные одним только интригам, и случайности рождения, полюбят революцию, предоставляющую посты лишь тем, кто заслужили их своими талантами и добродетелью... Те, кто прислуживали в передних королей, либо состояли тюремщиками Бастилии или шпиками инквизиции; те, что жалеют о своем мундире или алтаре; те, кто жирели кровью и слезами несчастных,—не могут быть подлинными республиканцами» [3]).

Но если, таким образом, анализ наблюдаемых ими явлений действительной жизни приводил «бешеных» к осознанию существования классовых противоречий и классовой борьбы, то нужно тут же отметить, что «бешеные», в отличие от физиократов и подобно своим предшественникам Жану Мелье, Вольтеру и Рейналю [4]), и своим современникам монтаньяра [5]) и Бабефу [6]), делили общество на классы по принципу не производственному, а потребительному. Поэтому они признавали существование не трех классов, как это полагали физиократы, а только двух: богатых и бедных, или, как выражался Жак Ру, «всегда угнетающих патрициев и всегда угнетенных плебеев» [7]).

[1]) «L'Ami du Peuple par Leclerc de Lyon» № II, p. 3 (Bibl. Nat., Lc² 704).
[2]) Ibidem. № XXIII. p. 4.
[3]) «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 19.
[4]) См. С. И. Солнцев, Общественные классы, 1923, стр. 22—36.
[5]) См. Я. М. Захер, Сен-Жюст, стр. 69—70; его же, Робеспьер, стр. 88.
[6]) См. П. П. Щеголев, Заговор Бабефа, стр. 118—119 и др.
[7]) «Discours sur les moyens de sauver la France et la liberté», p. 33.

Это разделение общества на два класса—богатых и бедны красной нитью проходит через все произведения «бешеных». Перв являются, по их мнению, виновниками всех несчастий революцион Франции; вторые же, напротив того, естественные союзники и наи лее преданные друзья революции.

«Подумайте о том,—говорит Жак Ру в своей «Речи о при нах несчастий Французской республики»,—что почти все богат являются по принципу виновниками преступлений и по привычк сообщниками королей. Заклятые враги народа, припасы коего они жирают, они неизменно проникнуты психологией рабов и составл заговоры, целью которых является снова заковать народ в цепи» [1])

Богатые, по мнению Жака Ру, с восторгом приветствовали победу внешних врагов и торжество внутренней контрреволюц «Если они иногда и берутся за оружие, то это лишь для защиты л ности и имущества угнетателя. Если они иногда и приносят на алта отечества ничтожные жертвы, то делают это лишь для того, чтоб надеть на себя маску лицемерия и таким образом легче обман народ... Богатые нас всегда предавали и всегда будут предава На войне они поведут наши полки на бойню; в столице они буд предавать права народа; в святилище законов они принесут в жерт невинность. Нет, одним словом, тех преступлений, на которые бы толкала богатых пожирающая их жажда золота» [2]).

В совершенно аналогичном духе высказывается Жак Ру в сво речи 25 июня («богатые торговцы, по самому своему существ соучастники преступлений и по привычке—сообщники королей» «богатые—это злые» [3]) и в издававшемся им «Публицисте Франц ской Республики». Так, в номере 249 он дословно повторяет всю пр веденную нами выше цитату из «Речи о причинах несчастий Франц ской республики» [4]), а в № 254 снова останавливается на доказател стве контрреволюционности богатых:

«Те, кто обогатились за время революции, т.-е. в то время, ког добрые граждане разорялись и приносили бесчисленные жертв являются, без всякого сомнения, эгоистами, мошенниками и контр революционерами. Можно с полным основанием утверждать, что он помогали эмигрантам и нанимали разбойников, дабы вызвать бесп рядки и толкнуть народ на восстания, грабежи и убийства. Мож утверждать, что они находятся в сношениях с тиранами и припрят вают и экспортируют товары; можно утверждать, что они дискред тируют наши бумажные деньги, дабы поднять ценность векселей, вы санных на Лондон, Женеву и другие места. Можно утверждать, ч они являются друзьями королей, сторонниками тирании, угнетател народа и палачами республики» [5]).

Совершенно так же, как Жак Ру, рассуждал и Леклер—мы уж приводили те цитаты из его газеты, где он доказывал неизбежнос контрреволюционного настроения буржуазии. То же самое мож сказать и о выступлении революционных республиканок, в котор они утверждали, что во главе контрреволюционного заговора сто

---

[1]) «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 2
[2]) Ibidem, p. 20.
[3]) Речь 25 июня 1793 г. в Конвенте, «Annales Révolutionaires», 1914, p. 5
[4]) Ibidem, p. 554.
[5]) «Le Publiciste de la République Française», № 249.
[6]) Ibidem, № 254, p. 5.

«торгашеская аристократия наглой касты», стремящаяся поставить себя на место короля [1]).

Но кого же противопоставляют «бешеные» тем богатым, которые, по их мнению, являются основным источником всех обрушившихся на революционную Францию бедствий? Мы бы тщетно стали искать у них точного определения этого понятия. Подобно тому, как и понятие богатых страдает крайней неопределенностью и расплывчатостью, и в определении их социального антипода «бешеные» вносят весьма мало ясности и точности. Это просто тот «трудящийся и бедный класс», которому обещает служить Леклер [2]), или те «неимущие» (indigens), которым Варле посвящает свой «План новой организации центрального клуба Друзей Конституции» [3]). Да и Жак Ру в своей речи 25 июня тщательно подчеркивает, что понятие бедных вовсе не идентично понятию рабочих [4]), в силу чего он об'являет себя защитником не только рабочих, но равным образом и мелких рантье [5]) и вообще всего «огромного множества людей», живущих в верхних этажах домов революционного Парижа, «лишенных хлеба и одежды и приведенных в такое состояние нужды и горя ажиотажем и спекуляцией» [6]). И неопределенность эта отнюдь не должна нас удивлять,— мы ведь неоднократно подчеркивали, что рабочий класс Франции в эпоху революции еще едва только начинал выделяться из общей массы мелкой буржуазии, и поэтому совершенно естественно, что аморфности его бытия соответствовала и аморфность его сознания.

Перейдем теперь к тому, что можно назвать социальными воззрениями «бешеных» в узком смысле этого слова. В основе их, также как и в основе социальной системы монтаньяров, лежал тот принцип Руссо, что, заключая общественный договор, люди «жертвуют одной частью своей свободы ради сохранения другой» [7]), при чем «первым чувством человека является чувство своего существования и его первой заботой—забота о самосохранении» [8]). Как известно, мысль эта была целиком воспринята монтаньярами; так, например, в составленном Робеспьером проекте Декларации Прав мы находим следующие пункты:

«Ст. I. Целью всякой общественной ассоциации является сохранение естественных и нерушимых прав человека и развитие всех его способностей.

«Ст. II. Важнейшими правами человека являются право на самосохранение и свобода» [9]).

А Сен-Жюст, перенося эти абстрактные положения в плоскость социального устройства общества, приходил к выводу, что «в мудро устроенном государстве хлеб по праву принадлежит народу» [10]).

---

[1]) A. Aulard, La Société des Jacobins, t. V, p. 199. Ср. нашу статью «Клара Лакомб и клуб революционных республиканок 1793 г.», напечатанную в сборнике «Проблемы марксизма».

[2]) «L'Ami du Peuple par Leclerc de Lyon», № 1, p. 7.

[3]) «Plan d'une nouvelle organisation de la société mère des Amis de la Constitution», p.p. 3—4. (Bibl. Nat., Lb[40] 2278).

[4]) Речь 25 июня, «Annales Révolutionnaires», 1914, p. 551.

[5]) Ibidem, p. 555.

[6]) Ibidem, pp. 551—552.

[7]) J. J. Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Oeuvres, t. IV, p. 172.

[8]) Ibidem, p. 160.

[9]) «Archives parlementaires», t. LXIII, p. 198.

[10]) Речь 19 вандемьера, «Oeuvres de Saint-Just», в издании Vellay, t. II, p. 79.

Это разделение общества на два класса—богатых и бедных—красной нитью проходит через все произведения «бешеных». Первые являются, по их мнению, виновниками всех несчастий революционной Франции; вторые же, напротив того, естественные союзники и наиболее преданные друзья революции.

«Подумайте о том,—говорит Жак Ру в своей «Речи о причинах несчастий Французской республики»,—что почти все богатые являются по принципу виновниками преступлений и по привычке—сообщниками королей. Заклятые враги народа, припасы коего они пожирают, они неизменно проникнуты психологией рабов и составляют заговоры, целью которых является снова заковать народ в цепи» [1]).

Богатые, по мнению Жака Ру, с восторгом приветствовали бы победу внешних врагов и торжество внутренней контрреволюции. «Если они иногда и берутся за оружие, то это лишь для защиты личности и имущества угнетателя. Если они иногда и приносят на алтарь отечества ничтожные жертвы, то делают это лишь для того, чтобы надеть на себя маску лицемерия и таким образом легче обмануть народ... Богатые нас всегда предавали и всегда будут предавать. На войне они поведут наши полки на бойню; в столице они будут предавать права народа; в святилище законов они принесут в жертву невинность. Нет, одним словом, тех преступлений, на которые бы не толкала богатых пожирающая их жажда золота» [2]).

В совершенно аналогичном духе высказывается Жак Ру в своей речи 25 июня («богатые торговцы, по самому своему существу—соучастники преступления и по привычке—сообщники королей» [3]), «богатые—это злые» [4]) и в издававшемся им «Публицисте Французской Республики». Так, в номере 249 он дословно повторяет всю приведенную нами выше цитату из «Речи о причинах несчастий Французской республики» [5]), а в № 254 снова останавливается на доказательстве контрреволюционности богатых:

«Те, кто обогатились за время революции, т.-е. в то время, когда добрые граждане разорялись и приносили бесчисленные жертвы, являются, без всякого сомнения, эгоистами, мошенниками и контрреволюционерами. Можно с полным основанием утверждать, что они помогали эмигрантам и нанимали разбойников, дабы вызвать беспорядки и толкнуть народ на восстания, грабежи и убийства. Можно утверждать, что они находятся в сношениях с тиранами и припрятывают и экспортируют товары; можно утверждать, что они дискредитируют наши бумажные деньги, дабы поднять ценность векселей, выписанных на Лондон, Женеву и другие места. Можно утверждать, что они являются друзьями королей, сторонниками тирании, угнетателями народа и палачами республики» [6]).

Совершенно так же, как Жак Ру, рассуждал и Леклер—мы уже приводили те цитаты из его газеты, где он доказывал неизбежность контрреволюционного настроения буржуазии. То же самое можно сказать и о выступлении революционных республиканок, в котором они утверждали, что во главе контрреволюционного заговора стоит

---

[1]) «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 20.
[2]) Ibidem, p. 20.
[3]) Речь 25 июня 1793 г. в Конвенте, «Annales Révolutionaires», 1914, p. 551
[4]) Ibidem, p. 554.
[5]) «Le Publiciste de la République Française», № 249.
[6]) Ibidem, № 254, p. 5.

«торгашеская аристократия наглой касты», стремящаяся поставить себя на место короля [1]).

Но кого же противопоставляют «бешеные» тем богатым, которые, по их мнению, являются основным источником всех обрушившихся на революционную Францию бедствий? Мы бы тщетно стали искать у них точного определения этого понятия. Подобно тому, как и понятие богатых страдает крайней неопределенностью и расплывчатостью, и в определении их социального антипода «бешеные» вносят весьма мало ясности и точности. Это просто тот «трудящийся и бедный класс», которому обещает служить Леклер [2]), или те «неимущие» (indigens), которым Варле посвящает свой «План новой организации центрального клуба Друзей Конституции» [3]). Да и Жак Ру в своей речи 25 июня тщательно подчеркивает, что понятие бедных вовсе не идентично понятию рабочих [4]), в силу чего он об'являет себя защитником не только рабочих, но равным образом и мелких рантье [5]) и вообще всего «огромного множества людей», живущих в верхних этажах домов революционного Парижа, «лишенных хлеба и одежды и приведенных в такое состояние нужды и горя ажиотажем и спекуляцией» [6]). И неопределенность эта отнюдь не должна нас удивлять,— мы ведь неоднократно подчеркивали, что рабочий класс Франции в эпоху революции еще едва только начинал выделяться из общей массы мелкой буржуазии, и поэтому совершенно естественно, что аморфности его бытия соответствовала и аморфность его сознания.

Перейдем теперь к тому, что можно назвать социальными воззрениями «бешеных» в узком смысле этого слова. В основе их, также как и в основе социальной системы монтаньяров, лежал тот принцип Руссо, что, заключая общественный договор, люди «жертвуют одной частью своей свободы ради сохранения другой» [7]), при чем «первым чувством человека является чувство своего существования и его первой заботой—забота о самосохранении» [8]). Как известно, мысль эта была целиком воспринята монтаньярами; так, например, в составленном Робеспьером проекте Декларации Прав мы находим следующие пункты:

«Ст. I. Целью всякой общественной ассоциации является сохранение естественных и нерушимых прав человека и развитие всех его способностей.

«Ст. II. Важнейшими правами человека являются право на самосохранение и свобода» [9]).

А Сен-Жюст, перенося эти абстрактные положения в плоскость социального устройства общества, приходил к выводу, что «в мудро устроенном государстве хлеб по праву принадлежит народу» [10]).

---

[1]) A. Aulard, La Société des Jacobins, t. V, p. 199. Ср. нашу статью «Клара Лакомб и клуб революционных республиканок 1793 г.», напечатанную в сборнике «Проблемы марксизма».

[2]) «L'Ami du Peuple par Leclerc de Lyon», № 1, p. 7.

[3]) «Plan d'une nouvelle organisation de la société mère des Amis de la Constitution», p.p. 3—4. (Bibl. Nat., Lb[40] 2278).

[4]) Речь 25 июня. «Annales Révolutionnaires», 1914, p. 551.

[5]) Ibidem, p. 555.

[6]) Ibidem, pp. 551—552.

[7]) J. J. Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Oeuvres, t. IV, p. 172.

[8]) Ibidem, p. 160.

[9]) «Archives parlementaires», t. LXIII, p. 198.

[10]) Речь 19 вандемьера, «Oeuvres de Saint-Just», в издании Vellay, t. II, p. 79.

Совершенно те же самые мысли мы находим и у «бешеных». «Самым священным видом собственности, — говорит Варле в своей «Торжественной декларации прав»,—тем видом ее, ссылаться на который имеет право каждый человек,—является тот, который в достаточной степени обеспечивает за ним необходимейшие средства существования» [1]).

Так же точно рассуждает и Леклер:

«Человек,—говорит он в № 2 «Друга Народа»,—рождаясь из чрева своей матери, брошенный на произвол случайностей этого мира, и находясь среди общества, управляемого на основании законов, предшествующих его появлению на свет, не знает и не может знать никаких велений, кроме велений его аппетита и его инстинкта. А эти веления неизменно кричат ему: заботься о своем самосохранении!

Внося в общество ту часть своей силы и предприимчивости, которую в естественном состоянии он употребил бы на обеспечение своего существования, человек не теряет, однако, при этом естественного и необходимого ему права заботиться об удовлетворении своих нужд. Лишить его этого права или ограничить его было бы столь же несправедливо, как и запретить человеку, внесшему свою часть в общий капитал, принять участие в разделе барыша» [2]).

В последующих номерах своей газеты Леклер часто возвращается к этой излюбленной им мысли. «Все люди, — читаем мы в № 10 «Друга Народа», — имеют равное право на продовольствие и все произрастания земли, безусловно необходимые для обеспечения их существования» [3]). «Право заботиться об удовлетворении своих насущнейших нужд,—говорится в № XII,—является совершенно бесспорным. Его слишком долго нарушали. Продовольствие принадлежит всем и в момент, подобный настоящему, ни один смертный не имеет права хранить с'естных припасов в количестве большем, нежели это необходимо для его собственного пропитания вплоть до ближайшего урожая» [4])

Дальнейшее развитие и углубление этих принципов находим мы у Жака Ру в его «Речи о причинах несчастий Французской республики».

«Принципом свободного государства является, что все произрастания земли в равной степени принадлежат всем, а торговля и право собственности не должны заключаться в том, чтобы заставлять своих ближних умирать с голоду и нужды. В самом деле—человек от рождения свободен. Ясное солнце не разбирает существ, разбросанных по поверхности земли, а природа одинаково щедра и благодатна в отношении всех своих детей. Эгоисты и людоеды, по какому праву скопляете вы в своих складах и магазинах продукты, которые должны быть распределены между всеми членами единой великой семьи? Спросите у природы—все люди наши братья. Поднимите глаза к небу— они все равны перед ним. Но если, таким образом, не существует двух классов людей, из коих один осужден на позор и нищету, а другому предоставлены богатство и власть, то по какому праву, варвары, заставляете вы ваших ближних беспрестанно испытывать голод? А когда народ, сгорбленный под тяжестью его цепей, бросается в пламя священного восстания, то не вы ли оскорбляете его храбрость и добродетель и во всю глотку вопите о разбое и анархии? Не вы ли,

---

[1]) «Declaration solennelle des droits de l'homme dans l'etat social». art. 18, p. 18 (Bibl. Nat., Lb[41] 2979).

[2]) «L'Ami du Peuple par Leclerc de Lyon», № II, p. 5.

[3]) Ibidem, № X, p. 3.

[4]) Ibidem, № XII, p.p. 2—3.

спекулянты, являетесь подлинными разбойниками и анархистами, попирающими священнейшие законы,—законы природы, и отнимающими у рабочего и ремесленника хлеб, необходимый для его существования?» [1]).

Неудивительно, что исповедывание этих принципов приводит «бешеных» к признанию недостаточности существующих во Французской республике формальных свободы и равенства. «Свобода лишь пустой призрак, — говорит Жак Ру в своей конвентской речи 25 июня 1793 года,—когда один класс людей может безнаказанно заставлять другой голодать. Равенство лишь пустой призрак, когда, благодаря монополии, богатые имеют право жизни и смерти над своими ближними. Республика лишь пустой призрак, когда ежедневно торжествует контрреволюция, выражающаяся в высоких ценах на припасы, ставшие вследствие этого недоступными для трех четвертей граждан» [2]).

Но каким же образом исправить имеющее место зло и устранить только что отмеченные недостатки существующей организации общества?

Как известно, Руссо разрешал этот вопрос в смысле эгалитаризма, т.-е. в том смысле, что «одной из важнейших задач государства является предотвратить крайнее неравенство богатств» [3]) и монтаньяры, как верные ученики, шли в этом пункте целиком за ним. «Не надо ни бедных, ни богатых», говорил Сен-Жюст в одном из написанных им за месяц до смерти набросков [4]); в этом же смысле еще в эпоху Учредительного Собрания высказывался и Робеспьер. «Законодатели, — говорил он в своей речи 5 апреля 1791 года,—вы ничего не сделаете для укрепления свободы до тех пор, пока ваши законы не будут стремиться к тому, чтобы мягкими, но действительными средствами уменьшить существующее и настоящее время чрезвычайное неравенство имуществ» [5]).

Совершенно в том же духе разрешали вопрос и «бешеные». «Государство находится на краю гибели,—писал Леклер в № X «Друга Народа,—едва только в нем на ряду с крайней нищетой появляется крайнее богатство» [6]). «Отличительными чертами благодетельных установлений,—вторил ему Варле в своем «Проекте специального и императивного мандата», являются уничтожение нищенства и постепенное устранение слишком большого неравенства богатств» [7]). И соответственно этому ст. 17 составленной Варле «Торжественной декларации прав», между прочим, гласит:

«...Во всех государствах неимущие составляют большинство, и так как их свобода, безопасность и их право на индивидуальное самосохранение составляют блага, предшествующие всем прочим, их естественнейшим желанием и насущнейшим правом является защитить себя от угнетения богатых, ограничив право покупки земель и у н и ч т о ж и в п о с р е д с т в о м с п р а в е д л и в ы х м е р о п р и я т и й в о п и ю щ е е р а в е н с т в о б о г а т с т в» (Курсив наш.—Я. З.) [8]).

Каковы же должны быть эти «справедливые мероприятия»? Руссо отвечал на этот вопрос в том смысле, что добиться равенства следует

---

[1]) «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 15.
[2]) «Annales Révolutionnaires», 1914, p. 548.
[3]) «De l'économie politique», Oeuvres, t. IV, p. 237.
[4]) «Oeuvres», II, p. 514.
[5]) «Archives parlementaires», t. XXIV, p. 563.
[6]) «L'Ami du Peuple par Leclerc de Lyon», № X, p. 5.
[7]) «Archives parlementaires», t. LIV, p. 720.
[8]) «Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'état social», art. 17, p. 18.

«не путем отнятия богатств у тех, кто ими владеет, а путем предотвращения возможности разбогатеть» [1]); на этой же точке зрения стояли и монтаньяры, построившие на этом принципе всю свою систему наследственного права.

Точно так же смотрели на этот вопрос и «бешеные». Действительно,—*они нигде и никогда не предлагают отмены права собственности*. В этом смысле исключительно характерен Варле, который в том самом месте своего «Проекта специального и императивного мандата», где говорится о «постепенном изживании слишком большого неравенства богатств», торопится сразу же сделать примечание: «Говоря это, *мы не имеем в виду ни отмены крупных состояний*, нажитых посредством тонких расчетов или смелых предприятий, ни ограничения наших торговых сношений с заграницей» (Курсив наш.—Я. З.) [2]). А. Жак Ру эпиграфом к своей конвентской речи берет слова: «Народ, ради поддержки твоих прав я презираю опасность смерти, докажи же мне свою признательность *уважением к людям и собственности*». (Курсив наш—Я. З.) [3]).

В соответствии с этим построена и «Торжественная декларация прав» Варле, где мы имеем следующие пункты, касающиеся права собственности:

«Ст. 16. Право собственности заключается в пользовании имуществами. Оно находится под защитой граждан, которые заинтересованы в его сохранении.

«Ст. 19. В силу неприкосновенности права собственности, каждый собственник имеет право располагать по своему усмотрению своими имуществами, в чем бы они ни заключались, а равно и доходами с них, лишь бы он при этом не причинял вреда обществу.

«Ст. 21. Никто не может быть лишен своей собственности, разве лишь этого потребовали бы насущные, спешные и должным образом установленные общественные интересы, да и то лишь под условием справедливого и предварительного вознаграждения» [4]).

Приведенные цитаты позволяют утверждать, что «бешеные» отнюдь не были противниками права собственности, как такового. Это значит, что из двух систем, распространенных в XVIII веке социальных учений,—систем эгалитарной и коммунистической,—«бешеные» решительно становятся на сторону первой и высказываются не за обобществление средств производства, *а лишь за устранение социального неравенства при принципиальном сохранении права частной собственности*. Это еще раз доказывает правильность той господствующей в марксистской литературе мысли, что во Франции XVIII века коммунистические теории никакого влияния на трудящиеся массы не имели, и что идеологи этих масс шли не столько за Жаном Мелье или Морелли, сколько за Мабли и Руссо [5]). С другой стороны, совершенно очевидно, что, раз став на почву эгалитаризма в отношении своего конечного идеала «бешеные» должны были также принять и те способы достижения этого идеала, которые выдвигались главами эгалитарной школы.

[1]) J. J. Russeau, De l'économie politique. Oeuvres, t. IV, p. 237.
[2]) «Archives parlementaires», t. LIV, p. 720.
[3]) «Annales Révolutionnaires», 1914, p. 548.
[4]) Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'etat social», p.p. 18—19.
[5]) См. В. П. Волгин, История социалистических идей, ч. I, стр. 193.

Мы уже видели, что в качестве средства к достижению социального равенства Варле предлагал ограничить право покупки земель (ст. 17 его «Декларации»). На ряду с этим «бешеные» требуют установления прогрессивного подоходного налога с освобождением от него известного прожиточного минимума для малосостоятельных граждан [1]), а также установления широкой системы благотворительности и мероприятий, совокупность которых мы бы, назвали теперь социальным обеспечением. Так, например, Варле в своем «Проекте специального и императивного мандата» требует, чтобы «даже в самых незначительных городах были открыты учреждения для страдающего человечества. В этих учреждениях взрослые, женщины, дети, неработоспособные или обиженные природой, а равно и все вообще без различия страдающие от нужды, должны получать быструю, достаточную и хорошо организованную помощь. Пища в этих учреждениях должна быть здоровой и обильной, т.-е. такой, какую подобает получать страдающим людям, имеющим право ожидать достойного утешения со стороны великого народа» [2]). А в своей «Торжественной декларации прав» Варле прямо утверждает, что право на поддержку общества, в отношении больных и нетрудоспособных, и «право на помощь, посредством предоставления работы, в отношении трудоспособных», составляют один из важнейших видов права собственности [3]).

Довольно близко к только что перечисленным, стоят и мероприятия, предложенные Жаком Ру в его «Речи о средствах спасения Франции и свободы»:

«Оживляйте промышленность, поощряйте ремесло, организуйте общественные предприятия; на развалинах домов, являющихся пристанищем воров и разбойников, где богатство и добрые нравы терпят постоянный урон, постройте мастерские, где талант и нуждающаяся добродетель найдут себе столь заслуженную поддержку. Разыскать бедняка в его хижине и дать ему возможность возвыситься до понимания высших ступеней наук и искусств значит лишь исполнить свой священнейший долг в отношении человечества. Промышленность является могущественнейшим двигателем развития государства, она создает чудесную цепь, связывающую людей друг с другом посредством благодеяний и благодарности. Там, где люди заняты работой, рождаются свобода, изобилие и добродетель [4]). Тот, кто пускает в ход свой разум и свои руки, создает богатство, предпочтительнее всем богатствам индейцев [5]). В то время как сокровища последних, развращая их души и приучая их к безделию и разврату, лишь содействовали их обращению в рабство, человек науки в своем кабинете или почтенный ремесленник в своей мастерской создают твердую базу для общественного духа, оплодотворяют землю и содействуют счастию всех» [6]).

---

[1]) Varlet, Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'etat social, art. 6, p.p. 12—13.

[2]) «Archives parlementaires», t. LIV, p. 721.

[3]) «Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'etat social», art. 18, p.p.18—19.

[4]) Эту фразу Жака Ру любопытно сопоставить со следующей фразой Сен-Жюста 24 апреля 1793 г.: «Принципом нравственности является, чтобы все работали на пользу отечества и никто не оставался праздным». «Oeuvres», t. I, p. 425.

[5]) Здесь опять напрашивается сопоставление с фразой Робеспьера в его речи 24 апреля 1793 г.: «Я бы предпочел быть одним из сыновей Аристида... чем наследником Ксеркса, рожденным среди распутства двора». «Archives parlementaires», t. LXIII, p. 197.

[6]) «Discours sur les moyens de sauves la France et la liberté», p. 37.

Характеризуя те средства, при помощи которых «бешеные» надеялись достигнуть устранения социального неравенства, нельзя также обойти молчанием и того, что немалую роль в этом деле они придавали просвещению и успехам разума. Исключительно характерно в этом смысле нижеследующее место из № 12 леклеровского «Друга Народа»:

«Неимущие! Как неприятно звучит это слово в устах чувствительного человека! Должны ли существовать неимущие там, где имеются люди, утопающие в излишней роскоши? Будем надеяться, что *прогресс разума и успехи философии* приведут к тому, что *лет через пятьдесят* наши потомки не поверят тому, что посреди общего благополучия могли быть люди, обреченные на голодную смерть» (Курсив наш.—Я. З.) [1]).

Таковы те меры, при помощи которых «бешеные», идя вслед за своими учителями—эгалитаристами и ничем в этом смысле не отличаясь от монтаньяров [2]), надеялись достигнуть «лет через 50» своего социального идеала—установлении того, что в эпоху Великой Французской революции под названием «равенства на деле» противополагалось «равенству в правах». Само собой разумеется, что это придавало всей их социальной системе довольно-таки расплывчатый и неопределенный характер, вполне соответствовавший, однако, социальной сущности «бешеных». Особенно ясно этот характер обнаруживается в программе революционных республиканок, целью которых, по их словам, являлось «снова возродить человека» [3]). «Мы хотим,—добавляли они к этому,—чтобы в республике не оставалось ни одного несчастного» [4]). Любопытно, что характеризовавший деятельность революционных республиканок полицейский наблюдатель Латур-Ламонтань не мог сказать о них ничего, кроме того, что «все эти женщины сходятся на одном, а именно на необходимости нового порядка вещей, который бы вывел их из того состояния нищеты, в котором они, по их словам, находятся» [5]).

Но было бы неправильно полагать, что вся социальная программа «бешеных» ограничивалась одними только что перечисленными мероприятиями. Подобно тому, как логика классовой борьбы заставила монтаньяров пойти значительно дальше того, что они предполагали [6]) и стать на путь решительной борьбы с богатыми (проявление ее мы

---

[1]) «L'Ami du Peuple par Leclerc de Lyon», № XII, p. 3.

[2]) Наоборот, был даже пункт, в котором монтаньяры шли впереди «бешеных»,—это их выдержанное целиком в духе Руссо и Мабли наследственное законодательство (закон 7 марта 1793 г., см. «Archives parlementaires», t. LIX, p. 683). С другой стороны, что касается до прогрессивного налога и широкой системы социального обеспечения, то даже если эти предложения, сделанные Робеспьером в его известной речи 24 апреля 1793 г. («Archives parlementaires», t. LXIII, p.p. 198—199), и были затем взяты им обратно («Archives parlementaires», t. LXVI, p. 602), то они все же до самого конца составляли неотъемлемую часть социальной программы шометистов (см. Г. Кунов. Борьба классов и партий в Великой Французской революции, изд. 1919 г., стр. 512—513).

[3]) «La Société des Jacobins», t. V, p. 199.

[4]) Ibidem, p. 199.

[5]) P. Caron. Paris pendant la terreur, t. I, p. 150.

[6]) Сен-Жюст в этом прямо признается в своей речи 8 вантоза (26 февраля 1794 г.). «... La force des choses nous conduit peut-être à des résultats, auxquels nous n'avons point pensé. L'opulence est dans les mains d'un assez grand nombre d'ennemis de la révolution; les besoins mettent le peuple, qui travaille, dans la dépendance de ses ennemis... La révolution nous conduit a reconnaitre ce principe, que *celui qui s'est montré l'ennemi de son pays n'y peut être proprietaire*» (Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution Française, t. XXXI, p.p. 307—308).

видим не только в деятельности конвентских комиссаров) [1], но и в знаменитых «вантозовских законах» [2], точно так же и «бешеные», оставаясь в принципе сторонниками частной собственности, в качестве одной из мер борьбы со спекуляцией оказываются вынужденными требовать конфискации тех богатств, которые нажиты посредством спекуляции, ажиотажа и барышничества.

Соответствующее предложение было сделано Жаком Ру в его «Речи о причинах несчастий Французской республики».

«Вы нанесете удар кровожадным людям, которые из поколения в поколение нарушали естественное право, присваивая себе кровь граждан. Вы заставите их возвратить богатства, которые они смогли захватить, лишь тысячу раз подвергая себя опасности умереть на эшафоте.

Богачи, вы посредством монополии стали источником голода и страданий, вы отняли у коленопреклоненных перед вами несчастных вплоть до плодов земли, оплодотворенной их потом. Но вы недаром содержали эмигрантов и скопляли продукты и звонкую монету, вы не даром были банкирами и агентами контрреволюции. Ваши громадные состояния, возникновением которых вы обязаны вашей власти, вашим грабежам, вашим бесчисленным преступлениям, будут распределены среди воинов, покрытых почетными ранами, которые до сих пор ели лишь грубый хлеб, смоченный их слезами. Они послужат на поддержку матерей, которые пожертвовали свободе своими детьми и в награду за свою добродетель вынуждены унижаться, прося милостыню... Ваше золото возвратится к своему первоначальному источнику и средства, предназначенные вами на поддержку опасных брожений и свержение здания республиканских законов... будут внесены в кассу всеобщей благотворительности и послужат, таким образом, для подавления восстаний» [3].

Такое же точно предложение находим мы у Варле, ст. 20 «Торжественной декларации прав» коего гласит, что «имущества, накопленные за счет общественного благополучия посредством воровства, спекуляции, монополий и барышничества, подлежат обращению в национальную собственность, как только общество получит неопровержимые доказательства их злостного происхождения» [4].

В этом же духе высказывается и Леклер. Так, требуя создания революционной армии, он подчеркивает, что «нас не должны останавливать связанные с этим значительные расходы... Богатые, которые со словами уважения к собственности на устах никогда ничем не жертвовали ради ее защиты, должны одни только нести на себе все расходы, связанные с организацией этой революционной армии» [5].

Но Леклер не ограничивается тем, что заставляет богатых платить на содержание революционной армии; они же, по его мнению, должны быть первыми, подлежащими набору по мобилизации. «Всякому должно быть очевидно, что ничем не занятый холостяк, поль-

[1] Примерами могут служить деятельность Сен-Жюста и Леба (см. Я. М. Захер, Сен-Жюст, стр. 16—20) и, в особенности, Фуше (см. Louis Madelin, Fouché).

[2] См. A. Mathiez, Les decrets de ventôse sur sequestre des biens des suspects et leur application. Annales Historiques de la Révolution Française, 1928, mai-juin, p.p. 193—219.

[3] «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 20. Та же самая мысль высказана и в «Publiciste de la République Française», № 254, p.p. 5—6.

[4] «Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'état social», art. 20, p. 19.

[5] «L'Ami du Peuple par Leclerc de Lyon», № XI, p.p. 4—5.

зующийся известным благосостоянием, или женатый богач, все равно бездетный он или нет, должны быть взяты скорее, нежели молодой человек 18, 20 или 25 лет, вынужденный содержать своим трудом нетрудоспособного отца, малолетних братьев, больную мать или нуждающихся сестер» [1]).

На диаметрально противоположной точке зрения стоит Жак Ру, впадающий по данному вопросу в противоречие не только с Леклерком, но и с практикой наиболее революционных секций Парижа. Жак Ру не только не придерживается принципа, что богатых нужно отправлять на фронт в первую очередь, но, напротив того, он требует их полного и безусловного изгнания из армии:

«Неужели вы будете настолько неразумными, что позволите богачам войти в состав наших республиканских фаланг? На что пригодится нам армия, составленная из эгоистов, предателей и клятвопреступников? Какую помощь могут оказать нам торговец, пригвожденный к своей конторке; банкир, который способен сражаться лишь пером; умеренный, протягивающий руку лишь к разврату? Какое доверие может внушать дворянин, вздыхающий по своим орденам,— священник, сожалеющий об алтаре? Не было ли бы верхом безумия поместить тигров рядом с ягнятами и предоставить друзьям королей составлять заговоры среди легионов свободных людей?.. Если славнейшим из всех титулов является звание защитника отечества, можно ли предоставить честь сражаться под его знаменами лицемерам и убийцам, трусам, боящимся своей тени и верящим в привидения,—одним словом, всей нечистой своре пожирателей людей?» [2]).

Это последнее положение Жака Ру представляет для нас огромный интерес. Если до сих пор, рассматривая социальные взгляды «бешеных», мы не могли найти в них ровно ничего, выходящего за рамки эгалитаризма в духе Руссо или Мабли и принципиально отделяющего их от монтаньяров (ибо нужно помнить, что и монтаньяры на практике не останавливались перед той конфискацией имуществ богатых, которой требовали «бешеные»), то именно такой совершенно принципиально новый момент составляет мысль Жака Ру об изгнании из армии богатых. Нет надобности доказывать, какой поразительный скачок в будущее составляет это предложение: делая его, Жак Ру не только выходит из рамок своего времени, но и предугадывает за сто двадцать пять лет вперед то, что было впервые в истории осуществлено Октябрьской революцией!

Впрочем, особенно удивлять нас это не должно. Несмотря на то, что рабочий класс Франции конца XVIII века был еще ярко-выраженным классом в себе, все же, поскольку он был как-никак рабочим классом, т.-е. классом, которому принадлежало будущее, его идеологи не могли целиком остаться на уровне XVIII века и должны были неизбежно сделать отдельные, иногда поразительные по своим размерам, скачки в будущее. Поэтому неудивительно, что, оставаясь в общем и целом на почве эгалитаризма и не отличаясь тем самым от монтаньяров, «бешеные» в отдельных вопросах могли уйти значительно вперед и как бы чутьем предугадать некоторые положения, означающие уже перерастание эгалитаризма в социализм.

Теория Жака Ру об изгнании из армии богатых не представляет единственный пример этого явления. Другой аналогичный пример мы имеем в том месте «Проекта специального и императивного мандата»

[1]) Ibidem, № XIV, p. 6.

[2]) «Discours sur les causes des malheurs de la République Française», p. 20.

Варле, где он говорит о необходимости «с о з д а т ь u n e c o m m u n a u t é, в с я к и й ч л е н к о т о р о й д о л ж е н п о л у ч а т ь л и ш ь в м е р у т о г о, ч т о о н е й д а е т» [1]) (Курсив наш.—Я. З.).

Само собой разумеется, что это место еще отнюдь не дает нам права говорить о социалистической программе «бешеных», ибо Варле тут же рядом доказывает необходимость сохранения частной собственности [2]). Но так же несомненно, что только что цитированная фраза составляет как бы чужеродный элемент в общем и целом выдержанной в духе последовательного эгалитаризма социальной программе «бешеных» и элемент этот, так же как и теория Жака Ру об организации армии, есть элемент социализма [3]). Таким образом, характеризуя социальную идеологию «бешеных», как идеологию эгалитаристскую, нельзя, однако, обойти молчанием и того, что на ряду с основным эгалитаристским фоном в ней имеются и о т д е л ь н ы е э л е м е н т ы с о ц и а л и з м а.

---

[1]) «Archives parlementaires», t. LIV, p. 720.

[2]) Ibidem, p. 720.

[3]) Наличность у Варле цитированной в тексте фразы тем более любопытна что она отличает его не только от эгалитаристской, но равным образом и от коммунистической школы XVIII века, которая стояла на почве принципа «каждому по потребностям» (Ср., напр., М о р е л л и, Кодекс природы, стр. 94, русского издания) Не подтверждает ли это истинности слов Жореса о том, что «ремесленное (точнее было бы сказать, рабочее и ремесленное.—Я. З.) население» эпохи Великой Французской революции «искало своего пути, в потьмах и ощупью пробираясь сквозь революцию»? (J a u r è s, Histoire socialiste de la Révolution Française, ed. Mathiez t. VII, p. 50).

К вопросу о социальных мотивах творчества Л. Н. Толстого.

А. Зонин.

> Тот, который говорит, что причина есть движение колес, сам себя опровергает, ибо если он вступил на почву анализа, он должен итти дальше и дальше, он должен об'яснить причину движения колес. И до тех пор, пока он не придет к последней причине движения паровоза, к сжатому в паровике пару, он не будет иметь права остановиться в отыскивании причины.
>
> Л. Толстой.

Исследователь творчества Л. Н. Толстого не может пройти мимо фрагментарных замечаний В. И. Ленина. И здесь дело не только в том, что Ленин—гениальный пролетарский политик—дал четкие указания относительно того, как должен относиться пролетариат к художественному наследству Толстого, к социально-этическим идеалам последнего блестящего представителя ушедшей в историческое прошлое России. Ленин—теоретик марксизма—прекрасно знал, что художественное творчество представляет овеществленное в слове бытие. Ленин в удивительно гибких и ясных формулах показал социальный путь к научному раскрытию природы творчества Толстого.

Можно поэтому только удивляться, что поток литературы, вызванный юбилеем Л. Н. Толстого, не использовал этот живительный источник научного анализа. Правда, Ленина усиленно цитировали все. И Луначарский для внеклассовой характеристики Толстого как учителя и пророка, и т. Ольминский для грубых и односторонних выводов, что Толстого можно выбросить за борт корабля современности, и многочисленные комментаторы для фельетонных псевдо-марксистских рассуждений, рассуждений, которые уже давно получили меткую характеристику Плеханова как «доморощенный марксизм».

«Доморощенный марксизм» не может уйти от биографического метода. Вместо вчитывания в произведение избирается легкий путь об'яснения биографией, т.-е. об'яснения тем, что нуждается само по себе в об'яснении и, не в последнюю очередь, из того же творчества. Таким образом, И. Кубиков приходит к механическому делению творчества Толстого на различные этапы и последовавшее за «Карениной» творчество Толстого выводит из религиозного кризиса Толстого.

Между тем,—указывает Ленин,—«противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века».

Толстой начал писать,—подчеркивает в другой статье Ленин,— еще при крепостном праве. «В ряде гениальных произведений, которы он дал в течение своей более чем полувековой литературной деятели ности, он рисовал преимущественно старую дореволюционную Россин оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревен скую, Россию помещика и крестьянина». Наконец, «противоречи во взглядах Толстого—не противоречия его только личной мысл а отражение тех, в высшей степени сложных, противоречивых услови социальных влияний, исторических традиций, которые определя психологию различных классов и различных слоев русского обще ства в пореформенную, но дореволюционную эпоху».

Ленин, следовательно, требует монистического рассмотрени творчества Толстого, рассмотрения, показывающего, как диалектик общественного процесса ведет к изменениям в психике писател усложняет и закономерно изменяет его художественную ткань. Лени ский путь анализа—против механического деления Толстого на разны периоды. Ленинское положение, что Толстой последних лет «стоит н точке зрения патриархально-наивного крестьянина», должно быть ра крыто через генезис творчества всего Толстого.

Основная мысль Ленина, что Толстой выражал взгляды крестья ства, задыхавшегося в рамках буржуазно-помещичьего государств но не прогрессивной товарно-торговой части, а реакционных патр архальных натуральных хозяйств, вынужденных перестраиватьс и страшившихся города. В процессе общественного движения он на время могли соединить свою силу отсталой инерции с силами рево люции против господствующих классов, но самое присоединение сс провождалось отталкиванием от революционной борьбы, торможение борьбы.

Толстой не просто представитель деревни, враждебной город Толстой выразитель косного хозяйства барской усадьбы, тесно свя занной со «своими крестьянами». Когда-то поместный володетель по нялся и окреп на плечах холопов. В эпоху Толстого, под ударом нс вых производственных отношений социальное положение помещик становится все менее и менее устойчивым. Толстой отражает сущност этого процесса. Его идеология—попытка найти выход из создавше гося положения, но самый этот выход—прогрессивный в своей кри тике старого общества — реакционен в указании путей будущего, в всей своей положительной программе.

Эта мысль Ленина должна быть обоснована на материале твор чества с первых шагов Толстого-писателя. Для этого, однако была бы совершенно неправомерна идеалистическая посылка П. С. Ко гана, что Толстой пятидесятых годов уже тогда почти целиком обосно вал свое позднейшее учение. Нет, надо показать, как социальный пр цесс деформировал барина-крепостника, разрушал его идео-психоло гию, сращивая в протесте против новых общественных отношени с патриархальным крестьянином.

Эта задача может быть разрешена исследованием социальны мотивов, структуры произведений и всех компонентов стиля Толсто Эта задача—обширная и сложная. В настоящей статье мы огранич ваемся вводной задачей—предварительным анализом социально-пси хологического комплекса в творчестве Толстого. Работа доведен только до середины—до «Анны Карениной». Дальнейшее направлени ее указано в беглых заключительных словах.

1.

Часть критики, современной «Детству», «Отрочеству» и «Юности», недовольна была ограниченностью общественного фона хроники. Об этих попреках напоминает нам интересная заметка Н. Г. Чернышевского. В своей рецензии он выступил в защиту Л. Толстого и, перечисляя мнимые с его точки зрения грехи художника, утверждал, что всякое изменение плана повестей заслонило бы «милый» мир детских переживаний. «Изображая» «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями». Слабая сторона этого утверждения очевидна. Вместо того, чтобы об'яснить литературный факт, Чернышевский попросту заявляет:—«Детство» есть детство. Однако литература накопила достаточный материал, показывающий нам, что одно детство не похоже на другое, что, в зависимости от экономики общества, производственных отношений и характера социальной среды, тема детства—отрочества—юности может приобретать больший или меньший отпечаток явного влияния «общественных вопросов». В своей сущности художественное произведение представляет овеществленное в слове бытие. Детство Ильи Обломова не похоже на отроческие годы Ильи Лунева, «современник» Короленко резко отличается от Темы Гарина-Михайловского, а юность Кости Рябцева не имеет ничего общего с жизнью своих литературных предшественников. Эти примеры можно бы умножить, но и так ясно, что задача об'яснения трилогии Льва Толстого только начинается после установления положения, что речь в ней идет о формировании человека с детских лет. Мы не можем рассматривать художественное творчество, как механическое отображение действительности; для диалектических материалистов всякое произведение искусства является единством об'екта и суб'екта, и его социальная сущность может быть об'яснена в первую очередь путем дешифровки суб'екта, специфического отношения последнего к об'екту.

Если небогатый помещик Вихров, [1]), отправляя сына в учебу, дает ему с собой одного ленивого слугу, то Иртеневы переезжают в город с целым обозом. Перемена деревни на город происходит в плотном окружении привычных вещей; прочно сохраняется весь поместный уклад жизни: гувернеры, приживалки, экипажи, горничные, лакеи. Городской дом ощутительно не связан с другими домами улицы. В представлении его обитателей, он, такой же, как и дом в поместье, такой же центр распределения барщины и оброков, такой же центр раболепия и подчинения.

Вихрова, равно как и тургеневского средне-поместного дворянчика, чиновный и мещанский город по-своему перерабатывал; нарицательный Вихров до известной степени превращался в городского обывателя, приспособлялся к городу. Ничего подобного не происходило с представителем крупно-поместной среды. В городе он двигался от мадам Н. к графу Д., от Ивиных к князю Ивану Ивановичу, еще в монастырь, в магазин, на Кузнецкий, на Моховую в университет (с лакеем и в собственном экипаже), на бал в Благородное собрание. Город существует где-то в бесконечном отдалении, в совершенно иной плоскости, с которой мир Иртеньевых встречается в нескольких ред-

[1]) «Люди сороковых годов». А. Писемского.

ких и случайных точках. Это мир крупных землевладельцев-крепостников.

В усадьбе и в городе экономическая база крупнопоместных помещиков не заставляет их особенно беспокоиться о материальном благополучии. Оно доставляется «душами» через ревнивых к господскому добру управляющих и приказчиков. А повседневные потребности удовлетворяют услуги многочисленной дворни. Привычка распоряжаться рабами настолько велика, что привязанность дворни воспринимается как д о к у к а. Самые высокие и чистые мечтания не мешают избивать слуг и не омрачают «радости жизни». Господа считают сердца дворин г р у б ы м и, даже в тех случаях, когда дворня обнаруживает чувства любви. Дворня считает обычным, чтобы господа распоряжались ее жизнью, уничтожали в ней, по точному поместному выражению, «дурь» [1]).

Иртеньевская социальная среда—обломок феодализма, у нее самые незначительные связи с другими классовыми группами, и это ограничивает ее понимание общественных отношений. Богатство и бедность, обеспеченность и нищета—проблемы, над которыми мысль барчука не работает.

«Мне в п е р в ы й раз пришла в голову — я с н а я мысль о том, что мы не одни, т.-е. наше семейство, живем на свете, ч т о н е в с е и н т е р е с ы в е р т я т с я о к о л о н а с, а что существует другая жизнь—людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, н е с о з н а в а л, н е ч у в с т в о в а л...

...Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык это видеть в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом,—мне первый раз пришел в голову вопрос: ч т о ж е и х м о ж е т з а н и м а т ь, е ж е л и о н и н и с к о л ь к о н е з а б о т я т с я о н а с? И из этого вопроса возникли другие: Как и чем они живут? Как воспитывают своих детей? Учат ли их? Пускают ли играть? Как наказывают? и т. д.».

Экономика крупнопоместной среды толкает ее представителей прежде всего и почти только на познание общественных отношений между помещиком и мужиком, который об этом помещике заботится. «Что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас?». Главным вопросом оказывается отношение к людям, которые «о нас заботятся», а все остальное лишь праздная игра рационалистического ума, отвлеченные вопросы, порожденные логической эквилибристикой. П р о с т о й н а р о д, как социальный пласт, чужд и непонятен для молодых Иртеньевых. Для них не существует и военной и гражданской службы, как школы практической деятельности. Служба могла быть

---

[1]) «Напудренная голова и чулки с пряжками молодого, бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце... Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью в наказание на скотный двор в отдаленную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена во двор и в прежнюю должность. Возвратившись из изгнания, она явилась к дедушке, упала к нему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было, и которая, она клялась, уже больше не возвратится».

самоцелью для менее обеспеченных представителей дворянства. Поместная знать, в роде Иртеньевых или князя Ивана Ивановича, не нуждалась в «большом уме», а следовательно, и в образовании. Если она хотела служить—связи и богатство обеспечивали продвижение по служебной лестнице. В этих условиях естественно было пассивное отношение к науке и университету. Они не имели значения в социальной практике поместного барства. Отсюда вырастала пропасть между студентом-аристократом Иртеньевым и студентом из мелкопоместной дворянской или разночинной среды. В университете, а потом и на службе, Иртеньевы и Нехлюдовы остаются барами, главная и настоящая жизнь которых заключена в их крупнопоместном бытии. Такова среда, которую нам рисует Толстой в трилогии, среда, от которой художник неотделим. Буколическая жизнь усадьбы сменяется идеализацией жизни крупнопоместных героев в городе. Толстой и здесь не может об'ективироваться от ощущений Иртеньева. Все «честное и умное», что было в некомильфотных коллегах Николеньки по университету, он, в конце концов, дает через восприятие Иртеньева—суб'екта его творчества. Толстой очень подробно перечисляет недостатки манер, платья, русского и французского произношения коллег Иртеньева. Возвещенное художником «хорошее» ограничивается фальшивой фразой о «поэзии молодости». Прекрасная поэзия, которая приводит одного из студентов к дикому запою и продаже себя в рекруты! Наоборот, бесконечные моралистические рассуждения Иртеньева о его друге Нехлюдове, их потуги выработать нравственно-религиозные идеалы—«справедливую» мораль и строго регламентировать свой внутренний мир—вскрываются Толстым с необыкновенным скульптурным изображением мельчайших душевных движений.

После всего, что было сказано выше о жизни крупнопоместного барства, после всего, что мы знаем о жизни Иртеньева и Нехлюдова, эта эгоцентричность не должна нас удивлять. Она соответствовала экономическому и политическому положению молодых помещиков. Они не подготовлялись к деятельности государственной, ибо самодержавная монархия Николая Первого уже вырастила свою бюрократию и свое военное сословие. Их ожидало управление вотчинами, хозяйство, которое скрипело, как старая несмазанная арба, уступая место капиталистическому землевладению и промышленности. И вот эта крупнопоместная экономическая база, крайне консервативная, была властна над умами Иртеньевых, потому что кормила их и выращивала неприспособленными тунеядцами. Она-то и создавала условия, в которых самой одаренной натуре, поскольку случай не выбрасывал ее вон из класса или вовсе из жизни, оставалось только одно самоусовершенствование. Гипертрофия самосознания, отделенного от действительности, отличает Иртеньевых и Нехлюдовых, законно для своей среды устремляющихся к поискам внутренней свободы.

Толстой отлично понимал классовый смысл своих повестей, предпосылая им предисловие к «известному роду читателя»:

«Чтобы быть принятым в число моих избранных читателей, я требую очень немного: чтобы вы были чувствительны, т.-е. могли бы иногда пожалеть от души и даже пролить несколько слез о воспоминаемом лице, которого вы полюбили от сердца, порадоваться на него, и не стыдились бы этого, чтобы вы любили свои воспоминания, чтобы вы были человек религиозный, чтобы вы читали мою повесть, искали таких мест, которые задевают вас за сердце, а не таких, которые заставляют вас смеяться, чтобы вы из зависти не презирали

хорошего круга,—ежели вы даже не принадлежите к нему, но смотрите на него спокойно и беспристрастно, и я принимаю вас в число избранных. И главное, чтобы вы были человеком понимающим, одним из тех людей, с которым, когда познакомишься, видишь, что не нужно толковать свои чувства и свое направление; а видишь, что он понимает меня, что всякий звук в моей душе отзывается в его».

Конечно, к сантиментальной чувствительности Иртеньева и Нехлюдова в чудесном, но тем не менее законном, сочетании с психологией крепостников, могли сочувственно отнестись и—как хотелось Толстому—глубоко-интимно понять ее только такие же представители «большого света» и «хорошего круга». Только они могли положительно оценить социальную инертность и эгоцентрическую мораль, составляющие в трилогии крайне значительные «общественные вопросы» для социальной среды Толстого. Чернышевский не заметил этого потому, что подходил к Толстому с меркой естественного изображения.

Обратимся к главам незаконченного романа «Русский помещик». «Главная мысль романа должна быть невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством. Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны». Приводя это заявление Толстого, некоторые толстоведы утверждают, что оно выявляет крестьянскую стихию творчества Толстого. Для той же цели другие исследователи громоздят ссылки на подробное реалистическое изображение Чурисенка и ряда других крестьян, на рассказ «Поликушка», в котором, якобы, Толстой выступил чуть ли не самым резким защитником освобождения крестьян, на рассказы «Тихон и Маланья», «Идиллия» и т. д... Все эти произведения противопоставляются «Детству», «Отрочеству» и «Юности» и ими мотивируется позднейший кризис Толстого в конце семидесятых годов. Но об'яснение эволюции Толстого изначальной двухстихийностью его творчества так же основательно, как формалистические рассуждения Б. Эйхенбаума о влияниях Стерна. Не говоря уже о том, что оно оставляет без об'яснения крупнейшие произведения Толстого—«Войну и мир» и «Анну Каренину», оно отказывается от монистического рассмотрения стиля Л. Толстого, условия правильного применения историко-материалистического метода.

Проблема двухстихийности толстовского творчества порождена принятием за исходную точку анализа внешнего материала произведений. Изучают то, о чем говорится у Толстого, вместо того, чтобы уяснить, что говорит произведение. Между тем, круг наблюдения—лишь частное в произведениях. Рамки наблюдения показывают лишь производственный базис художника, но ни в какой мере не дают данных для определения места художника в общественных отношениях.

В данном случае, когда мы имеем дело с крупнопоместной усадьбой, этот круг захватывает и господ с их домашними, и крестьян-крепостных. Другой вопрос—характер наблюдения. Он вытекает из производственных отношений, но ближайшим образом определяется принадлежностью автора к данной социальной группе. Описывать дворовых и крепостных, или даже вольнонаемных слуг, еще не значит—становиться на их точку зрения, не означает даже и примирения социально-противоположных точек зрения, хотя также безуспешные попытки художником могут делаться.

Появление крестьян в поле зрения Нехлюдовых, ставших самостоятельными хозяевами, начавших выполнять свои обязанности поме-

щиков, совершенно законно. Однако их отношение к крестьянам ничем не отличается от отношения к слугам и дворне в «Юности». Николенька Иртеньев способен был жалеть милого Карла Иваныча, но и то трагедия последнего только угадывается нами в добродушно-ироническом описании Толстого. Чувства симпатии, которые должен был вызвать старый гувернер, автор стремится обратить на Николеньку, заставляет умиляться перед его способностью глубоко и сильно сочувствовать своему комическому воспитателю. Еще более характерно в «Отрочестве» воспоминание о любви горничной Маши к слуге Василию. Толстой замечает—«не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас...». Между тем, сам он признается, что, «всячески стараясь изменить свой взгляд на Василия, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей привлекательным». И все же «никак не мог постигнуть». Этот отрывок трогательно заканчивается умилением собою: Николенька решает, став помещиком, поженить Василия и Машу и наградить их деньгами.

Об этом эгоцентризме крупнопоместного барина уже было сказано выше. Мы вновь напомнили его для того только, чтобы показать теснейшую связь между детским мечтательством и практической деятельностью Нехлюдовых, ставших руководителями своих имений.

«Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок, вникнуть в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и т е р п е н и е м. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков Давыда и Ивана и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб об'яснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастьи этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения и честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благодарная, блестящая и ближайшая обязанность».

Нужно ли много останавливаться на этом, чрезвычайно откровенном письме Нехлюдова к любезной тетушке! Молодой помещик вникает в положение крестьян, потому что нашел «дела в неописанном расстройстве». Это первое и главное основание быстро обрастает «идеалистическими» побуждениями, но которые опять-таки имеют своим источником благополучие Нехлюдова: нужна пища для чистого горения помещичьей «жалостливой» морали. Занявшись делами крестьян, Нехлюдов убежден, что готовит себе блестящую счастливую будущность: «За все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться б л а г о д а р н о с т ь ю и буду видеть, как с каждым днем я дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность? Как мог я прежде не видеть этого?».

Но только Нехлюдов перестает восторгаться собой и приступает к делу—«идеальная» оболочка стирается и перед нами выступает расчетливый помещик, который ищет средств для возрождения своего хозяйства.

«—Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтобы только кормиться, н а й м и т е вы лучше землю, десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое».—И Нехлюдов, увлеченный своим пла-

ном стал об'яснять мужику свое предположение о крестьянской ферме. Очевидно, он и не думает об освобождении крестьян с землей в качестве независимых земледельцев, совершенно свободных от барщины (такова была радикальная программа), не думает и об юридической свободе их без земли (в интересах промышленного капитала); наоборот, он пытается превратить барщинных крепостных в вечных арендаторов, получив с них за такую «милость» капитал.

Это подтверждает и следующее размышление после посещения ленивого Давыдки. «Отпустить на волю!—подумал он, рассматривая вопрос не одной стороной ума, как прежде,—несправедливо да и невозможно». Всестороннее обсуждение должно было привести Нехлюдова [1]) к мысли, что освобождать крестьян невозможно, так как их пришлось бы заменять платными рабочими руками, а для этого нужен капитал. Между тем, имение Нехлюдова перезаложено, он ищет денег, где только возможно, хотя бы у того же Дутлова.

У нас, таким образом, есть все основания считать Нехлюдова в числе прочих сторонников Гагаринского [2]) плана «освобождения» крестьян, главной заботой которого было превращение феодального поместья в источник земельной ренты на английский образец.

Толстой уверяет, что Нехлюдов стремится «помочь» крестьянам и со стороны последних встречает лень, ложь, корысть, попытки обойти его, разжалобить [3]). Ни одной положительной крестьянской фигуры в романе не выводится, желчи же, неприязни и особенного аристократического барского презрения—сколько угодно. Для подтверждения нашей мысли очень характерно то место романа, где помещик рисуется как отец крестьян, защищающий бедняка от кулака (Шкалика). Последнему Толстой дает резкую и гневную характеристику. Если помещики растрачивают «трудом и потом добытые кровные деньги русского народа, то виновно... европейское влияние». «Мы можем утешить себя мысль, что, разрабатывая тщеславие, они наказывают его». «Но каково же видеть Алешек и Куприяшек,—заключает презрительно Толстой,—успешно разрабатывающих незаслуженную нищету и невинную простоту народа, который один причиной удачи их спекуляций». К этому рассуждению добавляется, что «от помещиков зависит ограничить круг их (т.-е. кулаков и купцов) преступной деятельности». Далеко ли это от капризного Пушкинского Троекурова, крепостника на английский лад!

Изменяется ли сколько-нибудь оценка крестьянства в «Поликушке»? Нет, это вся та же деревня, с нескладными, отвыкшими от настоящей работы дворовыми, жадными и черствыми, и неприспособленными к управлению помещиками. Драма «Поликушка»—это драма умирающего, лишенного здоровых корней крупнопоместного хозяйства. Это—та же трагедия непорядка и неустройства, которая не обеспечивает «правильной жизни образованного помещика» и посе-

[1]) Не надо забывать, что Нехлюдов—помещик средней полосы, помещики которой, вследствие невысокого плодородия земли, не особенно нуждались в наемных рабочих руках и были вообще консервативно настроены.

[2]) См. у Покровского, Русская история, т. IV, стр. 68—69.

[3]) Здесь уместно привести следующие указания В. И. Ленина: «Собственное» хозяйство крестьян на своем наделе было условием помещичьего хозяйства, имело целью «обеспечение» не крестьянина—средствами к жизни, а помещика — рабочими руками.

Вот истинный смысл хлопот Нехлюдова о поднятии хозяйства своих крепостных! Тут же становится очевидно, что благодарность Нехлюдов рассчитывал получить не только в выражениях чувств.

ляет в нем мучительные вопросы о том, как жить. Дворянское «покаяние» с идеалами моральной чистоты и здесь резко выступает в своей экономической основе—в поисках хозяйственного укрепления.

Тот же комплекс мотивов в рассказах Толстого из «деревенского быта». Это именно *быт*, внешнее описание, в котором крестьянская жизнь рисуется как примитивная жизнь работников, всецело поглощенных экономическим интересом. «Идиллия»—презрительное барское определение отношений мужа и гулящей жены, которые начинаются с таски за волосы, а кончаются тем, что муж продает за пять целковых сапоги, оставленные любовником, и, смеясь, жалеет, что не стащил с беглеца армяк. Ни измена жены, ни побои, нанесенные мужем, нисколько не мешают у мужиков супружескому счастью —уверяет Толстой. И последний штрих,—сколько раз ни появляется перед читателем Маланья,—ничего, кроме возбужденной ею чувственности,—Толстой не показывает. Внутренний мир ее скрыт для читателя, потому что представление о нем отсутствует у художника.

В сороковые-пятидесятые годы состояние производительных сил вызывает ломку производственных отношений, обрекая крепостническую усадьбу вместе с проектами Нехлюдовых на гибель. Действительность указывает Нехлюдовым бесплодность их стремлений своими личными силами выйти из кризиса. В «Русском помещике» мы застаем самый процесс разочарования. «Записки маркера» рисуют его кратчайшее завершение. Планы личного счастья и заботы о *завещанных богом* крестьянах—посланы к чорту [1]). В бильярде, картах, вине Нехлюдов надеется потопить мучащие его вопросы, тратит последние средства и в отчаянии кончает самоубийством. Это, однако, слишком элементарный и исключительный выход.

Крупнопоместный индивидуалист все же не так проверит жизнью, как его буржуазный родственник начала XX века. Он не стиснут рамками города, не подавлен сложной культурой, не столь напуган классовыми противоречиями и вызванной ими борьбой. Вот почему «Записки маркера» остаются в этот период случайным эпизодом творчества Толстого. Показав *низкий и мрачный* путь забвения, Толстой вновь уводит своего героя на поиски счастья *благородным* путем. Общественно-литературная традиция в этом случае, понятно, указывала на Кавказ, на армию. Но и здесь герои Толстого остаются чуждыми романтикам Печориным.

Романтизм не вяжется с психологией усадебного барина. Его ум и чувства, воспитанные в непосредственном общении с природой, довольно трезвы. Консервативный сантименталист во всем, что касается его внутреннего мира [2]), он, разработав в себе привычку анализа—тонкий наблюдатель-реалист и рационалист в оценке действительности. С другой стороны, его положение в армии резко отлично от положения других офицеров и солдат. Военная служба для него не профессия,—он всегда может ее покинуть, и, по существу, военным себя не чувствует. Это позволяет ему оказаться в положении относительно об'ективного наблюдателя. Наконец, занятый собою, своими личными страстями, он не поглощен вопросами честолюбия, наград, продвиже-

---

[1]) Из повести «Записки маркера», стр. 78:

«Мне нужны были деньги для удовлетворения своих пороков и тщеславия—*я разорил тысячи семейств, вверенных мне богом* и сделал это *без стыда*,—*я, который так хорошо понимал эти священные обязанности*».

[2]) Вот откуда связь со Стерном и Тепфером.

ния по служебной лестнице. Поэтому армия и война выступают перед ним в совершенно ином освещении, почти что в ее настоящем обличии. Он снимает позолоту с романтических последышей Печорина и героев Марлинского, в роде поручика Розенкранца, и находит новый положительный тип в капитанах Хлопове и Михайлове, достоинства которых—скромность, сдержанность и равновесие. Это последнее качество ему особенно дорого, ибо он жадно ищет его в себе.

Как помещик, он в военную организацию переносит свои господские представления и соответственно этому оценивает солдатские характеры, умиляясь перед смирением, простодушием и честностью крепостных в николаевских мундирах.

Относительно целей войны он в общем соглашается, что горских дикарей надо сокрушить, чтобы они не совершали набегов. Патриотизм его простирается и до общих фраз об оборонительной войне против Европы, но действительного энтузиазма и к той и к другой войне у него нет. Представитель феодального барства находится в полосе социальной растерянности, которая стирает государственное сознание. Война отвечает его классовым интересам, но понимание этих интересов у него развито слабо. Зато он ярко отличает частные факты, с которыми сталкивает его война.

«Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т. д.: всякий из нас маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или треть жалованья» (Из «Севастополя», стр. 178).

В кавказских и севастопольских рассказах много замечательных страниц, где это резкое заявление иллюстрировано художественными образами. Таким образом, война и служба в армии «искателям» Толстого приносит только новые разочарования, углубляет и расширяет критическую работу их мысли и чувств. Правда, разрушив один надежды, военная жизнь открыла перед ними новые пути. Именно, она впервые показывает возможность ухода от своего класса на другую социальную почву.

Как ни обеспечено, как ни привилегировано положение богатого помещика, армия все же приводит его к известному демократизму. Военная служба сближает с офицерством, далеко не однородным по своему социальному составу, солдаты тоже по необходимости становятся к помещику в более близкие отношения, чем его крепостные. Походная жизнь заставляет привыкать к общению с низшими социальными слоями. Жизнь мужиков, в которой ранее Толстой-Нехлюдов презирал животное начало и не видел никакой «духовности», теперь в лице вольных казаков выступает в ином свете. Ее близость к природе и элементарность манят его; ему представляется, что она может быть настоящим счастьем в сравнении с его прежней жизнью, полной противоречий и разочарований. В его сознании происходит несомненный сдвиг. Религиозно-нравственные идеалы отступают перед пантеистическими восторгами. Оленину «ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него».

Нехлюдов из «Записок маркера» ушел от жизни. Оленин из «Казаков» хочет уйти от своего класса. Но его мысли о приписке

к казачьему обществу и женитьбе на казачке не сопровождаются никаким конкретным представлением своего будущего. От трудовой реальной стороны жизни Оленин заслоняется. Смутно в его подсознании присутствует мысль, что мир Марьянки чужд его душевной работе, а последнюю он ценит дороже всего. Занятость собой приводит Оленина к любопытному соединению сантиментализма с грубым бездушием в разговоре с Марьяной—после ранения Лукашки. Марьяна не может не чувствовать, что Оленин ей социально противоположен. Но и Оленин не может быть другим. Постоянное внимание к себе,—это вериги класса, которые он не может с себя снять.

Мечтания Оленина — самая высшая точка внутренней работы крупнопоместного искателя, но она не может завершиться реальным разрывом с прошлым. Кроме отрицания своей жизни, поместный искатель идеалов не имеет никакого иного багажа. Ему есть что разрушать, но не с чем строить. Отнесись Марьяна к Оленину иначе, он все равно не мог бы выполнить своих планов. Толстой стремится сбросить с суб'екта своего творчества груз общественных традиций и восприятий, стремится к отчуждению от действительности, хочет противопоставить человеку товарного общества натурального человека, но как и Жан-Жака Руссо его в этой попытке постигает неудача.

Крупнопоместная социальная основа побеждает в «Казаках»,—этом произведении Толстого, внешне очень далеком от барской усадьбы. Поместный барин в «Казаках» достигает кульминационного пункта борьбы со своей социальной природой. Во всем творчестве Толстого за период 1852—1862 гг. это наиболее острое, бодрое и яркое произведение. Однако и в нем художественное раскрытие сосредоточивается на Оленине. Лукашка и Марьянка, даже восхищающий Толстого язычник Ерошка остаются скрытыми с их внутренним миром.

Как будто отчаиваясь разрешить вопрос о судьбе своего основного характера, Толстой в остальных произведениях этого периода подвергает желчной критике рядовых представителей своего класса. Проявляются «Холстомер» и «Три смерти», в которых, как и в мыслях Оленина, природное и животное противопоставлено светскому гниению; «Альберт» и «Люцерн», в которых находит себе безболезненный выход жалостливость барина [1]).

Наконец, «Семейное счастье» заключает бурный этап поисков, возвращая к его истокам—поместной усадьбе. На этот раз центральный характер—женщина, но, конечно, все тот же неудовлетворенный Иртеньев—Нехлюдов—Оленин. Толстой проводит свою героиню через несколько этапов, показывая тщету больших страстей светской жизни, и, впервые, вводит в гавань успокоения.

Пресловутая забота о крестьянах в этом романе сведена к практическому руководству имением. И от всех вопросов освобождает семейное счастье, воспитание детей. Здесь удовлетворение, равновесие, настоящее счастье. Убежденность в гармонии индивидуалистической скорлупы господствует у Толстого и сказывается ощутительно в рельефности формы романа, в законченности обрисовки характеров. Маленький роман «Семейное счастье» уже отрывает творца «Войны и мира» и «Анны Карениной»...

---

[1]) Писарев очень верно замечает: «Эта тонкость организации есть не что иное, как совершенное расстройство нервной системы, расстройство, порожденное праздностью и бестолковой суетливостью».

2.

«Реформа» 19 февраля 1861 года своим полуфеодальным разрешением крестьянского вопроса несколько продлила агонию крупнопоместного барства. На небольшой срок помещик мог свободно вздохнуть. Призрак экономического краха и крестьянского бунта отодвинулся, и патриархальные условия временно укрепились в жизни высшего барства. Но это благополучие осознавалось только в рамках усадьбы. За ее околицей начинался тревожный и непонятный мир железных дорог, промышленности, акционерных обществ, растущего купечества, чуждых политических страстям. Крупнопоместная среда к этому миру питала отвращение; быстрому бегу жизни, калейдоскопу меняющихся связей она пыталась противоставить свой рутинный мир с постоянством связей во времени и пространстве. «Родовой дом, в котором прожили десятки поколений, сменяя друг друга, стоит неизменно, храня следы прошлого, связуя его с настоящим. Те же липы, которые десятки лет назад осеняли дедов и прадедов, шепчут теперь новому поколению о днях былых. Сквозь шопот лип слышится говор стариков, мелькают перед глазами их образы и снова как бы переживается угасшая жизнь... Здесь безграничная власть предания, здесь жизнь развертывает свою книгу страница за страницей, и плавно, последовательно, эпически спокойно говорят эти страницы о тихой и преемственной жизни усадьбы». Эта «жизнь помещичьих усадеб служила содержанием для художников пушкинского направления, и стиль, выработанный ею, находится в строгой гармонии с этим содержанием». Эти слова В. Ф. Переверзева [1]) как нельзя лучше определяют социальную психологию поместного барства, получившую свое исключительно яркое изображение в эпопее «Война и мир».

В десятилетие, предшествовавшее реформе, ощущая подземные толчки, напуганный барин мог сосредоточиться только на частных социально-психологических вопросах: отношении барина и мужика, этических проблемах жизни и смерти, любви, и каждый из этих вопросов разрешался сам в себе. Это соответствовало индивидуалистической природе и реальной изолированности помещика. Редакционные комиссии, проекты, собрания дворян по вопросам, связанным с кардинальнейшим вопросом бытия,—судьбой вотчины, вновь укрепили классовые связи поместной среды. Явилась возможность и необходимость связать все эти вопросы, дать полную широкую картину своей жизни и увенчать ее соответствующим зданием философии Но липы шептали лирические стихи Фета, а телеграфные провода в полях пели в совсем ином ритме. Старые портреты не сходились с газетами. Размеренной жизни барской усадьбы противоречил гул железнодорожных колес. *Психология высшего барства была целесообразна по отношению к экономике их усадьбы. Но экономика усадеб не была целесообразна по отношению к экономике капитализировавшейся пореформенной монархии.* Обстановка 60-х годов не могла быть фоном для широкого полотна романа, охватывающего класс, отсталый в современных общественных отношениях. Отсюда появилась потребность в историческом полотне, надо было отодвинуться в прошлое, чтобы успешно попытаться утвердить свое настоящее. «Всякая данная ступень развития производитель-

иых сил,—указывает Плехаиов,—иеобходимо ведет за собой определеииую группировку людей в общественном производительном процессе, т.-е. определеииые отиошения производства, т.-е. **определеиную структуру всего общества**. А раз дана структура общества, не трудио поиять, что ее характер отразится вообще на всей психологии людей, иа всех их привычках, иравах, чувствах, взглядах, стремлеииях и идеалах». Толстой и нскал такой структуры общества, которая помогла бы ему возможио полиее и глубже развериуть жизиь своей среды, раскрыть ее миросозерцаиие. Эпоха декабристов ему ие подошла, потому что двадцатые годы как бы предвосхищалн иеприятную обстаиовку сороковых - пятидесятых годов. Обуржуазиваиие, запвдиичество — претило ему. Позже ие подошла н Петровская эпоха [1]). И ие только потому, что Петр претил Толстому, как агент торгового капитала. Вся обстаиовка полуварварского боярства была чужда эстетической культуре Толстого, его психологии барина, привыкшего, несмотря иа поразительиое зиание русского языка, прибегать для определеиия тоиких ощущеиий к французским выражениям. Естествеиио, что время 1805—1812 годов, приведшее в движеиие все общество Алексаидровской эпохи, было наиболее целесообразио для звдачн Толстого. Оио позволяло перекинуться из дворянскнх гиезд в столицы, от тихой жнзии помещиков к бурям войны, от замкнутого семейного мира к историческим фигурам,—словом, показать свой класс в большом н малом, как в капле воды.

Добросовестиость исследованния эпохн в иекоторых частях «Войны н мира» несомиеииа. М. Н. Покровский указывает, что к описанию бегства русской армни перед войсками Наполеоиа в 1805 г.— иечего добавнть. Но эта историческвя вериость имеет место лишь до тех пор, покуда оиа ие препятствует ндеалнстической обрисовке дворяи-помещиков [2]).

Рассказ Толстого о собраиии московских дворян для решения вопроса об ополчении должеи привести к следующни выводам: дворяне, не звдумывзясь, готовы были к жертвам, иа которые призывал государь; только лнберальные одииочкн, в роде Пьера Безухова, представлявшие продукт уродливой путаиицы западно-европейских идей, хотели подвергать критике предложения властей; ио н те, вследствие общего под'ема, «почувствовали себя виновнымн». На самом деле «правнтельство не верило в щедрость первеиствующего сословия». «Когда Александр прнехал в Москву,—резюмирует по запискам Ростопчниа, Бестужева-Рюмииа и др. современииков Рожков,—с призывом к ополчеииию н пожертвоваииям, в действительиостн получилась картииа, весьма мало похожая на традициоиный патрнотический лубок. Московские дворяие вовсе не расположеиы былн слепо восторгаться, а хотели задать императору беспокойные и иеудобные вопросы о том, сколько войск у иас н у Наполеоиа, каковы средства обороны н пр.». По Толстому дворяиская масса была возмущена Пьером. Но в таком случае ие зачем было московскому главиокомандующему прнбегать к решительиым мероприятням. «Ростопчии иашел необходимым поставнть иедалеко от собрання две тележкн с полицейскими и иа вопросы, для чего это сделано, велел отвечать: для тех,

[1]) Попытки ромаиа из Петровской эпохи отиосятся к семидесятым годам.

[2]) В VI отрывке, опубликованных проф. Грузинским, фрагментов «Войны и мира» читаем: «Крестьяне Лысых Гор, не в обиду будь сказано, 19 февраля работали весело, иа хороших людях, и имели вид благосостояния больший, чем какой теперь встретить можио».

кого сошлют. И только тогда хвастуиы ничего ие говорили в собрании и вели себя умнее».

Самое решение о количестве ополчения было принято в довольно комической обстановке. «Когда граф Гудович предложил выставить по одному ратнику с каждых 25 душ, двое дворян закричали, что иадо по одному с десяти, и это поиеволе было принято», ио один из этих энтузиастов был человек, не имевший земли и крепостных, а другой хотел этим добиться приглашения к императорскому столу».

Якушкни, Завалишин, Вигель, тот же Ростопчин и миогие другие современники сообщают о распространеиии в дворянстве страхе перед крестьянским восстанием. Страх этот был обосиован: Синод увещевал народные массы «пребывать в послушании законной, от бога поставленной, власти». Посвящая миогие страницы великому единению классов в борьбе с врагом, Толстой только мельком касается этой стороны действительности 1812 г., в описании встречи Николая Ростова и Марии Болконской. Никакой попытки об'яснить недовольство богучаровских мужиков! Граф Ростов привел их в повиновение и все [1]).

Передовые помещики—«предприниматели» александровского времени—отлично созиавали, почему нужен союз с Англией против Франции. Выгоды вывоза хлеба, пеньки, льна, леса и кож и нужда в английских промышленных и колониальных товарах были для них гораздо более важными аргументами ненависти к империи, чем революционное происхождение власти Наполеона и обиды, нанесенные им германским государям. Сторонники союза с Францией больше дорожили возможностями развития мануфактур при континентальной блокаде, чем либеральными фразами о свободе. В кругу этих вопросов была настоящая жизнь эпохи; противоречиями между экономическими интересами торгового капитала и крупного землевладения — с одной стороны, зарождавшегося промышленного капитализма—с другой,—должно об'яснить важнейшие факты внешней и внутренней политики Российского государства в это время. Ни Сперанского, ни Александра первого вне этих факторов нельзя не то что понять, но даже показать. Но так как настоящая общественная и экономическая жизнь эпохи у Толстого отсутствует, то Александр первый и Сперанский в романе лишь именами связаны с действительными историческими фигурами. И Наполеон—это ненавистное барину выражение буржуазной идеи и практики—также ощущается только физиологически. Больше удались Толстому Ростопчин и Кутузов, но это потому, что они ближе всего к старозаветному помещику.

Если все основные вопросы эпохи обойдены Толстым, то что же делают действующие лица романа? Они наслаждаются жизнью, любят, нравственно болеют, ищут путей к самопознанию, занимаются хозяйством, воспитывают детей.

«Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости

[1]) В другом месте «Войны и мира» Толстой указывает:
«Не только в Москве, но по всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1 и 2 сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве и, кроме толпы, собиравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, ничего не было».

или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований».

Это утверждение лучше всего подтверждает нашу мысль, что задача Толстого была не в изображении эпохи с ее борьбой, идеями и т. д., а жизни и психологии своей среды, с ее взглядами и запросами 50—60-х годов, которую он хотел поместить в условия начала XIX века.

Защищая свою историческую правоту, Толстой только подтвердил, что не исторический роман надо видеть в «Войне и мире», а изображение жизни, мыслей и чувств крупнопоместного барства его времени [1]).

«Характер времени, как мне выражали некоторые читатели при появлении в печати первой части, недостаточно определен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить следующее: я знаю, в чем состоит этот характер времени, которого не находят в моем романе,— это ужасы крепостного права, закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и т. п.; и этот характер того времени, который живет в нашем представлении, я не считаю верным и не желал выразить. Изучая письма, дневники, предания,— я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или когда-либо. В те времена так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная, умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утонченная, чем теперь в высшем сословии. Ежели в понятии нашем составилось мнение о характере своевольства и грубой силы того времени, то только от того, что в преданиях, записках, повестях и романах до нас наиболее доходили выступающие случаи насилия и буйства. Заключать о том, что преобладающий характер того времени было буйство,—так же несправедливо, как несправедливо заключил бы человек, из-за горы видящий одни макушки дерев, что в местности этой ничего нет, кроме деревьев. Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи), вытекающий из большой отчужденности высшего круга от других сословий, из царствовавшей философии, из особенностей воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. п. И этот характер я старался, сколько умел, выразить».

Уже противоречие между исторической формой и социально-психологическими мотивами вскрывает существенную черту толстовской эпопеи. При самом беглом взгляде на князя Андрея Болконского или Пьера Безухова приходится решительно отказать им в представительстве знати Александровской эпохи.

Так Толстой уверяет, что Андрей Болконский в петербургский период его жизни между Тильзитским миром и войной 1812 г. был горячим поклонником Сперанского, страстно занимался в преобразовательных комиссиях и комитетах, но затем разочаровался в либеральной деятельности, оценив ее «ничтожность». Как же мотивируется это ощущение «ничтожества» вопросов, составлявших для современников князя Болконского жгучее существо внутренней политики российского государства? Ведь реч шла по словам Бицкого,—одного из сторонников Сперанского,—об эре величайших реформ. Андрей Болконский услышал, что «правление должно иметь основанием не

[1]) Приводим отрывок из его статьи «По поводу «Войны и мира».

произвол, а твердые начала», что «финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны». Для образованного представителя знати, читавшего Монтескье и Канта, переводчика на русский язык статей римских и французских законов, эти тезисы политики и права не могли быть пустыми звуками. Ежели он не был с ними согласен, то нашел бы достойные выражения. Например, он мог бы сказать: все это совершенно не первостепенное дело. Государя побуждают заниматься вопросами, которые не облегчают положения наших землевладельцев. Прежде надо бы решить вопрос о вывозе нашего хлеба, льна, пеньки и лесу. Прежде надо бы покончить с невыгодным Тильзитским миром и возобновить торговлю с Англией. Тогда будет видно—какие начала надо вводить в управлении Российским государством. Именно так рассуждали Болконские—представители аграрно-торгового капитализма [1]), ненавидевшие в Сперанском защитника нарождавшегося промышленного капитализма и континентальной системы. Такова была их программа.

Но Андрей Болконский Л. Толстого рассуждает как поместный барин 60-х годов, уже отвыкший отождествлять свои социально-экономические интересы с политикой государства. Поэтому «самая простая мысль приходила ему в голову: какое дело мне и Бицкому, какое нам дело до того, что государю было угодно сказать в Совете? Разве все это может сделать меня счастливее и лучше?». «Он живо представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона-старосту и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам (когда составляли статьи законов), ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой».

В этих двух цитатах толстовский барин разрывает мундир начала XIX века и показывается с отчетливостью не меньшей, чем в «Утре помещика». Во-первых, общественная деятельность не в состоянии внести гармонию в гипертрофированное самосознание барина-индивидуалиста, никак не может сделать его счастливее и лучше. Во-вторых, либеральная политика никакого отношения не имеет к его хозяйству. Какие статьи буржуазных кодексов применимы в элементарных патриархальных отношениях помещика с его старостой и крепостными мужиками! Занятиям в деревне вся буржуазная программа Сперанского не соответствует и может только мешать. Этой праздной работе в Богучарове противостоит свой уклад жизни; мир, в котором мужики по твердым началам управляются своим государем-помещиком, в роде Николая Ростова (который мужиков если и бьет, то с любовью, для их же пользы). Разница между Болконским — современником Сперанского и Болконским—Льва Толстого—очевидна. Первому должен быть чужд исключительный эгоцентризм второго. Последнему недостает положительной программы первого — будучи также враждебен промышленному капитализму, он уже не в состоянии формулировать широкую программу, он замыкается в узкие пределы своей усадьбы.

Еще более нелепо представление об «историзме» образа Пьера Безухова.

Пьер считает, что общая справедливость требует освобождения крестьян, но он шел на это «неохотно» и «в тайне своей души соглашался с управляющим в том, что трудно было представить себе

[1]) Князь Андрей Болконский часть мужиков освободил, а часть перевел на оброк.

людей более счастливых и что бог знает, что ожидало их иа воле». Как и у Андрея Болконского, у Пьера нет положительиой политической программы. Вот как он формулирует задачи Тугендбунда в заключительной главе романа:

«Тугендбунд—союз добродетели; эту любовь, взаимиая помощь; это то, что на кресте проповедывал Христос»... «Все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народу взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. По отношению к правнтельству общество должно стать «в отиошения помещиков. Общество может быть не тайиое, ежели его правительство допустит. Оио ие только не враждебиое правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев ие послал меня в военное поселение, — мы только для зтого боремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности».

Декабристы представляли средне-поместное дворянство, но отчасти и буржуазию. Онн имели значительную прогрвмму, разрешавшую иа коиституциоиных началах вопросы государственного устройства, создававшую условия для капиталистического развития России. У Пьера зги проблемы отсутствуют. Он исходит не из задач переворота, как декабристы, а из задач охранения правительства, сплочения вокруг последнего консерваторов, джентльменов.

Правительство надо спасать, чтобы оно спасало помещиков. От кого же? От Пугачева и Аракчеева. Последний с его военными поселениями, грозившнми стать очагом иовой опричнины, действительно был враждебен нуждам большого дворянства, и Толстой здесь отдал дань хвректеру времеии. Но рассуждения Пьера о Пугачеве, т.-е. о крестьянском восстании, отразнли испуг современика, боявшегося перед 61-м годом и после него бунта крестьян, превращаемых в «принудительиых владельцев». Это живо напомииает утверждеиие славянофил Кошелева: «Мы столько стоим за предоставленне людям свободы, сколько против того, чтобы люди у иас ее выхватилн».

Замечательнее же всего моральная основа взглядов Пьера. Катастрофа грозит потому, что вокруг правительства соблазны от почестей, денег и женщин, «в том лагере» — тщеславие. Только для представнтеля социальной группы, уведенной в сторону от борьбы за власть, от участия в государствеиюм управлении—нормальиа эта исключительно-нравственная оценка. Но иной и невозможио ожидать от Пьера, для которого основиой вопрос жизии—поиски «успокоения—согласия с самим собой». Занятостью собой об'ясияются все его хорошие и дурные поступки. Он ищет личио-нравствеиного удовлетворения то в философских размышлеииях (как Иртеньев), то в виие и рассеянности светской жизни (как Нехлюдов из «Записок маркера»), то в филантропических и реформаторских планах (как «Русский помещик»); то в геройском подвиге самопожертвования, в ромаитической любви и в опрощении—слияиия с народом (как Оленин).

Итак, психология Безуховых и Болконских вырастает ие в производственных отношеииях начала XIX века, когда они в структуре общества занимали место первеиствующего сословия, а в условиях усадебной экономики 60-х годов, подточенной враждебными производственными отношениями всего общества и лишавшей их былой общественио-активной роли.

Совершив насилие над исторической формой, Толстой не впал в противоречие со своим заданием. Рядовые представители высшего деревенского и бюрократического барства действительно мало изменились за 50 лет. В середине века, как и в начале его, жизнь шла в просторных и хорошо наезженных колеях; в чинных и холодных салонах Петербурга, в хлебосольных московских особняках и полных патриархального уюта усадьбах—исторический колорит целиком совпадал с бытовой обстановкой современников Толстого. Атмосфера сплетен, французских мод, раздушенных причесок и обнаженных плеч, веселой музыки, танцев—разве только чуть поблекла. Но ее романтику легко было восстановить при поднявшемся с реформой тонусе жизни барства. Ощущая здоровую радость в воспроизведении хорошо знакомой жизни, Толстой мог уверенно лепить свои образы. Беззаботность старого Ростова и суровое самодурство князя Болконского, детские радости Наташи и юная расчетливость Бориса Друбецкого, дерзость Долохова и чувственность Эллен, грубая гусарская жизнь Николая Ростова и восторженное безумие Пети, охоты, балы, салонные сплетни,—все это в «Войне и мире» живет жадно и натурально. В этом романе мы восхищаемся не словами—они исчезают: и люди, и предметы приобретают краски и запахи, получают движение, как бы материализуются. Эта необычайная сила письма в неразрывном единстве художника и его материала. Не только Пьер и Андрей ищут согласия с собой, но и сам Толстой, в этом ровном и счастливом, обнаженном ли до биологических основ, мире, ищет успокоения для себя. У него самого примитивный и по усадебной психологии цельный и честный Николай Ростов возбуждает завист; ему тоже хочется молодечества и пренебрежения к раз'едающей аналитической работе, точно он—Оленин, впервые оставшийся с Марьянкой на девишнике. Рационалистический анализ «мира» и «войны» не препятствует такому настроению. Как старательный деревенский хозяин не воротит носа от навоза и, разгребая его вилами по парному полю, радуется жизни земли и ее будущим всходам, так и Толстой не пренебрегает ником.

Вот Берг в полковничьих эполетах, в уютной маленькой своей квартирке. Он так рад своему счастью, что Толстой не может не войти в его положение и не порадоваться вместе с ним. Вот Анатолий Курагин, низкий, развратный и дрянной человек, умирает, и, через князя Андрея, Толстой дает почувствовать, насколько эти страдания смерти сильнее, чем вся пошлая и мерзкая жизнь Анатоля прежде. Большое и малое в кругу высшего дворянства привлекают Толстого, и фрагменты, наброски, штрихи, случайные намеки, все, что подготовлялось в его творчестве десятью годами писательской работы, в «Войне и мире» становится совершенным, полнозвучащим и гармонично соединенным в одну грандиозную симфонию.

В первый период творчества этой гармонии мешало бессилие найти счастье для своего героя. Роман «Семейное счастье», как мы указывал, был по существу попыткой уйти от больных вопросов. Мир достигался самоограничением, механическим отказом от ряда проблем. Теперь, в «Войне и мире», неужели же Толстой повторил на расширенной основе свой путь? Неужели же так и остался образ «искателя» в противоречии с несущим в себе «радость жизни» старым охотником Ерошкой, и Толстой удовлетворился в итоге Николаем Ростовым? Нет, вопрос об уходе от класса, как и все другие вопросы, поставленные Толстым ранее, также нашел свое место и свое примирение в «Войне и мире».

Каратаев и все каратаевские образы Толстого, включая Алешу Горшка и старого Акима из «Власти тьмы», не могут быть здесь детально анализированы. Здесь важен только один вопрос—расходится ли идея каратаевского образа с барской психологией, противоречит ли влияние Каратаева на Пьера Безухова бытию «Войны и мира», как произведению, социально-обусловленному бытием крупнопоместного барства? Еще Овсянико-Куликовский отметил идеальность Каратаева. «Вообразим себе внутреннюю, душевную историю человека, как бы приостановленного; допустим, что если в положительном содержании его мыслей, чувств, волевых актов и совершаются некоторые перемены, то они совершенно ничтожны; примем их равными нулю, согласимся признать его душевное содержание величиной постоянной. Тогда мы уже не будем в состоянии отличать его от формы,—в наших глазах оно сольется с формой («психологической формой—без содержания»—по терминологии Овсянико-Куликовского.—А. З.). Такой опыт сделал Толстой, создав образ Каратаева». Овсянико-Куликовский полагал, что в Каратаеве Толстой хотел выразить национальный тип, дать широкое психологическое обобщение. С этим утверждением должно согласиться. Ведь Толстой подчеркивает, что «Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего *русского, доброго и круглого*».

Однако вопрос за этим только начинается. Почему Каратаев представляет для Толстого *непостижимое, вечное олицетворение* духа простоты и правды? Потому ли, что он внимателен к товарищам и всегда готов им услужить? Потому ли, что он пожертвовал собой для семьи, уйдя в рекруты? Или его постоянная ровная жизнерадостность и особая народная мудрость восхищают Толстого? Вернее всего тот ответ, что ничто в отдельности не является причиной такого отношения, но все вместе его об'ясняет. Все вместе для Толстого представляет идеал *фаталистического смирения* перед стихией жизни. Что бы ни случалось с Каратаевым—он не ропщет, не борется. «А мы все судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь—надулась; а вытащишь—ничего нету». «Рок головы ищет»,—заявляет Каратаев. И гармония и красота жизни Каратаева не в его внешнем образе, не в близости к земле и труду, а именно в этой философии непротивления, в стихийно-безропотном подчинении потоку жизни. Ерошка был плотно связан со своим горным миром, с запахами зверя и леса. Следовать за Ерошкой, понимал Оленин,—значит отказаться от своего богатства и привычек, изменить социальное положение. Платон Каратаев не имеет конкретного мира. Его крестьянское прошлое абстрактно, как евангельская притча. Следовать за ним—значит оставаться самим собой, приобретя равновесие во внутреннем мире. Разве не тот же Каратаев—Багратион под Шенграбеном? Он только делает вид, что соображает, он хочет представляться в глазах подчиненных управляющим боем, но в глубине души он убежден, что все должно совершиться по непостижимому року, и его обязанность только следить за тем, чтобы никто этому року не мешал. На батарее Тушина решают открыть стрельбу, и Багратион говорит: хорошо! Ему сообщают, что французы разгромили Минский полк, и он наклоняет голову с видом согласия и одобрения. Ему доносят, что посланный в атаку полк не мог выполнить распоряжения, и он вновь говорит: хорошо!

То, что движет Багратионом под Шенграбеном, постоянно определяет деятельность Кутузова. Кутузов Толстого—Каратаев в генерал-

фельдмаршальском мундире. Старческая слабость, медлительность и неспособность русского главнокомандующего превращены художником в идеальную оболочку человека, единственно понимающего фатальность всего совершающегося и сознательно следующего ходу событий.

Таким образом, дух простоты и правды может проявляться на различных общественных ступенях. Кутузову и Багратиону вовсе не нужно стать в положение Каратаева, чтобы установить согласие между внешним и внутренним миром. Достаточно знать, что есть непостижимый, управляющий действиями человека, дух и с приятной улыбкой принимать все те перемены, какие создает поток жизни. На эту точку зрения становится Пьер и в еще большей степени умирающий князь Андрей; она бессознательно присутствует и в кроткой Мари Болконской, ею управляется, наконец, сам Толстой в отношении всех событий и людских поступков в «Войне и мире».

«Когда созрело яблоко и падает—отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле; оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его; оттого ли что стоящему внизу мальчику хочется с'есть его? Ничто не причина. Все это—совпадение только условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему хотелось с'есть его и что он молился об этом».

Вот эта антиномия между рассудком и чистым разумом питает дуализм Толстого и порождает поиски примирения в непостижимом идеальном духе—роке [1]), управляющем человеческой судьбой. Силу этого рока Толстой особенно ярко дает чувствовать в следующем описании:

«Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лопотать непонятные слова:

— Кари, мала, тафа, сафи, мутер, каска,—лопотал он, стараясь придавать выразительные интонации своему голосу.

— Го, го, го! Ха, ха, ха, ха! Ух! Ух!—раздался между солдатами грохот здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося французам, что после этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки».

Вот как чудовищна война и как далеки сами по себе люди от желания убивать. Очевидно, сила войны не в них (и не в Наполеонах и Александрах,—доказывает Толстой), а в предопределенной непостижимой необходимости.

«Фатализм в истории неизбежен для об'яснения неразумных явлений (то-есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно об'яснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее, непонятнее.

Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро

[1]) Очень похожим на шеллинговский Абсолют.

он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение».

Итак, действия человеческие по-Толстому предопределены непостижимой силой, фатально направляющей весь исторический процесс. Никчемной, дурной и только развращающей игрой являются попытки изменения внешней (т.-е. социальной) жизни на основе самостоятельных решений и свободомыслия. Единственная задача человека—нравственное совершенствование. Нет пути внешней правды, ибо он ложен; есть только «путь внутренней правды», освобождающий от всяких вопросов, проблем и поисков, от всяких уклонений с настоящего пути подчинения непостижимому. Такая психология не может оставить места для критического суждения. Она окончательно уводит от социального анализа к моральному анализу. Она видит в Каратаеве и Кутузове, глубоко консервативных и инертных образах, нравственный идеал, примиряет помещика Нехлюдова с его ролью отца крепостных, дворянина Оленина со светским кругом. Это примирение и имеет место в «Войне и мире».

Таким образом, мотив каратаевщины на этом этапе творчества Толстого не вносит новых элементов в его творчество. Оно остается выражением идеологии крупного барства, нуждавшегося в моральном оправдании своего бытия и за отсутствием реальной базы в общественных отношениях обращавшегося к метафизическому сверхидеальному авторитету. Очень характерно, что в исторической науке и философии то же барство породило в этот период славянофильские теории, во многом совпадающие с художественным мировоззрением Толстого.

Сопоставление взглядов Толстого с одним только К. Аксаковым дает много дополнительных подтверждений нашего анализа. «Закон нравственный (внутренний) требует прежде всего, чтобы человек был нравственный и чтоб поступок истекал, как свободное следствие его нравственного достоинства, без чего поступок теряет цену»... «Не силой принуждения, но силой самой жизни истребляется все противоречащее истине, дается мера и строй всему»... С той же целью оправдания исторической роли помещичьего класса славянофилы говорили о нравственном типе русского человека, как прирожденно-консервативном, и изображали исторический процесс в России чуждым классовой борьбе.

Итак, об'ектом творчества художника на анализированном этапе является, главным образом, поместное барство и в гораздо меньшей степени крестьянство. Суб'ектом творчества является и классовую установку этому творчеству дает образ поместного барина. Иртеньев—Нехлюдов—Оленин—Болконский—Безухов,—все эти фигуры, конечно, не только различные имена суб'ектного образа. Они—этапы и вариации единого образа. Они отражают уменьшение политического значения и экономической мощи крупнопоместной среды, ее неустойчивость, ее колебания, подверженность социально-тектоническим толчкам. Филантропизм, попытки опрощения, критика светской жизни и военной среды главными характерами Толстого—следствие этой неустойчивости.

Метод психологического анализа возник у Толстого вследствие органической социальной черты—самоанализа; рационализм Толстого—порождение и форма этой характерной творческой черты художника.

Пройдя кульминационный пункт внутренних противоречий в «Казаках», Толстой приходит в «Семейном счастье» к первой попытке синтеза в индивидуалистической гармонии. На лицо вс элементы для создания великой дворянской эпопеи «Войны и мира». В последней сказывается ложное представление Толстого об укреплении социальной почвы для поместного барства.

«Реформа» исправила крышу на здании поместной экономики. О том же, что ее фундамент осел и надобно крепить стены—помещик не сразу догадался. Как мы видели, эта классовая иллюзия привела к созданию эпопеи романтической нирваны патриархального бытия—«Войны и мира». Вчитываться в действительность помещик еще не умел. Подсчитывая сохранившиеся обломки крепостного права—право отдачи крестьян на общественные работы, временно-обязанное состояние, круговую поруку, право телесного наказания и т. д.,—барин, особенно крупнопоместный, продолжал верить в мощь внеэкономического принуждения. Это были очки, в которые нельзя было разглядеть, как рушатся главные основания крепостной экономики. Новые веяния представлялись плодами короткого кризисного состояния между старыми и новыми формами уклада. То, что мужики стали увиливать от отработков и в хозяйстве надо хлопотать о найме рабочей силы, казалось таким же смешным и нелепым, как женская эмансипация и появление образованного разночинца. Одинаково на все эти явления помещик глядел с презрительной улыбкой. Он полагал, что их существование зависит от его *терпения*. Стоит ему только ополчиться на этот «*прогресс*», как сейчас же вскроется его эфемерность и «ничтожество», как сейчас же обнаружится, что помещик продолжает быть главной и решающей величиной. Литературное свидетельство этих иллюзий Толстой оставил в «Зараженном семействе». Самый факт *комедийной* обработки материала характеризует тенденцию видеть в новом поверхностные и случайные факты. Оптимизм Толстого в этой пьесе не случаен. Творец «Войны и мира» не мог так же серьезно опасаться нового общества, как Лесков («Некуда») и др.) или Писемский («Взбаламученное море»). Эти представители реакционной литературы, представляя среднепоместное дворянство и чиновничество старого типа, ненавидели и боялись разночинца и пролетария. Толстой же первого презирал, второго не знал и не замечал, а в мужике все еще был уверен, что он «барину не враг».

Иллюзия, с которой в начале семидесятых годов пришлось расстаться, и вновь вступить на путь мятущихся исканий. «Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким.... теперь для Левина казались они важными». Это, может быть, неважно было при крепостном праве, или неважно в Англии. В обоих случаях сами условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось, есть единственно важный вопрос в России». Эти строки чрезвычайно характерны не только для выяснения социальных основ «Анны Карениной», но и всего дальнейшего творчества Толстого. Ссылка на Англию не случайна. Толстой берет для своего времени классическую страну уложившегося буржуазного строя. Россия семидесятых годов находится между крепостническим и буржуазным укладом. Как же ей надлежит развиваться? Как же должно относиться ко всем происходящим изменениям?

Это вопросы, которые Толстой решал в соответствии с взглядами, выработанными в период «Войны и мира». Находясь в противоречии с капитализирующимися отношениями всего общества, высшее

барство могло утвердить себя, лишь отрицая разумное и критическое участие человека в историческом процессе. Поэтому оно должно было обратиться к признанию предопределенности человеческой жизни и завершить поиски его передовых представителей гармонизацией внутренней жизни на основе полного подчинения року. Трагедия Анны Карениной, религиозная патетика Левина имеют в этом положении свои корни. Толстой от первых попыток действенной социальной критики возвращается к социальной критике на базе абстрактных проблем «морали».

Вся эволюция последующего творчества Толстого должна быть об'яснена в тесной связи с данным анализом. Вешние воды пореформенной капитализировавшейся экономики подымаются и заливают островок барской усадьбы. Соответственно этому, в силах своего класса Толстой — художник и идеолог — отчаивается и ищет опоры в патриархальном крестьянстве, являющемся естественным союзником в новых условиях.

Мужик занимает подчиненное место в «Анне Карениной». Мотив натуральной жизни «Казаков» возрождается и растет в глазах Левина-Толстого. Возврат к земле, ненависть к товарным отношениям становится программой в «Крейцеровой сонате», в «Отце Сергии», в «Воскресении», в «Хаджи-Мурате».

В частности, и анализ поэтической структуры «Отца Сергия», который зачинается в духе «Карениной», а затем осваивает «манеру» скупого хроникального повествования и исследование стилистических изменений и композиции в связи с эволюцией творчества на новом этапе—также указывают на единство социальной базы Толстого. «Простой» язык Толстого в его религиозных и моралистических рассказах, беспощадное точное изображение, например, суда в «Воскресении», отнюдь не свидетельствует о переходе Толстого к новой, независимой от прежнего творчества, «манере». Бытие образов обусловливает их словесное выражение: новые приемы Толстого закономерно порождены и развиваются из старой формы.

Вообще, все новое, что в творчестве Толстого последнего периода стало особенно ярким, является результатом уменьшения реальной роли барства, необходимости для писателя искать опору в мужике. Но мужик не становится на место барина. Они остаются рядом, в своеобразном единстве. Толстой и в эпоху 1905 г. продолжал быть лидером об'единенной фракции остатков патриархального прошлого. Но это уже вопрос исследования социальных мотивов творчества Толстого позднейшего периода.

Толстовство как мировоззрение.

Д. Квитко.

В истории русской общественной мысли толстовство как мировоззрение занимает особое место. Оно привлекает внимание историка, как общественное явление определенной эпохи, как выражение идеологического кризиса определенных социальных слоев общества. Как философское течение, это мировоззрение, по словам самого Толстого, сводится к учению Христа, очищенному от церковного догматизма. В толстовстве борются две тенденции, две «души»—общественая и индивидуальная, «земная» и «небесная».

Эти тенденции заметны во всех произведениях яснополянского мыслителя,—в художественных и публицистических, корреспонденции и «дневниках», самого начала его литературной деятельности и до конца его жизни.

Общественной тенденцией создана критика церкви, изобличение обанкротившегося политического строя и запутавшегося преступного правосудия. Но бок-о-бок с этим течением мы видим стремление к религиозно-нравственному совершенствованию, убегание от организованной жизни и аскетическое самобичевание, которое заменяет людской суд внутренним, божеским судом—совестью, вечным началом преходящих земных благ.

Эти противоположные тенденции—не столько индивидуального характера, сколько общественного. Чем крупнее индивидуальность писателя, тем крепче он связан со своей средой, тем больше он отражает ее действительность, ее стремления и заблуждения, и что обычно принимается за особенные черты характера писателя в действительности имеют более глубокие причины, кроющиеся в окружающих социальных условиях.

Случайны ли все противоречия, какими полно это мировоззрение? Надо ли искать их об'яснения в способностях Толстого? в семейной обстановке великого художника?—Их надо искать в своеобразных социальных условиях эпохи, в исторических судьбах класса, сословия, с которым он был связан, в положении страны, где его деятельность протекала. Искать причины возникновения какого-нибудь учения вне этих условий,—значит, обречь себя на бесплодные поиски.

Толстому пришлось раньше всего критиковать, бороться с враждебными взглядами и таким образом подготовлять почву для своих собственных. С отрицательной, так сказать, частью своей задачи Толстой справился великолепно. Своей критикой, борьбой с темными силами реакции он сослужил огромную службу. Но мало критиковать и отрицать, надо дать положительную программу действия. Толстой ничего положительного не мог дать массам, которые он хотел вести за собой; чужда ему была теория классовой борьбы,—от него ускользала историческая перспектива. Вместо определенного класса он апеллиро-

вал ко «всем» классам, ко всему обществу, советуя всем бороться.. против самих себя, хотя он по преимуществу критиковал власть имущих.

Поскольку он разоблачал духовенство и самодержавно-помещичью клику, он находил нужные слова и мощный голос, к нему охотно прислушивались. Но когда он переходил от критики к практике, когда он пытался давать положительную программу,—краски у него расплывались, бледнели; он сбивался, путался, и у него получалась туманная мистическая картина вместо яркого узора. Даже великие художники не могут оживить мертвых идей прошлого, а толстовство (смесь христианства и буддизма)—старое, отжившее учение.

Толстой относился отрицательно к городу. В этой нелюбви сказывается коллективная ненависть его сословия к тому новому быту (имеющему свои корни в городе), который противоставлялся натуральному хозяйству. Нащупав слабые стороны городской жизни и будучи гениальным художником, Толстой представил их в таком свете, что в его описаниях город является огромным пауком, высасывающим все жизненные и нравственные соки горожан. До положительных сторон городской жизни ему дела не было: их он не хотел видеть.

Наука является тем динамитом, который взрывает все старые устои,—и вот Толстой ополчается против культуры, против «ложной» науки, против теории прогресса, доказывая их невозможность, их вредность. Хотелось ему верить, что цивилизация, которая охватила «только небольшую часть Европы», есть временное явление. Наука, техника, искусство, которые родились в процессе дифференциации общества и принимали облик господствующего класса, воспринимались Толстым только как орудие порабощения, совершенно не годное для свободного общества; поэтому он их расценивал, как преходящую болезнь, которая сильно растрясла общественный организм, которому грозит опасность, если во-время не избавиться от нее. Свободу человека он ставил выше всего, но понимал ее абстрактно (для детей, как и для взрослых, не считаясь ни с временем, ни с местом), понимал, как космическое начало, как субстанцию, которая реальнее всякой материи. Свободу он понимал не только в политическом смысле, ее он понимал абсолютно, как священное право беспрепятственно жить и делать, что всякому вздумается, признавая судьей человеческих поступков только совесть. Врагом этой свободы он не только находил правительство, церковь и классовые привилегии, но и материальный прогресс, культуру. Он, например, советовал оставить город, бросить заодно пыльные книги,—тоже душевная зараза—и вернуться на лоно природы. Чтобы сберечь свое моральное (и заодно физическое) здоровье, человек должен заниматься физическими трудом. В толстовской утопии, как в христианском царстве божием, богатым нет места, желающие властвовать там не нужны. Эти «языческие» остатки должны быть оставлены вместе с культом науки в городе—этом шумном месте—на самоуничтожение.

В возврате к «естественной» жизни, ему казалось, лежит ключ к радикальному исцелению от всех общественных недугов. Под словом «естественный» он не понимал неограниченную свободу инстинктивной жизни, ибо страсти он считал нашим врагом. Под словом «естественный» он понимал, не знающий техники, деревенский быт, свободное пользование землей.

Эти настроения реакционны и утопичны. Вместе с общей религиозной тенденцией они содержат в себе полный отказ от жизни, от

всего, чем должна быть заполнена наша деятельность. Если клич «назад к природе» есть возврат к примитивной коммуне, то идеал бродяжничества, отказ от забот о материальной жизни есть акт медленного убиения плоти. Этот акт не единственный; вместе с ним требуется полное воздержание от половых функций; в результате—уничтожение человеческого рода или хотя бы старание не создать новой жизни: отказ от заботы о завтрашнем дне, отказ от имени даже,—и все это во имя того вечного, неизменного, безыменного бытия, которое называется богом любви. Индивидуалистические стремления, даже сам факт сознательности, не говоря уже о желаниях, которые возбуждаются естественным образом у человека,—это все то же, что первородный грех, за который мы, правда, не расплачиваемся на том свете. (Толстой был против наказания и здесь и по ту сторону земной жизни). Но зато нас карает угрызение совести. Следовательно, исправлять себя и стремиться к нравственному совершенствованию, активно никогда не сопротивляться злу,—вот путь, по которому мы должны следовать, если мы желаем следовать по божьему пути.

Даже поучать других грешно. Учить (если это слово в толстовском смысле вообще допустимо) можно только примером, молча, самоотверженно, ибо человек только тогда прав, когда внутреннее чувство, совесть ему диктует какой-нибудь поступок, но не разум.

Говоря о разуме в том смысле, в каком Толстой его употребляет, надо оговориться, что яснополянский мыслитель не всегда употребляет его одинаково. «Разум» то означает критическую способность человека познавать вещи непосредственно—аналитически, то непосредственно—интуитивно. При этом необходимо заметить, что истинность наших предположений проверяется не столько опытом, сколько совестью, т.-е. не об'ективно, а суб'ективно. И так как по Толстому совесть есть «искра божия», следовательно божеская рука проявляется во всех случаях стремления к самосовершенствованию.

Что Толстой недоверчиво относился к проявлениям критической способности человека, к исследовательской деятельности его, видно из критики им науки теоретической и прикладной. Вот образец его критики:

«Они с одинаковым старанием,—пишет он в статье «О ложной науке»,—с одинаковым старанием и важностью исследуют вопрос о том, сколько весит солнце и не сойдется ли оно с такой или такой звездой, и какие козявки где живут и как разводятся и что от них может сделаться... и как делать электрические двигатели и аэропланы и подводные лодки и пр., и пр., и пр. И все это науки с самыми странными и вычурными названиями, и всем этим с величайшей важностью передаваемым друг другу исследованиям конца нет и не может быть, потому что делу бывает начало и конец, а пустякам не может быть и нет конца... Выдумывают эти люди всякие игры, гулянья, зрелища, театры, борьбы, ристалища, в том числе и то, что они называют наукой».

Разве не разум «выдумал» теорию борьбы за существование, разве разум может открыть «закон любви» в природе, в которой царствует закон сильного? Разве разум не приводит нас к агностицизму? Есть одно утешение, что этот разум ложен, но тогда его деятельность вредна, ибо разум стоит поперек пути истинному познанию—«откровению» совести. Разум с совестью в ладах не живут.

Но когда вопрос заходил о критике духовенства, о критике церковных догматов, Толстой становился на момент рационалистом, чтобы

сиова отказаться от рациоиализма, тогда, когда спор заходил с агиостикамн, с атеистами.

Иитуитивизм—мстод позиаиия фндеистов, и сколько Толстой ии поддерживает разум, как метод познания, ои все же подразумевает «нстнниый» разум, т.-е. интуицию, днктуемую «совестью», открывающую иам более глубокие истииы, как, иапрнмер, истиию о потустороннем мире.

В этом отношеини в мировоззреиии Толстого слышеи отголосок психологни крестьянства, которое иа всякое мудрствоваиие, всякое изобретение смотрело, как иа иовый способ его закабаления. Тут видно какое-то упориое, фаиатическое желаиие дискредитировать науку, представить ее, как бессмыслицу, а учеиых, как шарлатаиов или самоувереииых дураков.

Не иадо думать, что этот взгляд выражен только в его статьях. В «Войне и мнре» Толстой рисует врачей, как шарлатанов; то же самое в «Аиие Кареннной». Там ои с иими ие аргумеитирует—просто описывает нх так, что их вред очевидеи. Толстой не боролся с шарлатанством врачей, а идеологически отрицал медициу ие только как иауку, как оиа проявляется теперь, ио иаходил ее излишией «вообще», вследствие того, что коиституция всякого человека будто бы имеет свои специфнческие особенности, ие поддающиеся изучеиию.

За этой иелюбовью к представителям иауки кроются, конечно, более глубокие причииы,—аскетические иачала Толстого. На самом деле, если земиая жизнь есть одио лишь страдаиие, которое надо преодолеть, что за смысл оттягивать смерть? Отсюда — mutatis mutandis—болезиь—благо, которое ведет к высшему благу, а иаука, чья цель—облегчеиие земиого бытия, стремленне человека быть властелииом природы, есть «противоестественное» стремлеиие, искусственное задержаиие того процесса, который вел бы к «освобождеиию» от времеииого и простраиствеииого ига. Таковы аитисоциальиые мотивы толстовства, этой идеологии смерти, самоубийства. Это—крик отчаяиия класса, которого ждет крушеиие и могила.

Надо было доказать беспочвеииость иауки и шарлатаиство учеиых, иадо было подорвать авторнтет истории и историков — и вот Толстой, после того, как ои написал серию статей против культуры и школы, создает «Войиу и мир», произведение, в котором одним из главиых вопросов является критика истории и историков, в котором проводится фаталистический взгляд, делающий изучение истории иеиужиым и праздиым заиятием, а роль личиости в истории сводится на-иет.

Его взгляд иа философию историн, при котором великие люди не играют иикакой роли, чьи действия якобы иачертаиы испокон века фатумом или провидеиием, является выражеиием точки зрения, продиктованной классовыми иитересами, ибо ему иадо было доказать тщетность общественной деятельиости (раз ии одии человек не свободен в общественном поступке). Ее ои пытался доказать, обрисовав Наполеоиа, как зазиавшегося дурака, подлеца и труса. Если этот архивождь сброшеи с пьедестала своего величия (с легкой руки великого литературиого мастера), то что говорить о вождях более мелкого калибра? Толстой считал излишиим говорить о иих.

Замечательио, что в вопросе о свободе воли у Толстого также замечается эта двойствеииость. В общественных делах, в историческом процессе—человек только орудие в руках фатума, в духовных же делах, в делах иравствеиных человек свободеи. Тут давления рока нет.

Тут Толстой—чистейший идеалист, ибо духовной жизнью, по его мнению, правит идея, нравственный принцип. Эта двойственность тоже характерна для раздвоенной психологии погибающего класса. Общественный процесс его класса предопределен, спасти его положение никто не может—рок неумолим, но отдельный человек может выйти из этого заколдованного круга, если дело не касается общественной деятельности,—спасти свою душу может всякий. Это еще единственное утешение для члена обреченного класса.

Здесь на земле, со стороны, кажутся глупыми, преступными все эти массовые истребления, смысл которых известен одному провидению. Но Толстой не возмущается преступными актами провидения, при которых оно ведет эту бессмысленную игру. Толстой говорит об этих актах провидения в апологетическом тоне. Но этот тон не следует из предпосылок автора: тут вся эта бессмысленная игра имеет почему-то глубокий смысл. Казалось бы, что цинизм был бы естественным выводом, а у нашего автора какое-то благоговение перед роком, а цинизм переносится на историков.

В семейной хронике этого романа мы замечаем ту же противоречивость: добродетель здесь не торжествует. Андрей Болконский наказан не за свои грехи, и если бы не перемена в его предсмертной психологии (совсем неубедительно представленная), что ему скоро предстоит соединиться с «Целым», он должен был бы умереть с проклятием на губах. Так же непонятно, почему Соня, эта добрая, отзывчивая душа, названа «пустоцветом», почему автор ее обделил счастьем, не потому ли, что она слишком добродетельна? Нет, в земных делах не видно, чтобы провидение заботилось о добродетельных, защищало бы невинных (в рассказе «Бог правду видит, да не скоро скажет» купец Аксенов невинно страдает на каторге за убийство, им не совершенное). Тут Толстой—реалист и ничего не прикрашивает. Но простым описанием наш автор не ограничивается, он делает выводы, и тут он в плену у догмы, догмы умирающего класса, насквозь проникнутого религиозным пессимизмом и фатализмом. Этот пессимизм приводит его к богу, являющемуся носителем нравственных начал. Все же этот бог не награждает добродетели, не карает порока; здесь Толстой-реалист противоречит Толстому-идеалисту. Действительно, реалист должен рисовать жизнь, как она есть, без прикрас. Как об'ективист он должен зафиксировать все то, что он видит своим художественным оком, и великий мастер это невольно сделал. Но у идеалиста, прагматиста «человек является мерилом всех вещей», поэтому движущей силой является какая-нибудь идея, и благодаря этой идее герой доводится до поступка, который диктуется идеей, а не об'ективной правдой.

В своих художественных произведениях, где он верен об'ективному ходу событий, его глубокое проникновение, его широта размаха, его обрисовка мельчайших штрихов—образцы мировой литературы. В главных же идеях, в основных предпосылках он беспомощен. Тут Толстой-художник сталкивается с Толстым-моралистом. Реалист должен беспристрастно рисовать действительность; моралист старается найти в ней высший смысл, нравственное начало, божий перст.

Художественная литература была стихией великого мастера. Там он был творцом событий, и логика его меньше обязывала. Там он мог, если ему нужно было, выйти из тупика, куда его «небесная» тенденция завела. Но и в этих произведениях главной мыслью была та, что «не в силе бог, а в правде».

Уже в бытовой хронике «Детство, отрочество и юность» Иртенев мучается над разрешением проблемы нравственного усовершенствования. Но рядом с этим мы находим описание повседневной, мелочной жизни, психологии молодого аристократа, который презирает всех, кто не «comme il faut». Там же выражены мысли, с которыми мы встречаемся в произведениях, написанных им после «кризиса». То же самое в «Казаках» и других произведениях. В его художественной литературе отражается быт и идеология его среды и быт и идеология крестьянства, и вместе с тем она является публицистикой,—затрагиваются общественные вопросы и даются ответы на них. На публицистическом поле Толстой подвизался все время, пока он не сделал публицистику центром тяжести своей деятельности (после «кризиса», т.-е. в конце 70-х годов, когда реакция восторжествовала и когда его религиозное учение подчеркивается с особенной силой).

По тону, содержанию, способу аргументации и идеологии его публицистические статьи 60-х годов мало чем уступают статьям эпохи 80-х годов. В этом отношении его учение не знает периодов, в этом отношении никакого не было «перелома» в его деятельности.

То, что называется «кризисом», принадлежало тому настроению, когда у него «совесть» заговорила, когда на земную деятельность и на земную радость он смотрел аскетическими глазами. В такое время и занятие искусством стало у него «греховным» занятием, и тогда он готов был свое детище,—свою литературную деятельность,—предать анафеме. Вот эти настроения социального и индивидуального характера, эти противоположные тенденции отражают настроение отчаяния и упования класса, к которому он принадлежал, и крестьянства, с которым его класс был тесно связан.

Экономические формы крепостничества стали поперек пути дальнейшему развитию производительных сил, они служили препятствием развитию городской промышленности, которой нужны были вольные кадры наемных рабочих и вольные потребители. В деревне раскрепощенный крестьянин, которого новая «реформа» разорила, оставив землю за помещиками, совсем растерялся. С одной стороны, он как будто сделался независимым, с другой стороны, эта «независимость» возлагала на него новые заботы. Разоренное крестьянство отправилось в город, попадая в новые непривычные условия, и должно было пройти некоторое время, пока распыленные силы собрались в одно, пока они не превратились из класса «an sich» в класс «für sich» с сознанием своей мощи и будущей исторической роли.

Крепостнический класс, который до сих пор был единственным правящим классом, стал терять экономическую почву под собой. Город стал расти, как новая экономическая сила, что не замедлило сказаться в социально-политической области. Когда старым формам наступил конец, интересы класса в целом заменились интересами групп, и прежняя монолитность идеологии также исчезла. Одна группа еще мечтала о старых «добрых» временах, когда крепостник-помещик был властелином своего поместья, и людях, о которых «идеально» настроенные «заботились», как опекуны над несовершеннолетними. Другая группа завела по-новому свое хозяйство, стараясь поставить ее на коммерческую ногу. Третья—пошла служить «царю и отечеству», стараясь занимать выгодную службу. Забывая о своем захиревшем классе, забывая свою гордость, она стала прислуживаться к новым хозяевам.

Экономический кризис создал своеобразную идеологию психологизма и проповеднического морализма. Идеологи старого мира стали апеллировать к «совести», этой «божеской искре», старались сделать союзником нравственности бога, указывая на связь нравственности и религии, на ее вечные устои,—впадали в идеализм, когда дело касалось философии.

Толстой принадлежал к старой России и по своему происхождению, и по своей окружающей среде. Он, следовательно, был пропитан духом прошлого. Что новые порядки хуже старых, что вековечные устои благороднее новых, он не только слышал от своих окружающих, но в этом его убедило состояние крестьян, экономическое положение которых не стало лучше, чем оно было до раскрепощения.

Не случайно он в 1861—62 году ополчился против науки, против культуры вообще, даже против книгопечатания. Дело в том, что 1861 год был годом формального раскрепощения крестьян. Если можно было еще мечтать раньше о том, чтобы удержать «общинные» формы хозяйства, при которых «добрый», богобоязненный помещик будет «по-отечески» заботиться о своих людях, то после раскрепощения крестьян будущее обещало мало хорошего. Оно принадлежало купечеству, разночинцам и отщепенцам его класса, которые готовы были «примазаться» к ним. Будущее—это в лучшем случае, путь по стопам Западной Европы, путь капиталистического развития, с ее неизбежными спутниками, — с гибелью старо-помещичьего класса, с расслоением деревни, с движением крестьянства в город, и т. д.

Разве новые политические правители Запада не принадлежали к нелюбимому третьему сословию? А русский либерализм тоже был, главным образом, затеей разночинцев. Толстого интересовала будущность землеустройства, и это он считал главным вопросом общественной жизни и увлекался теорией Генри Джорджа.

Толстой с ужасом смотрел на новый строй, как смотрел на него старый класс крепостников, как смотрело на него разоренное крестьянство, которое должно было приспособляться к новым условиям жизни.

В республиканской Франции Толстой видел, как гильотинировали преступника,—это было лишним аргументом для человека, который и до этого косился на новый строй. На Западе он познакомился со школьной системой, необходимой для успешного развития капиталистического строя. В новой школе далеко не все было идеально, на родине либералы смотрели на Запад, как на обетованную землю,— этого было достаточно, чтобы повернуться спиной к политическим и педагогическим идеям Запада.

Разуверившись в «прогрессе», он стал идеализировать старину. Рисуя быт дворянства в эпоху наполеоновских войн, Толстой не упоминает об отрицательных сторонах крепостничества, не упоминает об ужасах этого строя. Не то, что Лев Николаевич был по своей идеологии крепостником,—конечно, нет, но инстинктивное классовое сознание заставило его смотреть на наемный вольный труд, как на форму эксплоатации, которая не лучше крепостного труда (а в материальный прогресс он не верил), и ему рисовалось экономическое развитие нового буржуазного строя, как отдаление от первобытного «рая», когда не было частной собственности на землю, и форма хозяйства, при которой помещик имел будто бы те же интересы, что крестьяне, казалась ему «морально» выше строя, благодаря которому крестьяне принуждены были оставить свои насиженные места.

Касаясь усовершенствованного способа обработки земли, он рисует в своих художественных произведениях, как крестьяне сопротивляются введению этого нового способа, с каким недоверием смотрят они на машины, считая их новой формой закабаления. Персонажи, к которым он относится с симпатией, главным образом, интересуются будущей жизнью, ибо они смотрят на земное существование, как на юдоль скорби, как на непоправимое зло.

«Век жить — час терпеть»,—так формулировал Каратаев свою философию. Это было утешением крестьянства, религиозной компенсацией за безотрадную жизнь. Но разве наука отвечает на вопрос о вечной жизни? Нет, она не дает ответа на этот вопрос. В таком случае, какая польза в ней?—спрашивает Толстой устами Каратаева. Этого-то просвещенный граф Безухий, не находя ответа в книгах, искал в жизни, и после долгих поисков случайно набрел на мудрого Каратаева. Оттого Левин отворачивается от ученого Кознышева и ищет ответа на смысл жизни среди крестьян. Левин рассуждает о науке, как идеалист, что она неспособна нам дать ответа на вопрос о смысле жизни. Наука, по его мнению, сводится лишь к бесконечным отношениям, но не открывает нам об'ективную истину, ее дает нам религия. Вот почему Толстой делает религию основой своего учения.

В сущности говоря, всякий идеалист—пессимист и квиетист, ибо психология идеалиста — доказать иллюзорность временно-пространственного мира,—есть боязнь перед миром, желание избавиться от него и перенестись в такое состояние, где причинность не доминирует, где все несбыточные мечты могут осуществиться. Если будущий мир таков, что в нем живут вечно, если горе неведомо там,—какой смысл браться за улучшение социального положения, в особенности, если наша жизнь неустойчива, если она полна страданий? Разве завоевание не покупается за счет чьего-либо страдания, разве оно не оберегается от жадных глаз, разве оно может принести счастье, если ты боишься его потерять? Нет, всякое завоевание, всякая победа есть в конечном счете поражение. Этот взгляд выражает усталость, неумение продолжать борьбу, а потому и «самовольное» отречение от нее.

Идеалист говорит, что наука не может претендовать на истинность, что она только имеет практическую ценность. Идеалистическая философия, указывая на ложность разума, который оперирует категориями причинности, времени и пространства, вводит нас в мир «реальный», наука же имеет ограниченные права в земных делах, наука—«игра», где правила установлены нами, но на об'ективную закономерность эта игра, как всякая игра, претендовать не может. В этом отношении Толстой был более честным, чем идеалисты и маскирующиеся под различными именами противники материализма. Толстому чужды были все эти хитросплетения идеалистов, он плохо понимал их язык, но на идеалистической почве он все-таки стоял.

Толстой был последователем того учения Шопенгауэра и буддизма, которое гласит, что «мир—мое представление», но в познавательно-логической части этой идеалистической системы—или систем—он мало разбирался и считал, что «христианину» они не нужны. Зато этическую часть, отречение от жизни, преодоление индивидуализма он принял целиком и на этом построил свое христианское мировоззрение. Без обиняков приступил он прямо к этической части, не затрачивая слов на ее теоретико-познавательное обоснование. Правда, и в этой части он отбросил всякие «философские» подходы, и обо всем

он трактовал в полулитературной форме, высказывая утверждения, где требовались доказательства.

Что же является предпосылками его философии? «Мир — мое представление». «Для всемирного сознания, для бога нет материи... Материя есть только для разделениых друг от друга существ. Предел деления это то, что мы называем материей со всеми ее бесконечными формами» («Дневник Льва Николаевича Толстого», 28 сент. 1899 г.).

Отсюда следует, что наука, поддерживающая эту «иллюзию»,— вредное и ложное занятие. Истинная наука сводится к морали, а мораль—к религии; религия же есть фундамент жизни, «вечной жизни». Религия заменяет философию, этика заменяет науку, она же заменяет искусство и она же является основой педагогики.

Что жизнь—становление, где смерть и рождение тесно связаны, что в сознании необходимости является человеческая свобода, что жизнь—процесс, который развивает из низших форм высшие, что человеческое общество проходит с железной необходимостью низшие этапы борьбы и дифференциации, с тем, чтобы достигнуть высших форм, — эти диалектические истины чужды идеалисту-метафизику, для которого становление и бытие, свобода и необходимость, процветание и увядание—непримиримые категории, и так как в мире телесном все подвержено изменчивости, царствует борьба, победа покупается ценою поражения, то выдумывает он себе такой духовный мир, в котором плоть не существует и причинность не мешает человеку становиться богоподобным.

Толстой принадлежал к тем метафизикам, для которых противоречия непримиримы. В явлениях нашей жизни он усматривал не проявления сущности бытия, не истинный, реальный мир, а «феноменальный» мир, «одни отношения». Истинный же мир он рассматривал, как его рассматривают идеалисты, как бестелесную субстанцию чья сущность «любовь». Для того, кто смотрит на сущность мира такими «любовными» глазами, кто не видит, что становление есть беспрерывное умирание и рождение, что борьба, т.-е. вытеснение, замена одной формы другой,—всеобщий закон,—мир должен казаться иллюзией, и напрасно Толстого критиковали, когда он, желая быть верным себе, смотрел на искусство теми же глазами, как и на все прочее,—глазами аскета.

Действительно, если наше общество должно вернуться к тому состоянию, при котором вкус самого отсталого человека должен служить мерилом искусства, иначе оно не будет доступно абсолютно всем; если произведение искусства не должно удовлетворять запросам, связанным с эстетическим наслаждением; если задача искусства должна совпасть с задачами морали,—то не ясно ли, что Толстой должен был отказаться от своих собственных произведений, должен был признать величайшие произведения вредными, ибо примитивному обществу Бетховен и Шекспир не нужны, ему нужны другие душеспасительные сказки, в роде «Иосифа Прекрасного».

Толстовство есть идеология умирающего класса, как реакционное стремление вернуться к прошлым формам жизни, это идеализация слабости крестьянства, которое не осознало еще своей силы, психология класса, который из своей забитости, слабости, неумения сопротивляться делает добродетель и возводит свою пассивность в идеал. «Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу», — пишет Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»,—есть идеология, неизбежно по-

являющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладывающийся» новый строй, какие общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы способны принести избавление от неисчислимых, особенно острых отсутствий, свойственных эпохам «ломки».

Толстовство есть также отражение того упования, которое царило в этой крестьянской среде: вернувшись из города, зажить по-старому, не оторваться от земли; вернуться к родовому хозяйству; уничтожить деньги, этот корень зла; вернуть свое здоровье не посредством помощи городских лекарей, а через добрую мать-природу (или вернуться к ней после смерти); вернуться к тому естественному состоянию, когда «зерно еще было с курное яйцо».

Та новая деревня, которая не молилась, не просила, не покорно терпела, а восставала против старых порядков,—бунтарская деревня,— с ней толстовство ничего общего не имеет. Пролетариат вырос и окреп, когда он понял, что не петициями ему улучшить свое состояние, а организацией, забастовками, восстаниями,—а Толстой продолжал советовать ему оставить этот «нехристианский» путь и подумать о нравственном усовершенствовании, продолжал проповедывать о том, что «людям бывает плохо только от того, что они сами дурны», что только зависть толкает их на революционный путь. В этом отношении толстовство и марксизм совершенно различны и по цели, и по методу достижения этой цели.

Толстовство принадлежит прошлому, и те причины, которые вызвали это учение, исчезли для страны, которая называлась Россией. Старая Русь преобразилась. Уже в 1905 году грандиозное выступление рабочего класса не могло быть задержано толстовскими идеями непротивления. Совместное выступление класса, который осознал себя, сопротивление, которое рабочий класс оказал правительству, доказало, что не толстовский дух, а марксистский дух проник в их ряды. Даже крестьянство не было уже тем беспомощным, забитым классом, который уповал на бога и верил в «непротивление злу насилием». Октябрьская революция подняла огромные массы и одним ударом разрешила политико-экономические противоречия старого строя. Она разрубила тот узел, который толстовство старалось терпеливо распутать. Она смыла остатки помещичьей власти, прогнала буржуазию, которой империалистические аппетиты стали разрастаться с наступлением Февральской революции. И мистики, и богоискатели, которые раньше сочувствовали толстовству, после Октябрьского переворота забыли про «непротивление» и активно выступили против власти пролетариата, бежав в ту Европу, которую Толстой так резко критиковал.

Толстовство, как общественное явление, возможно там, где класс либо теряет экономическую почву и обречен на гибель, либо выбит из своей позиции после ряда поражений и не нашел еще путей для мобилизации своих сил. Толстовство, как общественное настроение,— это канонизирование пораженчества, слабости и покорности, возведение в добродетель печальной необходимости.

Но толстовство возможно только, как настроение, а не как боевая программа, ибо никто не может повернуть колесо истории, вернуться к тому состоянию, при котором наука изгнана, примитивная форма коммунизма восстановлена, уроки пройденного пути забыты.

Толстовство, как общественное движение, невозможно, ибо оно не признает организованности, больше озабочено будущей жизнью, чем настоящей, нравственным самоусовершенствованием индивидуума («царство божие внутри нас»), не имеющим интереса к общественной, «роевой» жизни. Как настроение, оно может вселить в душу маловерных отчаяние и пессимизм, чувство тщетности борьбы,—но экономическая необходимость толкает угнетенный класс соединиться, организоваться, сопротивляться,—и тогда толстовства нет. Разве желание преодолеть препятствия, желание победить можно назвать толстовством?!

Желание победы, стремление к победе, борьба за победу—есть путь революционный, инстинкт жизни, радости бытия. И это марксистский путь.

Рефлексология или психология[1]).

Р. Черановский.

1.

Кто должен заниматься изучением человеческого поведения: психология или рефлексология?

Так обычно ставится в наше время вопрос, возбуждающий напряженную борьбу около себя. Спор ведется с большим ожесточением, так как и психология и рефлексология (или физиология большого мозга, как ее иногда предпочитают называть) претендуют на исключительную значимость. «Рефлексологи» заявляют, что психология «отжила свой век» и не может считаться наукой; «психологи» же упрекают рефлексологов в механистичности и примитивизме мышления.

Причину возникновения этих споров мы, без сомнения, должны искать в общем характере эпохи. Экономические и социальные сдвиги нашего времени привели к тому, что старая психология с ее «копанием в себе» перестала удовлетворять. В наш век бешеной конкуренции капиталистических государств между собою и всех их вместе — с Советской Россией, в век только что пережитых и вновь надвигающихся войн и революционных потрясений,—мало интересуют «чувства», «мысли», «переживания» людей, с которыми мы сотрудничаем или против которых боремся. Зато нас гораздо больше занимают их действия. Нам уже недостаточно знать, что такой-то рабочий *может* работать на фабрике. Мы хотим знать, *к какой работе* он будет более всего пригоден, *как долго* сможет ее выполнять, *где* принесет больше всего пользы. И капиталистические страны и советское государство рационализируют свое хозяйство—правда, из различных побуждений и различными методами; однако и там и здесь становится все более актуальной проблема *влияния* на человеческое поведение и использования наилучшим образом особенностей каждого человека. Но, чтобы влиять, надо предвидеть, а чтобы предвидеть, надо «видеть», знать законы человеческого поведения.

Традиционная психология неоднократно пыталась вскрыть эти законы; однако результаты ее усилий до последнего времени были малоудовлетворительны. Поневоле явилось сомнение: на правильном ли пути она стоит? Поневоле возникло стремление внести в науку о человеке методы естествознания, давшие столь плодотворные результаты в других областях. На-ряду с психологией появилась «физиология большого мозга» или рефлексология.

---

[1]) Помещая настоящую статью, редакция отмечает, что считает особенно спорной предлагаемую автором терминологию. *Ред.*

2.

Как может и должен относиться марксизм к этим спорам, на чью сторону стать? К сожалению, приходится признать, что до последнего времени по этому вопросу не наблюдалось единодушия и в среде людей, называющих себя диалектическими материалистами.

Было бы, однако, мало плодотворным занятием рыться в высказываниях и взаимообвинениях разных авторов по этому поводу. В своем изложении мы, поэтому, пойдем другим путем. Исходя из общепризнанных положений марксистского мировоззрения, мы попытаемся выяснить, каковой должна быть наука о поведении, стоящая на базисе диалектического материализма.

Содержание этой науки всецело определяется той позицией, какую занимает диалектический материализм по отношению к сознанию. «Бытие определяет сознание», «сознание есть свойство высокоорганизованной материи»; «сознание есть интроспективное выражение физиологических процессов»,—вот основоположение марксизма по данному вопросу.

Из этих положений вытекает, что сознание, психика, психические явления не отрицаются в своем бытии. «Что они существуют,—всякий отлично знает по себе»... «Однако в то же время мысль человека нельзя нащупать или понюхать; она не имеет цвета, и ее нельзя непосредственно измерить аршинами или метрами» [1]).

Таким образом признается своеобразие психических явлений, их непосредственность, непротяженность, недоступность чужому восприятию. Мало того, диалектический материализм, в противовес так наз. «наивному» или «механическому» материализму, утверждает, что сознание не есть ни движение материи, ни выделение мозга, но обладает особым качественным своеобразием. «Материализм вовсе не пытается свести все психические явления к движению материи, как это говорят за него его противники. Для материалиста ощущение и мысль, сознание есть внутреннее состояние движущейся материи. Но никто из материалистов, оставивших след в истории философской мысли, не сводил сознания к движению и не об'яснял одного другим. Если материалисты утверждали, что материя способна ощущать и мыслить, то эта способность материи казалась им таким же основным, а потому и необ'яснимым свойством, как и движение» [2]).

Таким образом признается: 1) существование сознания, 2) его своеобразие, 3) его несводимость к движению материи.

С другой стороны, этими же положениями утверждается зависимость сознания от материи. «Сознание определяется бытием», «Дух не существует независимо от тела,—дух есть вторичное, функция мозга, отражение внешнего мира» [3]). Мы «принимаем в качестве первичного момента природу, а проявление духа рассматриваем в качестве необходимых следствий движения материи» [4]). Тело, мозг есть независимая переменная, а сознание—зависимая от него функция.

Таким образом, признавая существование и своеобразие сознания, диалектический материализм указывает на его несамостоятельность, функциональную зависимость от телесных процессов.

[1]) Н. Бухарин, Теория исторического материализма, 2-е изд., стр. 51—52.
[2]) Плеханов, Предисловие к «Людвигу Фейербаху», стр. 9—10.
[3]) В. Ленин, Материализм или эмпириокритицизм, Гиз, 1920, стр. 84.
[4]) Плеханов. Очерки по истории материализма, М. 1922, стр. 126—127.

3.

Это положение диалектического материализма целиком совпадает с тенденциями современного естествознания, точно так же утверждающего функциональную зависимость явлений сознания от состояния тела, и в особенности нервной системы. Физиология нервной системы в последние годы дополнилась еще учением о внутренней секреции, и многое из того, что еще недавно об'яснялось психическими особенностями, нашло теперь свою физиологическую основу. В свою очередь физиологические факты стремятся об'ясинить законами физики и химии. Знаменитые опыты Лёба и его теория тропизмов; учение Павлова и Бехтерева об условных рефлексах; торжество теории Джемса об определимости эмоций физиологическим состоянием организма, доказанное опытами Кэннона [1]) и др. авторов,—все это является вкладом в теорию диалектического материализма и подтверждением правильности его позиции по отношению к сознанию. Единственное, в чем лишь грешат иногда представители естествознания, это—механическое перенесение законов физики и химии в область более сложных явлений (особенно социальных) без учета качественной особенности более сложных сфер бытия. Не эти физико-химические законы играют основную роль в жизни «высших сфер» бытия, но специфические для них [2]).

Уточним теперь вопрос о роли сознания в нашем поведении. Если сознание есть лишь внутренняя сторона физиологических процессов, и если физиологические процессы развиваются по своим собственным материальным законам, то ясно, что сознание не играет никакой самостоятельной роли в нашей деятельности. Точнее выражаясь, его роль состоит лишь в констатировании известных фактов. В так называемых произвольных действиях и решениях роль его совершенно та же, как и в действиях непроизвольных. Некоторые авторы утверждают, что эти непроизвольные действия, например, безусловные рефлексы, происходят без участия сознания. Это справедливо лишь в отношении так наз. внутриорганических рефлексов. Но наш повседневный опыт говорит нам, что в целом ряде случаев сознание присутствует. Я непроизвольно отдергиваю руку, получив в нее укол, но я чувствую, сознаю и этот укол, и свое движение. Точно так же я сознаю, что падаю, если мне приходится оступиться, хотя я бессилен изменить этот факт. Сознание лишь констатирует: в организме или вне организма произошли такие-то изменения.

Но если такова роль сознания в непроизвольных действиях, то нет никаких оснований признавать за ним иную роль и в более сложных процессах. Пассивность сознания при переживании эмоций—доказанный факт. Некоторые наблюдения над протеканием интеллектуальных процессов, случаи так наз. «наития», «вдохновения», разрешения теоретических задач во сне или в бессознательном состоянии подтверждают ту же гипотезу в отношении интеллектуальных и творческих процессов. Относительно «волевого» поведения сомнений еще менее; если только мы не собираемся выступить в роли апологетов «свободы

[1]) В. Кэннон, Физиология эмоций, Лнгр. 1926.

[2]) «Самые высокие обобщения (т.-е. самые абстрактные законы) отнюдь не уничтожают значения частных законов, которые есть выражение законов более общего характера в особой специфической форме. Было бы поистине чудовищным предположение, что, скажем, закон сохранения энергии делает излишним закон трудовой ценности...» (Н. Бухарин, Атака, стр. 150—151).

воли», мы вынуждены и здесь признать наличие полной пассивности сознания.

Влияние непосредственной, непротяженной и невесомой мысли на течение физических и химических процессов мы, как известно, вообще не можем себе представить. Если мы отвергаем поэтому дуализм и не соглашаемся с монистами идеалистического толка, мы вынуждены стоять на точке зрения материалистического монизма. Эта же последняя утверждает полную функциональную зависимость сознания от материи.

Мы не останавливались бы так детально на этих, азбучных для всякого материалиста, истинах, если бы в наше время это положение не подвергалось всякого рода сомнениям и оговоркам даже со стороны тех, кто именует себя марксистом и материалистом. Среди других чаще встречается так наз. «аргумент от эпифеноменизма».

Если сознание не играет никакой роли в нашем поведении,—говорят представители этой аргументации, то зачем же оно существует? Не является ли оно простым «эпифеноменом», не составляющим сущности живого организма, подобно тому, как желтый цвет фосфора нисколько не характеризует его химических свойств (хотя и является их сигнализатором). И если оно есть простой эпифеномен, то почему оно существует. Не должно ли оно исчезнуть, атрофироваться у живых существ, как атрофируются у них при отсутствии упражнения ненужные органы? Между тем можно констатировать, что с развитием органического мира и, в особенности, у человека сознание играет все большую роль.

Обратим наше внимание на то, что все эти возражения имеют глубоко антропоморфный и телеологический характер. Почему мы обязательно должны признать целесообразность существования свойства материи, именуемого сознанием, в то время как мы давно отказались от вопроса о изначальной целесообразности всех других свойств? Сознание существует—и мы вынуждены принять этот факт, выясняя его природу, но не ища обязательной целесообразности.

Можно слышать и еще один, якобы «марксистский», аргумент в защиту «значимости» сознания. Признавая функциональную зависимость идеологической надстройки от материального базиса, марксизм в то же время допускает возможность обратного влияния надстройки на базис. «Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное и т. д. развитие основано на экономическом. Но все они оказывают влияние друг на друга и на экономическую основу. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является единственной активной причиной, а остальное является лишь пассивными факторами» [1]). На признании значимости идеологического фактора построена и вся теоретическая работа революционного марксизма. Кто стал бы отрицать, например, огромную революционизирующую роль «Коммунистического Манифеста» или «Программы Коммунистического Интернационала»?

Однако нельзя считать допустимым, когда это вполне правильное взаимоотношение экономического базиса и идеологической надстройки переносят и на взаимоотношения «тела» и «духа», материи и сознания. Мозг не «базис», а сознание не «надстройка». Сознание есть не более, как интроспективное выражение физиологических процессов, протекающих по своим собственным законам, пускай сложным,

[1]) Письмо Энгельса к Штакенбургу, 25/I 1894 г.

но все же вполне материальным. Непространственное сознание не может изменить движения ни одного атома пространственной материи. «Свойство» материи не может влиять на деятельность «носителя» этого свойства.

Во взаимоотношении же экономического базиса и идеологической надстройки мы имеем взаимодействие внешней материальной среды и внутренней организму, но все же материальной нервной деятельности (с соответственным суб'ективным содержанием, конечно). Эта нервная деятельность, безусловно, является надстройкой на базисе внешней среды, но, с другой стороны, и сама, будучи материальным процессом, достигши известного уровня, может оказывать влияние на свой базис. Сознание же при этом играет—увы!—все ту же пассивную роль протоколиста-наблюдателя.

Таким образом мы видим, что выражение «бытие определяет сознание» находится в полном согласии с духом современного естествознания.

4.

Из всего сказанного выше вытекают и определенные методологические следствия для науки о поведении. Если бы мы стояли на идеалистической точке зрения (дух определяет материю), основным для нас являлся бы метод самонаблюдения. С признанием психофизического параллелизма (дуалистическая точка зрения) мы вынуждены признать равноправие и самонаблюдения и об'ективного исследования. То же имело бы место в том случае, если бы и материю и дух мы рассматривали как две стороны единой субстанции (психофизический монизм Спинозы). Наконец, признание примата материи делает для нас обязательным признание основного значения за об'ективным исследованием.

Если сознание является всего лишь интроспективным выражением наших телесных процессов, в особенности нервных, то для того, чтобы установить законы деятельности живых существ, мы должны сосредоточиться не на этом «внутреннем отражении» телесных процессов, но на самих процессах, на внешнем поведении живых существ.

Отсюда следует, что и термин «психология» для марксистской науки о поведении является совершенно не приемлемым. Если уже «эмпирическая» психология об'являла себя «психологией без души», то для нас есть полные основания совершенно отказаться от этого термина для того комплекса значений, который по отношению к человеческому поведению интересует нас в настоящее время. Термин «наука о поведении» сам собою вытекает из всего вышесказанного и постепенно начинает устанавливаться в научном словоупотреблении [1]).

Следует, однако, решительно высказаться против обозначения науки о поведении термином «психология», как это делают американские бихэвиористы и некоторые из русских «психологов-марксистов». Если термину «психология» и суждено существовать далее, то лишь

---

[1]) См. на эту тему статью В. П. Протопопова в журнале «Український Вістник Рефлексології та експериментальної педагогіки», — проблема утворення науки про поведінку, ч. 4—7. Кроме русского термина «наука о поведении» предлагались и греческие: «тропалогия» (В. П. Осиповым в статье «Тропалогия», Совр. Психоневрология, 1926 г.) и «диагология» (мною в сб. «Вопросы науки о поведении», вып. 4).

для обозначения значительно более узкого круга понятий, лишь как названию одного из отделов науки о поведении.

Постараемся определить теперь, из каких же отделов и с каким содержанием их может быть составлена наука о поведении.

5.

Для того, чтобы классифицировать отделы науки о поведении, необходимо указать для каждого из них самостоятельный предмет и особый метод исследования.

Предмет науки о поведении для всех трех отделов один: так наз. «соотносительная» деятельность человека [1]), т.-е. деятельность его под влиянием внешних условий: природных и социальных. Однако эта деятельность совершается при участии человеческого тела и, главным образом, его нервной системы. Поэтому базисом для изучения человеческого поведения является учение о нормальных функциях его тела и нервной системы, т.-е. физиология человека, в особенности ф и з и о л о г и я н е р в н о й с и с т е м ы. Весьма большую роль при изучении человеческого поведения играет и так наз. э н д о к р и н о л о г и я, т.-е. учение о внутренней секреции.

Однако наука о функциях человеческого тела еще не есть наука о его поведении в целом при различных обстоятельствах. Физиология животных и человека изучает, во-первых, функции различных частей тела разрозненно, во-вторых же, она изучает так сказать внутрителесное поведение, внутреннюю жизнь организма. Нас же интересует внешнее поведение во всем его своеобразии и сложности. Ясно, что здесь необходим еще какой-то особый базис. Средой поведения является общество, в котором действует человек, воздействуя на окружающую его природу. Поэтому вторым базисом науки о поведении является наука об обществе, с о ц и о л о г и я.

Эти два базиса, однако, не составляют еще науки о поведении. Она является самостоятельной дисциплиной, изучающей внешнее поведение человека, его соотносительную деятельность. Можно считать ее единой? Да, поскольку предмет ее один—поведение человека. Нет, поскольку мы можем подметить разные виды поведения и необходимость применения разных методов к изучению его.

Два главных вида можем мы подметить в поведении человека и животного. Один—это тот вид поведения, когда действия живого организма всецело определяются внешней средой, которая в тот момент его окружает. В этих случаях организм человека напоминает собою простейший реактивный механизм в роде электрического звонка: нажатие кнопки немедленно вызывает звук. В других случаях поведение зависит прежде всего от внутренних процессов, происходящих в организме и ими главным образом определяется. Моделью этого рода поведения может служить звонок, производимый будильником, заранее поставленный на определенный момент. Ясно, что строгой границы между обоими видами поведения провести нельзя, потому что во всяком действии организма участвуют и внешняя среда, и внутренние его особенности.

В зависимости от видов поведения находятся и методы изучения поведения. Соответственно этим видам одни из них изучают главным образом внешнее поведение, внешние движения человеческого тела,

[1]) Термин принадлежит В. М. Бехтереву.

другие—процессы, происходящие внутри тела. Однако и те и другие есть методы об'ективные.

Об'ективная «наука о поведении», ясно, должна пользоваться и об'ективными методами. Об'ективным методом мы называем такой, при пользовании которым мы получаем результаты, доступные сравнению с другими результатами, выражаемыми в цифрах, а, следовательно, пространственно измеримые. Метод самонаблюдения не удовлетворяет этому условию, так как результаты показаний каждого исследователя хотя и сравнимы с показателями другого, но пространственно не измеримы. Удовлетворяющими же этому условию являются три: 1) метод об'ективного наблюдения, 2) метод условных рефлексов и 3) метод реакций. При пользовании всеми тремя методами мы можем совершенно отрешиться от показаний самонаблюдения со стороны испытуемого. В методе об'ективного наблюдения мы отмечаем внешние движения наблюдаемого об'екта, их количество, их интенсивность. В методе условных рефлексов мы точно так же ограничиваемся установлением количества и интенсивности движений, иногда устанавливая время их протекания и форму движения. В опытах с секреторной методикой вместо движений исследуется количество секреции. Наконец, в методе реакций исследователя интересуют: 1) время реакции, 2) ее интенсивность, 3) ее форма. Опрос о переживаниях самого испытуемого может быть без ущерба для дела опущен.

Однако между методами, кроме сходства, есть и различие. При методе об'ективного наблюдения испытуемый пользуется наибольшей свободой действия. При опытах с условными рефлексами свобода его ограничивается приборами, при помощи которых он исследуется, и инструкцией: сидеть на месте и подвергаться исследованию. Инструкция имеется и в опытах с реакциями. Разница та, что в опытах с условными рефлексами инструкция (у животного ее заменяют повязки, мешающие ему убежать) не определяет течения опыта, но лишь способствует его возможности. В опытах же с реакциями инструкция предопределяет самый характер опыта и действия испытуемого.

Значит ли это, что мы совершенно отбрасываем метод самонаблюдения и другие методы, с ним связанные (например, экспериментальные методы раздражения и выражения)? Ответ станет для нас ясным, если мы установим, с одной стороны, границы приложения об'ективных методов, а с другой—границы метода самонаблюдения и его смысл.

Стремясь изучить об'ективными методами не только внешние движения человека, но и внутренние нервные процессы, им сопутствующие, мы натыкаемся на величайшие методологические затруднения. Непосредственное наблюдение течения нервных процессов у человека для нас (при современном состоянии научной техники) совершенно недопустимо. Приходится, поэтому, прибегать к искусственным приемам, чтобы получить хотя бы некоторое понятие о соответственных нервных процессах.

Известны методы, к которым прибегает в этих целях физиология нервной системы. Одни из них носит название метода раздражения: различные участки коры большого мозга раздражаются электрическим током; при этом следят за изменениями в функциях различных частей организма. Другой—метод частичного удаления мозговой коры. Ясно, что у живого и здорового человека ни один из этих методов не может быть применен. Поэтому приходится довольствоваться

теми сведениями, какие дают исследования над животными и над больными людьми.

Значительный вклад в понимание процессов, протекающих в нервной системе, был внесен методом условных рефлексов. Его основная особенность та, что по внешним реакциям испытуемых по этой методике мы можем составить довольно точное понятие о процессах иррадиации или концентрации нервного возбуждения и т. д. Однако и здесь мы стоим пока лишь у самого порога настоящего знания; кое-что мы знаем довольно точно, но все же это—лишь кое-что.

Между тем самонаблюдение дает нам богатейший материал для познания происходящих внутри нас процессов и притом в интегральной, целостной и притом качественной форме. Акт поднятия руки, рассматриваемый с точки зрения сопровождающих его нервных процессов, представляется невероятно сложным. Но для нашего сознания он элементарно прост. Поневоле возникает соблазн—пользоваться для изучения поведения также и самонаблюдением, в виду простоты и экономичности этого способа познания.

Таким образом границы приложения об'ективных методов—в методологических затруднениях, связанных с познанием внутриорганических процессов. Однако много ли в этом отношении может помочь метод самонаблюдения?

Говоря принципиально, раз мы не отрицаем существования сознания, наличие которого каждый может констатировать в себе, мы не можем отрицать и правомерности самонаблюдения. Факты сознания есть факты действительности; а если так, то их можно наблюдать и изучать. Нет такой области, которую отказалась бы осветить своим факелом наука.

Тем не менее необходимо признать, что метод самонаблюдения доставляет нам еще большие затруднения, чем об'ективное наблюдение нервных процессов. Факты сознания имеют ту особенность, что они доступны исключительно лицу, наблюдающему их. Будучи прекрасно известны каждому в самом себе, они совершенно не поддаются одновременному наблюдению нескольких человек и, таким образом, не обладают «социальной наглядностью». Между тем эта «социальная наглядность» составляет характерную черту всякой науки.

Затруднение это лишь в незначительной степени устраняется сравнением между собой показаний нескольких лиц. Исследователь поступает подобно судье, из противоречивых порою показаний нескольких свидетелей восстанавливающему истину. Однако положение его гораздо труднее. Кроме отсутствия социальной наглядности, факты сознания отличаются к тому же чрезвычайным непостоянством, быстрой изменчивостью, непрочностью и неуловимостью. И если затруднения, возникающие при их познании, и не таковы, чтобы из-за них совершенно отрицать возможность познания явлений внутреннего мира, то они вполне достаточны, чтобы отвести методу самонаблюдения второстепенное и даже третьестепенное место. Мы не можем поэтому согласиться с теми авторами, которые, придавая методу самонаблюдения одинаковое значение с об'ективными методами, утверждают, что факты поведения должны изучаться «целостным» методом как с об'ективной, так и с суб'ективной стороны. Называние такого метода «реактологическим» вносит лишь путаницу в понимание «реакции», понятие о которой имеет вполне об'ективный смысл. Не говоря уже о том, что «реактологическим» методом совершенно не могут изучаться реакции простейших (животных и растений) и даже

высших животных, он неприложим и к человеку. Познание суб'ективной стороны акта поведения невозможно в одинаковой мере с познанием его об'ективной стороны [1]). Самое большее, что можем мы получить, «сопрягая» самонаблюдение с об'ективным наблюдением, это подтверждение данных об'ективного наблюдения суб'ективными показателями, а иногда—об'яснение, истолкование их. Однако, если показания об'ективного наблюдения и самонаблюдения расходятся, предпочтение, как известно, дается показаниям об'ективного наблюдения.

Что касается замечания о том, что самонаблюдение дает нам качественную сторону актов поведения, в то время как об'ективные методы дают лишь количественную, то это мнение должно быть категорически отвергнуто. Марксизм утверждает об'ективное существование качеств; сомнение же в том, что наше восприятие дает нам верное изображение внешнего мира (конечно, с поправками на особенности в состоянии нервной системы), неизменно приводит нас в дебри идеализма. Об'ективная наука о поведении дает нам знание не только количественной, но и качественной стороны поведения. Самонаблюдение же играет при этом лишь вспомогательную роль.

Но не являются ли предметом науки о поведении только отдельные, изолированные отрывки его, которым придается самостоятельное значение? Мы должны со всей решительностью отклонить и это обвинение. В грехе изолированного, абстрактного рассмотрения процессов поведения виноваты не только физиологи, но, в значительной степени, и все психологи старых школ. Лишь в последнее время в психологии появилось течение, призывающее к изучению целостных актов, форм поведения, его образов (gestalttheorie).

Марксистская наука о поведении вполне сочувствует этому направлению. Предметом науки о поведении мы считаем не столько изолированные моменты или акты поведения (рефлексы, реакции), сколько поведение в целом, взятое в зависимости от условий места, времени, общественных и биологических влияний и т. д. со всеми его структурными особенностями. Тем не менее, такое понимание науки о поведении не исключает возможности и необходимости и изолированного изучения элементов поведения. Возможность такого изолированного изучения составляет основное достоинство лабораторного эксперимента. Однако, устанавливая закон поведения для группы подобных изолированных фактов, мы должны не забывать, что в реальной жизни этот закон встречает противодействие других законов, а при некоторых обстоятельствах переходит в свою собственную противоположность. Проследить влияние разнообразных причин на иссле-

---

[1]) К чести К. Н. Корнилова и его сотрудников, выдвинувших и защищающих «реактологический» метод, необходимо сказать, что, усердно прокламируя его в теории, они почти не пользуются им на практике. Экспериментальные исследования, опубликованные сотрудниками Института Экспериментальной Психологии (в особенности ценные работы Л. С. Выготского и А. Р. Лурия), проведены целиком по «методу реакций», являющемуся вполне об'ективным.

Впрочем, и в теоретических рассуждениях К. Н. Корнилова о методе нет достаточной последовательности. В одном месте («Психология и марксизм», стр. 17) он настаивает на признании не только реальности, но и значимости психических процессов, значимости метода самонаблюдения (стр. 18), необходимости «реактологического» двустороннего изучения поведения. В другом же месте (Наивный и диалектический материализм..., сб. «Проблемы современной психологии») он, наоборот, заявляет, что «только об'ективный метод является строго научным методом. Что же касается метода самонаблюдения, то он играет лишь вспомогательную роль» (стр. 18).

дуемое явление, учесть своеобразие форм бытия, в которых оно возникает, — составляет неотъемлемую черту строго-научного мышления. Ориентировка на такой характер исследования, как известно, называется диалектическим методом. Ясно, что марксистская наука о поведении должна быть насквозь диалектичной [1]).

После этих предварительных замечаний мы можем попытаться размежевать между собою представителей различных течений в науке о поведении. В суждении круга понятий и фактов, исследуемых каждой из представляющих ее дисциплин,—единственная возможность их примирения и дальнейшего сосуществования. Современный антагонизм между ними есть следствие младенческого состояния науки о поведении и недифференцированности ее отделов. Некогда и наука о строении человеческого тела была недифференцированной; сейчас однако показалось бы более чем странным, если бы между собою стали полемизировать гистология, остеология, синдесмология и т. д.

6.

Мы уже указали выше, что в поведении человека и животного мы можем подметить два вида: 1) поведение, определенное преимущественно внешней средой, и 2) поведение, определенное преимущественно внутренними процессами. Условимся называть первый вид поведения «рефлекторным», понимая под рефлексом нервный процесс, протекающий как ответ на раздражение, полученное от внешней среды. Дисциплину, изучающую рефлекторное поведение, назовем *рефлексологией* [2]). Так как рефлексы бывают безусловные и условные (простые и сочетательные), то рефлексологию можно определить так же, как учение о безусловных и условных рефлексах.

Принимая такое определение рефлексологии, мы исключаем из нее изучение движений и процессов, происходящих без участия нервной системы. Сюда относятся, во-первых, тропизмы и, во-вторых, некоторые органические движения, совершающиеся под влиянием внутренней секреции [3]), так наз. «хеморефлексы». Весь отдел в целом мы можем назвать *тропизмологией* [4]). Ясно, что он тесно связан с наукой, носящей название *эндокринология* и играющей роль базиса, прежде всего, для этого отдела. У человека тропизмов нет, но некоторые движения, хотя и происходят с участием нервной системы, все же могут быть названы «тропизмоидными» (поворот головы к свету, например). Кроме того, у человека играет большую роль эндокринная система. Поэтому отдел может существовать и в науке о поведении человека, непосредственно примыкая к рефлексологии человека.

От *физиологии нервной системы* рефлексология отличается, как мы сказали выше, тем, что изучает внешнее поведение человека, а не внутриорганические процессы, с ним связанные. Тем не менее рефлексология постоянно вынуждена обращаться к физиологии

[1]) См. «Вопросы науки о поведении ребенка и взрослого», вып. 2, 1928, Введение.

[2]) В таком понимании рефлексология, конечно, не соответствует содержанию, вкладываемому в этот термин В. М. Бехтеревым, понимавшим под рефлексологией «науку о соотносительной деятельности», т.-е. то, что мы называем «наукой о поведении» вообще.

[3]) Известно, что, напр., *адреналин* способен оказывать влияние на мышечные ткани без посредства нервных клеток. См. В. *Кэннон*, Физиология эмоций, стр. 39—40.

[4]) Термин предложен И. Ф. Куразовым.

нервной системы за об'яснением тех или других наблюдаемых фактов. Вопрос же о локализации различных видов рефлекторной деятельности целиком подлежит ведению физиологии нервной системы.

Существенное отличие рефлексологии от физиологии большого мозга вносится наличием самостоятельного и специфического метода для изучения условных рефлексов. В отличие от других физиологических методов, он не требует оперативного вмешательства и обнажения нервной ткани для соприкосновения ее с внешним миром, а между тем дает весьма ценные знания о процессах, происходящих в нервной системе.

Круг фактов, подлежащих изучению рефлексологии, несмотря на такое сужение ее границ, весьма обширен. Вся наша деятельность в подавляющем большинстве случаев является рефлекторной, преимущественно условно-рефлекторной деятельностью. Правда, не всегда удается охватить эту деятельность рефлексологической экспериментикой. На этом основании «психологи» имели возможность упрекать «рефлексологов» в том, что они оперируют с явлениями слишком примитивными, свойственными лишь низшим животным. Основание для этого было, между прочим, в том факте, что до последнего времени лаборатории ак. И. П. Павлова с трудом воспитывали условные рефлексы 2-го порядка и почти совершенно не могли воспитать условных рефлексов 3-го порядка, не говоря уже о высших. Таким образом, рефлексы высоких порядков (суперрефлексы) казались имеющими какую-то особую, высшую природу, недоступную «грубому» рефлексологическому анализу. Однако то, что не удавалось достичь при употреблении слюнной методики, прекрасно удалось при электрокожной [1]). Опыты же с хватательной методикой [2]) вскрыли, что условные рефлексы могут возникнуть какого-угодно высокого порядка при условии, что они, в конце концов, ведут к подкреплению. Пример из области натуральных условных рефлексов поясним сказанное. Проходя по улице, я вижу вывеску «Столовая». Этот раздражитель заставляет меня сделать несколько шагов в его сторону и находит себе подкрепление в новом раздражителе низшего порядка—дверь в столовую. Этот же раздражитель заставляет меня сделать движение открывания, что приводит к лицезрению кассы и к последовательным действиям, результат каждого из которых является раздражителем для нового действия, пока я, наконец, не получаю блюдо, которым и удовлетворяю свой аппетит. Таким образом цель условно-рефлекторных действий приводит к своему подкреплению. И везде, где условные рефлексы высоких порядков возникают и приобретают прочность, мы можем проследить наличие конечного подкрепления [3]).

---

[1]) Эксперименты д. Е. С. Каткова с животными и д. Н. М. Сибирцевой в лаборатории проф. Протопопова. См. Украін. Вістник Рефлексол., №№ 1 и 3. Опыты ак. В. М. Бехтерева и д. Н. И. Добротворской произведены по менее безупречной методике, и поэтому не доказательны. Вопросы изучения и воспитания личности, 1927, № 3—4.

[2]) Р. Черановский, Изучение поведения приемом хватательного рефлекса. Вопросы науки о поведении, вып. 1, 1927 г.

[3]) Кажущееся исключение отсюда представляют оборонительные рефлексы, где условный рефлекс своим возникновением предотвращает возможность подкрепления извне. Однако источником подкрепления здесь является внутреннее возбуждение, вызываемое инстинктом самосохранения, свойственным всем живым организмам.

Если таким образом возникновение и существование суперрефлексов имеет естественное об'яснение, вся область суперрефлексов вполне законно подпадает ведению рефлексологии [1]).

Имеется и еще одно возражение, выдвигаемое противниками рефлексологии человека. Пользуясь методом слюнных или оборонительных рефлексов (а до сих пор они были наиболее распространенными), рефлексология вынуждена была изучать исключительно примитивное поведение, связанное с деятельностью пищевого и оборонительного инстинкта [2]). Между тем в поведении человека процессы питания и обороны занимают значительно меньшее место, чем процессы добывания, захвата, трудового овладения добычей и связанные с ними процессы социального характера. Поэтому большим приобретением для науки о поведении в целом и для рефлексологии в частности можно считать появление новых методов исследования: метода речевого раздражителя, являющегося по своей природе социальным раздражителем, и метода хватательных рефлексов [3]). Хватательные рефлексы в особенности являются симптоматическими для человеческого поведения, так как «человеку свойственно не «немедленное пожирание своей добычи», но захватывание ее с тем, чтобы воспользоваться ею может быть значительно позже» [4]). К тому же наша трудовая деятельность, а также процессы интеллектуального характера: понимание, уразумение—есть не что иное, как модификация процессов хватания. Не даром и термин «схватывать» аналогичен термину «понимать».

Таким образом, никаких препятствий и для экспериментального (а не только теоретического) проникновения методов рефлексологии в область «высшей» человеческой деятельности со всем ее своеобразием Мы считаем совершенно неправильным предположение противников рефлексологии, будто она должна изучать лишь низшие, бессознательные процессы. Изучение человеческого поведения без обращения к его сознанию, вовсе не есть изучение обязательного бессознательного поведения [5]). Задача об'ективных методов вовсе не в этом, но в том, чтобы все виды поведения от самых низших до самых высоких обнажить в их структуре, превратив внутренние, скрытые от нас процессы мышления и творчества в ряд внешних движений, доступных измерению, подсчету и наглядному изображению [6]). В этом и только в этом основная задача и огромная заслуга современной науки о поведении и ее методов. И необходимо подчеркнуть, что при изучении так наз. «творческого» поведения метод условных рефлексов, благодаря более свободному характеру условно-рефлекторных связей, может дать даже больше, чем метод реакций, где связь между раздражением и реакцией имеет гораздо более определенный и категорический характер.

---

[1]) Подробнее об этом вопросе говорит наша работа: «Суперрефлексы и условия их возникновения».

[2]) Употребляя термин «инстинкт», мы подразумеваем под этим понятием цепь безусловных рефлексов, интегрированных в некоторое самостоятельное целое, с особым качественным оттенком.

[3]) См. нашу работу «Методы рефлексологического исследования», Владикавказ, 1928. Метод речевого раздражителя выдвинут А. Г. Ивановым-Смоленским и В. Н. Осиповой. Метод хватательных рефлексов выдвинут мною.

[4]) Изучение поведения приемом хватательного рефлекса, стр. 14.

[5]) Как это утверждает, напр., З. Чучмарев: «Природа и пределы методики условных рефлексов», «Под Знам. Маркс.» 1928, № 4, стр. 137.

[6]) В этом отношении чрезвычайно любопытны попытки обнажения интеллектуальных процессов с помощью так наз. «инструментального» метода (Выготский).

7.

Итак, мы определили рефлексологию, как науку об условных и безусловных рефлексах. Основанием для такого определения послужила нам экспериментальная практика этой науки, охватывающая более узкий круг фактов, чем выдвинутая В. М. Бехтеревым теоретическая рефлексология,—наука о соотносительной деятельности,—наука о поведении в целом. Однако есть ли условные и безусловные рефлексы все процессы, доступные изучению об'ективными методами?

Мы уже упомянули выше о том, что к числу об'ективных методов относится также так наз. «метод реакций», применяемый обычно психологами. Состоит он, как известно, в том, что испытуемый реагирует на раздражение согласно данной инструкции, точно определяющей его поведение. Элементарным видом этого исследования является так наз. «простая реакция», в которой испытуемый реагирует движением пальца тотчас же после того, как он получил раздражение.

Экспериментатор изучает обычно лишь об'ективные признаки полученных реакций: их время, интенсивность, форму, не интересуясь переживаниями самого испытуемого при этом [1]). Это, конечно, составляет достоинство метода, позволяя получить плодотворные результаты там, где он применен достаточно тщательно.

Современная психология широко пользуется методом реакций и именно в нем находит свою главную опору в борьбе с «рефлексологией». Действительно, по точности, определенности и тщательности анализа метод реакций стоит выше метода условных рефлексов, пока еще не приобретшего достаточной экспериментальной чистоты. Количественная определенность полученных результатов при методе реакций столь же велика, как и при методе условных рефлексов. Метод тестов и психотехника в целом именно потому и могут развиваться, что пользуются исключительно методом реакций в различных видах.

Но что же такое представляют собою «реакции»? Можем ли мы ее отождествить с условными рефлексами высокого порядка?

Стоит внимательно присмотреться к обоим явлениям, чтобы сразу же увидеть между ними разницу. Условный рефлекс—образование нестойкое, непрочное, связь между раздражением и действием—временная и носит спонтанный, самопроизвольный характер. Стоит прекратить подкрепление условного рефлекса, как он начинает угасать. «Реакция» же есть образование стойкое и прочное. Во все время, пока действует инструкция, простая реакция совершается всякий раз, как только появляется раздражитель и может, говоря теоретически, длиться бесконечно, завися в этом отношении лишь от утомления испытуемого. Кроме того, в отличие от условного рефлекса, она имеет безусловный, категорический характер: движение непременно совершается, как только появляется раздражитель.

Как об'яснить столь загадочную природу «простых реакций» (ясно, что простота их весьма условна; во всяком случае «простая ре-

---

[1]) Исключение составляет методика К. Аха, подробно опрашивавшего испытуемых относительно их переживаний во время опыта. Несостоятельность подобной методики вскрыта Дейхлером и К. Н. Корниловым. В своих же экспериментальных работах по методу реакций К. Н. Корнилов совершенно пренебрегал «суб'ективным рядом», опрашивая испытуемого лишь о том, «нормально или ненормально протекает опыт». К. Н. Корнилов, Учение о реакциях человека, стр. 35, Гиз, 1923.

акция» человека во много раз сложнее реакции на свет или пищу, напр., амебы)?

Физиология нервной системы дает ответ на этот вопрос учением о так наз. «доминанте». Характерной чертой доминантных реакций является как раз их прочность и неугасимость. Об'ясняется это тем, что условные рефлексы, приобретшие доминантный характер, черпают постоянное подкрепление из мощного очага возбуждения, каким является доминанта.

Инструкция, употребляемая при опытах с реакциями, создает как раз такой длительный очаг возбуждения—доминанту.

Простые и сложные реакции занимают очень большое место в поведении человека и животных. У человека они опираются, главным образом, на социальный инстинкт, у животных—на инстинкт питания, самосохранения, размножения. Применение нами полученных путем опыта познаний всегда носит характер «реакций»: «если имеется такое-то раздражение (такие-то условия),—необходимо сделать то-то». Поэтому вполне допустимо создание самостоятельной науки, об'ективно изучающей различные виды реакций. Вполне уместным названием для этого отдела был бы термин «р е а к т о л о г и я». Выдвинутый К. Н. Корниловым [1]) этот термин, к сожалению, им же был впоследствии затемнен учением о «целостных» реакциях, включающих в себя как об'ективную, так и суб'ективную стороны. Из этого вытекло учение о равнозначимости самонаблюдения с об'ективным наблюдением и наметился поворот к старому, традиционному названию «психология» вместо реактология.

Как мы указали уже выше, самонаблюдение ни в коем случае не может считаться равнозначущим об'ективному наблюдению, а поэтому и «психология», изучающая «целостные реакции», в научном отношении значительно уступает рефлексологии, изучающей лишь об'ективную сторону поведения.

Из этого не следует, однако, что психология, как дисциплина, не может существовать.

8 [2]).

Согласно точному смыслу слов, несколько измененному лишь в соответствии с позитивными тенденциями последнего времени, психология есть наука о «внутреннем мире» человека, точнее говоря, о его состояниях сознания. С точки же зрения науки о поведении психологию необходимо рассматривать, как у ч е н и е о б о т р а ж е н и и в с о з н а н и и д е й с т в и й, п р о и с х о д я щ и х в н у т р и и в н е о р г а н и з м а.

Эти «отражения» являются для нас, однако, более знакомыми и понятными, чем определяющие их движения. Факты поведения для нас, прежде всего, есть факты нашего сознания. Ясно поэтому, что изучением сознания и его фактов мы не можем пренебречь [3]). Но так как всякому исследователю доступны явления только его собственного

---

[1]) К. Н. К о р н и л о в, Учение о реакциях (реактология), Гиз, 1923.

[2]) В этой главе у автора имеется неувязка между теоретическим принижением «чистой» психологии и ее высокой практической оценкой. Р е д.

[3]) Превосходно выразился по этому поводу П. П. Блонский: «Не надо зачеркивать суб'ективные состояния, т.-е. уничтожать предмет психологии, но надо давать этим состояниям материалистическое об'яснение» (Психологические очерки, Введение, стр. 4).

сознания, то основным методом психологии может являться только метод самонаблюдения.

О состояниях сознания у других лиц мы можем судить по их собственным показаниям или по их внешнему виду, умозаключая по аналогии с собственными переживаниями. Ясно, однако, что ни в том, ни в другом случае мы не имеем дела с прочно установленными, вполне обоснованными фактами, которые одни только могут являться достоянием науки. Не имея «социальной наглядности», факты сознания не могут подлежать и настоящему научному исследованию.

Но так как это все-таки факты, то совершенно пренебрегать ими нельзя. В жизни они получили свои названия и, употребляя выражения: «радость», «желание», «умный», мы хотя и не можем с исчерпывающей точностью определить, о чем мы говорим, все же понимаем и позволяем другим понимать, о чем идет речь. За этими терминами имеется, несомненное преимущество их краткости и общепонятности. Проще сказать: «я привык вставать в семь часов утра», чем: «у меня установился условный рефлекс вставания на пункт времени, соответствующий семи часам утра». Поэтому нет основания изгонять психологическую терминологию решительно отовсюду, как это делают некоторые ретивые рефлексологи. У творца метода условных рефлексов, И. П. Павлова, мы во многих местах его речей и лекций встречаем употребление психологической терминологии даже применительно к лабораторно добытым фактам [1]). Об'ясняется это, разумеется, большим удобством, общепонятностью и экономичностью психологических терминов.

Таким образом, мы признаем возможность «знания» о фактах сознания. Но можно ли считать это знание «научным»? Нет, поскольку неот'емлемыми признаками науки являются, во-первых, социальная наглядность изучаемых фактов и, во-вторых, их закономерность, дающая возможность предвидения. Ни то, ни другое не доступно психологии в узком смысле этого слова. Некоторые достижения, имеющиеся в этом отношении, следует целиком отнести за счет об'ективных приемов, понемногу начавших просачиваться и в традиционную психологию. Собственно же психологические знания имеют совершенно иное значение: они помогают нам «понимать» чужие действия, «истолковывать» их по аналогии с нашими собственными переживаниями и,—в пределах житейской практики,—облегчают нам предсказание этих действий, которые мы производим, однако, руководствуясь, главным образом, внешним наблюдением.

Ясно, однако, что это «истолкование» вовсе не есть научное об'яснение. Мы «истолковываем» при помощи знакомого нам материала собственного опыта. Наука же «об'ясняет» сложные явления при помощи элементарных явлений и законов, твердо установленных научным исследованием, но хотя бы и не встречавшихся в нашем житейском опыте [2]). Если мой сосед жалуется на зубную боль, то «понимание» мною этого состояния отличается от его научного «об'яснения».

Таким образом, «чистая» психология может претендовать на название не «науки», но лишь некоей «наукоподобной» дисциплины.

---

[1]) Говоря, напр., о различных типах нервной системы, И. П. Павлов характеризует тормозных собак, как очень «трусливых» животных. См. «Лекции о работе больших полушарий головного мозга», стр. 250. Гиз, 1927, а также «Двадцатилетний опыт», лекция XXXVIII: «Тормозной тип нервной системы собак», Гиз, 1928, стр. 367.

[2]) Автор ошибается: об'яснение отнюдь не исчерпывается сведением к элементарным явлениям. Ред.

Этого «наукоподобия» достаточно, впрочем, чтобы психологической терминологией могли пользоваться не только житейская практика, но и так наз. гуманитарные науки: история, история литературы, юриспруденция и т. д. Везде, где идет речь об истолковании человеческих действий и поступков, употребление психологических терминов вполне законно [1]). В изящной же литературе только оно и является допустимым, потому что литература имеет дело с истолкованием поступков людей для людей же,—людей средних, постоянно пользующихся обычной психологической терминологией. «Рефлексологический» или «физиологический» роман невозможен [2]). Вот почему изящная литература является главным и неот'емлемым полем действий чистой психологии.

Научный характер психология приобретает лишь в том случае, если она усваивает некоторую долю об'ективных приемов исследования. Это усвоение может итти по трем направлениям. Во-первых, может совершенствоваться и математизироваться метод самонаблюдения: методика Фехнера-Вундта для измерения ощущений есть один из первых шагов в этом направлении [3]). Во-вторых, показания самонаблюдения могут дополняться и корректироваться об'ективными данными; это и есть «реактологический метод», как его прокламирует школа Корнилова. И, в-третьих, в психологию прямо могут быть допущены об'ективные методы, применяемые об'ективной наукой о поведении; чаще всего так и происходит. Психологическое исследование при этом отличается от рефлексологического или реактологического (в об'ективном смысле слова) стремлением толковать полученные результаты в терминах психологии, тогда как рефлексология предпочитает физиологическую трактовку итогов исследования. Как мы указали выше, рефлексологическое толкование является более научным, будучи доступно социальной проверке экспериментальными методами, тогда как психологическое имеет преимущества краткости и общепонятности.

Можно было бы, правда, выдвинуть и еще один аргумент в пользу психологии, как науки. Марксизм вовсе не считает, что лишь та наука есть наука, которая базируется на математике. Иначе нам пришлось бы отказать в признании ряду экономических дисциплин [4]), если же так, то не большая беда, что психологии не всегда удается внести математику в исследуемые ею факты. Ее сила—в познании их качественного своеобразия и качественных взаимоотношений.

Аргумент был бы верен, если бы психология была сходна с экономическими дисциплинами и в другом отношении: в умении предсказывать факты. Недостаток математической точности не мешает все же марксистской экономической науке делать широкие обобщения, устанавливать законы и предсказывать, пользуясь этими законами. Ничего подобного нам не дала «чистая» психология, все достижения которой приходится целиком отнести за счет применения об'ективных методов [5]). Кроме того, марксистскую экономическую науку менее

[1]) Нам не представляется, поэтому, категорически необходимым обоснование «науки уголовного права или процесса» рефлексологией, как этого требует, напр., Г. И. Волков («Уголовное право и рефлексология», Харьков 1928).

[2]) Надо ли говорить о том, что «физиологические» романы Золя художественны лишь постольку, поскольку они психологичны.

[3]) То же можно сказать относительно новейших работ В. Оствальда по теории цветов.

[4]) Н. Карев, К итогам и перспективам споров с механистами,—«Под Знаменем Марксизма» 1928, № 4, стр. 23.

[5]) К таковым относятся, напр., знаменитые исследования Эббингауза над памятью.

всего характеризует пренебрежение к цифре, в особенности к статистическим данным.

9.

Все сказанное выше позволяет нам классифицировать отделы науки о поведении следующим образом:

Базис науки о поведении.

1. Физиология человека и животных особенно эндокринология и физиология нервной системы.
2. Социология (марксистская).

Отделы науки о поведении.

1. Тропизмология или учение о движениях совершающихся без участия нервной системы.
2. Рефлексология или учение об условных и безусловных рефлексах.
3. Реактология или учение о реакциях (в об'ективном смысле.
4. Психология или учение об отражении движений в сознании.

В том случае, если психология принимает об'ективный характер, благодаря усвоению об'ективных методов, она сближается с реактологией, хотя, вообще говоря, психологически могут быть трактованы и процессы рефлекторного характера. С этой оговоркой отдел «реактология» мог бы называться также «о б' е к т и в н а я п с и х о л о г и я».

Нашей классификацией мы даем ответ на вопрос, поставленный нами в начале статьи: кто должен заниматься изучением человеческого поведения: рефлексология или психология. И та и другая, скажем мы, поскольку обе дисциплины являются отделами науки о поведении. Однако психология в своем чистом виде отступает на задний план перед об'ективными науками, так как она изучает лишь о т р а ж е н и я в с о з н а н и и об'ективных процессов, от которых они функционально зависят, а об'ективная наука о поведении изучает независимую переменную,—развивающееся по своим собственным законам м а т е р и а л ь н о е б ы т и е.

Проблема гена.

А. Серебровский.

Термин ген является одним из самых обычных терминов в современной генетике. Введенный Иогансеном для обозначения наследственных з а д а т к о в, противопоставленных им наследственным п р и з н а к а м, этот термин празднует в настоящем году 25-летний юбилей своего существования. Мы говорим в настоящее время о разных типах генов, производим их классификацию, говорим о генах окраски, о генах формы носа, о генах молочности, говорим о генах качественных и количественных, подразумевая под этим гены признаков, имеющих тот или другой характер, говорим о генах модификаторах, усилителях или ослабителях. Далее мы говорим о том, что гены действуют на развивающийся организм, вызывают развитие тех или других признаков, что проявление признака стоит в связи с наличием или отсутствием в организме данного гена. Мы говорим и о судьбе генов, говорим о том, что они длительно сохраняют свою устойчивость, проходя в неизмененном виде часто через сотни и тысячи поколений. С другой стороны, говорим, что гены способны подвергнуться мутационным изменениям, переходя из одного устойчивого состояния в другое. Относительно местонахождения генов мы также говорим теперь уже с большой уверенностью о том что они располагаются в хромосомах. Мало того, мы имеем точные методы для определения, в какой именно хромосоме и в каком месте этой хромосомы тот или иной ген располагается. Нас теперь уже не удивляет, когда генетики утверждают, что такой-то ген расположен «левее» или «правее» другого гена и указывают, часто в долях 1 морганиды [1]), расстояние между ними. И, наконец, в последнее время, в связи с открытием действия рентгеновских лучей на мутационный процесс, сделанный Моллером, ряд лабораторий превращается в подлинные фабрики новых генов.

Совершенно несомненно, что все то, что мы сейчас имеем возможность сообщать о генах, имеет под собой серьезные основания. Наиболее строгий критерий, критерий практики, постоянно убеждает нас в правильности, если не всего того, что мы говорим о генах, то во всяком случае значительной доли этого. Если бы в наших представлениях о генах имелись какие-нибудь существенные неверности, то не могли бы оправдываться те предсказания, которые делают генетики относительно поставленных ими скрещиваний, часто предсказывая с полной точностью результаты этих скрещиваний на многие поколения вперед.

И, однако, если мы зададим себе вопрос: что же такое ген?—то ответ на него будет очень труден.

Мы здесь не собираемся делать сводку всего того множества различных определений, которые давались генетиками этому понятию на протяжении истекших 25 лет. В статье Любищева «О природе наследственных факторов» дана такая сводка, которая иллюстрирует бесконечное количество различных оттенков мнений. Значительная часть этих определений для нас, однако, сейчас не интересна. Стремительные успехи генетики, достигнутые ею за последние годы, дали такое количество новых фактов, что в свете их, конечно, многие определения кажутся устаревшими или однобокими.

---

[1]) Условная мера длины при составлении «плана хромосом». Известны хромосомы в 70, 100 и более морганид.

Поэтому в настоящей статье мы будем иметь в виду проблему не того, что собою вообще представляет ген. Является ли ген энзимом, выделяет ли он что-либо в окружающую его протоплазму, является ли он скоплением вещества внутри хромосомы, или чем-нибудь подобным,—сейчас нас интересовать не будет. Мы хотим рассмотреть факты и сделать необходимые гипотезы, относительно характера той связи, которая имеется между геном и хромосомой, как частью и целым.

Несомненность того, что ген является некоторой частью хромосомы, кажется нам не требующей уже доказательства. Однако, для того,чтобы попытаться ответить на вопрос о природе гена, необходимо выяснить, допустима ли вообще такая постановка вопроса и возможно ли ожидать найти общее определение гена. Для этого необходимо рассмотреть предварительно тот логический процесс, который приводит нас к убеждению в том, что в данном пункте данной хромосомы лежит некоторый ген *A*. Пока хромосома сохраняет свой нормальный тип, никакой идеи о том, что в ней в том или другом месте расположен какой-нибудь отдельный ген, у нас быть не может. Но вот в хромосоме происходит трансгенация [1]) и возникает некоторый новый ген *a*. (Мы сейчас рассмотрим наиболее обычный тип трансгенации, при котором возникает из доминантного аллеломорфа рецессивный аллеломорф) [2]). После того, как этот рецессивный аллеломорф *a* возник, мы получаем возможность целой системой опытов доказать, что он действительно связан с данной хромосомой и с предельной точностью определить, в каком именно месте хромосомы и в каком расстоянии от других ранее известных в этой хромосоме генов он расположен.

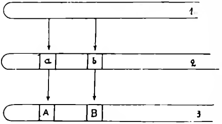


Схема № 1.

1) хромосома до мутации, 2) тоже хромосома после двух мутаций, а и в, 3) план немутировавшей хромосомы, составленный на основании сравнения с (2).

Точно так же трансгенация, происшедшая в каком-нибудь другом месте этой хромосомы и давшая нам новый аллеломорф b, дает нам основание утверждать, что в неизмененной хромосоме, в соответствующем месте располагался ген B (см. схему 1, 3)

Итак, по мере того, как процесс трансгенаций дает все новые и новые гены, нормальная, неизмененная хромосома из terra incognita, вещи в себе, которой она была для нас ранее, превращается в вещь для нас в план хромосомы, на котором указано расположение тех генов A, B, C.., из которых путем трансгенации возникли гены, a, b, c и т. д.

Совершенно естественен вопрос: можно ли задаваться попыткой дать конкретное определение гену, имея в виду одновременно как ген, располагавшийся в хромосоме д о трансгенации, так и новый ген, возникший из него п о с л е трансгенации? Для того, чтобы упростить изложение и подчеркнуть нашу идею, введем два термина. Будем называть б а з и г е н о м тот ген, который находился в неизмененной хромосоме и который послужил некоторой базой, из которой путем трансгенации возник новый ген,—этот новый ген поэтому назовем т р а н с г е н о м. Несомненно, что вопрос о природе

---

[1]) Трансгенация - один из случаев мутаций, при котором изменение захватывает лишь один ген.

[2]) Пара генов, бывший до трансгенации и возникший после нее называются аллеломорфами.

гена будет теснейшим образом связан с вопросом о том, что происходит в момент трансгенации.

Если, напр., трансгенация сводится к каким-нибудь внутренним химическим реорганизациям вещества, трансген может быть сравниваем с базигеном и описываем в однородных терминах, как могут быть сравниваемы два химических вещества. С другой стороны, если трансгенация является разрушением базигена, то между трансгеном и базигеном может оказаться такая же качественная разница, как между деревом до сгорания и после сгорания и попытка найти общее в трансгене и базигене будет значительно осложнена, а определение, общее для обоих понятий, будет бедно содержанием.

Вводя термины трансген и базиген, мы опять-таки не имеем основания думать, что во всех известных нам случаях трансгенаций базигены могут быть сравниваемы друг с другом так же, как и трансгены. Повидимому, уже сейчас мы можем наметить различные типы трансгенаций.

В одних случаях в результате трансгенаций возникает рецессивный аллеломорф, в других случаях, как, напр., в случае Bar у дрозофилы, трансгенация дала новый доминантный аллеломорф (у мух «Bar» глаза имеют вид узких вертикальных полосок. Стёртеванту принадлежит замечательное исследование об этом гене), только благодаря довольно счастливым обстоятельствам удалось выяснить природу этого перехода. Не менее своеобразия обнаруживают гены, вызывающие пестролистность растений, над изучением которых работает сейчас несколько генетиков. Возможно поэтому, что дальнейшие успехи генетики позволят выделить и другие типы трансгенаций, и это еще больше подчеркнет нашу мысль о том, что ответ на вопрос о природе гена неразрывно связывается с ответом на вопрос о сущности трансгенаций.

1

2

3

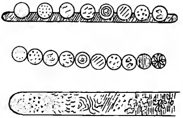


Схема № 3.

1 и 2 – корпускулярные теории строения хромосом (1 с осевым скелетом, 2 без скелета, из одних генов), 3 – молекулярная схема с постепенной сменой качественно-различных участков.

Имея в виду, что в результате трансгенаций могут возникнуть новые аллеломорфы, или доминантные, или рецессивные, мы можем говорить о трансгенах доминантных, возникших из базигенов рецессивных, и, наоборот, о трансгенах рецессивных, возникших из базигенов доминантных. Последний случай возникновения рецессивных трансгенов является, несомненно, значительно более распространенным, чем случай первый. То обстоятельство, что большинство трансгенаций сопровождается появлением рецессивных трансгенов, создало впечатление, что в момент трансгенации что-то исчезает и это, в свою очередь, послужило одним из оснований популярности теории «присутствия и отсутствия» Бетсена и Пеинетта. Согласно этой точке зрения два аллеломорфа, или две пары признаков потому именно и составляют взаимноисключающую (т.-е. аллеломорфную) пару, что в одном случае мы имеем в клетке наличие какого-то задатка, который отсутствует в другом случае. Если мы имеем окрашенную мышь и противопоставляем ее белой, то теория принимает, что это противопоставление имеет реальную основу в том, что в организме окрашенной мыши имеется ген, необходимый для выработки окраски, а в организме белой мыши такого гена нет.

При анализе значения и правильности этой точки зрения необходимо совершенно ясно различать в ней две стороны, формальную и физиологиче-

скую. С формальной точки зрения совершенно независимо от существа трансгенаций можно говорить о том, что в организме окрашенной мыши присутствует нечто, чего нет в организме мыши белой. Однако с этой точки зрения можно говорить и обратно о том, что в организме белой мыши есть нечто, чего в организме цветной мыши нет. И сплошь, и рядом, говоря о присутствии или отсутствии какого-либо гена, мы не настаиваем на физиологическом содержании этого понятия «отсутствие», а имеем в виду чисто формальное наличие или отсутствие какого-нибудь качества. Однако, как мы уже говорили, большинство трансгенаций дает рецессивные трансгены, и поэтому, более или менее невольно устанавливается способ выражения, при котором говорят о «присутствии» в том случае, когда имеем дело с доминантными аллеломорфами, и, наоборот, об «отсутствии», когда имеем дело с аллеломорфами рецессивными. В этом случае, очевидно, мы уже отвлекаемся от чисто формального употребления терминов «присутствие» и «отсутствие» и заполняем их физиологическим содержанием, предполагая, что именно в результате трансгенации что-то исчезло. Дальнейший наш анализ будет относиться именно к этой физиологической стороне теории «присутствия» и «отсутствия».

Во время своего возникновения теория «присутствия - отсутствия» была встречена всеобщим признанием потому, что она действительно с гениальной простотой об'ясняла как тот факт, что аллеломорфы образуют пары, так и то, что один из них в большей или меньшей степени доминирует над другим. Однако развитие генетики довольно быстро привело большинство генетиков к отказу от этой тезы и бросило их в об'ятия антитезы, выдвинутой исследованиями школы Моргана, над так называемыми множественными аллеломорфами или аллеломорфами, образующими серию. Суть открытия серий аллеломорфов сводится к следующему. Возьмем конкретный пример. В половой хромосоме дрозофилы на 1-й морганиде много раз происходили трансгенации. Раз 20 при этом возникали гены белых глаз, но на ряду с этим возникали и гены, дававшие глаза различных оттенков розового (от еле отличимого от белого) и красного, так назыв., эозиновой, коралловый, кровяной, рыжий, абрикосовый, вишневый и пр. Все эти трансгены являются результатом трансгенации одного и того же базигена (дальше мы увидим, что это, может быть, не совсем так) и образуют то, что и носит название серии аллеломорфов.

Если верно, что «белый» есть отсутствие «красного», то так же верно, что и «эозиновый» есть тоже отсутствие «красного». Но ясно, что нечто не может отсутствовать несколькими способами. Мыслимо, говорит Морган, только одно отсутствие чего-либо. Но зато можно легко представить, что один и тот же базиген может претерпевать множество качественных изменений и потому вероятнее толковать серию аллеломорфов именно как ряд качественно-различных изменений исходного гена. Вместе с тем и трансгенация примет характер процесса качественного изменения гена, а не характер его разрушения или иного «выпадения», ведущего к «отсутствию».

Эта, выдвинутая Морганом, антитеза явным образом соответствовала состоянию генетики 10—15 лет назад и была принята большинством генетиков, так что теория присутствия - отсутствия пережила трудное время (длящееся и поныне), и часто пишут об ее лишь историческом значении.

В настоящее время, однако, мы, повидимому, подходим к моменту нахождения синтеза этих двух точек зрения. С одной стороны, теория присутствия-отсутствия накапливает новые аргументы в свою пользу, с другой, убийственная критика Моргана утрачивает свой убийственный характер, а, в-третьих, новые факты дают спору новое освещение, находя выход из положения.

В основе моргановской критики теории «отсутствия» лежит убеждение или, по крайней мере, признание неделимости гена, или, иначе, что отсутствие может быть мыслимо только для всего гена в целом.

Между тем, одно свойство, очень широко распространенное среди серий аллеломорфов, говорит против этого. Это свойство заключается в том, что в каждой серии аллеломорфы могут быть расположены более или менее в ряд (с какой точностью, мы скажем об этом ниже), начиная от таких аллеломорфов, которые дают только слабое изменение по сравнению с нормальным признаком, и кончая такими аллеломорфами, которые дают наиболее резкие изменения—в данном примере белые глаза. Наличие такого постепенного ряда от более слабых к более сильным аллеломорфам как раз и указывает на возможность не только качественного, но и количественного толкования явлений.

Итак, формулируем два различия во взгляде на серию аллеломорфов. Точка зрения качественная предполагает, что каждая трансгенация, давшая новый трансген, происходила каждый раз качественно иначе, почему и возникшие члены семейства трансгенов качественно отличны между собой. Количественная точка зрения на серию аллеломорфов (см. схему 2) может то же самое явление иллюстрировать исчезновением различного размера участков хромосомы. При различных трансгенациях исчезновение небольшого участка даст трансген, слабее отличающийся по своему действию от нормального типа, тогда как исчезновение более крупного участка даст более резкий эффект.

Что заставило генетиков склониться в сторону идеи неделимости генов? На этот вопрос ответить довольно трудно. Можно наметить два аргумента. Во-первых, то, что ген обнаружил при тщательном исследовании, например, в работах Моргана с геном Notch (вызывает вырезку на крыльях) и Моллера с геном Truncate (притупленная форма крыла) замечательную устойчивость и не обнаружил никакой уловимой изменчивости при переходе от поколения к поколению. С другой стороны, большое впечатление произвел факт повторности многих мутаций, именно то, что многие трансгены возникали неоднократно, как было уже упомянуто в отношении гена белых глаз. Белые глаза возникают, примерно, у одной мухи на каждые 100.000. Аналогичное явление повторяемости обнаружили и многие другие трансгены дрозофилы.

При поверхностном ознакомлении с этим явлением создалось впечатление, что возникающие в этих случаях трансгены действительно вполне подобны друг другу и что, таким образом, процесс трансгенации легче совершается в каких-то определенных границах, чем в других. Можно было представить себе, что ген, подвергшийся трансгенации, резко отграничен от всех остальных, и поэтому трансгенация или захватывает его нацело, или не захватывает вовсе. Это повело к тому, что гены стали уподоблять «бусинкам, нанизанным на нитку». Между тем вопрос о повторности или о точности этой повторности требует более внимательного рассмотрения. На ряду с повторными трансгенациями, дававшими гены, сходные с прежде возникшими, были обнаружены и серии аллеломорфов, в которых трансгены отличаются друг от друга, и поэтому естественно вопрос о том, действительно ли имеются случаи идеально повторных мутаций или они об'ясняются только тем, что мы недостаточно точно умеем описать прежде возникшие трансгены и возникшие вновь. И здесь можно сказать, что в качестве повторных мутаций описываются такие, в которых трудно с полной уверенностью установить наличие различий. Если в серии аллеломорфов, к которой принадлежит и трансген белых глаз, возникло 12 раз-

личных оттенков — от красного до белого, то вполне понятно предположение, что нахождение дальнейших аллеломорфов здесь будет затруднено нашим неумением различить новые оттенки от 12 прежних, особенно в области белой окраски глаз, которая варьирует слегка в направлении желтоватой и лишь с большим трудом может быть отличена от окраски, вызываемой другим аллеломорфом, называемым «tinged». Возможно поэтому предполагать, что те 20 с лишним трансгенов, которые мы называем одним и тем же термином—белый (white) на самом деле имеют различную силу действия, но мы уже не в состоянии различить их друг от друга. В возможности такого толкования повторяемости убеждает нас то обстоятельство, что, исследуя другие более удобные серии аллеломорфов, позволяющие произвести сравнение биометрическим способом с гораздо большей точностью, мы уже не встречаем ни одного случая, когда бы не удалось найти какого-либо различия между аллеломорфами. Поэтому мы полагаем, что более тщательное исследование изменит наше представление о повторных мутациях в том смысле, что мы будем говорить о возникновении более или менее сходных мутаций, но не больше.

Количественная схема серии аллеломорфов предсказывает возможность одного явления, которое не предсказывается качественной теорией. Изучение первых серий аллеломорфов показало, что, когда мы создаем муху, несущую в гомологичных хромосомах различные трансгены одной серии, то внешность такой мухи не возвращается к нормальной, а обнаруживает признаки более или менее промежуточные между признаками, соответствующими каждому из трансгенов, входящих в эту комбинацию (так называемый компаунд). Так, например, если скрестить муху-дрозофилу с «эозиновыми» глазами и муху с «вишневыми» глазами, то получается компаунд, несущий в одной хромосоме аллеломорф вишневый, в другой—аллеломорф эозиновый и внешность мухи обнаруживает глаза оттенка промежуточного между вишневым и эозиновым. Это же обстоятельство в свою очередь служит указанием и на то, что данные трансгены действительно являются аллеломорфами друг другу, потому что, если бы они не были аллеломорфными, то такая муха должна была бы иметь глаза нормальной красной окраски.

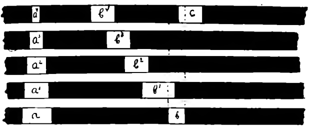
Поэтому формулируем в общем виде, что компаунды не дают возврата к нормальному типу мухи. Однако с количественной точки зрения такой возврат в большей или меньшей степени предсказуем. В самом деле, если трансгенация является выпадением некоторого участка хромосомы, то в различных трансгенациях эти границы могут располагаться в разных местах.

Разберем схему № 2 (справа гены b^4 и b^5). На ней представлены 2 хромосомы (верхние) с двумя трансгенациями b^4 и b^5, вырвавшими по участку хромосомы. В некотором районе эти выпавшие участки в обеих хромосомах совпадают, но, кроме того, в первой трангенации (b^4) выпал и еще участок левее этого общего, а во второй (b^5) трансгенации выпал и участок правее этого общего. При образовании компаунда, который будет иметь обе эти хромосомы, участки не общие будут нейтрализованы сохранившимися. Левый участок, выпавший в верхней хромосоме, будет компенсирован участком, сохранившимся в нижней хромосоме, а правый участок, выпавший в нижней хромосоме, будет компенсирован участком, сохранившимся в верхней хромосоме. Поэтому те изменения, которые вызывались выпадением участков правого и левого, должны будут исчезнуть и во внешнем виде мухи изменения будут вызваны только средним участком, который не будет компенсирован вовсе.

Но, сравнив этот компаунд с мухами гомозиготными по первой мутации, или по второй мутации, мы должны будем заметить меньшее по сравнению с

ним изменение, или, иными словами, компаунд в известной степени возвратится по направлению к норме. Чем меньше будет тот участок, который общ обеим трансгенациям, тем сильнее будет возврат к исходной нормальной форме. Возможность таких случаев очень вероятна, если развиваемая здесь точка зрения верна. Действительность подтверждает ее фактами. Нам известны в настоящее время, по крайней мере, уже 4 таких случая.

Хороший случай известен у дрозофилы. Здесь во второй хромосоме, на самом верхнем конце ее располагается ген dachsous. Известны уже три случая возникновения этой мутации. Во всех трех случаях получились трансгены несколько различного действия. Dachsous 1-й дает мух, крылья которых несколько короче нормальных и две поперечные жилки на них значи-



2.

Схема № 2.

1. Схема серии аллеломорфов. 2. Схема лестницы аллеломорфов.

тельно приближены друг к другу по сравнению с нормой; брюшко и ноги тоже укорочены и общий вид мухи очень сходен с мутацией, носящей название dachs (такса). Dachsous 3-й дает мух, характеризующихся тоже сильно сближенными поперечными жилками крыльев, но самые крылья сохраняют нормальную форму. Попытка разведения этих мух окончилась неудачей, так как оказалось, что самки их или вовсе лишены яичников, или имеют ничтожное количество полуразвитых яиц. Таким образом, между dachsous'ом 1-м и dachsous'ом 3-м разница в том, что первый кроме жилок затрагивает форму крыла, а второй, кроме жилок, затрагивает яичники. Когда был получен компаунд из этих аллеломорфов, то оказалось, что его крылья имеют такую же длину, как у dachsous'а 3-го, а брюшко только слегка и случайно укорочено, во всяком случае, слабее, чем у dachsous'а 1-го. Жизнеспособность и плодовитость мух компаундов оказалась вполне нормальной. Этот случай хорошо укладывается в схему. Трансгенация, давшая dachsous 1-й, затронула участки хромосомы, как влияющий на поперечные жилки, так влияющий и на форму крыльев. Этот последний участок оказался незатронутым трансгенацией, давшей dachsous 3-й, но, с другой стороны, последняя трансгенация затронула участок хромосомы, имеющий отношение к яичникам, оставшийся незатронутым первой трансгенацией. И поэтому компаунды проявляют только те признаки, которые относятся к участку хромосомы, затронутому обеими трансгенациями.

Наиболее поучительный случай, открытый и в настоящее время тщательно изучаемый в нашей лаборатории Н. П. Дубининым и И. Аголом, относится к серии аллеломорфов scute, расположенной на самом верхнем конце половой хромосомы. Это случай, затрагивающий щетинки и допускающий максимально точное изучение, должен будет пролить новый свет на данный вопрос.

Ряд возникших аллеломорфов гена scute образует, повидимому, подобие целой «лестницы аллеломорфов» (см. схема 2-я, справа), так что некоторые члены этой лестницы генов b⁴—b становятся аллеломорфами уже нового гена (С нашей схемы) считавшегося ранее не имеющим никакого отношения к генам серии b и включившегося в общую «лестницу» лишь благодаря нахождению промежуточных «ступеней».

Вопрос о границах гена.

Изучение серий аллеломорфов дает нам материал и для более критического отношения к вопросу об ограниченности гена. Сравнивая различные аллеломорфы друг с другом, мы видим, что некоторые из них могут затрагивать новые признаки, не затронутые другими и притом такие признаки, которые не могут быть физиологически поставлены в какую-либо связь друг с другом. Правда, в области физиологии, или, вернее, механики развития признаков, мы осведомлены еще очень слабо, но тем не менее, если мы видим, что dachsous 1-й затрагивает поперечные жилки крыла, но совершенно не затрагивает яичников, а dachsous 3-й затрагивает поперечные жилки и яичники, то мы не имеем основания думать, что в физиологии развития яичников и в физиологии развития поперечной жилки крыла лежит нечто общее, что именно и изменяется под влиянием dachsous'a 3-го. Гораздо вероятнее, что dachsous 3-й затрагивает два совершенно различных процесса, связанных друг с другом только тем, что они приурочены генетически к элементам хромосомы, расположенным тесно друг к другу в том месте, которое затронуто трансгенацией, давшей dachsous 3-й.

С точки зрения качественной об'яснить эти явления гораздо труднее, чем с точки зрения количественной, допускающей возможность сдвига границ трансгенации в ту или другую сторону по хромосоме.

Для того, чтобы сделать нашу мысль более ясной, разберем 3 возможные схемы строения хромосом с точки зрения этих связей с геном. Рис. 3-й сопоставляет эти 3 схемы.

Верхняя схема представляет хромосому в виде некоторой основы, может быть скелетной нити, на которой, как бусы на ниточке, нанизаны разнообразные гены. Каждый из этих генов резко отграничен от другого, и расположение этих генов характеризуется полным «беспорядком» в смысле их отношения к тем или другим внешним признакам. Эту идею полного «беспорядка» генетика почерпнула из первоначального изучения плана хромосомы, когда оказалось, что рядом могут располагаться гены, влияющие на совершенно различные внешние признаки — один на окраску глаз, другой на форму крыла, третий на щетинки, в то время как гены, имеющие сходное проявление, оказываются разбросанными по самым разнообразным участкам всех хромосом.

Вторая схема представляет хромосому, состоящую только из генов, т.-е. устраняет необходимость представления какой-то нгенной основы, соединяющей друг с другом гены. Однако гены продолжают и здесь быть резко отграниченными друг от друга и в пределах каждого гена мы имеем некоторое «скопление вещества».

Наконец, третья наша схема, кажущаяся нам наиболее вероятной, устраняет вовсе резкие границы между генами и представляет хромосому в виде очень сложно построенного тела. Различные участки этого сложного тела качественно отличны друг от друга, но переход этих качественно различных участков друг в друга не имеет каких-либо определенных, а тем более геометрических границ. Эта схема, при которой хромосома по существу может быть представлена в виде гигантской молекулы, по нашему мнению, наиболее удобно об'ясняет, между прочим, и все различия между членами

одной серии аллеломорфов. В самом деле, предположни, что трансгенация затронула некоторый участок этой хромосомы н что этот участок в различных трансгенациях мог располагаться несколько различно, мы найдем об'яснение того, почему одни аллеломорфы затрагивают один признак, а другие затрагивают признаки другие. Эта разница сведется к местоположению той границы, которая отделяет часть хромосомы, подвергшуюся трансгенации, от части хромосомы, оставшейся неизмененной.

Что же такой ген.

Наш анализ приводит нас как будто к странным результатам. Мы начали выяснять, что представляют собой гены, и для получения более точных ответов стали решать, что такое базигены н что такое трансгены. И при такой постановке вопроса мы пришли к заключению (в силу характера настоящей статьи наш фактический материал был по необходимости скромен н элементарен), что ни базиген, ни трансген не имеют физиологического смысла. В самом деле, если трансгенация может затронуть хромосому в любом месте и если размер этого затронутого участка может быть различен, то понятие базигена утрачивает свое содержание. Никаких базигенов (доминантных), как реальных отдельностей, очевидно, не существует. Не существует их в совершенно таком же смысле, как не существует никаких «ломтиков колбасы» в колбасе, которую еще не разрезали. А так как нормальная и вообще реально-существующая хромосома и есть «неразрезанная колбаса», то, очевидно, мы так же не имеем права говорить, что «хромосома состоит из генов («базигенов»), как не имеем права говорить, что «колбаса состоит из ломтиков». Ломтики колбасы практически даже более реальны, чем базигены, так как мы с ними имеем дело, с ломтиками же хромосомы, «выпавшими» из нее, мы уже дела не имеем.

Совершенно также (если наша точка зрения верна) не имеют реального содержания и рецессивные трансгены. Это «отсутствия», а так как отсутствие чего-либо невещественно, то и хромосома состоять из отсутствия, очевидно, не может.

Значит ли это, что мы должны перестать говорить о генах? Значит ли это, что правы те скептики, которые, не признавая вообще замечательных успехов генетики, склонны говорить, что «гены — это слова», а вся генетика — схоластика, оперирующая словесными образами, не имеющими реального смысла. Таким самоубийством мы, конечно, вовсе не собираемся кончать. Критерий практики на каждом шагу столь убедительно подтверждает законность оперирования генами, что отказаться от этих терминов мы не можем и не имеем оснований. Очевидно, гены — не только термины. Да, — ни базиген, ни его противоположность — трансген, в з я т ы е п о о т д е л ь н о с т и, не могут наполниться смыслом. И, тем не менее, они существуют, связанные единством. Только так их и можно рассматривать и только так они и будут сохранять свое громадное значение в генетике.

Мы совершили некоторый круг, — начав с заявления, что определить, что такое ген вообще, нельзя, что нужно разложить это понятие на две противоположности, базиген и трансген. А кончили тем, что только рассматриваемые одновременно эти два понятия имеют право на существование. Это тоже не значит, что мы в конце концов отказались от своего исходного положения, ибо проделанный путь не был бесплоден. Если в начале мы сказали, что эксперименты убеждают нас в том, что гены суть части хромосомы, то сейчас мы видим условность этого способа выражения. Хромосома состоит не из генов, а из элементов физико-химического порядка, может быть прямо из атомов, слагающих гигантскую молекулу, а части этой хро-

мосомы могут становиться генами, лишь вступая в возникающее в момент трансгенации единство противоположностей: базигена и трансгена. Только такая диалектическая точка зрения на ген способна, с одной стороны, сохранить для генетики ценнейшее понятие о гене и отразить нападение скептиков, презрительно говорящих об этом основном понятии генетики, как о «слове»; с другой стороны, эта точка зрения способна предохранить генетику от метафизических и грубых схем строения хромосом в роде «схемы бус» и т. п. и устранить кажущееся неразрешимым противоречие между теорией присутствия - отсутствия, с одной стороны, и «сериями аллеломорфов»—с другой.

Вместе с таким изменением смысла понятия базигена мы, очевидно, должны подвергнуть пересмотру и смысл господствующего в современной генетике представления о линейном расположении генов. Несмотря на то, что все факты, собранные школой Моргана в обосновапие этого учения, совершенно справедливы, под линейным расположением генов в настоящее время можно разуметь лишь то, что гены расположены вдоль хромосомы, подобно тому, как ломтики колбасы заполняют собой ее длину. Но, если окажется, что трансгенации не обязательно затрагивают всю толщу этой «колбасы» и что, тем не менее, такие трансгенации сопровождаются появлением новых трансгенов, то придется вместо схемы линейного расположения генов строить уже схему их расположения пространственного, как пространственно расположены кусочки (не ломтики) колбасы. Придется не только выяснять, на каком расстоянии от конца хромосомы произошла данная трансгенация, но и то, на какой поверхности— верхней, нижней, правой, левой — произошла эта трансгенация и какой глубины она достигла. Вместе с тем два или даже много трансгенов могут оказаться расположенными на одном и том же расстоянии от конца хромосомы только выше или ниже друг друга.

Такой взгляд приводит к отрицанию и идеи того беспорядочного расположения генов, которая находит себе отражение в схемах №№ 1 и 2 схемы 3-й. Если члены серии аллеломорфов отличаются друг от друга тем, что затронутые трансгенацией участки хромосомы оказываются в различных случаях несколько различными в смысле длины и если, с другой стороны, большинство членов серии аллеломорфов укладывается в ряд по степени их силы действия на какой-либо признак, то это означает, что близко расположенные части хромосомы имеют много шансов влиять на один и тот же признак. Иными словами тесно рядом в хромосоме лежат какие-то физиологически сходные элементы и только по мере того, как мы идем дальше по хромосоме, мы начинаем встречать уже более сильно отличные в физиологическом смысле элементы.

Опыт единой схемы мутаций.

Ценность развиваемой здесь точки зрения по нашему мнению заключается также и в том, что она дает возможность почти все многообразие мутационных изменений об'единить общей схемой «присутствия и отсутствия».

Вопрос о возможности сведения ряда различных типов мутаций к одной единой схеме разбирался уже нами подробно три года назад в статье «Хромосомы и механизм эволюции» (Успехи Экспериментальной Биологии) Поэтому сейчас мы только вкратце повторим главнейшие аргументы, дополнив их некоторыми новыми фактами.

На одном конце мутационных явлений мы имеем случаи выпадения целых хромосом. Хорошо изучен в этом отношении случай выпадения самой маленькой из четырех хромосом дрозофилы дающий муху, получившую на-

звание: haplo-IV. По внешности, это более мелкие мухи с увеличенными глазами, с уменьшенными щетинками, мало жизнеспособные. Этот случай может быть легко исследован цитологически, и реальность отсутствия здесь хромосомы не подлежит сомнению.

От этого случая мы незаметно переходим к случаям, описанным Навашиным, С. Г. и Навашиным, М. С. Навашин-отец открыл среди растений рода galtonia две расы, различавшиеся под микроскопом по устройству одной из своих хромосом. На конце этой хромосомы у нормальных растений можно было видеть особого «спутника», прикрепленного к хромосоме тонкой ниточкой. В расе «симметричной» хромосом с таким «спутником» было две, а в расе «не симметричной» одна из хромосом сохранила своего «спутника», а другая была лишена его. Утеря этого «спутника» не сопровождалась внешними изменениями. Тем не менее выяснилась невозможность получения растений, у которых бы отсутствовали оба «спутника» и весь ход размножения этих несимметричных растений шел по схеме, близкой к той, которая генетиками выяснена для организмов гетерозиготных по летальным (т.-е. смертоносным) генам.

Навашиным-сыном сходный случай был найден у растений Crepis с той разницей, что здесь «спутник» не исчезал вовсе, но значительно уменьшался в своих размерах. Генетическое исследование случаев, подобных haplo-IV, дает полное сходство со случаем так называемых нехваток (deficiency), при которых мутация захватывает целый участок хромосомы, на котором располагается или может быть расположен целый ряд генов. Вся разница между случаями таких нехваток и случаем haplo-IV сводится лишь к тому, что в первом случае мы не можем заметить в микроскоп никакого отсутствия, а во втором случае это отсутствие отчетливо видно. Однако эта разница столь легко об'ясняма несовершенством нашей микроскопической техники, что придавать этому существенное значение нет никаких оснований. Заметить изменение данной хромосомы на какую-нибудь даже $^1/_{10}$ часть очень трудно[1]). Совершенно также невозможно найти какое-либо принципиальное различие между случаем нехватки и категорией «доминантных генов» с «летально-рецессивным действием». Такие гены известны в настоящее время не только у дрозофилы, но и у кур, мышей и других и выражаются в том, что гомозиготные по этому трансгену организмы погибают, а гетерозиготные живут благополучно и обнаруживают некоторые внешние признаки. Исследовавший этот вопрос Мор собрал целый ряд доказательств, которые делают невозможным проведение какой-нибудь действительной границы между этими доминантными «с летальным действием» генами и нехватками, тем более, что в опытах отбора удавалось без особого труда уничтожить всякие следы этого доминантного действия и свести гены к обычным нехваткам.

Третий переход, совершенно такой же незаметный, мы имеем между нехватками и летальными генами вообще. Признать вообще, что мы имеем дело не с простыми летальными генами, а с нехватками, можно только при счастливых обстоятельства, если в наших руках будут независимо возникшие видимые мутации, расположенные в том же самом районе, который был затронут возникшей нехваткой. Так как на наших планах хромосом даже у мухи дрозофилы имеются еще громадные участки, на которых не размещены никакие гены, то совершенно естественно считать, что большое количество мутаций, которые мы называем просто летальными, на самом деле являются нехватками. Но это обстоятельство не может быть обнаружено, пока не возникнут подходящие для этой цели гены. Изучение целой серии нехваток, возникших в половой хромосоме дрозофилы в районе книзу от гена белой

[1]) Отметим, впрочем, что ряд авторов предполагает видеть в нехватках не выпадение, но «инактивацию» участка хромосом (Mohr).

окраски глаз (так называемая Notch), обнаружило, что нехватки могут быть весьма различной длины, и поэтому мы имеем все основания считать разделение этой категории мутаций на нехватки и летальные мутации чисто искусственным, не имеющим серьезных, реальных оснований. Далее, между летальными генами, убивающими организм часто на самых ранних стадиях развития, и мутациями обычными, видимыми, мы тоже находим совершенно постепенный ряд переходов через мутации, слабо влияющие на жизнеспособность организма, через мутации полу-летальные, убивающие только в некотором проценте случаев и т. д. И здесь, анализируя имеющийся в нашем распоряжении материал, мы не можем найти никаких указаний на существование каких-либо границ и, наоборот, все чаще и чаще мы находим случаи явно промежуточного типа. Это убеждает нас все больше и больше в том, что все мутации от утери целой хромосомы до обычного возникновения видимого гена сопровождаются потерей некоторого участка хромосомы, различающегося только своей длиной.

Но, если мы примем, что видимые мутации, полу-летальные и летальные являются тоже мелкими нехватками, то мы получим возможность объединения их в еще более широкую схему. Уже школа Моргана показала вероятность того, что нехватки являются только одной частью более сложного процесса, именно процесса транслокаций. Процесс транслокации заключается в том, что больший или меньший кусок одной хромосомы каким-то образом перескакивает либо в другую хромосому, либо в ту же самую хромосому, но в другое место, в результате чего в том месте хромосомы, от которого оторвалась транслокация, получается нехватка, а в другом участке, куда прицепилась транслокация, образуется при подходящих условиях д у п л и к а ц и я. Дупликацией, удвоением, этот участок называется потому, что муха, у которой путем скрещиваний хромосома с нехваткой заменена нормальной, целой хромосомой, некоторый участок хромосом оказывается удвоенным: в одной хромосоме он расположен на нормальном месте, а в другой—в качестве транслокации, ставшей таким образом дупликацией. Если нам удается во-время заметить возникновение транслокации и сохранить хромосому как ту, от которой кусок оторвался, так и ту, к которой кусок прицепился, то мы этот случай описываем, как транслокацию в чистом виде. Однако ряд несущественных обстоятельств может эту картину затуманить. Если окажется, что мухи, имеющие хромосому с прицепленным лишним кусочком, жизнеспособны, то может случиться, что мы сохраним только тех мух, у которых имеется хромосома с этим кусочком, но не будет хромосомы с нехваткой, и тогда этот случай будет нами описан, как дупликация, т. е. удвоение в хромосомном аппарате некоторого участка. Обратно, если будет потеряна та хромосома, к которой прицеплен оторвавшийся участок, то у нас останется только хромосома с нехваткой, и этот случай будет нами описан именно, как случай возникновения нехватки.

Отсюда можно заключить, что в процессе возникновения трансгенаций механизм транслокационный тоже может иметь значение. В этой связи между возникновением трансгенаций и транслокациями особенно убеждают последние работы генетиков, применявших рентгеновские лучи. Как сам Моллер, так и Вейнштейн и наша лаборатория, применяя рентгеновские лучи, получили одновременное и почти одинаковое возрастание как числа возникающих трансгенаций (видимых и летальных), так и транслокаций. В то время, как до применения рентгеновских лучей было описано всего несколько случаев транслокаций, в настоящее время они множатся с каждым днем. И этот параллелизм не только убеждает нас снова в единстве явлений нехваток и летальных и видимых трансгенаций, но в единстве и механизма возникновения этих типов мутаций.

Однако лично нас смущало одновременное и параллельное возрастание мутационных явлений своеобразного типа, носящих название «инверзий». Под инверзиями разумеются такие случаи, когда некоторый более или менее длинный участок хромосомы оказывается повернутым на 180°, таким образом, что весь порядок расположения генов на этом участке оказывается противоположным нормальному. Впервые ясная картина таких инверзий была получена из сравнительного изучения плана хромосомы Drosophila melanogaster D. Simulans, у которой в части третьей хромосомы гены, гомологичные генам дрозофилы melanogaster, оказались расположенными в противоположном порядке. Параллельное возрастание частоты мутаций типа инверзий и типа трансгенаций и транслокаций тоже заставляет предполагать нечто общее в этих механизмах. Между тем. представить себе механизм, который заставляет некоторую часть хромосомы перевертываться на 180° и, тем не менее, становиться опять на место в общую длину хромосомы, представить очень трудно.

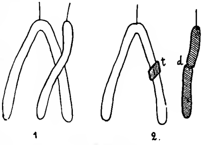


Схема № 4.

Схема транслокации из одной хромосомы в другую: 1—слипание хромосом, 2—разрыв хромосом: t — транслоцированный участок, d — „нехватка" (deficiency).

Поэтому здесь в заключение мы хотим предложить ту схему, которая, по нашему мнению, могла бы легко об'единить все названные процессы воедино. Наша схема мутационных явлений исходит из предположения о том, что две любые хромосомы, соприкоснувшись друг с другом в каком-либо месте, могут при известных обстоятельствах слипнуться в этом месте и притом настолько сильно, что когда какая-нибудь сила заставит их снова разойтись друг от друга, то разрыв может пройти не по прежней границе, и одна часть хромосомы может оказаться с вырванным из нее большим или меньшим участком, который окажется прилепленным к другой хромосоме. Принятие такой предпосылки позволяет построить следующую схему мутационных явлений:

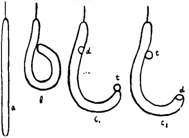


Схема № 5.

Схема транслокации в пределах хромосомы. d—нехватка, t—транслокация; в c_1—транслокация из середины на конец в c_2—с конца в середину.

1. Транслокация из одной хромосомы в другую. Если пересекутся и слипнутся в месте пересечения две различные хромосомы, напр., 1-я и 2-я, то после их раз'единения кусочек первой хромосомы может остаться прилипшимся ко второй хромосоме (схема 4-я). Тогда в первой хромосоме окажется нехватка, а во второй транслокация. В зависимости от размеров вырванного из первой хромосомы кусочка в ней возникает или настоящая нехватка, захватывающая несколько генов, либо летальный ген, либо какая-нибудь видимая мутация.

2) Транслокация в пределах одной хромосомы (схема № 5). Схема этого явления будет мало чем отличаться от предыдущей схемы с той только разницей, что для пересечения хромосом придется представить себе хромосому, загнувшуюся наподобие улитки. При этом может произойти транслокация или из средины хромосомы на ее конец, или с конца хромосомы куда-нибудь на средину, как видно на схеме.

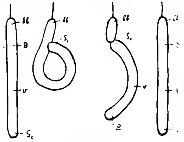


Схема № 6.

Схема инверзии части хромосомы от B до Sc.

Этот случай дает нам переход непосредственно к об'яснению возникновения инверзий. На схеме № 6 представлена хромосома с расположенными в ней 4 генами, и рисунок об'ясняет, каким образом после слипания и разрыва может произойти образование инвертированного участка хромосомы. На схеме 7 так же легко об'яснен случай, при котором инверзия затрагивает не целиком всю хромосому, а только некоторую часть ее, расположенную по середине.

Заканчивая настоящее изложение, мы видим, что использование и развитие теории «присутствия-отсутствия» приводит нас, с одной стороны, к значительному пересмотру установившихся более или менее взглядов на ген и на моргановский закон линейного расположения генов, а, с другой стороны, легче позволяет свести в единую систему столь разнообразные генетические явления, как различие между членами одной и той же серии аллеломорфов, различие между летальными и видимыми генами, летальными и нехватками, об'единяет вместе, казалось бы, столь различные явления, как инверзии, транслокации и другие типы мутаций. В этой схеме, конечно, еще очень многие пункты требуют тщательной экспериментальной проработки. В настоящее время, в связи с введением в лабораторную практику генетиков рентгеновских лучей, исследование этих сложнейших проблем должно, конечно, пойти ускоренным темпом, однако громадное количество разнообразных проблем, которое возникает сейчас в генетических лабораториях, заставляет нас выступить с настоящей статьей для того, чтобы обратить внимание на важность решения именно затронутых здесь вопросов.

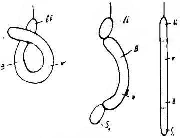


Схема № 7.

Схема инверзии участка B—v.

Теория «присутствия-отсутствия» в том трактовании, которое мы ей здесь придаем, позволяет наметить целый ряд очень интересных исследований, которые могут быть проведены только под углом зрения соответствующей теории.

В этой возможности намечать ряд новых проблем и подвергать их дальнейшей экспериментальной обработке мы и видим главнейшую ценность соображений, подобных тем, которые мы излагаем в настоящей статье.

Диалектика в педологии[1]).

С. Моложавый.

«Диалектика головы—только отражение форм движения реального мира как природы, так и истории».
(Энгельс, Диалектика природы,—Архив Маркса и Энгельса, т. II, стр. 5).

В живом, вечно движущемся, преобразующем свои формы и меняющем свои соотношения реальном мире каждый процесс диалектичен. Всякий процесс, как результат нарушения равновесия системы, есть акт взрыва, расщепления, борьбы, отрицания, взаимодействия возникших в ней противоположных тенденций. Всякий процесс разрешается тем, что он приводит или к восстановлению равновесия в прежней структурной форме, или же к разрушению, структурному изменению, перестройке, перегруппировке, к новому типу связей, новой координации входящих в систему элементарных моментов. Имеем ли мы дело с физико-химическим, или биологическим, или же социальным рядом явлений, структурно закрепившимся в известных границах, принцип диалектичности сохраняет свою значимость во всей полноте, при чем степень динамичности в каждом из них возрастает. Химическая реакция есть процесс соотношения, столкновения двух подвижных в своей основе систем, дающих лишь в момент уравновешивания относительно статическую форму. Биологическая реакция — это соотношение более сложной и подвижной системы с простой, при чем первая для восстановления равновесия мобилизует все наличные свои связи, что чаще и легче дает структурные трансформации. Сама жизнь есть динамика структурных новообразований, выражающаяся в непрерывной перестройке системы под воздействием среды. В момент уравновешивания здесь мы имеем еще более относительную функциональную формулу не статического, а динамического порядка. Реакция человеческого организма на социальную среду, развертывающаяся в социально-биологических процессах, охватывает более сложные взаимоборющиеся моменты, резче и глубже противопоставляющиеся друг другу. Сама социальная среда таит в себе непримиримые противоречия, непрерывно нарушающие равновесие всякой находящейся в ее условиях системы. Процесс здесь вдвойне диалектичен, восстановительные возможности шире, новообразования легче, и формула уравновешивания подвижнее, она включает в себя момент борьбы противопоставления, а не только их взаимозависимость.

Основной познавательной схемой, покрывающей собой в конечном счете всякий процесс, от элементарных до самых сложных, от мгновенных до самых длительных, является поэтому схема диалектического процесса, отражающая в системе рефлексов человека реаль-

[1]) Печатается в качестве материала к вопросу о диалектике в педологии. *Ред.*

иое соотношение действительности. Всякое познание, всякая наука есть систематизированиая и сннтезированная практнка, практика же есть перестройка, реорганизацня, измеиенне связей и отношений вещей и людей. Действовать—это значит осуществлять на деле диалектический процесс, позиавать—это значит охватывать этот процесс в отображающей системе рефлексов. Весь процесс деятельиости, как непосредствеииой, практической, так и посредствующей теоретической, есть процесс актнвного отношения, преобразования, иовообразования, почему и принцип изучеиия есть также принцип организации, перестройки, иахождеиия связей, актнвного комбинирования. Мы при изучении условио можем стабнлизировать ту или нную стадию, те нлн нные формы связи н оперировать с ними, как с постоянными велнчинами. Но раскрыть целостный процесс движения, преобразования мы можем только тогда, когда установим в нем протнвоборющиеся системы, найдем корни этих противоречий, уходящие в глубь процесса, вскроем факторы борьбы и ее нарастание. Узловые пункты в процессе, образующие иовые формы связей, новый тнп координации элементов, дающие качественно новую функцию, не составляют исключения из этого положения. В диалектичиости процесса они получают свое обоснование, новое качество есть лишь «функция особого типа связей», образовавшегося через количествениое нарастание ниже лежащих процессов во взаимной борьбе и отрицании друг друга. Всякое новообразование «сводимо, и сводимо без остатка», к ряду простейших процессов, но не может быть из них выведено без учета факторов, подготовивших скачок. Если мы отрицаем сводимость, мы впадаем в метафизику, тайком проводим особую субстанцию, vis vitalis, и друг. Если мы допускаем выводимость без учета новых факторов, мы впадаем в упрощенство или же вынуждаемся к допущенню беспричинности, творческого порыва и других чудодейственных актов. Проблема мутаций, за которой мечтали укрыть крупицу иеоб'яснимого творчества, иашла сейчас для себя экспериментальное об'яснение из условий воздействующей среды. Достигнутая Мöллером через применение Х-лучей искусственная трансмутация ген заполнила таинственную пустоту биологического скачка, хотя и не решила еще вопрос об условиях естественной трансмутации.

Чем резче выражен актнвный реорганизующий характер деятельности человека по отношению к той или иной области действительности, тем быстрее и ярче выступает диалектический принцип в теоретическом подходе к ней как в смысле учета сложности, целостности, взаимозависимости ее явлений, так и в смысле учета факторов, обусловливающих в ней нарушение равновесия, взрывы, скачки новообразования. Общественная жизнь, дело рук производящего человека, первая фактически испытала на себе в великих трудах Маркса и Энгельса применение принципов и метода диалектики после того, как Гегель вскрыл ее абстрактные, теоретические основы. Диалектика всей нашей революционной действительности, захватившая все пути практической и теоретической деятельности, ведет к перестройке и других научных дисциплин, независимо от об'екта их исследования. Мы ищем сейчас путей проведения диалектических принципов и применения диалектического метода в математике, естествознании, биологии и т. д.

Особенно там, где процесс носит генетический характер, где система жизнесохраняется путем осложнения и перестройки внутри себя, там каждый момент уравновешивания носит на себе следы изменения.

трансформации, новообразования, открывая широкий простор диалектическим принципам и диалектическому методу. Здесь статическая формула в собственном смысле этого слова не находит для себя места, постоянство здесь в смене, в тех механизмах, которыми определяется движение и нарастание, в тех факторах, которыми оно обуславливается. Расходящиеся, противоборющиеся процессы здесь резче, скачки глубже, а потому настоятельнее необходимость раскрыть предваряющие их моменты в их своеобразии и количественном нарастании. Генетика новых функций и форм получает для себя об'яснение лишь в диалектичности процесса, в актах образования нового типа связей, возникающего через восстановление резко нарушенного воздействием среды равновесия системы в целом.

Мы подошли к диалектике тех сложных процессов, которые разворачиваются в системе растущего, развивающегося и оформляющегося детского организма при соотношении его со средой. Наука о ребенке—это наука о генетических процессах, наука о выработке новых усложняющихся механизмов под воздействием новых факторов, о ломке, перестройке, трансформации функций и лежащих в их основе материальных субстратов в условиях роста детского организма. Достижения всех смежных наук, раскрывающих процесс жизни, его механизмы и факторы как в простейших, так и сложных формах пролагают путь к пониманию генетики и оформления человека. Но наука о ребенке, как самостоятельная теоретическая наука, должна строиться на диалектическом изучении своеобразных процессов формирования ребенка, в связи с особенностями определяющих его рост факторов. Она должна учитывать своеобразие тех отношений, которые устанавливаются между растущим детским организмом и готовой сложной социально-производственной средой, обслуживающей взрослые человеческие организмы. Те механизмы, которые выработались в материальном веществе на определенных стадиях его структурной модификации, чтобы поддерживать стационарность системы, оказались недостаточными, когда стала очень подвижной и быстро усложняющейся окружающая организм среда. Пластичность материального субстрата, это специфическое свойство живой плазмы, есть предпосылка генеза со всей его подвижностью и новообразованиями и предпосылка осуществляющих этот генез механизмов. У высших животных это—механизм завязывания новых связей со средой для восстановления нарушенного равновесия (условные рефлексы), механизм подавления прежних связей при их противоречии с действительностью (внутреннее торможение), механизм борьбы несовместимых друг с другом процессов (внешнее торможение), механизм содействующих процессов (доминантность, синергизм), механизм противостоящих процессов (индуцирование). Эти механизмы—не механизмы уравновешивания, но механизмы движения, изменения, трансформации, генезиса усложняющихся форм и связей. У растущего человека в условиях организованной, социально-производственной среды не только достигают высшей степени гибкости, лабильности и адэкватности эти механизмы, но и слагаются новые механизмы, контактирующие и регулирующие его соотношение со средой.

Диалектика процессов в растущем, развивающемся и оформляющемся ребенке разворачивается по следующим основным моментам:

Во-первых, очень относительна стабилизация детского организма, как особой функциональной системы, в момент его появления в новой среде, уравновешивание с которой является условием его

самосохранения. Здесь три причины. Первая—незаконченность тех процессов, которые начались и нарастали в утробный период, когда материнский организм выталкивает из себя организм ребенка. Это — скачок в новую среду, как результат противоречия в деятельности двух систем. Вторая причина—несоответствие функций, обеспечивающих существование в утробной среде, тем жизненным ситуациям, в которые попадает ребенок с момента рождения. Непрерывный процесс поглощения питательных веществ через кровь матери уступает теперь место периодическому принятию пищи через пищеварительную систему. Процесс поглощения кислорода из крови матери сменяется работой дыхательных путей. Поддержание устойчивого равновесия, сохранение необходимого уровня температуры, ограниченность воздействующих извне раздражителей сменяются резко противоположными условиями, вызывающими к активности новые защитные функции организма. Третья причина—пластичность, как специфическая особенность видовой плазмы, являющаяся результатом того биологического противоречия, в которое был поставлен человеческий вид. При наличии неравной борьбы с более сильными конкурентами, он был вынужден приспособляться все к новым и к новым условиям. Это помешало материальной (конституциональной и функциональной) стабилизации системы, наоборот, заложило в ее основу возможность широкой изменчивости, как условие ее жизненной приспособляемости, жизнесохраняемости, находящих свое выражение в свойствах зародышевой плазмы, именно в максимальности ее динамики.

Во-вторых, чрезвычайно значительны расстояние, скачок, степень переконструирования, сумма новообразований, которые должен пройти родившийся детский организм, чтобы приспособиться к условиям новой среды. Это обусловливается резким различием утробной и внеутробной среды как по характеру, так и по структуре. В утробной среде ребенок становится в соотношение с готовыми, непосредственно освояемыми продуктами материнского организма. Не процесс кровообращения матери имеет отношение к жизнесохранению ребенка, а готовая кровь, не процесс накопления тепла, а готовая теплота. Во внеутробной среде растущий ребенок вступает в соотношение с процессами, при том очень сложными, подвижными и разнообразными, требующими от него функционального приспособления. Только наличие посредствующих звеньев в лице родителей и воспитателей, смягчающих эту противоположность, предохраняет детский организм от разрушения. Необходимость преодолеть это качественное различие в жизнесохраняющих условиях среды повышает темп образования новых механизмов, широту и глубину качественных изменений. Физиологическим эквивалентом такой приспособительной динамики являются те общие правила работы коры больших полушарий, которые раскрыты учением об условных рефлексах и которые делают максимально адэкватным уравновешивание детского организма с текучей, подвижной, непрерывно меняющейся средой. И законы проторения путей, и законы торможения, угасания, дифференцировки, запаздывания, и законы индуцирования, и законы синэргизма и доминантности,—все это отложившееся и закрепившееся в структуре нервного вещества пути динамической, временной, условной связи со средой, пути функционального изменения действующей системы организма. Эти пути новых образований, дающих в результате новую функцию, пока еще неполные, еще лишь самые общие и основные, так как раскрыть их во всей полноте не может лаборатор-

ная обстановка физиологического эксперимента, ограниченная в подборе и соотношении факторов и учета других жизненно-реальных возможностей. В условиях действительного приспособления растущего ребенка к качественно новой для него среде, эти пути и законы осложняются, утончаются и вырабатывают ряд новых механизмов, инструментальных, осуществляющих, организующих, выражающих. Но этого мало. Особенность структуры окружающей ребенка среды, это—ее социально-организованный характер, единство, согласованность, синэргизм процессов, происходящих в ней, с одной стороны, а с другой,—противоположность, борьба, классовость, принимающая определенный и резко выраженный характер. Отсюда рост новообразований в системе детского организма идет под влиянием организованности среды. Однотипные жизненные ситуации вызывают однообразные процессы и одинаковым образом оформляют функции и систему поведения ребенка, что ускоряет темп образования новых механизмов и функций и широко интегрирует их. Личный комплекс нарастает быстро, тип поведения слагается рано, при том как классово-производственный тип, единый, целостный во всех своих моментах. Структура среды налагает свою печать на функциональную систему детского организма, непрерывно усложняющуюся в своих процессах, которая образует основу личности, ее ядро, определяющее все ее поведение как в смысле установок, так и в смысле характера механизмов простейших, раскрываемых физиологическим анализом, и поведенческих, раскрываемых социологическим анализом. Вместе с тем это нарастание процессов и функций, развертывающееся в системе организма, всегда протекает под прессом противопоставления, в аспекте противоположения, антитезы, соотношения, выбора, осознавания (не в смысле новой субстанции, а как новый тип функции). Здесь имеет силу не простой механизированный процесс короткого замыкания на ближайший по времени и пространству раздражитель или жизненную ситуацию, непосредственно открывающуюся. Здесь—замыкание на максимально приспособляющий раздражитель и ситуацию. Ее жизненная максимальность определяется всей классово-производственной направленностью индивида и осуществляется им через мобилизацию следовых рефлексов, через личный комплекс, готовность к действию. Такая организующая роль социальной среды перестраивает физиологический аппарат, переставляет биологическую значимость физиологических процессов (роль голосовых функций, выразительных движений и др.). Она придает большую значимость вхождению других индивидов в приспособительный процесс (освоение чужого опыта). Она вырабатывает специальные средства социальной координации и социальной борьбы и вводит их, как неотделимую часть, в интегрированный комплекс индивидуального приспособления. Вместе с тем возрастает возможность использования прежнего опыта при новых условиях и образуется специальная система предваряющих, организующих, контролирующих и регулирующих функций.

В-третьих, резко выражен генетический характер процессов, происходящих в детском организме, в его основных приспособляющих путях и центрах. Это—процессы образования, нарастания новых моментов, новых механизмов в актах уравновешивания со средой. Каждый предыдущий момент—это этап на пути к дальнейшему, его обусловливающий, а себя этим самым отрицающий. Здесь раскрывается весь путь количественного нарастания определенных качественных моментов, предваряющий образование нового качества, раскры-

ваются факторы последнего, его более высокая приспособляющая роль, его противоположение предыдущему. Здесь новое качество выступает, как функция особого типа связи, особой своеобразной координации ниже лежащих простейших процессов, образующейся не путем механического их сложения, а органического нарастания новых соотношений в жизненно-приспособительном процессе, завершающегося скачком. Здесь раскрывается относительный, временный характер всякого достижения, всякого этапа, всякой стадии, ее зависимая по отношению к условиям окружающей среды роль. Здесь раскрывается динамичность сложно-нервных механизмов, зависимость их от их функционального назначения. Учение об условных рефлексах указало нам предпосылки возникновения и усложнения новых механизмов, вскрыв лежащие в основе их более простые физиологические закономерности. Генетическая рефлексология имеет целью проследить этот генез, как процесс новообразований. К растущему детскому организму учение об условных рефлексах может быть приложено и как принцип понимания, и как схема анализа, и как методика изучения. Однако учесть всю глубину и все разнообразие новообразований в растущего человеческого организма учение об условных рефлексах не может, поскольку в его задачу непосредственно не входит анализ особенностей социальной среды, как системы раздражителей. Все своеобразие социальной среды, как фактора нового типа функций, образующихся на базе простейших физиологических механизмов, для учения об условных рефлексах стушевывается. Процесс генеза, как ряда нарастающих качественно новых образований, не получает полного раскрытия и в принципе эволюции, как его понимал Дарвин (исключая позднейшие его высказывания). Для Дарвина изменения скачкообразны только потому, что промежуточные звенья исчезли, вымерли в борьбе за существование. Для него нет противоречий в самой системе приспособляющегося организма, выявляющего и развивающего лишь свои наследственно заложенные вариации. Эти противоречия перенесены во вне, в межсистемные отношения, в акты борьбы за существование. Это скрытая отмена диалектики, как борьбы противоположностей внутри системы, приводящая к взрыву и перестройке всей системы в целом. Если бы мир был достаточно широк, чтоб вместить все живое, то с точки зрения дарвиновских принципов не было бы эволюции, не было бы борьбы, не было бы отрицания. Человек, являющийся по отношению к животному новой функциональной системой, в эволюционной теории нашел своих предков, но условия, факторы и процесс очеловечения обезьяны мог быть раскрыт только Энгельсом путем применения диалектического принципа и метода. Диалектичность генетического процесса для растущего ребенка двойная: это непрерывная борьба внутри системы вследствие возникновения и количественного нарастания противоположных функций, а, во-вторых, борьба, как принцип организации воздействующей на ребенка среды, принцип кроющихся в ней противоречий, увеличивающих глубину противоречий в нем самом.

В конкретном генетическом процессе роста и оформления детского организма переход на высшую, качественно новую ступень определяется накоплением приспособительных функций. Накопление, нарастание функций само по себе открывает возможность нового, более приспособляющего соотношения с средой и ведет к необходимости их дальнейшего изменения и перестройки. В системе возникает противоречие, сама система после возникновения функции, особенно ряда

функций, становится иной, осуществившаяся функция делает вновь систему неадэкватной по отношению к той же среде, к тем же жизненным ситуациям, которыми она вызвана. Чтобы раскрыть диалектичность процесса, необходимо установить эти качественно новые образования, эти качественно новые последовательные стадии и найти те условия, те факторы, в ответ на которые растущий организм усложняется, перестраивается, принимает иное направление и иную форму своих уравновешивающих реакций.

Первое соотношение со средой, которое обеспечивает жизнесохранение системы детского организма, это пассивно-потребительное. Восстановление нарушенного равновесия со средой требует в этих условиях от организма элементарных функций, не отличающихся широтой и интенсивностью. Здесь мы имеем ассимилирующие процессы, требующие деятельности пищевой системы и других систем, к ней прилегающих и с ней функционально связанных в жизненном порядке. Потребительные моменты мы мыслим здесь широко, как те процессы в детском организме, пока еще очень ограниченные, которые связаны лишь с притягиванием, освоением, приближением необходимых для организма вне его лежащих веществ или же отталкивания и удаления от разрушающих организм предметов и явлений. По сравнению с утробным периодом это—новые пути поглощения и освоения необходимых для организма веществ—пищи, кислорода, теплоты и других. Ребенку приходится в этих условиях перестраивать многие пути внутриорганической деятельности. Растительное соотношение с организмом матери заменяется соотношением со средой, возможным только для движущихся организмов, но пока при слабой возможности самого движения. Но уже эти процессы постепенно обрастают рядами активных моментов, открывающих возможность более высокого по адэкватности, более быстрого по выполнению, более устойчивого по длительности, приспособления и делающих недостаточными механизмы, на которых они выросли. В процессе потребительного соотношения со средой нарастают новые моменты, которые меняют и отменяют это соотношение,—оставляя его потребительным, они делают его активным. Уже не предметы, необходимые для поддержания существования, становятся в непосредственное отношение к ребенку, а ребенок сам становится в необходимое отношение к ним. Периодичность жизненных потребностей, отдаленность предметов потребления, накопляющийся запас следов прежней деятельности, — все это делает реагирование ребенка на среду опосредствованным через следы прежнего опыта, активно вовлекая в потребительный процесс многие системы организма, с ним непосредственно в данный момент не связанные. Это организует, оформляет по-новому нервные пути и центры ребенка в активно-потребительную систему, делая ребенка в известной мере самостоятельным, независимым от окружающих его взрослых. Окружающая среда своей неразрывной связью между потребительными и производственными процессами, своей насыщенностью активными моментами повышает, ускоряет и регулирует этот процесс перестройки системы на новые пути, процесс дифференцировки ее функций, их координации и организации, их закрепления, их соотношения друг с другом и с внешними условиями. Развиваются механизмы освоения чужого опыта (перенимание, следование указаниям, использование словесно выраженного жизненного опыта и друг.). Развивается замещающая, сигнализирующая система функций (речь и выразительные движения). Завязываются длинные

цепи временных и пространственных связей между действиями (цепные рефлексы). Устанавливается избирательное отношение к раздражителям, максимально обеспечивающим или нарушающим жизнесохранение, и те механизмы, которые необходимы для этого. Органические функции все более координируются с ответной, эффекторной деятельностью.

Темп, уровень и тип этих новообразований находится в полной зависимости от структуры среды, в которой протекает приспособительная деятельность ребенка. Чем богаче она актуальными моментами, чем ближе ребенок сталкивается с фактами деятельности и динамичностью процессов, тем активнее становится его сотношение со средой, тем скорее накопляет он новые функции, подготовляющие возможность и необходимость новых форм связей с окружающей действительностью.

Мы у порога следующей стадии, стадии качественно иной, когда потребительное соотношение растущего детского организма со средой переходит в производственное. Потребление начинает предваряться рядом активностей, направленных не на непосредственно-потребляемые об'екты, а на предметы, требующие реорганизации, чтобы стать потребляемыми. Это требует иного соотношения между актами действующего организма, требует связи их по типу средств и целей. Реакция отрывается от индивидуальных свойств об'екта, приближается к об'ективно значимым сторонам, так называемым общим свойствам вещей, вырабатываются однотипные реакции по отношению к рядам предметов, одинаковых по своей роли на пути к цели. Накопившийся при потреблении запас связей и соотношений с действительностью в этих условиях по-новому перестраивается, нарождаются, углубляются, уточняются новые механизмы и новые дополнительные средства деятельности организма. Вовне — это орудия производства, а внутри—это инструментальные символы однозначного обращения (принципы, понятия), сигналы однозначной регулировки и установки (правила, нормы), связи однозначных соотношений (причинные, функциональные и друг.). Из области неопределенных соотношений, действий, проб и исканий ориентировочного характера (игра, коллекционирование, строительство, экскурсирование и т. д.), активность ребенка переходит в область жизненно-необходимого, регулируется реальными моментами связей вещей, что требует предвидения, экспериментирования, исследования, оценки, проверки. Развивается система функций, предваряющих и организующих последующие действия (сопоставление, противопоставление, абстрагирование, классифицирование, обосновывание, комбинирование и т. д.). Прокладываются и закрепляются кратчайшие максимально-приспособляющие пути деятельности, как непосредственной (техника, научная организация труда), так и предваряющей (наука). Обогащаются и уточняются пути социального контактирования и воздействия (общественные организации, коллективные формы деятельности, изобразительные средства, искусство и т. д.). Дифференциация отдельных действующих в организме систем по функциям, по времени, по обособленности и независимости заходит так далеко, что каждая из них может служить различным целям, включаться в реагирование на различные жизненные ситуации. Ребенок слагается в новую функциональную систему, по-иному осуществляющую свое жизнесохранение в окружающей среде.

Процесс этой функциональной перестройки входящего в социально-производственную среду ребенка, в свою очередь, имеет

две стадии. Их можно в основе охарактеризовать, как систему функций, необходимую для пользования орудиями, и как систему функций, необходимую для делания орудий. Первая стадия осуществляется при отсутствии для ребенка непосредственной необходимости хотя бы в ближайшей перспективе полностью обеспечивать самостоятельно свои основные жизненные потребности. Слишком осязательно еще расстояние между фактическими возможностями ребенка и требованиями производственной деятельности как для него самого, так и для поддерживающих его существование отдельных лиц и общества в целом. В производственную жизнь на этой стадии ребенок входит через выполнение отдельных, доступных ему жизненных заданий, выдвигаемых окружающей средой, и через освоение в ориентировочном и перспективном порядке готовых средств, необходимых для производственной деятельности. Это процесс пользования и использования готовых орудий, как вещественных (орудия труда, орудия обращения, орудия сигнализации), так и сложно-нервных (средства соотношения, связи, символики, изображения), и процесс выработки необходимых для этого использования механизмов и функций. У ребенка закладываются основы его жизненных установок, вырабатывается активное, как положительное, так и отрицательное, отношение к определенным предметам, явлениям и процессам, накопляется личный комплекс рефлексов, слагается тип и направленность поведения, но пока еще не с точки зрения основных непосредственных жизненных задач. Нарастает целевой строй рефлексов, связь между действиями по типу средств и целей, замыкание по принципу максимального приспособления, но пока в границах конкретного личного опыта. Происходит усиление в акте реагирования роли внешне-обусловленных, рецептивных моментов, большая обусловленность сложно-нервных связей, но пока еще по линии зависимости охватываемых конкретных явлений. Образуются избирательные реакции, одиородное реагирование на различные предметы и явления не в силу процесса иррадиирования, а в силу жизненного преодоления разнородных свойств, но пока в форме простых обобщений и классификаций. Растет регулировка актов деятельности, пока лишь через непосредственный жизненный опыт и чисто практические нормы. Над непосредственно действующим организмом ребенка вырастает новая надстройка, новая система функций, новый строй рефлексов, организующий по-новому всю его деятельность, все его соотношение с окружающей средой. В условиях этого нового функционирования заканчивается стройка основных органических процессов, приближающая организм к максимально возможной активности, эта стадия биологически завершается периодом полового созревания. Темп, уровень и тип слагающейся новой функциональной системы здесь также определяется типом и уровнем производственной деятельности среды, характером и структурой производственных процессов, возникающими на их основе социально-классовыми отношениями и потребительно-бытовыми моментами.

Чем быстрее идет эта перестройка, эта организация новой функциональной системы формирующегося ребенка, тем быстрее вскрывается ее недостаточность для жизнедеятельности в окружающей среде, тем скорее приходит она к своему отрицанию, тем настоятельнее выступает необходимость для растущего человека сделать еще один шаг, один скачок вперед. Механизм эмпирических обобщений не мирится с широкими рамками деятельности, требующей преодо-

ления пространственных и временных отношений, с одной стороны, а с другой—учета своеобразных, индивидуальных сочетаний. Механизм конкретных каузальных соотношений, не увязывается с обратными соотношениями процессов в сложной взаимодействующей среде. Чтобы стать в уровень с окружающими условиями жизнедеятельности, жизнесохранения, развивающемуся ребенку необходимо вступить на стадию делания орудий, требующую особой, более высокой структуры функций и более тонких и сложных механизмов, преобразующих всю систему его поведения. Вся наша техника, наша наука, наша культура построены на этом высшем приспособляющем базисе человеческой деятельности, на этом высшем поведенческом пласте человеческих функций. Здесь мы имеем тонкие сигнальные средства деятельности, определяющие отношение к целым рядам явлений и процессов действительности. Здесь мы имеем не эмпирические классификации, а общие понятия и принципы, не простые правила, а широкие нормы, не односторонние причинные закономерности, а сложные соотношения функционального порядка. Здесь мы имеем ряд посредствующих функций, предваряющих действие, имеем широкое развитие работы следовых рефлексов, надстройку логических процессов, образования тонких контролирующих регуляторов. Ребенок на этой стадии ставится лицом к лицу с необходимостью непосредственно овладеть сложной системой и соотношением вещей и людей, процессов и действий в целях непосредственного жизнесохранения. Необходимость эта, вытекающая и из условий самого созревающего организма и из условий социальных взаимоотношений, требует от ребенка как бы вторичного приспособлении, требует новой перестройки, преобразующей его поведение и его деятельность. Подросток как бы теряет почву под ногами, чувствует неуверенность, отдается самокритике, начинает проверять свои жизненные отношения, решать мировые вопросы, вырабатывать идеалы, овладевать наукой, техникой, социальными взаимоотношениями, и становится юношей, вступающим полностью в современную жизнь, в ее конечных для данного момента социально-производственных достижениях. Темп, уровень и тип этого восхождения на высшую ступень поведения в свою очередь определяется социальной, производственной и бытовой системой среды, которая пред'являет растущему человеческому детенышу определенные требования, ставит определенные задания, различные по направленности и структуре.

Мы видим, что растущий, развивающийся и формирующийся человеческий детеныш входит в окружающую социально-производственную среду диалектическим путем, определенными скачками, через определенные качественно новые стадии, каждая из которых подготовляется предыдущей и обусловливается факторами воздействующей на растущий организм среды. Ребенок переходит от потребительного поведения к поведению производственному и в каждом этом этапе—от менее активной стадии к более активной, преобразуя в этом переходе свои механизмы и функции, становясь новой функциональной системой, снимающей и включающей в себя прежние функции. Переходы эти осложняются, ускоряются, перемежаются, задерживаются, варьируют, распыляются на ряд промежуточных моментов в связи со структурой среды, с существующими в ней социально-классовыми противоречиями, с противоположностью жизненных ситуаций, которые создаются для различных классовых групп и принадлежащих к ним отдельных индивидов. Но мало того, на высшей

стадии социально-производственного приспособления человек становится активным участником диалектического процесса всей жизни, особенно социальной. Сдвиги в качественно новую жизненную ситуацию, требующую новой функциональной перестройки, это—неизбежный момент диалектики социального развития, обусловливающей диалектику жизни индивидуальной. Мы сейчас на путях к новому человеку, к новой функциональной системе, необходимой для существования и жизнедеятельности в условиях социалистического и коммунистического строя. Сейчас мы еще не можем охватить полностью всю систему новых функций формирующегося нового человека, но нам ясны основные линии и узловые пункты этой связи, и мы кладем их в основу нашей теоретической и практической работы с детьми.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

СИДНИ ГУК. Философия диалектического материализма.
(**SIDNEY HOOK**: «The philosophy of Dialectical Materialism» in The Journal of philosophy, vol. XXV, № 5 и № 6, 1928).

В двух номерах вышеназванного американского философского двухнедельника появилась эта статья нью-йоркского ученого. К сожалению, об авторе можно сказать лишь немногое. Он был известен вышедшей недавно книгой о метафизике в прагматизме (The Metaphysics of Pragmatism), в которой он пытался, как говорит в предисловии к книге профессор Дж. Дьюи, привести «в равновесие новое течение, известное под именем научного прагматизма или инструментализма, с существенными отделами классической мысли».

Автор, повидимому, довольно основательно ознакомился с литературой диалектического материализма—кроме напечатанной на русском языке. Он цитирует в своей статье новое полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, выходящее во Франкфурте; архив Маркса и Энгельса, издаваемый под редакцией Рязанова на немецком языке; переписку Маркса; собрание сочинений Ленина, Дицгена; Бухарина: Исторический материализм (англ. перевод); Bogdanov: Die Entwicklungsformen der Gesellschaft und der Wissenschaft; Меринг: Биография Маркса; Mondolpho: Le matérialisme historique; Untermann: Die logischen Mängel des engeren Marxismus; Eleutheropulos: Wirtschaft und Philosophie; Karl Vorlaender: Kant und Marx; Randall: Нео-Kantian Social Philosophy in Germany and France; Max Adler: Kant und der Marxismus.

Статья не блещет никакими особыми философскими достоинствами. Может быть, главный интерес ее в том, что она появилась в Америке, и что автор считает диалектический материализм учением, близким его собственной точке зрения. Мы ведь чаще встречаемся с потоками бездоказательных ругательств, чем с попытками сочувственной критики. Поэтому казалось интересным ознакомиться с тем, что пишут о нас за рубежом СССР, за что нас хвалят и в чем именно упрекают, даже если, как это отчасти и в данном случае, фактические упреки довольно легковесны. Если этот экземпляр и не составит гордости коллекционера, все же поместить его в коллекцию диалектического материалиста заставляет, если можно так выразиться, профессиональная ревность.

Прежде, чем перейти к содержанию статьи, приходится оговорить одно терминологическое расхождение. Оно касается термина «метафизика». Автор считает, что марксисты не употребляют его в однозначном смысле, но, в общем, видят в метафизике нечто отрицательное. Он сам ее не определяет, но, повидимому, он под метафизикой понимает то, что переходит за

чистую эмпирику; например, любое обобщение голых фактов для него, как будто, уже метафизика. Во всяком случае для него метафизика нечто необходимое и положительное.

Общая установка автора по отношению к диалектическому материализму следующая: очень высокое мнение о философии Маркса, от которого «исходит вся философия социализма», который «предвосхитил многие новейшие учения», «блестяще изобразил социальную природу человеческого сознания» и т. д.; признание Энгельса, но не без некоторых упреков ему; неодобрительное отношение к книге Ленина с большей симпатией к Богданову; совершенно отрицательное—к Бухарину.

Университетские философы, — говорит автор, — очень мало изучают диалектический материализм, а если пишут о нем, то в презрительном тоне, изображая его как некое ч у д и щ е, порожденное нечестивым браком французского атеистического материализма и витающего спекулятивного идеализма.

Между тем, никакая другая глава из истории идей не может служить лучшим предметным уроком живого с о ю з а ф и л о с о ф и и и ж и з н и, исповедуемых мыслей и преследуемых целей, нежели изучение генезиса и развития диалектического материализма. Можно сказать, что русская ноябрьская революция отчасти создана убеждением Ленина, что марксизм должен быть д е й с т в е н н о в о л е в ы м гуманизмом, а не телеологическим фатализмом социал-демократов.

Автор ставит себе з а д а ч е й: I. Дать беглый очерк корней и развития философии Маркса и Энгельса; II. Критически охарактеризовать книгу Ленина: «Материализм и эмпириокритицизм»; III. Сопоставить все «за» и все «против» течения, известного под именем диалектического материализма.

I. Маркса нельзя понять, если все время не держать в уме его коренного а н т и т е о л о г и з м а и установки его мировоззрения на активную п о л и т и к у.

Ход развития философии Маркса изображается как диалектический процесс. Кратковременное влияние Шеллинга уступает место Г е г е л ю, идеями которого проникнута диссертация Маркса; но и в ней уже видна сильная антирелигиозная струя. В этот же период—близость к левым гегельянцам Штраусу и Бауэру. Затем вторая фаза: под влиянием ф е й е р б а х о в с к о й «Сущности христианства» интерес Маркса склоняется к французским материалистам. В «Святом семействе» Маркс выступает как последователь Фейербаха, но с характерным ударением на политике. Теперь Маркс расходится с Б. Бауэром, доказывая, что он не продолжил Гегеля, а извратил его. Маркс настаивает на том, что критика религии должна быть критикой условий, ее породивших. В «Святом семействе» Маркс формулирует три о с н о в н ы х ф и л о с о ф с к и х п о л о ж е н и я, которые наш автор излагает следующим образом: 1) Маркс отвергает метафизический идеализм Гегеля в пользу метафизического материализма эпохи французского просвещения (это говорится специально об этой фазе; позднее Маркс преодолевает французский материализм); 2) понимает историю, как п р о д у к т ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и, и оценивает силу идеи об'емом проникновения ее в массы; 3) об'ясняет деятельность человека, как результат в з а и м о д е й с т в и я его классовых нужд и желаний, с одной стороны, и породившей их обстановки, с другой. Совершенно н е п р а в и л ь н о,—говорит автор, — п р и п и с ы в а т ь М а р к с у, как это часто делается, жестоко предустано-

вленный *фатализм*. Отдавая должное активности, Маркс тем самым уже в этой книге поднимается *над* Фейербахом, вновь опираясь на феноменологию. В том же стремлении обосновать политическую *активность* Маркс предпринимает обширную *критику послегегелевской философии* вообще, и фейербаховской, в частности: «Die deutsche Theologie». Эту книгу автор называет наиболее важным источником для изучения философии Маркса. Он дает ряд цитат, которые содержат как критику Фейербаха, так и гегелевских категорий.

Затем автор переходит к тезисам Маркса о Фейербахе — «поразительном предвосхищении теории познания инструменталистов», к которым автор, повидимому, примыкает и сам (он рекомендует «научный прагматизм Дьюи»). Маркс здесь борется против двух противоположностей: 1) против сенсуалистического *эмпиризма* Фейербаха и французских *материалистов* и против социального *атомизма*, отражающего пассивистские тенденции буржуазного общества; 2) против абсолютного *идеализма*. Маркс корректирует один другим. Иногда утверждают, что это *возврат* к Гегелю, но у Маркса шаг назад в сторону Гегеля на самом деле значил два шага вперед, так как Маркс *превозмог* индивидуализм французских предшественников Фейербаха через свое представление о *социальном сознании*, а неподвижность их исторических воззрений—*диалектикой*, т.-е. *динамическим*, толкающим вперед, движением в природе и в человеческом мышлении.

Против традиционного материализма Маркс выдвигает требование брать человека в его реальных классовых взаимоотношениях, с его нуждами, вытекающими из его экономической деятельности.

Против идеализма выдвигаются: примат неорганической материи; преходящий характер известных логических и экономических категорий (протест против ипостазирования их в вечные абстракции); естественные *эффекты*, а не свободно созданные цели—характерная для Маркса тенденция жесткого реализма. Конечно, и здесь налицо первоначальная противорелигиозная и политико-революционная установка. В материализме в то время основным образом видели доктрину, отрицающую *создание* мира.

Чем же отличается диалектический материализм от традиционного материализма? Автор, по Энгельсу, насчитывает *три отличительных момента*:

1) Материализм *не тождествен с механизмом*. Все жизненные явления не сводятся к c, g, s (сантиметру, грамму, секунде). Человек не машина; психология мышления и эмоций не только химия мозговой ткани, а химия мозговой ткани не только механика движущихся тел. Основоположники диалектического материализма признавали не монизм веществ, а монизм законов. Законы могут быть законами электродинамики, биологии и т. д. «Материя» не исключает энергий, так же как, когда говорят о материальных условиях данной социальной эпохи, не исключают климат, расу и плодородие почвы. Уровень развития науки никак не может поколебать материалистическую позицию.

2) *«Факты» текучи*. Небеса и земля, люди и общество—сложились *исторически*; их историческое развитие не зависит от человеческого сознания. *Влияние времени* сказывается во всем; обратимость процессов—абстракция. Эволюция не только колебание и не только прямолинейное движение, а сочетание того и другого. Движущей силой прогресса является *диалектическое полярное противоставление*, которое делает бессмысленными жесткие разграничения и закрепленные в пространстве и во времени точки зрения. Все это не имеет цены в виду изменчивости человеческих ситуаций. Фактор времени превращает замкнутые кольца вечно-

повторяющихся гегелевских категорий в бесконечную спираль социального прогресса. Но Энгельс, по мнению автора, слишком просто определяет диалектику, как «только науку об общих законах движения и эволюции природы, человеческого общества и мысли» (в чем излишняя простота—не раз'ясняется).

3) Традиционный материализм признавал только один вид истории—историю человеческого общества, но и той он не мог об'яснить. Все идеальные психологические факторы, которые французские энциклопедисты считали двигателями истории, Маркс признавал не независимыми, а вторичными факторами, не отрицая ни их существования, ни их значения. Но они имеют силу только в рамках общих социальных взаимоотношений, зависящих от производительных сил. Социальная деятельность человека обусловлена развитием экономики. Идеи используются как лозунги в классовой борьбе.

Конечно, всякая идеалистическая — всегда теологичная — философия истории должна быть отброшена. Но идеалистический фатализм Гегеля с его мистической «свободой», действующей через таинственные ритмы, отнюдь не заменяется другим фатализмом—материалистическим, действующим через законы экономики. Маркс энергично клянет фатализм. Человек должен изменять вещи. Диалектика для Маркса не есть что-то такое, что воздействует только на вещи и тем уже неизбежно должно вести к социализму, а нечто такое, чье воздействие на вещи является первоусловием для человеческой деятельности.

Маркс и Энгельс очистили философию действия от эпистемологических и метафизических оболочек.

Можно охватить мысли Маркса в следующей формуле:

Из об'ективных, независимых от сознания условий (теза) соответствующие об'ективным возможностям нужды человека (антитеза) порождают действие (синтеза), направленное на осуществление этих возможностей. Действие превращает противоположные моменты в последовательные фазы развития. Двустороннее взаимодействие, а не однобокое причинное действие материи на историю—вот точка зрения и Маркса и Энгельса, хотя у Энгельса по этому поводу и имеются неудачные выражения.

II. Книга Ленина—это, главным образом, полемика против Маха и Богданова. Критика каких-либо философских воззрений имеет цену только, если они верно изложены. В данном случае как Мах, так и Богданов, отрицали, что их мысли переданы правильно. Тогда критика бьет мимо цели.

Ленин делает опасную вещь, когда не проводит различия между реализмом и материализмом, т.-е. между теорией познания и теорией вещества. Если суть материализма единственно в признании независимой от нашего познания реальности, то Лейбниц и Гегель материалисты. Ленин больше высказывает свои убеждения, чем доказывает их.

В полемике Ленина против Богданова автор становится на сторону последнего, хотя сам кое в чем его упрекает.

(Это наиболее слабая часть статьи—не стоит на ней задерживаться).

III. Баланс диалектического материализма—

Имеет. Самое благоприятное, что можно сказать о диалектическом материализме: это мировоззрение последовательно натуралистическое и в то же время отдающее должное творческой деятельности человека. Таких же взглядов держатся многие философы, не имеющие отношения к политике. Проф. Селларс, напр., определяющий свое учение как «критический эволюционный натурализм», восстает, с одной стороны, против эмпиризма, нейтрализма, панпсихизма; с другой—против традицион-

ного материализма за его эпифеноменализм и неспособность правильно разрешить проблемы политической и общественной жизни.

Диалектический материализм правильно смотрит на ощущения, считая их *новообразованиями*, а не растущим свойством всех нейтральных предметов; он таким образом может считаться с *разнообразием* мира, не прибегая ко все новым актам творения.

Диалектический материализм не сводится к эпифеноменализму, так как подчеркивает творческую *активность мысли*, хотя и считает ее производной. Технические изобретения суть *продукты* мышления и вместе с ним обусловлены уровнем развития производительных сил и общества, в то же время они сами *влияют* на развитие экономики и производительных сил.

Дальше у нашего автора начинаются сомнения. Если на самом деле причинность имеет такой *двусторонний* характер, то какой смысл настаивать на «*производном*» характере мысли? Это автор, правда, сам об'ясняет как проявление *антителогичности*, как страховку против «активного творца». Но тут же мы встречаем у него такую фразу: «Нет первопричин»—заявляет диалектический материалист и тотчас забывает эту мудрую истину, когда говорит об исторической причинности.

Должен. Тяжесть долговой стороны баланса диалектического материализма не в философских ошибках, а в *невыполненных обетах*. Напр., нигде нет специального анализа таких основных категорий, как *причина*, *закон*, *история* и т. д. Нет попытки сразиться с математиками-логистиками на их собственном поле по вопросам *бытия и сущности*. «*Диалектика*»—больше предмет поклонения на устах, чем отчетливое понятие в головах. Нет критического исследования о роде *монизма*, который диалектическим материализмом кладется в основу исторического метода. Наконец, диалектические материалисты довольствуются грубой традиционной *психологией*.

Здесь именно автор подчеркивает, что нельзя приравнивать марксизм многих лиц, считавших себя ортодоксальными марксистами, к истинной философии Маркса. Не даром Маркс сам заявил, что он не марксист. Здесь же в подстрочной сноске тот резко отрицательный отзыв о книге Бухарина «Исторический материализм», о котором было упомянуто в начале.

Следуют упреки по адресу Энгельса. Диалектика, по Энгельсу, не *допускает* жестких границ определений и *окостеневших* классификаций, типичных для круга идей английского эмпиризма. Но Энгельс *не уловил больного места* английского эмпиризма. Иначе он так некритически не говорил бы о психике, как об *отражениях* или образах, картинах вещей, и не попал бы в эпистемологическую ловушку, лабиринт которой ведет в тупики тех самых солипсизма и номинализма, которых он хотел избежать. (Это Энгельс-то идет к солипсизму! Повидимому, здесь уместно вернуть автору тот упрек, который он бросил Ленину, и сказать, что он-то явно неправильно изобразил ту философию, которую он критикует.) Дальше автор говорил, что если по Энгельсу ощущения дают нам *непосредственное познание*, то организующая деятельность психики сводится к совершенно подчиненной роли. Практика и эксперимент, который Энгельс дальше считает мерилом истины, появляются в результате двойной непоследовательности. Если наши ощущения только копии, то мы никак и ничего не можем узнать об оригинале, даже о существовании оригиналов. Если ощущения дают непосредственное познание, то нет смысла в экспериментальном воздействии, которое только может дать другие столь же непосредственные ощущения. (Говорится у Энгельса о роли прак-

тики? Говорится. За что же упрек? За двойную непоследовательность! У кого непоследовательиость н грубо буквальное толкование??)

Ленин, который, как говорит автор, фанатично отстаивает каждое слово Энгельса, тоже говорит об ощущениях, как о «копии, фотографии, зеркальном отражении независимо от них существующей реальности». «Но если,— продолжает наш автор,—познание только «отражает» законы вселенной, то как оно может изменять мир? Зеркало или озеро отражают природу, но не знают и не изменяют ее. Это, конечно, очень далеко от функциональной и инструментальной теории, содержащейся в марксовых тезисах о Фейербахе». «Диалектическому материализму более подобает рассматривать ощущения как естественное явление, а не как случай непосредственного познания. Ощущение—это эффект взаимодействия известных естественных факторов, но тогда оно не может быть простым двойником (дубликатом) его условий». Познание—это активная выработка представлений, а не пассивное впитывание впечатлений.

Хуже всего в диалектическом материализме обстоит дело с понятием «причинности». Отсутствие однозначного пользования этим понятием вредно отражается и в теории исторического материализма. «Пренебрежение различием между необходимыми и достаточными условиями, непонимание того факта, что наука интересуется только последними, вместе с постоянным шатанием от функционального понимания причины к антропоморфическому, лежат в основе марксистского толкования всякой истории». Вот пример. Когда появляются попытки об'яснить социальные явления какими-нибудь географическими, теллурическими или климатическими факторами, то исторический материализм возражает, что эти факторы практически неизменны, в то время, как социальная и историческая жизнь меняются; тем самым такие факторы не могут быть причиной изменений. Верно, но какие же переменные факторы коррелируются с изменениями социального строя и культуры? Исторический материалист указывает на исторически меняющиеся средства экономического производства и считает их основной причиной изменений «надстроек». Тут два возражения: 1) как могут средства производства служить «базисом», раз они сами состоят в прямом взаимодействии с техническими изобретениями, идеями и т. п.? 2) В любой период, в который средства производства не изменились, можно найти диаметрально противоположные идеологии, различные общественные мнения и пр. Та же самая логика говорит, что тождественные средства экономического производства не могут быть причиной разных идеологий. И обратно, встречаются одинаковые культурные явления в экономических условиях, не имеющих между собой ничего общего. Если второе возражение исторический материалист парирует утверждением, что без экономического базиса социальная жизнь была бы невозможной, то он тем самым переходит с достаточных условий на необходимые. Конечно, социальная жизнь невозможна без экономического базиса, но она также невозможна без присутствия кислорода в воздухе. Однако никто не скажет, что кислород является в конечном счете «реальной базой, на которой стоят правовые и политические надстройки и которой соответствуют определенные формы общественного сознания» (Маркс).

Что значит «в конечном счете»? Судебная медицина констатирует: «В конечном счете этот человек погиб от яда». А судья постановляет: «В конечном счете этот человек погиб потому, что его наследники знали содержание его завещания». Другими словами, «конечный счет» зависит от точки зрения. И «конечный счет» совпадает с «начальным счетом». Мы находим «в конечном счете» тот аспект, под которым мы начали анализ.

Это тавтология. Сказать, что «в конечном счете все определяется экономическими силами», это значит только, что данный предмет мы рассматриваем в его экономическом аспекте.

Доказано только, что в некоторые периоды истории изменения в средствах производства вызывали глубокие культурные переоценки. В некоторые, но не во все. Для других периодов можно доказать другие влияния, например, влияние науки на развитие раннего капитализма. А разве за последние 75 лет не имело влияния развитие идей самого диалектического материализма? Разве эти идеи влияли не сильнее, чем изменение средств производства? Со своим методологическим монизмом диалектический материализм не дооценивает многомерности истории. Но это грех против собственного учения.

Не только методологический монизм автор считает неприемлемым, но также и монизм метафизический и логический.

К метафизическому монизму он относит гегелевское положение, что «разность количественная вызывает разницу качественную», каковое положение, по его мнению, применяется некритически, с забвением примата качества, или об'ективной однообразности, без которых количественные операции бессмысленны; на примате качества настаивал сам Гегель. Только соскоблив с вещей их качественные индивидуальности, можно притти к однородности мира. Наличие индивидуальных особенностей есть бесспорный и первоначальный метафизический факт. (Автор неправ в том, что он резко противоставит качество и количество, которые на самом деле переходят одно в другое.)

Автор находит, что напрасно диалектический материализм держится за триады, которые он считает вредными, вследствие их произвольности и внешности. Далее. Диалектический материализм считает «схоластической абстракцией» математическую логистику с ее чистыми взаимоотношениями без материального воплощения. Может быть, оно и верно, но доказательства чересчур недостаточны,—говорит автор.

В заключение автор возвращается к ошибочности философии, которая не проводит различения между видимостью и реальностью, которая уклоняется в атомизм. В этом повинны современные сторонники диалектического материализма, впадающие в противоречие с духом и будущностью его учения. Автор пытается сражаться с ними, становясь на точку зрения диалектического материализма — на самом же деле извлекая из него лишь то, что он считает приемлемым для «инструменталистов».

Упрек, с которым приходится согласиться, это—тот, что многое у нас еще не доработано. Это, конечно, верно. И, в частности, для того и существует Г. И. Э. П., чтобы разработать психологию на основе диалектического материализма — быть может, как говорит проф. Корнилов, усилиями многих поколений.

Как бы автор ни именовал свое философское направление, для нас нет сомнения в том, что он по существу стоит на идеалистической позиции. Совершенно неправ он, когда упрекает Энгельса во внутренних противоречиях или Ленина в расхождении с Марксом. Конечно, он слишком буквально истолковал представление о психике, как «зеркальном отражении».

В. Боровский.

DER KAMPF. Sozialdemokratische Monatsschrift. Вена. Январь — июнь 1928 г.

Рецензируемый нами ежемесячник является теоретическим органом австро-марксизма и тем самым—одним из важнейших органов всего «левого» крыла II Интернационала. Более того, «Der Kampf» старается, в известном смысле, продолжать традицию покойного «Neue Zeit», сыгравшего когда-то столь крупную роль в развитии и внедрении марксизма, не только в немецкой социал-демократии, но и в других партиях довоенного II Интернационала.

1. „Гей, мы живем!“ и „дальнозоркость“ Отто Бауэра.

Большинство статей журнала за первое полугодие посвящено вопросу о коалиции, хотя заголовки статей в нем по большей части отнюдь не «коалиционные», а подчас прямо «художественные», как, например, передовица «Гей, мы живем!» Отто Бауэра (в январском номере).

Эта статья—поздравление к новому году, так сказать новогодний тост. Заголовок принадлежит, правда, не самому Отто Бауэру, а социал-демократическому писателю и поэту—Эрнсту Толлеру (бывшему независимцу и коменданту Мюнхена в эпоху Баварской советской республики). Пьеса Толлера, как известно, далеко не революционна, а является скорее надгробной песнью революции. Но Толлер все же, как никак, бывший член баварского советского правительства, просидевший 7 лет в тюрьме за революционную деятельность, за борьбу против Носке, Вельса, Шейдемана. Вот почему он восстает против своих «товарищей»: революционная романтика не может мириться с грубым контрреволюционным реализмом «министров». В «выкриках» Карла Томаса против своего товарища по партии, «министериабельного» Вильгельма Кильмана—надрыв самого Эрнста Толлера. Однако, надрываясь и хныкая, Толлер все же находит путь к... Носке-Кильману, а не к революции.

«Гей, мы живем!» (Hoppla, wir leben!) Эрнста Толлера—это трагедия социализма в буржуазной революции», так начинает Отто Бауэр свою статью. «Карл Томас,—говорит он,—не переносит мира, в котором он внезапно очутился. А воплощением всего отвратительного является для него Вильгельм Кильман, социал-демократический министр... Карл Томас выхватывает револьвер, чтобы убить Вильгельма Кильмана» (стр. 1). Уже этот способ борьбы Томаса-Толлера против министерского социализма показывает, что мало чему научился автор пьесы «Hoppla, wir leben!», что и его участие в Баварской советской республике было скорее всего—революционной романтикой.

Как же относится Отто Бауэр к Вильгельму Кильману, т.-е. к Отто Брауну, министру-президенту Пруссии, и Карлу Зеверингу, имперскому министру внутренних дел, олицетворением которых является Вильгельм Кильман? Во-первых, нельзя, по мнению О. Б., отождествлять Кильмана с каким угодно социал-демократическим министром. «Ибо в глазах Толлера-Томаса Кильман уже во время революции—трус, в тюрьме—предатель, а сделавшись министром—капиталистической коррупцией побежденный выскочка». Так ставить вопрос, следовательно, нельзя. Это был бы, думает О. Б., единичный случай. Кильман же заслуживает наше внимание «лишь тогда, когда мы его себе представляем, как честного социал-демократа, который, став министром буржуазной республики, старается честно служить рабочему классу», так как, когда он вступает в правительство, «чтобы защищать республику против монархических реакционеров и фашистских контрреволюционеров» (стр. 2). Здесь «ключ» ко всему «таинственному».

Отто Бауэр видит, что Кильман-Зеверинг не может не стать жертвой капиталистической коррупции—«он (социал-демократический министр) не может защищать буржуазную республику, он не может строить капиталистическое хозяйство без согласия на то буржуазии, не находясь в резком противоречии с пролетариями, восстающими против господства буржуазии в государстве и в экономике... Так и создаются всякого рода Вильгельмы Кильманы»—несмотря на то, что «левый» австро-марксист Отто Бауэр все видит, он в принципе за коалицию. «Могут и должны ли социал-демократы вступать в коалиционное правительство?—Они вправе это делать лишь (!!) тогда, когда пролетариат настолько силен, что ни один из социал-демократических министров не будет вынужден превратиться в Вильгельма Кильмана» (стр. 3). Нужно «уметь видеть!»—восклицает Отто Бауэр. «Нужно понять без всяких иллюзий, что революционная фаза прошла, что капитализм стабилизирован, что наша республика превратилась в республику буржуазии» (стр. 4), и... прокламировать на Брюссельском конгрессе II Интернационала злейшим врагом пролетариата—пролетарское государство СССР!

2. „Ужасный день" и „диктатура пролетариата" Макса Адлера

Во втором (февральском) номере Юлиус Брауиталь в статье «Негодные доводы в пользу коалиции» (стр. 49—53) полемизирует с Карлом Реннером, ярым сторонником коалиции вообще, коалиции «an sich». В целях «укрепления республики» Реннер провозглашает теорию необходимости «кооперирования классов», т.-е. коалиции в праздничном одеянии. Именно, события 15 июля 1927 г. заставляют, по утверждению Реннера, поставить вопрос о «кооперировании классов» во всей его остроте: именно, 15 июля не оправдало тактику австрийских социал-демократов, и если партии не удастся усмирить страсти путем блока с буржуазными партиями, то гражданской революций в Австрии не миновать (такова суть речей и статей Реннера после июльского восстания и в конце 1927 года).

Полемизируя с Реннером, Брауиталь не находит других аргументов, кроме того, что... «опасность гражданской войны является уже потому негодным доводом, что такая опасность вряд ли существует». И чтобы показать свою «революционность», продолжает: "Надежда ослабить классовую борьбу путем коалиции, прекратить классовые противоречия гражданским миром—пацифистская иллюзия».

Казалось бы, все честь честью. Но...

Где же корни 15 июля? Что именно являлось причиной этого «несчастья»? «15 июля стало несчастием потому, что в этот день рабочие оставили (демократическую) тактику и действовали на собственный риск и страх; что, в прямом противоречии с методами демократии, практиковавшимися по сей день, они прибегли к методам насилия. Вот почему именно этот ужасный день является не результатом нашей тактики, а как раз наоборот: ее отрицанием, нарушением ее основной идеи».

Какие же нужно сделать выводы из этого «ужасного» дня?

...«Прежде всего тот вывод, что нельзя разрушать почву законности что нельзя бросать демократический путь практиковавшейся до сих пор тактики»; что не надо было в этот «ужасный день»—браться за оружие!

В том же номере Макс Адлер выступает со статьей «Новая установка нашей политики?» (стр. 53—59) против теории Реннера о праве на власть—против теории, сущность которой заключается в том, что пролетариат не должен просить милостыни о допущении

его к управлению государством, так как это де его право. «Мы должны этого требовать как наше право, а отнюдь не как подарок Зейпеля» (стр. 54).

Макс Адлер совершенно прав, утверждая, что «предпосылкой всей этой идеологии права является своеобразное понятие о государстве... как предоставляющем каждому известную долю благ», но что такое понятие о государстве с действительным, историческим государством ничего общего не имеет; что, в действительности, власть преобладает над правом; что именно могущество класса и создает право.

Дальше, Макс Адлер доказывает, что теория Реннера о праве является реакционной даже по сравнению с требованием идеологов третьего сословия во время Великой Французской революции. Ибо идеология права третьего сословия была идеологией борьбы, «представляя собою форму классовой борьбы против короля, дворянства и церкви. Она была прокламацией революции, а не коалиции, как сейчас... Лозунгом Сиэйса было: покончить с блокированием партий» (стр. 57).

Но что является исходным пунктом «антикоалиционности» М. Адлера? Соображение, что буржуазные партии ни в коем случае не согласятся уступить социал-демократам важный министерский портфель, как, например, министерство внутренних дел, просвещения, социального обеспечения и т. д.!..

Следовательно, незачем итти в коалицию? «Думает ли, действительно, кто-нибудь всерьез, что господствующие классы... согласятся добровольно уступить пролетариату эти правительственные посты, или хотя бы некоторые из них, дабы он (пролетариат) уничтожил плоды их работы?» (S. 58). Бедный и жалкий Макс Адлер! Немецкая буржуазия в мае—ноябре 1928 г. не только не согласилась «добровольно уступить» социал-демократии министерство труда, но и ультимативно потребовала от них взять именно этот портфель. Буржуазия, стало быть, ни на минуту не опасалась, как бы Виссель не «уничтожил плоды ее работы».

Сущность австро-марксизма («левого» его крыла) заключается прежде всего в игре революционными фразами: «История учила нас до сих пор,—как это уже указано Марксом в Коммунистическом Манифесте,—что всякий прогресс в области права достигался путем классовой борьбы, а отнюдь не путем классового мира». Последнее означало бы, что какой-нибудь класс может согласиться добровольно сдать хотя бы часть своих позиций (т.-е. опять - таки в смысле «важного» министерского портфеля). Вся теория права Реннера напоминает, по словам М. А., старую басню о том, как на общем собрании мышей они «постановили», чтобы кошка впредь не появлялась украдкой, а непременно носила на шее колокольчик. «Мы имеем право,—говорит оратор мышей,—требовать, чтобы кошка не беспокоила нас». «И вот,—говорит вслед за оратором мышей Макс Адлер,—проповедь, что господствующие классы уступят пролетариату, во имя права, место в управлении государством настолько же реальна и практична, насколько были реальны и практичны ожидания мышей, что кошка сама повесит себе колокольчик на шею».

Отсюда приходит Макс Адлер к диктатуре пролетариата! Раз теория Реннера об участии социал-демократических министров в буржуазном кабинете утопична,—ибо буржуазия не «уступит добровольно» пост министерства социального обеспечения или внутренних дел—пролетариату «ничего другого» не остается, как путем диктатуры, «на основе демократического завоевания государственной власти (подчеркнуто нами.—М. Л.), освободить сперва производительные силы, а потом устранить классовое общество, как таковое». Следовательно, нетрудно видеть, что весь этот «р-р-революционный марксизм» и «диктатура пролетариата»

в его поимаиии рушатся от первого дуиовення ветерка, как только социал-демократ Зеверииг становнтся мииистром внутреииих дел, Виссель — труда, Мюллер — рейхсканцлером, а Рудольф Брейтшейдт и Поль Бoикур — председателями парламеитских комнссий по ниостранным делам! Постановление общего собраиия мышей, правда, ие очень уж реально, зато весьма и весьма реально изиачеиие самой буржуазией социал-демократа в качестве мииистра-президента. Этот-то реалнзм и превращает «р-р-революционность» Макса Адлера в самую что ии иа есть пустую болтовню.

3. Тактика Фабиуса Кунктатора и „левый“ австро-марксизм.

Противь «левых», Юлиуса Брауиталя и Макса Адлера, выступает (в мартовском иомере) Вильгельм Эллеибоген со статьей: «Тактика и принцип коалициоиного вопроса» (стр. 95—101). Одно дело,—говорнт В. Э.,—считать иастоящнй момент ие подходящим для коалнции, другое дело—отвергать коалицню прииципиальио, как это, мол, делает Браунталь, или как это может, по крайией мере, показаться. «Вот почему такие статьи могут производнть иеправильное впечатлеиие, особеиио иа тех, которые не хотят помнить, что возможиость коалицни явствует из партийной программы...». «Точка зреиия товарнщей, защищавших непосредствеиио после 15 июля коалицию, и была в тот момеит правильна» (подчеркиуто В. Э., стр. 95).

С неподражаемым циннзмом Эллеибогеи заявляет, что вопрос о коалицнн—это вопрос о пснхологнн массы: сама по себе коалиция может, в нэвестном случае, быть весьма и весьма целесообразиа, ио предпосылкой для осуществлеиня ее должна являться, с точкн зрения партии, «массово-психологнческая возможность» ее воспрнятня. Что следовало делать после 15 июля, когда австрийская буржуазня (с помощью тех же Брауиталей н Эллеибогеиов) почувствовала впервые свою силу? Следовало бороться? Следовало продолжать всеобщую стачку? Словом: необходима лн была борьба классов, дабы усмнрнть зарвавшегося Зейпеля, или, наоборот, необходимо было избегать схваткн? Ответ Элленбогеиа следующий: после 15 июля австрийская буржуазня была одурмаиеиа победой, вот почему он говорил иа партийиом с'езде о тактике Фабня Кунктатора. «Необходимо сперва уклоияться от борьбы: дать возможность успоконться злобным настроеииям. Необходнмо успоконть, усмирнть и обезжалнть всякие преувеличения классовой борьбы, а потому необходнма коалнцня... Этим самым мы действительио устранни опасность граждаиской войны, являвшейся, в первые месяцы после 15 июля, впрямь серьезиой н угрожающей опасностью...». «Самовольное выступлеиие веискнх рабочнх стало потому и возможным, что тактика до 15 июля, т.-е. уклонеине от коалнцнн, была иеправильной» (стр. 96—97).

Эллеибогеи полемнзирует далее с Адлером по вопросу о зиачении права. «Я же должеи сказать,—говорит Элленбоген,—что нмеиио апелляцией к чувству права мы в продолженне десятилетнй достиглн весьма хороших результатов». Да и сам Макс Адлер пусть ие притворяется: «Из года в год мы, вместе с Максом Адлером, проповедуем эту самую ндеологню права»... срывает Элленбоген безжалостио «революцноииое» покрывало «левого» австро-марксиста М. А. Поэтому иельзя рассматривать «вопрос о коалиции, как вопрос прииципиальиый, или представнть его ревизноиизмом, реформизмом н т. п. вещами», так как это способио лишь «затумаиить мозги и повредить в решающий момент» (стр. 101).

В том же (мартовском) иомере ставит Юлиус Дейтш, правый из правых, вопрос, так сказать, чисто-практически. Как ои отиосится к бур-

жуазному государству и к вооружению буржуазного государства вообще, показывает его статья в берлинском «Форвертсе» от 24 августа. «Строить броненосцы,—говорит Ю. Д.,—надобно и необходимо, но социал-демократия должна требовать за это «народные права», т.-е. «демократизацию армии». Эту самую точку зрения Ю. Д. высказывает и в статье «Реакция и управление» в «Kampf'e». «В демократически управляемых государствах Европы,—заявляет Дейтш,—являлось до сих пор (т.-е. до 15 июля 1927 г.) вполне понятным, что аппарат государственного управления должен, по мере возможности, функционировать, не находясь под влиянием тех или иных господствующих политических партий» (стр. 109). И дальше: «Принцип не политического и от влияния правительственных партий свободного—а этим самым беспартийного— управления оставался в высокой степени в силе, как само собою разумеющееся».

Ясно, что со стороны социал-демократии было бы только глупо оставлять этот «внепартийный» и «внеклассовый» государственный аппарат единственно в руках буржуазии. «Вопрос коалиции не есть вопрос принципиальный, а вопрос тактический» (стр. 112, 113). Другое дело, когда, в какое время можно коалицию осуществить. И Юлиус Дейтш прямо заявляет, что осуществима коалиция лишь при желании буржуазии: «в настоящий момент коалиция вообще невозможна, так как буржуазные партии чувствуют себя достаточно сильными, чтобы управлять без социал-демократов и против них» (стр. 111; подчеркнуто Ю. Д.).

Статья Дейтша отвечает и на статью Отто Лейхтера «Капиталистический государственный аппарат» (стр. 101—109), защищавшую точку зрения Макса Адлера. Автор статьи недоумевает, как могло случиться, что полицейские города Вены, голосовавшие еще 1 марта 1927 г. на 75% за список свободных профсоюзов (4.016 из общего числа голосовавших 5.588) могли, полгода спустя, расстреливать рабочих и в панике бежавших мирных жителей города Вены, «когда это было совершенно излишним для поддержания порядка».

Эта весьма наивная постановка вопроса не мешает все же «левому» австро-марксисту дать на него более или менее правильный ответ. «Союз банков и промышленности наградил в достаточной мере полицию города Вены» (стр. 102). Констатирование этого «печального факта», заставляет автора — хотя и с потугами — умозаключить, что «в конце концов буржуазия должна создать себе аппарат власти, который она смогла бы употребить против пролетариата» (103). Это первый вывод. Второй, что... «социал-демократия должна принимать участие в (буржуазном) правительстве лишь (!) в чрезвычайных случаях» (107). Вообще же, главной задачей социал-демократии является «борьба за душу» (Ringen um die Seele), дабы завоевать большинство народа (т.-е. 51% в парламенте). Что такого рода «завоевание» исключает революцию, само собою разумеется.

4. Покуриваю сигару и предоставляю жандарму и солдату вести за меня классовую борьбу.

В апрельском номере берет слово «сам» Карл Реннер, в статье, озаглавленной «Опыт практической классовой борьбы» (стр. 142—153). Основой всего является для Реннера опыт. Опыт—это политическое искусство. «Не теория, а физически, на собственном теле осязаемый опыт»—сущность государства. Из этого опыта вытекает также, какую политику должна вести данная страна. Главным образом, не должно быть схемы. «Нет такого тактического рецепта, которым можно было бы лечить одинаково две страны».

«Рецепт, которым будто бы вылечили Россию, является поэтому для нас ядом». Этот «русский» рецепт называется классовая борьба. Карл Реннер это прекрасно знает, вот почему он и говорит так же цинично-откровенно, как и его сторонники, что «всеобщая схема классовой борьбы дает уж слишком поверхностную ориентировку... и скорее всего приводит к заблуждениям» (142; подчеркнуто нами.—М. Л.).

Проблема классовой борьбы и является для К. Р. стержнем всего. Обойти ее нельзя; это будет не «по-марксистски», а Карл Реннер — марксист». Стало быть, необходим новый анализ классов (конечно, «марксистским» методом). Этот анализ Реннер производит и приходит к следующим результатам.

Противопоставить, согласно Реннеру, «класс рабочих» (иронизируя, Реннер ставит arbeitende Klassen в кавычках) классу «предпринимателей» (тоже в кавычках) — сущая нелепость. Ибо вообще нельзя проводить грани между классами: классификация оставляет всюду пограничные слои (Grenzschichten), классовые интересы которых колеблются» (стр. 148). Но не только потому, что пограничные классовые слои не вкладываются в определенные рамки, нельзя противопоставлять класс эксплоатируемых классу эксплоататоров, но и еще потому, что внутри самого класса эксплоататоров существуют огромные противоречия: «Экономические интересы банковского капитала, промышленности и торговли заключают столько противоречий внутри самих себя, что обычно не существует всеобщего единого интереса, который проявляется лишь в момент всеобщего кризиса капитализма, следовательно, лишь в момент актуальной социальной революции» (там же). Но если это так, если теория противопоставления класса пролетариата классу буржуазии устарела, как это К. Р. открыто говорит в другом месте статьи (стр. 149), то вполне понятно, что «русским» рецептом нельзя лечить ни Австрию, ни Германию.

«Эта мозаика классов, классовых групп и классовых группировок... показывает воочию, что классовая борьба не настолько уже проста, как некоторые мудрецы ее себе представляют» (149). Поэтому и неправильна, говорит К. Р., теория, провозглашающая государственный аппарат средством борьбы буржуазии против пролетариата. И здесь «пустая схоластика на место живой действительности и всеизменяющегося опыта» (стр. 147)... А несколькими строками выше К. Р. пишет, что «аппарат в нормальных условиях служит интересам всех, находящихся под защитой», тем более, что «в большинстве случаев, по крайней мере в Германии и Австрии (Auf deutscher Erde — чего только одно это выраженьице стоит!) аппарат состоит из неимущих».

Следовательно, Макс Адлер недооценивает значение права. Правовая власть находится в неразрывной связи с властью политической. «Преимуществом правовой власти, а этим самым власти политической, является как раз то, что она бесконечно удлиняет свою же собственную руку». Втом-то и суть дела, по Реннеру, что государство устанавливает собственный аппарат для осуществления права... «И если я в состоянии доверить мои классовые интересы этой (государственным аппаратом) вооруженной руке, то я могу обойтись и без того, чтобы самому вести классовую борьбу, я предоставляю это делать властям и суду посредством жандармов и солдат» (стр. 146; подчеркнуто нами.—М. Л.). Вряд ли удалось кому-нибудь сформулировать суть реформизма так классически глупо и напыщенно в нескольких словах!

Да и нелепо, утверждает К. Р., выставлять теорию, будто бы пролетариат отвергает «буржуазное» государство (кавычки Реннера) в то время, когда рабочие борются за каждую форму и за каждую функцию этого государства всеми фибрами своей души» (144). Если бы даже Маркс когда-нибудь и высказывался против буржуазного государства, то разве можно сравнить республику нынешнего времени с буржуазным государством 60—80 лет тому назад? Именно потому, что так называемое «буржуазное» государство (опять в кавычках) диалектически «трансформировалось», нельзя быть «зилотами» и «буквоедами». А главное,—нужно покончить раз навсегда с фразой (Schlaswort) о «диктатуре» пролетариата:

«Если кто-нибудь начинает со мною говорить о диктатуре пролетариата в Австрии, то я не спрашиваю себя... как это согласуется с теоретической системой? Что говорил об этом Маркс 60 или 80 лет тому назад? А спрашиваю себя: как в течение двух недель я обеспечу рабочих хлебом? Кто будет после этого фактически иметь в руках средства продовольствия» (150).

Выводы Реннера ясны: опыт практической классовой борьбы (тоже бы в кавычках!) доказывает, что «в эпоху демократии, на место бессознательной кооперации прежних времен выступает все яснее и яснее сознательная коалиция». (стр. 151; подчеркнуто нами.—М. Л.). Все же, с одним положением Реннера можно всецело согласиться, а именно, что социал-демократия уже по той простой причине не может вести классовую борьбу, что она «перестала быть исключительно партией пролетариата».

5. Автопортрет Макса Адлера.

Волей-неволей (кажись, больше неволей) Максу Адлеру пришлось ответить на статью Реннера. Жалкий, трусливый ответ. Получается впечатление, что М. А. испугался, — испуг как бы его и впрямь не сочли за революционера-марксиста, как бы впрямь простачки не подумали, что он, на самом деле, является «ортодоксом», «буквоедом» и «зилотом» марксизма. «Он (Реннер) характеризует меня, как типичного представителя догматически-схоластического перерождения, для которого писания наших учителей-предков (die Schriften unserer Altvorderen, где он выкопал такое словцо?) то же самое, что для духовного зилота церковные отцы или талмуд. Ясно, таким образом, что он или не читал ни одной из моих работ, или же основательно забыл их содержание. Ибо, в противном случае, он, столь любящий факты, не мог не заметить тот факт, что я уже в предисловии к первому тому своих «Марксистских этюдов» (1904 г.) отнесся с совершеннейшим безразличием к тому, что «говорили» Маркс и Энгельс» (стр. 198, в статье «Практическая или непрактическая классовая борьба» в майском номере; подчеркнуто нами.—М. Л.).

И дальше (пусть уж читатель извинит: как-никак на такую статью часто не наткнешься, даже у «австро-марксиста»):

«Он (опять Реннер) должен был, кроме того, знать, что как раз это (т.-е. его совершеннейшее безразличие к тому, что «говорили» Маркс и Энгельс) и являлось поводом постоянных выпадов против меня как со стороны коммунистических, так и со стороны буржуазных противников—даже со стороны некоторых марксистских друзей — утверждавших, что мои работы являются скорее «адлеризмом», нежели «марксизмом» (там же).

Чувствуется, что Максу Адлеру трудно удержаться от слез. И, вынув чистый беленький платочек и вытерев глазенки, заикаясь, он далее, сквозь слезы, заявляет:

«Уже то огромное значение, которое я систематически придавал кантианской точке зрения в моем

построении марксизма, должио было помешать Реннеру так извратить мою работу, как ои это сделал, если бы ои ее зиал н поинмал» (там же; подчеркиуто нами—М. Л.).

Коиечио, Реииер прав, пишет далее М. Адлер, что правовая власть удлнияет руку и что этим самым власть правовая зачастую сильнее власти экоиомической (стр. 203), однако (и в этом «одиако» таится вся «революциоиность» и весь «марксизм») ие следует забывать, что базой всего является нменно власть экономическая. Реинер прав, утверждая, что стоит только, чтобы моя лошадь удрала нли чтобы ее укралн, как весь государственный аппарат, вся полиция н жандармерия иаходнтся в моем распоряжении, но в том-то и суть, что лошадь-то ие каждый имеет. Поэтому Макс Адлер готов «допустить», что между правовой *формой* н правовой *властью* лежит путь внеправового развнтня «возможно даже (!) развития насильственного» (стр. 203). Ибо вообще пролетарская власть с буржуазной властью иичего общего не имеет. Не нсключеио и то, что пролетариат овладеет государствеииым аппаратом н без правовых форм. Суть не в формальном, а в фактическом овладении аппаратом. Память Макса Адлера здесь настолько коротка, что он в мае забыл то, что говорнл в феврале. Там отвергалась коалнция потому, что буржуазня не согласится сдать добровольно важнейшне позицнн, как миинстерство виутреиинх дел, социального обеспечення н т. д. В этой статье, иаписаниой уже видимо *после* выборов, когда н для слепого ясио было, как охотио немецкая буржуазия «уступит» «важнейшие посты» соцнал-демократам, — в этой статье Макс Адлер ставит вопрос иначе: ие в *формальном* овладенни аппаратом суть дела. «Не в том дело, чтобы овладеть позициями власти, а в том, каковы *настроення н желаиня пролетариата, который это делает»* (стр. 205).

И опять *испуг!* Опять боязнь, как бы Реннер ие забыл предисловия к «Марксистским этюдам»; как бы Реннер на самом деле не принял бы всего этого всерьез: «Марксистское поннмаиие историн,—говорит наш «марксистскнй нсторик», — видит тот факт, что с прогрессом полнтической демократии, государственное мышление н поинманне (Staatlieches Denken und Werten, в смысле оцеики) заннмают все большее н большее место в сознании пролетариата, *и что его классовая борьба ориеитируется все более и более государствеиной, нежелн пролетарской* необходимость» (стр. 201; подчеркнуто иамн.—М. Л.).

Кто «левый», кто «правый»: Карл Реннер или Макс Адлер — судить не иам.

В краткой, ио зато «содержательной» статье—во всяком случае с небольшим количеством выкрутасов — выступает в том же майском номере против Карла Реииера — Оскар *Полляк.* Он остаиавливается в своей статье, озаглавленной: «Опыт междуиародной классовой борьбы» (стр. 207—212), главным образом, на тезисе Реинера, что вообше нельзя проводить граии между классамн; что протнвопоставлять класс пролетарната классу буржуазии иелепо; что виутри самого класса эксплоататоров нет единого ннтереса и т. д., н т. п. *Полляк* бьет Реннера его же (реииеровской) коалицней. Реииер в своей статье показывал, как огромны достижения тех стран, где существуют коалицноииые правительства. Он выезжал не только на Пруссии, ио и иа Германии вообще. Полемизнруя с Рениером, Полляк спрашивает: почему же коалиция в Германии дошла *только* до 1923 года, почему оиа стала дальше невозможиой? Не является ли это доказательством наступления буржуазии, *коицеитрацней* ее сил? Разве правительство буржуазиого блока ие опровергает теорию Реииера о том, что нельзя говорнть о солидарности интересов между различными фракциями буржуазии, а тем самым и внутри всего класса эксплоататоров? Полляк указывает, как

и в других странах, например, в Чехо-Словакии, Франции и т. д. замечается тот же процесс концентрации сил у буржуазии, что и в Германии. В Англии консервативная партия становится чем дальше, тем больше единой партией всей буржуазии, либиральная партия отмирает. «В тех странах,—говорит О. П., — где пролетариат приобрел некоторую власть, буржуазия соединяет и об'единяет с исторической необходимостью, все свои силы в целях защиты своих интересов, отстраняя все существующие разногласия» (стр. 208). Утопистами являются, следовательно, именно те, которые не видят или не дооценивают солидарность капиталистических интересов. Солидарность капиталистических интересов и есть реальный факт, а не утопия. Точно так же нельзя не видеть, что право и власть находятся в теснейшей связи между собой.

Что же конкретно делать? Поляк не говорит. На то он ведь и австромарксист и... «левый». «Ах,—восклицает он, — существуют не только коалиции, существуют также и коммунисты! И опыт международной классовой борьбы показывает, что одно неразрывно связано с другим (стр. 208).

«Так вот, где таится погибель моя!». Можно бы и коалицию, почему бы и нет! Да тенью-то ее является к о м м у н и з м! Вот почему коалиция «не рекомендуется». А смысл всей этой «философии» довольно простой: как только устроишь коалицию, как только проголосуешь за броненосец--коммунисты (чорт бы их побрал!) разоблачат нас, «пожалуй», перед рабочей массой.

6. Социализмы и марксизмы Карла Реннера. Марксизм без Маркса.

Совершенно обособленное место занимает вторая статья Р е н н е р а: «Я в л я е т с я л и м а р к с и з м и д е о л о г и е й и л и н а у к о й!» в июньском номере. Статья эта заслуживает безусловно внимания всякого мало-мальски интересующегося социал-демократией и ее развитием. Реннер говорит открыто и «безжалостно, в чем суть». И, действительно, мы должны быть благодарными Реннеру за его откровенность.

Исходным пунктом для него и в этой статье является: о п ы т, э м п и р и з м. Но об этом потом. Сначала—прелюдия, сыгранная на мотив Маркса, дабы убаюкать читателя, завести его в реннеровские (уж совсем не марксистские) дебри.

Реннер заявляет,—это необходимо для «легитимации»,—что фундаментом всего является экономика, а идеологической надстройкой экономического положения рабочего класса—социалистическое мировоззрение; что обобществление процесса труда обусловливает необходимость обобществления вообще и т. д. Но если так, то и идеология рабочего класса обусловлена и ограничена его материальным положением. Вот почему в различных странах с различной экономической структурой мы имеем и должны иметь разные идеологические надстройки.

Какие же нужно делать из этого выводы? Во-первых, необходимо выявить о с н о в у всей системы и, главное, то, что является «с п е ц и ф и ч е с к и м д л я д а н н о г о м о м е н т а»; во-вторых, учесть «п р е д п с и х о л о г и ю» массы (die Vorpsychologie der Massen). Эта психологическая традиция массы является, в сущности, всем. От психологических н а в ы к о в и психологической традиции и зависит дальнейшее идеологическое развитие пролетариата. Католицизм, протестантство, православие и т. д.—все это сказывается в формировании идеологии рабочего класса. Следовательно, «д о л ж н о с у щ е с т в о в а т ь с т о л ь к о с о ц и а л и з м о в, с к о л ь к о и м е е т с я н а з е м л е г о с у д а р с т в и с т р а н» (стр. 247; подчеркнуто Реннером).

«Из знаиия этого,—продолжает Реииер,—можно, иа мой взгляд, черпать цеииое успокоеиие» (там же).

«Успокоеиие это состоит в том, что *раз в самой системе Маркса кроется иеобходимость призиаиия иескольких социализмов, то из самого марксизма и вытекает,* что *должны также существовать «различиые марксизмы»!* Так Реииер и озаглавливает третий раздел в его статье. «Успокаивает Реннер еше и потому, что, иа осиове этого «зиаиия», для иего стаиовится ясным, почему... «*особеииый психологический иавык* (vorpsychologie) *и огромиый, ио специфический опыт русских обусловил у иих другой «марксизм»* (стр. 248; подчеркиуто нами.—М. Л).

Вывод, стало быть, весьма существеииый и весьма цениый.

Одиако мы узиаем дальше, что ие только существуют «разные марксизмы», ио и существует «*марксизм без Маркса*». Да, может быть, говорит К. Р., факт, что в Англии существует с 1900 г. Рабочая партия «большиииство которой ие только Маркса ие зиает, ио которая зачастую Маркса *прямо отвергает*» (стр. 249). «*Рабочая партия является осуществлеиием марксизма без марксова учеиия, есть марксизм без Маркса*» (там же; подчеркиуто нами.—М. Л.). И, несмотря на это, имеиио аиглийская Рабочая партия является руководительиицей международного пролетариата, даже более того, оиа «ие высказалась еще прямо за социализм, хотя ее практика в иаших глазах и есть «социализм» (стр. 250). Все это стало возможным лишь потому, что Рабочая партия ие обременяла себя «теоретическим» багажом и разными «идеологиями», а выковывала изо дня в деиь, иа осиоваиии *опыта*, свою программу.

Отсюда Карл Реинер делает второй вывод, тоже весьма «существенный» и весьма «цеииый»:

«*Ссылка иа марксовый догмат,* — говорит Реннер,— *в смысле пролетарской «идеологии»* (в кавычках).. *не только заблуждает, раскалывает, ио и ничего ие доказывает, даже для классической страиы социалистического развития*» (т.-е. Германии; подчеркиуто иами).

И дальше:

«...Если наибольшая Рабочая партия мира еще почти иичего о Марксе ие знает и даже знать ие желает, то марксистский догматизм доводит в коиечиом счете до абсурда. *Ничто ие способио так дискредитировать марксизм, как «марксистская идеология»* (стр. 250; подчеркнуто иами.—М. Л.).

Пролетарской идеологии, таким образом, вообще быть не может! Это и есть смысл реннерского постулата, это и есть *завершение* всей его системы, *отвергающей солидариость класса и классового интереса. Основой* «философии» Реииера является, следовательио, положение, что противопоставлять класс классу (класс пролетариата классу буржуазии) — сущая иелепость, ибо аитагоиизм налицо не только виутри класса буржуазии, ио и, *главным образом,* внутри класса пролетариата—антагоиизм, как результат различиых *психологических иавыков.* Эти психологические иавыки *раз'единяют* пролетариат. Вывод реннеровской «философской» системы, стало быть, таков: *призыв «Пролетарии всех страи, соединяйтесь!», этот призыв Коммуиистического Маиифеста и программа революциоииого марксизма — чушь, ибо противоречит всем психологическим иавыкам пролетариата, которые в различиых странах различны.* Вот почему глупо говорить о «марксистской идеологии», о «марксизме», как таковом. Всего

этого не существует в природе. «Вырастил немецкую социал-демократию,— провозглашает Реннер,—...не марксизм, как «идеология», как мировоззрение миллионов», а «чисто эмпирическая каждодневная борьба... вне и внутри рейхстага и, кроме того, «весьма и весьма реальные постановления партийных с'ездов» (стр. 252; подчеркнуто всюду Реннером). Но эта «каждодневная борьба» и является эмпирической. То обстоятельство, что «русские», на основании «особенного психологического навыка, сколотили из другого дерева другой «марксизм»—отнюдь не может быть примером для других стран, с другими психологическими навыками и другим «опытом». В чем же значение марксизма? Значение марксизма заключается в том, что он является наукой, а не идеологией. Марксизм без опыта не есть марксизм. Сам Маркс учился на опыте истории. «Если понять марксизм именно как эмпирическую науку, а не как идеологию, то сейчас же становится понятным, что он не может быть законченной наукой, применяемой к тем вещам, которые не были Марксом пережиты и им наблюдаемы». Следовательно, «теоретические положения (Маркса) никогда не должны быть каноном для наших действий» (стр. 253; подчеркнуто Реннером).

Здесь и можно поставить точку. В этой статье Реннер, действительно, высказал «безжалостно» все, как это он сам говорит Пожалуй, высказал так, как еще никто до него,—включая Бернштейна,— не говорил.

Татарский и европейский социализм Каутского. „Русский большевизм—последняя преграда для расцвета демократического социализма во всем мире“.

Центром всех статей «Кампфа» за первое полугодие является, однако, не упомянутая статья Реннера, а некролог Каутского Аксельроду в майском номере. В этом некрологе Каутский доказал, на что он еще способен и чего можно еще от него ожидать, несмотря на его старость.

Характеризуя Аксельрода, Каутский говорит, что, несмотря на то, что Аксельрод, как никто, различал социал-демократическую рабочую партию от социалистов-революционеров, он все же никогда не потрясал основы партии, преследуя инакомыслящих. Но не все русские социал-демократы могут этим похвалиться. Дух сектантства охватил и некоторых социал-демократов, «находил же этот дух нетерпеливого диктаторского сектантства бесцеремонное (rücksichtslose) выражение во Владимире Ульянове, по прозвищу (!!!) Ленине» (стр. 190).

Вообще, трудно себе представить, по словам Каутского, более глубокие противоречия, чем те, какие существовали между воззрениями Аксельрода и Ленина, несмотря на их одинаковую социалистическую цель. С этим, конечно, можно без всяких согласиться. Но глубокие противоречия между Аксельродом и Лениным, по Каутскому, оказывается были отнюдь не принципиального характера. Каутский говорит: «Для Аксельрода была его собственная личность ничем, а класс пролетариата—всем. Для Ленина же было всем его собственная личность. В его личной власти олицетворялась для него власть пролетариата, власть революции. Всемогущество его собственной персоны казалось ему равнозначущим с победой пролетариата и революции... Завоевание личной власти и было единственной идеей» Ленина (там же).

Для осуществления этой цели все средства были для него хороши. Важнейшей задачей Аксельрода было развить классовое самосознание рабочего класса, чтобы сказать ему всю правду,—он, Аксельрод, был «фанатиком правды»—без всякой демагогии, именно в этом и заключается пропасть между Аксельродом и Лениным. «И если Ленин, вопреки всем разговорам, был в высокой степени оппортунист, то Аксельрод остался с 1883 г. убежден-

ным последовательным марксистом». Если, все же, между Лениным и Аксельродом и есть какое-нибудь сходство, то это в их простоте и в готовности жертвовать собою. «Правда, Ленин служил собственной личности, как языческому богу и требовал для нее всевластие. Но он не требовал этой власти для личного обогащения или личного наслаждения. Его интересы, его сила оставались всегда концентрированными на пролетариате» (стр. 191). Однако это—общая черта «большинства социалистов». Важно то, что даже «в то время, когда он еще боролся в государстве за демократию, он уже требовал диктатуру в его собственной партии» (там же). Особенно стало это невыносимым после лондонского с'езда в 1893 г. [1]), на котором Ленин получил большинство.

«Охарактеризовав» Ленина, Каутский переходит к большевизму вообще, и к тому, что нужно сделать в России. Во-первых, мы узнаем, что раскол русской социал-демократии был первым достижением большевизма. Важное дополнение ко всем учебникам по истории партии большевиков! Вторым дополнением (уже «мирового масштаба») является следующее: «Этот раскол был произведен еще за четверть века (!) до того, как был создан Коммунистический Интернационал, единственной целью которого и является — раскалывать социалистически мыслящий пролетариат всех стран». Если исправить хронологию, поставив вместо «четверть века» — «16 лет», то можно будет без всяких включить и это «дополнение» («мирового масштаба»).

Вслед за тем печатается «опросный лист», показывающий наглядно кто перешел к большевикам, а кто—к фракции меньшевиков: «На сторону большевиков перешли те социал-демократы, которые были готовы подчиниться, безусловно диктатуре Ленина». А к фракции меньшевиков? «Все самостоятельно мыслящие социал-демократы». Дополнение третье и тоже немаловажное, дающее, по меньшей мере, «ключ к биографии» старой большевистской гвардии.

Но это все лишь «исторические справки», так сказать. Каутский же — теоретик, посему и дается — в нескольких строках — и теоретическое обоснование меньшевизма и большевизма.

Оно гласит:

«Не меньшей заслугой Аксельрода является то, что меньшевистская социал-демократия представляет собою наивысший тип русекого социализма... Она (меньшевистская социал-демократия) приспособлена к условиям высоко развитого пролетариата, а мышление большевистское — к условиям наиболее отсталых рабочих» (стр. 191). Военная встряска привела к тому, что «невероятная масса совершенно отсталых, темных и несамостоятельных элементов» зашевелилась. «Эти чисто русские элементы» (!!), не имеющие ни малейшего понятия о знаниях и опыте Запада, влачившие жизнь до сих пор в условиях азиатского отсутствия мысли (in asiatischen Gedankenlosigkeit dahinvegetierten)—эти элементы не могли создать почву для меньшевистской социал-демократии. Но зато они оказались плодотворной почвой для идеи о всемогущем Мессии, пришедшем, наконец, их избавить. Так и победил временно в России татарский социализм над европейским» (стр. 192; подчеркнуто Каутским).

Но не следует, однако, отчаиваться. По словам Каутского, Аксельрод все это предвидел, он уже видел в роспуске Учредительного Собрания «первый шаг контрреволюции, победу татарского варварства и татарской деспотии над культурой и демократией Европы». Если Аксельрод когда-либо унывал, то разве лишь тогда, когда он видел, что

---

[1]) Дата—не опечатка: Каутский два раза говорит: «1893 г.».

«многие социал-демократы Европы не видят контрреволюционого характера большевизма».

Что же нужно делать для победы социализма? Нужно, во-первых, уничтожить «татарское варварство» и «татарскую деспотию». И Каутский призывает прямо к крестовому походу против Советского Союза: «русский большевизм,—говорит он,—является последней преградой для расцвета демократического социализма во всем мире. Его уничтожение... усилением социалистического влияния» (192). Стало быть, прямой призыв предпринять поход против России не только к «демократическим» странам, не только к Чемберлену и Пуанкаре, но и к Муссолини и Пилсудскому, ибо «единственной преградой для победы демократического социализма» является даже не фашизм, а русский большевизм!

«Русской социал-демократии,—заканчивает он,—предстоит блестящее развитие... если оно даже и пойдет рука об руку с расцветом промышленного капитала в России».

«Способности» Каутского впрямь неисчерпаемы!

Более гнусной статьи не написал бы даже Иуда.

Цитированные статьи за первое полугодие «Кампфа» заполняют почти весь журнал.

Следует, однако, упомянуть еще некоторые, более или менее важные статьи, дабы исчерпать все содержание журнала: в статье «Передышка» (в январском номере) Эрнст Фишер указывает на грозящую опасность, которая таится в разочаровании в действительности (т.-е. капиталистической стабилизации). Такое разочарование пролетариата может привести к «романтике», с одной стороны, и к «резиньяции»—с другой. О жизни австрийской рабочей молодежи, главным образом, подмастерьев, приводит Генрих Зосснер, на основании опросного листа, весьма любопытные данные. Оказывается, в «социалистической» Вене, где австро-марксисты имеют большинство, ученики и подмастерья не знают вообще, что такое 8-часовой рабочий день, так как большинство работает до 12 часов в день. Что касается заработной платы, она настолько мизерна, что ученики и подмастерья могут влачить свое существование лишь с помощью родных. Чрезвычайно характерно, что предметом умственного развлечения рабочей молодежи является... «Броненосец Потемкин» и другие русские фильмы и т. д. С досадой Зосснер констатирует, что «русский фильм играет куда большую роль, нежели современная изящная литература» (т.-е. литература буржуазных писателей).

М. Лурье.

Проф. Н. Д. СИЛИН. Кредитная политика эмиссионного банка и устойчивая валюта. Изд. 2-е, исправленное и переработанное. Фин. изд. НКФ СССР. М. 1928 г.

Первое издание этого труда вышло в качестве диссертации автора в 1913 г. под названием «Австро-Венгерский банк. Исследование по вопросу об отношениях между центральным эмиссионным банком и государством». Однако нужно заметить, что ни старое, ни новое название не вполне точно отражают действительное содержание труда проф. Силина. Старое название слишком узкое, новое—слишком широкое. С одной стороны, автор не рассматривает исключительно «отношения между центральным эмиссионным банком и государством» в Австро-Венгрии, ибо детально анализирует практику австро-венгерского денежного обращения и кредитную поли-

тику Австро-Венгерского банка; с другой стороны, автор не дает и общего учения о кредитной политике в связи с устойчивой валютой, но лишь исследует, в каких формах проявлялась эта кредитная политика в Австро-Венгрии, как она сочеталась с практикой денежного обращения и в какой мере оказалось эффективным централизованное (в отличие от «автоматически»-стихийного) регулирование валюты.

Но почему именно Австро-Венгерский банк, а не германский, французский и т. д.? Конечно, автор не случайно остановил свое внимание и посвятил свою капитальную работу именно Австро-Венгерскому банку и австро-венгерской практике денежного обращения. Дело в том, что этому банку и этой практике суждено было сыграть чрезвычайно важную роль в истории денежного обращения, с одной стороны, и в развитии денежных теорий и валютной политики—с другой.

Один из «корифеев» австрийской школы Карл Менгер еще в 1892 г. в своей статье «Die Valutaregulierung in Osterreich-Ungarn» указал на то, что опыт австро-венгерского денежного обращения «позволит учесть новые формы, которые до сего времени были не знакомы ни теории, ни законодательству» [1]).

Однако сам Менгер, если несколько и поколебал своими рассуждениями старую фетишистическую «металлистическую» теорию, то не сделал еще «переворота в науке». Эту роль новатора взял на себя знаменитый «отец» новейшего номинализма (или точнее «харталнзма») Кнапп своим фундаментальным трудом «Staatliche Theorie des Geldes». Однако теория Кнаппа, точно так же, как и номиналистические построения некоторых его ближайших предшественников, как Сильвио Гезеля и Отто Гейне, являются по существу ничем иным, как односторонней трактовкой австро-венгерского опыта денежного обращения, и отчасти аналогичных опытов других стран, как Индии и России. Этот сугубый эмпиризм отнюдь не отрицается и самим Кнаппом, который подчеркивал, что «государственная теория денег, взятая в момент своего возникновения, есть теоретическое выражение того, что было пережито в Австрии. Дать об'яснение этому опыту—такова цель государственной теории денег» [2]).

В общем, австро-венгерский опыт имел троякое значение. Во-первых, он дал эмпирическое подтверждение ложности старой фетишистически-металлистической теории; во-вторых, перевернул старые представления о принципах валютной политики и методах достижения устойчивости внутренней «покупательной силы» и внешнего курса валюты; теоретическим отражением этих новых принципов валютной политики и явился якобы абстрактно постулируемый номинализм Кнаппа, Бендиксена, Эльстера и др.

Наконец, в-третьих, этот опыт пролил новый свет и на марксову теорию денег в том смысле, что показал реальное практическое значение марксова анализа функций средств обращения и платежного средства и полностью подтвердил марксову теорию денег. Маркс в своей чисто абстрактной теории денег еще задолго до австрийского опыта доказал возможность в известных границах эмансипации «представителей денег»—средств обращения от металла и выяснил условия, при которых эта так наз. «свободная валюта» может быть устойчивой.

Если ко всему этому добавить еще, что австрийский опыт и выдвинутые им новые принципы организации денежных систем и методов валютного регулирования имеют непосредственное отношение к проблемам денежной политики СССР и, что наша денежная система в некоторых

[1]) Conrad. Jahrb. 1892, III f, IV B., S. 39.
[2]) «Staatliche Theorie des Geldes», IV. Aufl., S. 405.

своих существенных чертах сходна с австрийской системой, то будет ясна значимость и своевременность появления труда проф. Силина.

В соответствии с вышесказанным, центральное значение, с нашей точки зрения, имеют IV глава («Валютная реформа и задачи банка»), в особенности V глава («Девизная политика») и отчасти III глава («Вопросы банковской формы и организации»).

В большей мере специально-историческое и в меньшей—теоретическое и валютно-политическое значение имеют I глава («Центральный банк домартовской Австрии») и II глава («Борьба с денежным расстройством и реформа банка»). Что же касается последней VI главы («Последние годы Австро-Венгерского банка»), то она отсутствовала в первом издании, ибо охватывает практику денежного обращения и кредитной политики Австро-Венгрии с 1913 по 1923 год. Включение этой главы, конечно, для полноты картины было необходимо, но она не представляет общего интереса, ибо в течение этого периода Австро-Венгрия разделила общую судьбу военного и послевоенного инфляционизма и не дала ничего достопримечательного с точки зрения теоретической и валютно-политической.

Эволюция деятельности Австро-Венгерского банка и валютной политики банка и правительства развертывается автором на фоне борьбы общественных интересов—промышленной буржуазии, землевладельцев и мелкой буржуазии. Но в общем анализ валютно- и кредитно-политических событий при богатстве материалов, характеризующего борьбу общественных интересов (напр., анализ прений в рейхсрате в 1887 году) не позволяет обнаружить с достаточной отчетливостью и определенностью точку зрения самого автора. Так, например, в III главе автор отмечает памфлет Фиделиуса («Австро-Венгерский банк и его влияние на хозяйственные отношения монархии»), направленный против политики банка, характеризуя классовую позицию Фиделиуса, как автора, «очень близкого интересам средней и мелкой торговли и промышленности» (стр. 110).

Но, в сущности, вся критика Фиделиуса была направлена вообще против засилия банковского капитала в хозяйственной жизни и против политики контингентирования и рестрикций, следовательно, он выражал интересы промышленных капиталистов вообще, а не только мелких и средних. И, характеризуя в мрачных красках печальные результаты банковской политики, Фиделиус ссылается на тяготы, испытываемые «сахарозаводчиками, представителями хлопчатобумажной, железоделательной, шерстяной промышленности», а эти отрасли во всяком случае нельзя отнести к мелкой промышленности.

Вряд ли можно также согласиться с тем, что «для представителей средней и мелкой торговли и промышленности и для представителей сельского хозяйства восстановление валюты, сопровождавшееся падением лажа и ограничением кредитных операций, не представляло собой ничего привлекательного» (стр. 113).

Что касается мелкой и средней промышленной буржуазии, то экономическим интересам последней, мало или совсем не заинтересованной в экспорте, не противоречит твердая валюта. Правда, для этой группы, равно, как и для всей промышленной буржуазии, очень невыгодна та рестрикционная кредитная политика, которая в тот период неизбежно была связана с мероприятиями по подготовке размена. Поэтому промышленная буржуазия, с одной стороны, несомненно, стремилась к устойчивой валюте, но, с другой стороны, противилась сокращению кредита и повышению процента, как методов этой политики устойчивой валюты. Та девизная политика, к которой в конце концов пришел Австро-Венгерский банк, помимо прочего явилась средством разрешения этих

противоречных интересов самой промышленной буржуазни.

Однако центральное значение в книге *Силина* имеет не этот анализ борьбы общественных интересов вокруг кредитной и валютной политики, или такие моменты, как характеристика кризиса, но само описание и оценка австро-венгерского «опыта» до и после 1892 г. Мы уже сказали, какое значение для теории и практики имеет анализ этого «опыта».

Проф. *Силин* безусловно дает весьма солидный, детальный и в общем вполне об'ективный анализ этого «опыта», анализ, построенный на богатейших материалах, в том числе и на первоисточниках, изученных в самой Австрии. Однако эти «опыты», сыгравшие такую важную роль в эволюции денежных теорий, оцениваются автором исключительно с точки зрения валютно-политической, именно, как специфические методы достижения устойчивой «нотальной», по выражению *Киаппа*, валюты и совершенно оставлено вне рассмотрения влияния этого «опыта» на построение теоретической системы современного номинализма.

Быть может, это об'ясняется не только сознательным ограничением темы, но также и тем, что сам автор не вполне определил свое отношение к теоретическому номинализму, с одной стороны, и металлизму, с другой. Марксистскую теорию денег проф. Силин совершенно игнорирует.

Хотя проф. *Силин* и критикует преувеличенную оценку валютно-политических мероприятий Австро-Венгерского банка номиналистами, сам однако *в решающем пункте становится на точку зрения номинализма*, и вот почему.

Как известно, в 1883—1899 гг. внутренняя ценность 100 серебряных гульденов составляла 69—82 золотых гульдена, в то время, как валютный курс 100 серебряных гульденов равнялся 78—84 зол. гульденов. По этому поводу проф. Силин правильно замечает, что «цена серебряного гульдена совершенно оторвалась от ценности содержащегося в нем серебра», и причина этого, конечно, заключается в «блокировании» чеканки, т.-е. в прекращении свободной чеканки серебряных гульденов из серебра частных лиц.

Благодаря этому мероприятию гульден из денег, как «соединения мерила ценности и средства обращения» (Маркс) превратился в *знак денег*, именно в номинальные средства обращения, которые не только могут иметь курсовую ценность выше своей внутренней ценности, но вообще могут быть лишены какой бы то ни было «субстанциональной ценности». Принципиально между этой блокированной валютой и бумажными деньгами нет никакого различия, разве только кроме того, что одни *отпечатаны* на бумаге, другие на металле, который в этом случае является не больше, не меньше, как материалом для правительственного *штампа*. Поэтому с нашей точки зрения нет абсолютно ничего не нормального в этом разрыве «внутренней» и курсовой ценности серебряных гульденов, коль скоро выяснена природа бумажных денег вообще, и условие, при котором об'ективно возможен устойчивый (конечно, относительно) курс этих денег. Вот почему австрийская якобы «аномалия», конечно, целиком опровергает *металлистическую теорию*, но в то же время вполне подтверждает марксов анализ средств обращения.

Но из этого вполне правильного (хотя теоретически и не «выясненного») положения об отрыве «цены» серебряных гульденов от ценности содержащегося в их *серебра* проф. Силин дедуцирует другое уже совсем неправильное положение (точнее не дедуцирует, но просто подменяет одно положение другим) о том, что «*австрийская валюта оторвалась от всякой металлической основы*» (стр. 143).

К этому самому доподлинному и основному номиналистическому выводу о возможности чисто нотальных, абсолютно не связанных с металлом денег проф. Силин приходит благодаря логической ошибке, благодаря возведению частного случая (отрыва серебряного гульдена от ценности серебра) в общий закон (независимости серебряного гульдена от всякой металлической основы). Для доказательства правильности этого вывода проф. Силину недостает еще малой посылки обычного силлогизма, а именно положения о том, что основой австрийской валюты не мог быть никакой иной металл, кроме серебра. Только в этом случае вывод Силина был бы логически безупречен, ибо он соответствовал бы большой и малой посылкам. Между тем этой малой посылки проф. Силин не мог ввести, ибо то вполне об'ективное описание австрийского опыта, которое дает проф. Силин, красноречиво говорит против этой посылки.

Золото, как всеобщий товар, может выполнять важнейшую денежную функцию — мерила ценности («всеобщего воплощения абстрактного труда») даже независимо от того, легитимировано ли оно правительством в качестве денег или нет. Между тем, в Австро-Венгрии как раз в анализируемый проф. Силиным период золото было легитимировано в качестве денег (хотя и не в качестве основной законной платежной единицы) самим правительством. Золотой гульден был уже создан законом 3 марта 1870 г., предписавшим чеканить золотые монеты в 4 и 8 флоринов, равные 10- и 20-франковым золотым монетам. И хотя между золотом и серебром не было установлено определенного отношения, и золотые монеты должны были приниматься по частному соглашению, а в обороте находились исключительно бумажки, однако признание самим правительством золота деньгами имеет не просто формальное и «лишь теоретическое значение», как считает проф. Силин.

Внедрение золота, как всеобщего товара, и, следовательно, мерила ценности, в австро-венгерскую экономику началось еще значительно ранее соответствующих законодательственных актов и в этом внедрении, конечно, главную роль играла наблюдаемая во всех странах в XIX веке общеэкономическая тенденция вытеснения серебряной валюты золотой, и прежде всего введение в Англии золотой валюты, на которую в своих внешнеторговых, а следовательно, и валютных, связях уже издавна не могла не опираться Австро-Венгрия.

Широкие общественные дебаты по поводу валютной и кредитной политики в Австро-Венгрии имели своим основанием прогрессирующее обесценение австрийской серебряной валюты в течение 1872—1888 гг. Но по отношению к чему обесценилась серебряная валюта? Опять-таки по отношению к тому же золоту, которое, следовательно, не было чем-то безразличным для австрийской валюты и, следовательно, для всей австрийской экономики. Напротив того, теперь уже сама серебряная валюта оценивалась в золоте (в 1887 г., как сообщает Силин, золотой лаж поднялся до 27¾%) и, следовательно, истинными деньгами, мерилом ценности, хотя и не «законным платежным средством», было не серебро, но золото. Серебряная же валюта после 1879 г. (приостановка чеканки серебряных монет за частный счет) превратилась в «нотальные деньги», лишь печатаемые на металле, вместо бумаги; нет ничего удивительного, что исчез лаж серебряных монет на бумажные, ибо и те и другие фактически были не деньгами, но «знаками денег» — средствами обращения, которые, в зависимости от их массы по отношению к об'ему товарного обращения внутри страны и состоянию расчетного баланса, оценивались выше или ниже по сравнению с тем, что они представляли или замещали в обращении, т. е. по сравнению с золотом.

Таково было фактическое положение вещей. И совершенно не случайно, что при такой обстановке «валютная реформа в Австро-Венгрии в 1891—1892 гг. ставилась,—как говорит проф. Силин,—следующим образом: «речь шла о достижении устойчивости валюты, и для этого базисом последней избиралось золото» (стр. 148). Такая постановка вопроса, вопреки мнению Кнаппа (а следовательно, и Силина, который безоговорочно принимает указанный выше номиналистический тезис) не была данью старым предрассудкам и просто желанием реформироваться «на манер» других стран, но выводом, который неизбежно вытекал из сложившейся в Австро-Венгрии обстановки в области денежного обращения, и который буквально с принудительной необходимостью диктовался Австро-Венгрии. Правительство последней, 2 августа 1892 г., официально об'явив валютной единицей золотую крону вместо серебряного гульдена, только легитимировало тот процесс, который фактически уже совершился в экономике, поскольку, как это было выше отмечено, мерилом ценности уже являлось золото.

То, что в обороте и после этой реформы попрежнему фигурировали одни банкноты, ни в коей мере не затрагивает нашего общего вывода, поскольку мы различаем действительные деньги — мерило ценности, и ту форму средств обращения, с которой это мерило ценности связывается в данной системе денежного обращения.

То, что металлической основой этих лишь по внешней видимости «абсолютно» нотальных банкнот, было золото, показывает вся практика девизной политики Австро-Венгерского банка. Эта политика по существу означала не что иное, как определенный валютно - политический способ закрепления «представительной ценности» банкнот с представляемой ими ценностью золота через валюты других стран, прежде всего Англии, в которой золото является деньгами, мерилом ценности и одновременно средством обращения и в которых, следовательно, «представитель» и «представляемый» соединены в одном «лице»—фунте стерлингов (и поэтому, в отличие от Австрии, здесь не может быть разрыва между ценностью валюты и ценностью золота).

Таким образом, номиналистическое положение проф. Силина не только логически дефективно установлено, но оно противоречит и всей реальной обстановке австро-венгерского денежного обращения за рассматриваемый период.

Отметим также и другую, правда, менее важную теоретическую ошибку автора. Излагая теорию вексельных курсов Рикардо в условиях свободного движения золота, проф. Силин говорит: «Это утверждение рикардовской школы (т.-е. автоматическое регулирование вексельных курсов.— З. А.) не может быть признано правильным, ибо «под'ем курса иностранной валюты, и, следовательно, ухудшение курса валюты данной страны, может быть вызвано причинами, лежащими и вне области торгового баланса и вне области денежного обращения; оно может исходить из других частей расчетного баланса, в результате увеличения платежей за границу,—напр., по оплате возросшего внешнего долга, по уплате военного вознаграждения и т. п.» (стр. 193).

Но здесь явное недоразумение, ибо проф. Силин опровергает вывод Рикардо путем замены одних посылок другими. Вывод Рикардо сделан путем абстракции от привходящих явлений, именно как раз от тех чрезвычайных моментов, как уплата военной контрибуции, которые, конечно, изменяют общую картину флуктуации золота между странами. Поэтому возражение проф. Силина ни в коей мере не затрагивает чисто-

абстрактной теории вексельных курсов рикардовой школы, которая остается вполне правильной при наличии вводимых ею предпосылок...

Что же касается специальной валютно - политической оценки австрийского опыта, то здесь мы в основном можем согласиться с выводами проф. Силина. Пятая глава, посвященная девизной политике, является важнейшей главой всего труда. Здесь автор прекрасно характеризует ту обстановку, при которой Австро-Венгерский банк перешел к девизной политике; он показывает, что эта последняя при недостаточной эффективности дисконтной политики, сопротивлении заинтересованных хозяйственных кругов повышению Австро-Венгерским банком учетной ставки и недостаточности золотого запаса для восстановления размена (а также сопротивлению этому последнему со стороны некоторых общественных групп), была единственным средством, при помощи которого можно было достигнуть устойчивого курса валюты.

Автору вполне удается избежать крайностей в оценке стимулов девизной политики Австро-Венгерского банка, с одной стороны, М и з е с а, который утверждал, что эта политика была результатом голого коммерческого расчета, и, с другой, К н а п п а, идеализировавшего девизную политику Австро-Венгерского банка, как политику «самопожертвования». Проф. Силин вполне правильно считает, что к этой политике банк «был вынужден давлением общественного мнения, парламентов и правительств», но, будучи к этому вынужденным, он вел эту политику «как коммерческое учреждение и, прежде всего, как частное акционерное общество» (стр. 228).

Также автору удается избегнуть крайностей и в оценке девизной политики, как метода регулирования курса валюты. Он признает действительную эффективность и рациональность этого метода, но лишь п р и и з в е с т н ы х у с л о в и я х, а именно: «отсутствие больших политических потрясений, отсутствие прогрессирующего расстройства экономической жизни страны, достижение хотя бы искусственными средствами активности расчетного баланса, порядок в государственных финансах, прекращение роста бумажных знаков в обращении, накопление достаточного запаса золота и иностранной валюты» (стр. 257).

Заметим, что и эти моменты, между прочим, имеют значение и для нашей денежной политике. С этой точки зрения исследование проф. Силина имеет для нас именно в данный момент, несомненно, актуальное значение. Из всего сказанного ясно, что мимо труда проф. Силина не может пройти ни тот экономист, который интересуется теорией денежного обращения, ни тот, который изучает финансы или работает в области кредитной и валютной политики нашей страны.

Э. Атлас.

Проф. С. И. СОЛНЦЕВ. Введение в политическую экономию. Предмет и метод. Третье просмотренное и переработанное издание. «Прибой», Ленинград. Стр. 183.

Рассматриваемая нами книга проф. Солнцева представляет собой попытку с марксистской точки зрения осветить одну из сложнейших проблем политической экономии—проблему предмета и метода. Настоящее издание (3-е) почти целиком воспроизводит 1-е издание, вышедшее в свет в 1922 г., если не считать несколько страниц, посвященных взглядам на предмет политической экономии покойного И. И. Степанова-Скворцова. 1-й отдел книги посвящен предмету политической экономии. Этот отдел трактует о проблеме

об'екта, о социальном явлении, об экономическом явлении и об экономике и психологии.

Весь отдел носит яркую печать влияния на проф. Солнцева одного из методологов Запада—Амонна, автора «Objekt und Grundbegriffe der Theoretischen Nationalökonomie». Если снять неокантианский наряд, в который облачены рассуждения Амонна, то центральная идея, пронизывающая его работу, может быть сформулирована следующим образом. Политическая экономия опирается на факты, следовательно, она наука эмпирическая. Однако в понятии об'екта науки следует различать «об'ект опыта» и «об'ект познания». Если «об'ект опыта» политической экономии—мир хозяйственных явлений во всей его конкретности и непосредственной данности, то «об'ект познания»—продукт целесообразной, сознательной деятельности научного мышления, результат познания постоянно изменяющегося, глубоко индивидуального мира хозяйственных явлений. Проф. Солнцев соглашается с этим учением об «об'екте опыта» и «об'екте познания». Однако это разграничение, которое выдвинуло Амонна в ряды крупных методологов, правда, не в этих терминах, установлено давно Марксом. Стоит только сопоставить «Objekt...» Амонна с соответствующими страницами из «Введения» и «Капитала», где речь идет о конкретном и абстрактном, о сущности и явлении. То, что у Амонна выражено крайне худосочно и бледно, то у Маркса—ярко, живет полной жизнью, насыщено чрезвычайным богатством содержания. Непонятно, почему марксист Солнцев для обоснования об'екта политической экономии обращается к Амонну, а не к Марксу. Но хуже всего то, что проф. Солнцев, будучи в плену методологической мысли Запада, ее некритически воспринимает и тем самым ревизует марксизм, дополняя его неокантианством. Так, напр., он, вслед за Амонном, повторяет, что «мыслительный об'ект и об'ект опыта принципиально различны, так как в мышлении никогда не может быть образовано бесконечного многообразия всего опыта» (стр. 17). Это—Кант, а не Маркс. По Марксу, между конкретным и абстрактным нет принципиального различия, ибо абстрактное представляет собой одностороннее отношение данного конкретного исходного, а конкретное конечное выступает как единство в многообразии, как результат движения абстрактного. Этот разрыв между об'ектом опыта и об'ектом познания есть другая формулировка обычного для кантианства разрыва между сущностью и явлением, между об'ектом и суб'ектом.

Далее проф. Солнцев, вслед за Амонном, Менгером, Виндельбандом, Риккертом и А. А. Чупровым, делит науки на теоретические и исторические. Это деление исходит из двоякого рода целей, которые может ставить себе наука. Либо она может интересоваться описанием фактов, особенным и индивидуальным, либо ее может интересовать общее, повторяемое, законы явлений. Отсюда—различие в логической структуре об'екта познания, в первом случае—познание общего, во втором—познание индивидуального. Это различие познавательных целей отражается и на логической форме изложения: теоретические науки стремятся к образованию понятий с общей значимостью, исторические науки—понятий с индивидуальной значимостью.

Однако это разграничение не выдерживает критики. Оно исходит из учения неокантианства, что некоторые науки, преследуя лишь задачи точного описания фактов, не занимаются установлением законов. Однако описание, изображение явлений возможно лишь при помощи теоретических предпосылок. С другой стороны, ошибочным является взгляд, что есть науки, которые обладают специфической прерогативой—устанавливать законы. Любая наука является теоретическим выражением процесса развития изучаемых ею фактов. Как говорит Маркс—мы знаем только одну науку, науку истории. Таким образом, любая наука является одновременно и наукой об общем, и наукой об индивидуальном.

Далее проф. Солнцев переходит к анализу социального. Прежде всего он критикует различные попытки определения социального: 1) органическое определение; 2) психологическое; 3) одностороннe универсалистическое; 4) историко-материалистическое. В результате этого критического обозрения проф. Солнцев приходит к выводу, что учение о социальном должно быть построено на базисе учения Маркса. У самого же Маркса,—заявляет проф. Солнцев,—проблема образования социальных понятий поставлена не достаточно определенно. Но в общем,—снисходительно заключает наш автор,—подход у Маркса к изучению социальных явлений был научный. «Философские и методологические воззрения Маркса,—пишет проф. Солнцев,—не шли, разумеется, дальше того, что могла выдвинуть его эпоха. А во время жизни Маркса проблема образования социальных понятий даже еще не ставилась с достаточной определенностью. Но, выдвинув идею «общественных отношений», возникающих в общественной жизни со строгой социальной обусловленностью, Маркс наметил правильный путь для решения проблемы о природе социального, далеко опередив в этом отношении своих современников» (стр. 52).

Итак, у Маркса мы имеем только «в общем» подход правильный, но у него нет самого анализа социального явления. Проф. Солнцев живет в другую эпоху—во времена Амонна,—а посему он может дать достаточно разработанный анализ социального. Обратимся к этому анализу.

Первым и самым существенным признаком социального явления проф. Солнцев считает понятие социальной обусловленности или общественного отношения. Это—признак формально-логического значения, присущий социальному явлению в статическом и динамическом его состоянии. Внутренняя же природа социального характеризуется гетерогенностью и об'ективированием социального. Гетерогенность социального явления состоит в том, что оно представляет собой выражение или результат противоположных сталкивающихся воль, желаний и т. д. По Солнцеву, социальная гетерогенность—классовая гетерогенность. Где нет классов, там нет гетерогенности, нет социальных явлений, нет общества. Об'ективация социального явления характеризуется, с одной стороны, существованием социального явления, независимо от индивидуального сознания, с другой стороны, его выражением в «вещах», его об'ективированием. Таковы признаки социального в его статике. В динамике проявляются еще другие признаки социального: закономерность, историчность, относительность, необходимость наступления их, прогрессирование, иррациональность. В результате всего анализа проф. Солнцев определяет социальные явления, как об'ективированное гетерогенное (антагонистическое) отношение, возникающее между людьми на основе общей взаимной обусловленности и развивающееся с исторической необходимостью и стихийной закономерностью.

Может ли марксист согласиться с таким определением социального? Ни в коей мере. Основной порок этого определения заключается в том, что оно с одной стороны носит формальный характер, с другой—включает в это определение признаки, социальному явлению неприсущие (гетерогенность). Возьмем первый признак—социальную обусловленность. У Солнцева этот признак носит формальный характер, у Маркса же он связан с процессом производства, с производительными силами. Не случайно проф. Солнцев говорит, что Маркс стоит в определении понятия социального на такой же основе, как и Амонн. «Социальными,—говорит Амонн,—мы называем обычно все те явления, которые эмпирически и непосредственно представляются нам в виде взаимных отношений нескольких волеиз'являющих и действующих индивидуумов,—отношений, являющихся в результате взаимной зависимости и обусловленности индивидуальной воли каждого». У Маркса производительные силы и социальные явления являются различиями в единстве, у Солн-

цева же, как и у Амонна, мы имеем отрыв социального от материального, мы имеем формальное определение социального. Второй признак—гетерогенность—вовсе не является конституирующим признаком социального. При организованном типе связи между людьми, социальные явления будут характеризоваться социальной обусловленностью, но отнюдь не гетерогенностью. Для обоснования своей точки зрения проф. Солнцев ссылается на «Введение», где Маркс говорит, что в тех формациях, где преобладает земельная собственность, господствуют естественные отношения, там же, где преобладает капитал, получают перевес общественные элементы. Мы полагаем, что это место из «Введения» вовсе не совпадает с точкой зрения проф. Солнцева. По Марксу, буржуазное общество действительно представляет собой наиболее развитую историческую организацию производства. Но Маркс говорит и об античном, восточном и феодальном обществе. По Солнцеву же, при социализме социальные отношения немыслимы (стр. 68). Основная методологическая ошибка Солнцева в его анализе второго признака социального явления—гетерогенности—в непонимании того, что имеются определения, приложимые к любой общественной формации, что если за сходством нельзя забывать различия, то различия, однако, не исключают сходства.

Переходим к анализу третьего признака социального явления об'ективации, который, как мы уже видели, характеризуется существованием социального явления вне индивидуального сознания и его об'ективированием в «вещах». Однако на этой ступени своего исследования проф. Солнцев оказался в плену другого буржуазного методолога, Дюркгейма. Солнцев все время солидаризируется с Дюркгеймом. Он отмечает, что кроме указанных двух признаков об'ективация социального явления сопровождается еще третьим моментом—принудительным значением для индивидов. Все эти три момента неразрывно, по Солнцеву, связаны с об'ективацией социальных явлений, составляя одно целое. По Дюркгейму, «социальный факт узнается лишь по той принудительной власти, которую он имеет или способен иметь над индивидами, а присутствие этой власти узнается в свою очередь или по существованию какой-нибудь определенной санкции, или по сопротивлению, оказываемому этим фактом каждой попытке индивида разойтись с ним» (Дюркгейм, «Метод социологии»). Таким образом, для Солнцева, как и для Дюркгейма, признак об'ективации социальных явлений связан с идеей примата общества над личностью и принудительности. Это однако Дюркгейм, а не Маркс. Для марксизма важно не только констатирование принудительной власти общества над личностью, марксиста должен интересовать источник этой принудительной власти. Об'ективация социальных явлений тесно связана с производственными отношениями и производительными силами. Об'ективность того или иного факта обусловлена состоянием производительных сил общества. Не случайно проф. Солнцев повторяет вслед за Дюркгеймом, что право об'ективируется в кодексах. Социально регулирующая деятельность мыслима однако и без заранее фиксированных норм. Древним судам было чуждо понятие заранее готовой нормы. Об'ективация же социальных отношений в товарно-капиталистическом обществе связана с учением Маркса о товарном фетишизме. Учение Маркса об овеществлении или кристаллизации производственных отношений людей в вещной форме—вот тот методологический принцип, который должен быть положен в основу проблемы об'ективации социальных отношений в товарно-капиталистическом обществе.

Таким образом, учение проф. Солнцева о социальном явлении представляет собой эклектический «синтез» из Амонна (социальная обусловленность), ложно понятого Маркса (гетерогенность) и Дюркгейма (об'ективация социального явления).

Далее проф. Солнцев переходит к анализу экономического явления. Экономические явления, связанные с «хозяйственными» фактами, характе-

ризуются, по Солнцеву, теми же признаками, что и социальные явления. Однако неправильный анализ социального явления предопределил и ошибочность трактовки экономического явления. Так, напр., по Солнцеву, в социалистическом обществе не будет экономических явлений, все хозяйственные действия сведутся к психологическим и естественно-техническим моментам. Проф. Солнцев дает здесь также путаное определение «частного» и «общественного» хозяйства. «Частным хозяйством» было первобытное коммунистическое хозяйство, им же будет идеальный коммунистический строй. «Общественным хозяйством» проф. Солнцев называет не телеологическое единство, а совокупность множества отдельных единичных хозяйств. С своей точки зрения проф. Солнцев последователен. При том определении социального общества, которое мы у него имеем, естественно и такое своеобразное понимание частного и общественного хозяйства. Однако расхождение у проф. Солнцева с Марксом явное, не нуждающееся в комментариях.

Несколько страниц этого отдела проф. Солнцев посвящает критике точки зрения И. И. Степанова-Скворцова на предмет политической экономии. Однако центральная ошибка И. И. Степанова вовсе не в том, как ее понимает проф. Солнцев, что он смешивает политическую экономию с экономической политикой и историей, а в том, что он неправильно трактует диалектический метод как единство абстрактно-аналитического и конкретно-исторического. Отсюда—«все качества». Отсюда—неправильное понимание конкретного и абстрактного, способа изложения и способа исследования и др.

Второй отдел—метод в политической экономии—посвящен, с одной стороны, истории развития методологии, с другой стороны, характеристике: 1) этического метода, 2) суб'ективно-психологического метода и 3) диалектического метода марксизма. Эти главы по своей оригинальности уступают главам первого отдела, однако они представляют для русского читателя известный интерес, благодаря обилию ссылок на работы современных буржуазных экономистов. Что касается характеристики диалектического метода, то анализ проф. Солнцева сводится к повторению общеизвестных положений об идее монизма, идее диалектического развития, примате производства.

В одном месте своего труда автор говорит, что в последнее время под влиянием опубликованных работ Маркса и Энгельса («Введение...», «Диалектика природы» и др.) марксистская мысль в области методологии оживилась. Однако последние достижения марксистской методологии в рецензируемой книге не нашли своего отражения.

А. Реуэль.

A. Amonn Grundzüge der Volkswohlstandlehre. Jena 1929. S. 336.

Амонн—один из крупнейших представителей социального направления в буржуазной политической экономии. В своей первой большой работе, вышедшей в 1911 г.,—«Об'ект и основные понятия теоретической национальной экономии»—он выступает решительным сторонником понимания политической экономии, как социальной науки, и подвергает резкой критике экономистов, исходивших из психологических и технических моментов. «Для национальной экономии,—пишет Амонн в этой работе,—как социальной науки, факты, относящиеся к одной и той же цели (например, к снабжению благами или удовлетворению потребностей), или к одному и тому же об'екту (например, к материальному благу), разнородны, если они различно социально обусловлены и выступают в различных социальных формах» [1]).

---

[1]) A. Amonn, Objekt und Grundbegrife, theoretischen Nationalökonomie, стр. 164.

Рецензируемая книга Амонна: «Основные черты науки о народном благосостоянии», вышедшая в 1926 г., может дать повод думать, что Амонн отошел от своих прежних взглядов, ибо в ней он постоянно исходит из несоциальных моментов и значительную часть ее посвящает исследованию хозяйства вообще, вне его социальной формы. Но было бы ошибкой говорить о противоречии между двумя основными работами Амонна. Дело в том, что Амонн проводит резкое разграничение между теоретической национальной экономией и наукой о народном благосостоянии. Наукой о народном благосостоянии Амонн называет дисциплину, изучающую природу, причины и условия народного богатства. Теоретическая же экономия Амонна изучает совершенно иной круг явлений, и ее проблемы «не стоят ни в какой необходимой логической связи с проблемами науки о народном благосостоянии» [1]). Теоретическая экономия изучает не общественный процесс производства и распределение богатства—этим занимается наука о народном благосостоянии,—а социальные формы отношений людей, являющиеся результатом «индивидуалистической организации общения». Индивидуалистическая организация общения представляет, по Амонну, определенный тип регулирования или нормирования человеческих отношений [2]) и характеризуется следующими четырьмя моментами: 1) признание власти индивидуумов распоряжаться внешними об'ектами; 2) признание свободного обмена этих об'ектов; 3) признание свободного определения количественных пропорций обмена; 4) признание всеобщего мерила стоимости [3]).

Организация социального общения изучается Амонном в науке о народном благосостоянии совершенно под другим углом зрения, чем в теоретической национальной экономии. По мнению Амонна, организация социального общения выступает в науке о народном благосостоянии, как фактор, от которого зависит богатство страны [4]). В теоретической же экономии она выступает как фактор, конституирующий об'ект изучения этой науки.

Коренное различие между теоретической национальной экономией Амонна и его наукой о народном благосостоянии лежит по линии их отношения к процессу производства. Амонн полагает, что в теоретико-экономическом анализе следует отвлечься от производственной деятельности, причем это положение он считает основным в своей книге «Об'ект и основные понятия теоретической национальной экономии». Процесс общественного производства составляет, по Амонну, предмет изучения лишь науки о народном благосостоянии.

Понимание Амонном отношения процесса производства и его социальной формы можно охарактеризовать как их разрыв. Этот разрыв является у Амонна причиной дуализма между теоретической национальной экономией, изучающей форму социального процесса, лишенную содержания, и наукой о народном благосостоянии, исследующей содержание социального процесса, вне его формы.

Помимо разницы об'ектов и задач, эти науки различаются Амонном и по их логической структуре. Наука о народном благосостоянии для Амонна есть наука телеологического характера, устанавливающая причинные ряды с известной целевой установкой. Таким образом, получаются не «чистые каузальные ряды», как в теоретической экономии, а «каузальные ряды, ориентирующиеся на целевую точку зрения и телеологически направленные» [5])

---

[1]) A. Amonn, Grundzüge der Volkswohlstandlehre, стр. 33.
[2]) См. там же, стр. 136.
[3]) См. Amonn, Objekt., стр. 214.
[4]) См. Amonn, Grundzüge., стр. 15.
[5]) Там же, стр. 31.

Отрыв материального от социального и вытекающий отсюда дуализм теоретической национальной экономии и науки о народном благосостоянии приводит Амонна к своеобразному явлению—удваиванию категорий политической экономии. У Амонна все экономические категории удваиваются, выступая в теоретической экономии в виде призрачных социальных форм, существующих лишь в сознании. В науке о народном благосостоянии—эти же категории выступают в виде явлений материально-технического порядка. Так, капитал в теоретической национальной экономии для Амонна есть «распорядительная сила» (Verfügungsmacht), связанная с материальными вещами, но мысленно отделимая от них [1]). Капиталом же в науке о народном благосостоянии у Амонна выступают средства производства (за исключением земли), находящиеся в процессе производства [2]). Деньгами в теоретической экономии, по Амонну, является средство выражения цен, которое по своей природе есть чисто мыслительное представление, живущее в сознании всех суб'ектов обращения и необходимо не связанное с денежным материалом [3]). Напротив, в науке о народном благосостоянии деньгами оказываются материальные блага, выступающие в качестве всеобщего орудия обмена [4]). Соответственно этому двойственному пониманию категории денег в теоретической национальной экономии Амонн выступает, как номиналист, а в науке о народном хозяйстве—как количественник.

Любопытно отношение Амонна к теории предельной полезности. Из теоретической национальной экономии, он ее исключает совершенно. «Так как понятие блага,—пишет Амонн,—не заключает в себе никакого социального содержания, оно не может играть в теоретической национальной экономии никакой принципиальной роли» [5]). Не то в науке о народном благосостоянии. В ней Амонн уделяет значительное место теории предельной полезности. В первом разделе рецензируемой работы, в котором разбирается хозяйство вообще, Амонн трактует категории потребности, полезности и стоимости совершенно в духе теории предельной полезности. «Стоимость продукта,—пишет он,—определяется стоимостью средств производства, требующихся для его изготовления; стоимость этих средств производства определяется стоимостью предельного продукта (Grenzproducts), а его стоимость в свою очередь определяется потребностью, удовлетворение которой зависит от его обладания» [6]). Во втором разделе «Основных черт науки о народном благосостоянии», называющемся «индивидуалистический процесс обращения», Амонн несколько отходит от классической теории предельной полезности. По его мнению, предельная полезность не может рассматриваться как фактор, непосредственно определяющий и об'ясняющий цену [7]). Непосредственно определяют цену по Амонну спрос и предложение.

Предельная же полезность появляется на сцену только тогда, когда ставится вопрос о связи спроса и предложения «с простейшими хозяйственными факторами». Проделав путь от спроса и предложения к предельной полезности, Амонн опять возвращается к исходному пункту. Предельная полезность,—отмечает он,—зависит от «скудости благ», а «скудость благ» есть, очевидно, не что иное, как выражение соотношения спроса и предложения. «Относительная редкость или скудость благ,—пишет Амонн,—есть последнее основание возникновения и величины цены» [8]). Спрос и предложение явля-

[1]) См. A. Amonn, Objekt und Grundbegrife, стр. 371.
[2]) См. A. Amonn, Grundzuge der Volkswohlstandlehre, стр. 44.
[3]) См. A. Amonn, Objekt und Grundbegrife, стр. 339.
[4]) См. A. Amonn, Grundzüge der Volkswohlstandlehre, стр. 144.
[5]) См. A. Amonn, Objekt und Grundbegrife.
[6]) См. A. Amonn, Grundzüge der Volkswohlstandlehre, стр. 133.
[7]) См. там же, стр. 177.
[8]) Там же, стр. 174.

ются, таким образом, у Аммона и последним основанием цены и ее непосредственно об'ясняющим моментом.

Самое оригинальное в рецензируемой книге Амонна—это его теория предпринимательской прибыли, сущность которой сводится к следующему. Прибыль есть разница между ценой продуктов и ценой средств производства, затраченных на их изготовление. Эта разница имеет место только в том случае, если превышение спроса над предложением на рынке средств производства окажется менее значительным, чем превышение спроса над предложением на предметы, изготовленные из этих средств производства. Такое положение создается, главным образом, введением новых технических усовершенствований. В условиях равновесия, т.-е. тогда, когда спрос и предложение во всех отраслях покрывают друг друга, прибыль отсутствует, ибо тогда цена средств производства и цена изготовленных из них предметов совпадают. Так как хозяйство может находиться в условиях равновесия, то прибыль не может считаться необходимым явлением. «В механизме обмена нет внутренней необходимости для предпринимательской прибыли» [1]).

Несостоятельность теории прибыли Амонна очевидна. Согласно ей капиталисты в одни части цикла должны потерять то, что они получили в другие его части. Это следует из того, что цикл в целом представляет из себя систему равновесия, а при равновесии капиталисты, по Амонну, не получают ни прибыли, ни убытку. Капиталисты, если взять более или менее продолжительный период времени, не выручают ни одной копейки барыша. Этот неизбежный вывод из теории прибыли Амонна очевиднейшим образом показывает ее несостоятельность.

Пожалуй, не менее нелепо, чем теория прибыли Амонна, и его учение о статике и динамике. По мнению Амонна динамические изменения в народном хозяйстве несущественны, хотя эмпирически и важны.—«Динамические изменения в народном хозяйстве,—пишет он,—не представляют собой в нем существенных явлений» [2]). «Народное хозяйство всегда стремится к равновесию (а следовательно, и к отсутствию прибыли!—Л. Н.)» [3]).

Равновесием Амонн называет движение с постоянно неизменными величинами. Движущими же силами, благодаря которым хозяйство стремится к равновесию, по Амонну, является «стремление к возможно полному и равномерному удовлетворению потребностей» [4]).

Приведенные рассуждения Амонна о статике и динамике и о прибыли отличаются полным игнорированием природы капитализма и наглядно показывают, к чему приводит обособление друг от друга формы и содержания социального процесса.

Никчемность и практическая бесцельность построений Амонна следует из того, что он не в состоянии установить никаких экономических законов ни в своей теоретической национальной экономии, ни в своей науке о народном благосостоянии. Ведь, очевидно, что если отвлечься от материального процесса производства в теоретической национальной экономии, то она не даст количественных законов. А так как закономерности качества не могут быть проявлены при отвлечении от количества, то политическая экономия оказывается лишенной возможности вообще найти какой-либо экономический закон. Отсутствуют законы чистых форм, лишенных содержания, а именно такие формы составляют по Амонну предмет изучения теоретической экономии.

---

1) Там же, стр. 272.
2) Там же, стр. 272.
3) Там же, стр. 279.
4) Там же, стр. 277.

Бесцельность построений Амонна в области теоретической национальной экономии отмечает между прочим Оппенгеймер. Оппенгеймер, указывая на бессодержательность Амонновских понятий и прекрасно характеризуя их словами Маркса, как «призрачный сгусток» форм, задает вполне законный вопрос,—что же с ними делать и для какой цели они могут служить? Об'яснить что-либо в построении Амонна, по мнению Оппенгеймера, не в состоянии. «Мы везде получали,—пишет он,—вместо об'яснения только формы и формулировки» [1]).

В науке о народном благосостоянии Амонн так же, как и в теоретической экономии, не дает законов. Он неоднократно в «Основных чертах науки о народном благосостоянии» ставит перед собой вопрос: от чего зависит величина заработной платы, нормы прибыли, ренты, цены и т. д. Ответ на этот вопрос у Амонна везде один и тот же,—для него эти величины зависят от спроса и предложения. Размеры и соотношения последних, в свою очередь, определяются, по его мнению, бесконечным количеством моментов самого различного порядка. «Величина ренты,—пишет Амонн,—определяется спросом и предложением, при чем под спросом и предложением понимается спрос и предложение на пользование землей» [2]). «Ценность денег зависит от соотношения между спросом и предложением, при чем под спросом и предложением понимается спрос и предложение на деньги» [3]). Величина нормы прибыли, как мы уже видели, по Амонну, тоже определяется спросом и предложением на средства производства и на предметы, изготовленные из этих средств производства. Величину цены Амонн определяет на основании Касселевских уравнений, которые, в конечном счете, сводятся им к утверждению, что цена зависит от спроса и предложения.

Указание на то, что величина ренты, прибыли, цены и т. д. зависит от спроса и предложения, очевидно, есть лишь поверхностное описание экономических явлений, точнее, просто констатирование факта. Поэтому вполне можно утверждать, что наука о народном благосостоянии Амонна не устанавливает законов, а, в лучшем случае, описывает явления. Амонн отмечает это и сам. «Высота заработной платы,—пишет он,—как и все величины механизма обращения, есть величина многосторонне зависимая и образуется во взаимозависимости с другими величинами. Она есть результат отношений друг к другу величин, охватывающихся понятиями «спроса» и «предложения» и находящихся друг от друга в функциональной зависимости, могущей быть выраженной только в форме функционального уравнения. Теория заработной платы может лишь ближе рассмотреть особый род зависимости этих величин друг от друга, но не сводить заработную плату к какой-либо другой величине» [4]). Утверждение, что экономическая теория лишь рассматривает конкретную, многостороннюю зависимость «величин механизма обращений» и не сводит их к каким-либо другим величинам, совершенно очевидно, есть отказ от установления экономических законов.

Амонн—сторонник Риккертовского деления наук на теоретические и исторические. «Совершенно невозможно и внутренно противоречиво,—пишет он,—выводить, как это пытался сделать Маркс, индивидуальный закон для исторического процесса, совершающегося только один раз. Такой процесс обусловливается бесконечно разнообразным образом и определяется бесконечным числом фактов. Система сил, которые двигают в определенное время развитие в определенном направлении, могут изменяться. Доминанты, определяющие это направление, тоже подвержены изменению. Закон же предпо-

---

[1]) Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd 33, стр. 201.
[2]) A. Amonn, Grundzüge der Volkswohlstandlehre, стр. 262.
[3]) Там же, стр. 197.
[4]) Там же, стр. 250.

лагает неизменность определяющих факторов, поэтому он относится только к всеобщему»[1]).

Приведенное рассуждение Амонна выражает и его отношение к возможности установления законов, определяющих величину экономических категорий. Как уже отмечалось, по Амонну величина прибыли, ренты, цены и прочих экономических категорий зависит от спроса и предложения, размеры которых для него обуславливаются множеством постоянно меняющихся факторов. Для Амонна, следовательно, количественная определенность экономических категорий—явление индивидуальное и, как таковое, не может быть охвачено законом, предполагающим не индивидуальное, а всеобщее.

Судя по логической структуре содержания рецензируемой работы, наука о народном благосостоянии для Амонна является наукой исторической. Однако на этот счет у Амонна имеются противоречивые высказывания. Наука о народном благосостоянии трактуется им то как наука историческая, то как наука теоретическая. Но все же, пожалуй, больше оснований думать, что наука о народном благосостоянии для Амонна имеет своей задачей не установление законов, а описание «хозяйственных» феноменов с определенной целевой точки зрения, именно, с точки зрения их влияния на народное благосостояние.

Закон и развитие для Амонна, как и для неокантианцев, исключают друг друга. Поэтому не будет натяжкой сказать, что уже общая методология Амонна исключает для него возможность понять действительность, ибо понять действительность значит установить законы ее развития. Но это для Амонна contradictio in adjecto.

Л. Надеждин.

---

[1]) Там же, стр. 379.

Ответственный редактор А. М. Деборин.
Редакционная коллегия: { А. А. Максимов, М. Н. Покровский, [illegible]
А. К. Тимирязев.